

Аркадий ГАЙДАР

Лесные братья



Мир приключений

Аркадий ГАЙДАР

Лесные братья

РАННИЕ
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ
ПОВЕСТИ

МОСКВА · ИЗДАТЕЛЬСТВО « ПРАВДА »
1987

84 Р 7
Г 14

Составление, послесловие,
примечания, подготовка текста
А. Г. Никитина

Иллюстрации
А. К. Яцкевича

Г $\frac{4702010200-1304}{080(02)-87}$ 1304—87

ЖИЗНЬ НИ ВО ЧТО
(ЛБОВЩИНА)

Повесть[1]

У Пермских лесов, в зеленом шелесте расцветающих лужаек, над гладкой скатертью хрустящего под лыжами снега, под мерный плеск седоватых волн молчаливой гордой Камы, при ярких солнечных блесках зимних дней и при темных тревожных шорохах летних ночей, охваченных кольцом ингушей и казаков,

было все это.

Эта повесть — памяти Александра Лбова, человека, не знающего дороги в новое, но ненавидящего старое, недисциплинированного, невыдержанного, но смелого и гордого бунтовщика, вложившего всю ненависть в холодное дуло своего бессменного маузера, перед которым в течение долгого времени трепетали сторожевые собаки самодержавия.

Памяти «разбойника Лбова» и его товарищей: Демона, Грома, Змея, Фомы, Матроса и многих других, имена которых окутаны уже дымкой легенд по рабочему Уралу.

---

[1] Историко-революционная приключенческая повесть А. Гайдара «Жизнь ни во что (Лбовщина)» — самое значительное произведение уральского цикла. Впервые опубликована 29-ю подвалами в пермской окружной газете «Звезда» в 1926 году (с 10 января по 3 марта). В мае того же года в Перми вышло первое и пока единственное отдельное издание повести тиражом восемь тысяч экземпляров, сразу же ставшее библиографической редкостью. В четырехтомник произведений Гайдара (издательство «Детская литература») вошла лишь в 1981 году. Здесь печатается по сборнику: А. Гайдар. Уральские рассказы и повести.— Пермь, 1983, с. 101—103. (Вступительная статья и комментарии, составление и подготовка текста А. Никитина.) Для настоящего издания книжный текст впервые вышедшей в Перми повести (1926) заново сверен с идентичным газетным вариантом в «Звезде», внесены отдельные коррективы, исправлены ошибки и опечатки. Одновременно учтены некоторые изменения в тексте повести при ее перепечатке в газете «Комсомолец» во время работы Гайдара в Архангельске в 1929 году.

Памяти тех, которые нападали с криком, умирали со смехом и во время нервных, безрассудно смелых схваток ставили свою собственную

ЖИЗНЬ НИ ВО ЧТО.

* * *

Материалы о лбовщине, а именно переписка охранного отделения, жандармского управления и полиции всего Приуральского края, измеряются пудами. Ясно, что после трехнедельного беглого осмотра затрепанных страниц рапортов и донесений я не мог дать исторически точный очерк лбовщины. Да я и не собирался этого делать.

Моя задача была дать для читателей «Звезды» крепко сколоченную, легко читаемую сюжетную повесть и дать почувствовать эпоху и обстановку, в которой работал Лбов.

Все главнейшие факты, отмеченные в повести,— верны, но, конечно, обработаны в соответствии с требованиями фабулы.

Имена главных героев—подлинны. Все остальные нарочно вымышлены, ибо многие из участников лбовщины еще живы, и я не хотел находиться в зависимости от могущих быть замечаний с их стороны по поводу некоторого расхождения повести с массой мелких исторических фактов.

Автор

(1926)

ЧАСТЬ I

О ЧЕМ РЕВЕЛИ ГУДКИ МОТОВИЛИХИНСКОГО ЗАВОДА?

Над рекой, над хмурыми берегами застывшей Камы, в пяти верстах от Перми раскинулся по крутым холмам рабочий поселок Мотовилиха...

В ночь на 13 декабря 1905 года этот поселок никоим образом не мог числиться входящим в состав великой Российской империи, ибо за день перед этим он плюнул в лицо этой империи свинцом винтовочных пуль, отгородился от нее баррикадами из выломанных заборов и вывороченных ворот и глядел огоньками раскинувшихся домиков, чутко всматривался глазами мерзнувших на перекрестках часовых вниз,— в темноту, где черная морозная ночь изменчиво прятала темные папахи казачьего отряда.

Рабочие пушечного завода, разбившись на десятки, заняли холмы, заняли перекрестки изломанных улиц, и всю ночь потрескивали и росли скелеты бесформенных, наспех сколоченных заграждений.

И торопливо шныряли бессонные тени восставших в эту сумасшедшую по подъему и энергии ночь.

У Малой проходной крепко засел десяток эсдеков, на углу Камской выкинули красный флаг эсеры, и в темноте красный флаг казался черным — черным крылом трепыхающей птицы.

А на Висиме, на горе, светились костры, то и дело гулко тюхались сваленные бревна. На Висиме тоже вырастала баррикада,— была она тяжела, неуклюжа.

Но крепка и прочна была Висимская баррикада.

— Бросай!.. Раз — бросай!.. Два... Ну, довольно, пока хватит.

Пламя костра, трепыхнувшись от ветра, озарило наваленную груду бревен и лицо высокого черного человека, прислонившегося к одной из вывороченных досок. Человек, видимо, устал возиться с баррикадой,— тяжело и часто дыша, он отер рукой мокрый лоб, потом нервно плюнул и подошел к костру.

— Сядь, Сашка,— предложил ему кто-то,— передохни малость, ты ведь, дьявол, еще с самого утра не жрал ничего.

Но черный уставший человек ничего не ответил. Облокотившись на дуло старой берданки, он молча посмотрел вниз, под гору, и процедил негромко, сквозь зубы:

— Сдохнуть мне, если они завтра легко проберутся сюда[1].

В ночь на 13 декабря тревожно пели телеграфные провода Пермь — Петербург. В ночь на 13 декабря пермский губернатор не спал. В два часа ему доложили, что хорунжий седьмого Уральского полка Астраханкин и мотовилихинский пристав Косовский ожидают его в приемной.

Губернатор вышел. Он был любезней, чем когда-либо, потому что честное имя хорошего губернатора находилось теперь всецело в руках запаянных в погоны офицеров. Он пожал им руки, но не одинаково: чуть-чуть крепче командиру отряда ингушей — хорунжему Астраханкину и чуть-чуть слабей приставу Косовскому, ибо он мало верил в организованность и боеспособность полиции.

Разговор был короткий и продолжался не более десяти минут, по истечении которых звякнули шпорами каблуки и от крыльца губернаторского дома торопливо умчались санки с рысаками пристава — направо, и тени двух всадников — налево.

А с рассветом, застегивая кобуру револьвера и пробуя напоследок эфес шашки, хорунжий Астраханкин встал и, прежде чем подойти к лошади, задержался на минуту, вынул из бокового кармана карточку молоденькой белокурой девочки в пелеринке Петербургского института благородных девиц, вздохнул и положил ее обратно в карман.

---

[1] Рабочий Лбов Александр Михайлович родился в 1876 году в заводском селении Мотовилиха (ныне район города Перми), где и происходят главные события повести. Отличаясь высокой, статной фигурой и могучей силой, Лбов в 22-летнем возрасте был призван на военную службу в Петербург в лейб-гвардии Гренадерский полк, «в роту его императорского величества». Там Лбов не раз видел царя, но стал не слугой его, а врагом. Вернувшись в Мотовилиху на завод, бывший гренадер возглавил десяток рабочих-боевиков, сражавшихся в декабре 1905 года на баррикаде, построенной в начала Висимской улицы. Потом Лбов встал во главе партизанского отряда пермских «лесных братьев».

Это было как раз в ту самую минуту, когда на той стороне черный человек бросил последнее бревно на баррикаду и сказал громко:

— Кончено, ребята! Ну, теперь пусть идут...

И по рыхлому, рассыпчатому снегу поползли темные точки закутанных в башлыки ингушей.

Молча, без выстрелов, по улицам поселка, по перекресткам, по чердакам, по огородам рассыпались засадами рабочие пушечного завода и ждали.

Но так было недолго. Как раз в тот момент, когда пальцы на «собачках» заряженных винтовок напрягались пружинами, когда стало чересчур уж тихо и чересчур нудно,— с хрипом и клокотом заревели вдруг гудки молчаливо насупившегося завода и над мертвой Камой, над закамским лесом, над взбунтовавшимся поселком понеслись тяжелым и тревожным эхом.

И назло тишине, назло нудному вою гудков, гулко треснул нервной дрожью и рассыпался первый выстрел, его поддержал другой, а в ответ сразу беспорядочным огнем огрызнулись домишки, чердаки и заборы Мотовилихи...

К вечеру баррикады смолкли, и казаки врывались уже на улицы, и разбитые боевые дружины торопливо разбегались прочь.

В это время у черного человека был распахнут ворот замасленной блузы, и на голове у него не было шапки, и крепкими гайками были стиснуты губы. Он остановился у ворот какой-то хибарки, заложил последний патрон и быстро оглянулся,— на пустой улице никого не было. Бешеная усмешка перекосила его крепко завинченные губы, он бросился налево и за углом, почти лицом к лицу, столкнулся с конно-жандармским патрулем.

— Стой!— крикнул один, блеснувши шашкой.— Бросай винтовку, чертов сын.

Черный человек грохнул в упор из берданки в нападавшего стражника, огромным прыжком вскочил на забор и крикнул оттуда:

— Ваша взяла покуда, сволочи, но мы еще не кончили!

Пуля взвизгнула над забором и пронеслась мимо, за Каму, потому что человек отпрыгнул и кубарем скатился по крутому склону, по снегу, вниз.

— Вот дьявол!— удивленно проговорил один из стражников.— И как сиганул. Кто это?

Среди обширного списка арестованных по делу «вооруженного восстания в Мотовилихе» не значилось одного из его деятельных участников — рабочего орудийного цеха Александра Лбова[1]. Несколько раз полиция получала сведения, что он скрывается в Мотовилихе, несколько раз жандармы делали засаду в квартире его жены, но все безрезультатно.

Однажды ночью, когда полицейский офицер постучался в дверь, оттуда раздался выстрел, затем звякнуло вышибленное с рамой окно и мимо одного из стражников промелькнула тень, которая, невзирая на поднявшуюся стрельбу, скрылась за поворотом.

Была морозная, ненастная ночь, когда по придавленному поселку после восстания гулко ахнуло несколько винтовочных выстрелов. Их тревожное эхо долетело до спящих, и жена одного из рабочих, испуганно вскакивая с кровати, дернула за руку мужа:

— Вставай, Николай, Колька... Да вставай же, черт окаянный, слышь, стреляют.

Тот повернул голову и спросил сонным, бессмысленным голосом:

— Куда?

— Да встань же ты, идол. Почем я знаю куда. Господи, да что же это такое делается!

Но выстрелы затакали так тревожно и так близко, что Николай Смирнов[2] вскочил и, поспешно натягивая штаны, проговорил быстро:

— Ворота-то у нас заперты? Сбегай-ка посмотри! Да не зажигай огня, дура, о стражниках что ли соскучилась! Постой, дай-ка ключ от шкафа, там у меня бумаги кой-какие, так выбросить в сугроб пока надо, а то неравно как жандармы.

В темноте ключ никак не попадал в скважину, тем более что рука слегка дрожала. Наконец дверца распахнулась, он

---

[1] В подлинном рапорте пермского губернатора министру внутренних дел в Петербург также отводится Лбову видная роль в событиях декабря 1905 года: «После подавления восстания в Мотовилихинском заводе... несколько главных участников, в том числе Александр Михайлович Лбов, Михаил Стольников, Терентий Абросимов, успели скрыться» (Центральный Государственный архив Октябрьской революции — ЦГАОР, ф. 102, ДП 00, 1907, д. 80, ч. 42, л. 22).

[2] В Мотовилихе был известен большевик Иван Смирнов, участник Декабрьского вооруженного восстания. Наверное, Гайдар имел в виду этого революционера.

только что протянул руку за бумагами, как жена его вскрикнула, а сам он вздрогнул, побледнел и застыл на месте: в окошко кто-то стучал.

— Кто там? — шепотом спросила его жена.

— Не знаю,— ответил Николай,— должно быть, полиция. Нет, это не полиция,— добавил он, вскакивая,— это кто-нибудь их наших.

Стук повторился. Быстрый, но не громкий. В нем была нервная торопливость, но не было властной грубости жандармского кулака.

— Кто здесь? — через окошко спросил Смирнов, вглядываясь в темный силуэт человека. И, не дождавшись ответа, удивленно вскрикнул, бросился в сени и торопливо открыл дверь.

— Чего, черт, долго так канителился? — чуть-чуть прерывающимся от усталости, но спокойным голосом спросил пришедший.

— Лбов!— удивленно крикнул Смирнов.— Александр, язви тебя в душу... Откуда ты взялся?

— После — махнул тот рукой,— после.— И сам оглянулся, вышел в сени, задвигал чем-то, потом опять вернулся назад.

— Кадушку с капустой к двери придвинь. Запор у тебя плохой, враз сорвать можно.— Потом помолчал и добавил: — Ты сделай себе хороший запор, а то, знаешь, если погибать, так чтобы было за что, а так, из-за ржавого крючка... не стоит.

Зажгли коптилку, и ее свет озарил угрюмо насупившего лицо Лбова, и ее красные лучи смешались с кровью, расплывшейся по изрезанной стеклом руке, рубиновыми искорками падающей на пол... Но Лбов как бы ничего не чувствовал, он сел у окна и, уставившись в темный угол, долго сидел молча. И только глаза его, при малейшем шорохе быстро поворачиваясь в сторону, тяжелым долгим взглядом пронизывали темноту.

— Кончено,— сказал он наконец вполголоса и как будто бы чуть-чуть усмехнулся.

— Что кончено? — спросил его Смирнов.

— Все, брат, кончено. И восстание окончено, и моя голова тоже теперь конченная, потому что ворочаться назад поздно, да и охоты нет никакой ворочаться назад. Каждый день гудок, да каждый день станок — и так без начала и без конца.

Он замолчал.

Рассвет не приходил долго. С рассветом в избу пришло еще несколько человек, пришли уцелевшие товарищи из партийного подполья. Пришел и молчаливый Стольников[1] — загнанный, затравленный, разыскиваемый полицией. И долго обсуждали, как быть и что теперь делать.

Было решено на время горячки отправить пока Лбова и Стольникова в лес — в одну из сторожек верстах в десяти от Мотовилихи.

— В лес так в лес,— усмехнулся Лбов,— а только я думаю, что теперь уж не на время, а на все время.

— Как так? — спросил кто-то.

— А так...

И он опять усмехнулся. У него была странная, быстрая усмешка: глаза его сразу чуть-чуть щурились, губы плотно, рывком сжимались, и, прежде чем можно было уловить оттенок выражения его лица, все было на своем месте, и от усмешки не оставалось и следа.

— Слушай, Лбов,— спросил его один из подпольщиков,— скажи по правде, какой партии ты считаешь себя?

— Я за революцию,— коротко ответил он и замолчал.

— Ну, мало ли кто за революцию — и большевики, и даже меньшевики, но это же не ответ.

— Я за революцию,— коротко и упрямо повторил он,— за революцию, которую делают силой. И за то, чтобы бить жандармов из маузера и меньше разговаривать... Как это, ты читал мне в книге? — обратился он к одному из рабочих.

— Про что? — спросил тот, не понимая.

— Ну, про эти самые... про рукавицы... И что нельзя делать восстания, не запачкавши их.

— Да не про рукавицы,— поправил тот,— там было написано так: «революцию нельзя делать в белых перчатках»[2].

---

[1] Михаил Стольников — лицо реальное. Он был большевиком. Как и Лбов, участвовал в вооруженном восстании. Вскоре он тяжело заболел и умер.

[2] В этих словах кратко передан смысл статьи В. И. Ленина ««Революционеры» в белых перчатках», опубликованной 26 июня 1905 года в газете «Пролетарий». Владимир Ильич разоблачал представителей буржуазной интеллигенции как пустых «звонарей свободы», которые хотели бы сочетать приятное с полезным: гордиться своими прошлыми революционными связями и в то же время спешить на прием к царю с натянутыми на руки белыми лакейскими перчатками, мечтать о министерском кресле в самодержавном правительстве. (См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 10, с. 298—303).

— Ну вот,— тряхнул головой Лбов,— я за это самое «нельзя». Поняли? — проговорил он, вставая, и рукой, разрисованной узорами запекшейся крови, провел по лбу.— Вот я за это самое,— повторил он резко, точно возражал кому-то.— И если бы все решили заодно, что к чертовой матери нужна жизнь, если все идет не по-нашему... если бы каждый человек, когда видел перед собой стражника или жандарма, или исправника, то стрелял бы в него, а если стрелять нечем, то бил бы камнем, а если и камня рядом нет, то душил бы руками, то тогда давно конец был бы этому самому... как его,— он запнулся и сжал губы, посмотрел на окружающих.— Ну, как же его? — крикнул он и чуть-чуть стукнул прикладом винтовки об пол.

— Капитализму,— подсказал кто-то.

— Капитализму,— повторил Лбов и оборвался. Потом закинул винтовку за плечо и сказал с горечью: — Эх, и отчего это люди такие шкурники. Главное, ведь все равно сдохнешь, ну так сдохни хоть ты за что-нибудь, чем ни за что.

Был рассвет, когда конный разъезд стражников увидел возле того берега Камы быстро скользящие на лыжах две фигуры. Это Лбов и Стольников уходили в лес. Из-за глубокого снега гнаться на конях за беглецами было нельзя. Стражники покричали, погнались по берегу, дали вдогонку несколько бесцельных выстрелов и успокоились.

Солнце зимними красными лучами прорезало верхушки окаменевшего леса как раз в ту минуту, когда две тени остановились и, обернувшись, посмотрели еще раз назад. Туда, где туманный город и каменные стены, где у каменных стен губернаторский дом с трехцветным флагом, а под трехцветным флагом — казачий хорунжий Астраханкин с карточкой белокурой девицы на груди и с сотней ингушей за собой. Туда, где, скрепленный раззолоченными винтиками чиновничьих пуговиц, улыбался город уютными занавесочками морозных окон.

И две тени молча усмехнулись и исчезли в лесу...

ОТЧЕГО БЫЛО СКУЧНО РИТЕ НЕЙБЕРГ

На безымянном пальце Риты блестело кольцо, простое кольцо из червонного золота с большой каплей крови, внутри которой светился огонек. Из-за этой рубиновой безделушки Рита уже несколько раз ссорилась с отцом, потому что он считал дурным тоном... умышленно грубо сработанное кольцо на пальцах двадцатилетней девушки, к тому же только недавно окончившей Петербургский институт.

Пальцы у Риты — тонкие и длинные, а лицо — матовое. Рита умеет замечательно командовать своим лицом. Например, сегодня, когда она вышла к обеду, то отец чуть не вздрогнул, взглянув на ее глаза, и спросил с испугом:

— Что с тобой, моя детка?

Но Рита ничего не ответила. И только тогда, когда он повторил вопрос три раза и покраснел даже от волнения, она проговорила, не глядя ему в глаза, не глядя на стены и вообще никуда не глядя:

— Мне скучно.

— Ну вот, вот еще,— сразу повеселев, заговорил отец,— как это так, молодой девушке может быть скучно? Послушай, Юрий,— обратился он к вошедшему молодому гвардейцу, своему сыну,— послушай,— и он удивленно и ласково пожал плечами,— ну отчего бы ей могло быть скучно?

— Замуж охота, вот и скучно,— ответил тот.— Тут, папаша, такая пора; я знал одну польку, так она шестнадцати лет...

— Ты дурак, Юрий, и пример у тебя всегда дурацкий, а вдобавок ты имеешь несчастье повторяться по десять раз! — вспыхнула Рита.

Кожа на ее щеках стала еще смуглей, и белые зубы сердито сверкнули через прорез гибких, изломанных стрелочками губ.

К обеду пришел хорунжий Астраханкин. Он сел рядом с Ритой и рассказал ей пару забавных анекдотов, смысл которых, кстати сказать, Рита так и не поняла. И потом, очевидно, желая сказать ей что-то приятное, наклонившись, на ухо сказал вполголоса:

— Знаете, Рита, когда я на днях вспомнил вас, почти что перед самой перестрелкой с мотовилихинскими бунтовщиками,— я вынул вашу карточку, и знаете, что с ней сделал?

— Привязали к темляку вашей шашки?— насмешливо спросила Рита.

— Нет,— он наклонился к ней ближе,— я поцеловал ее, и это вдохновило меня.

Но Рита терпеть не могла умышленного подчеркивания интимности, она откинула голову назад и спросила громко, исключительно назло ему:

— А на что тут было вдохновляться? Говорят, у них патронов вовсе не было, а потом, стреляли они из каких-то допотопных ружей. И скажите, пожалуйста,— добавила она вдруг резко,— что за манера таскать карточку на разные жандармские операции?

Астраханкин ничего не ответил, он покраснел и почувствовал, что Рита обращается с ним, как со школьником, медленно повернул голову, положил руку на эфес отделанной серебром кавказской шашки и подумал: «Что бы такое сделать для того, чтобы заставить Риту увидеть в нем хорунжего 7-го Уральского полка, а не гимназиста последнего класса?» Он откашлялся, собираясь сказать что-нибудь умное, но по какой-то странной случайности умного в голову, как назло, ничего не приходило, а все лезла одна ерунда.

Но его выручил молодой гвардеец, который, прожевывая кусок ростбифа, спросил:

— А скажите, у казачьего седла стремена на два или на три пальца подаются вперед?

— На два, на два!— ответил хорунжий, довольный, что нашел тему для интересного разговора.— Но у меня, например, на три — это красивей. Конечно, тут большую роль играет — насколько подтянут джигитник, и потом, если кобыла... жеребая...

Рита гневно взглянула на хорунжего и встала.

Она ушла к себе в комнату и попробовала читать новый роман, который вчера горячо расхваливала ей кузина. Но с первых же строк роман оскалился игриво-слащавой улыбкой и на вторую минуту, отброшенный с силой, полетел в угол.

Рита подвинула к себе местную газету, где бросилось ей в глаза объявление о том, что «молодой человек, холостой, ищет место управляющего».

«Боже мой, как все скучно,— подумала Рита,— неужели же нет ничего нового?..»

Она уже собралась закрыть газету, как взгляд ее упал на маленькую, короткую заметку. В ней говорилось, что на днях жандармы обстреляли двух неизвестных, которым удалось все же скрыться на лыжах в лесу.

Рита зажмурила глаза, не закрыла, а именно зажмурила, и представила себе холодный шелковый пух снега, окаменевшие, вместе с тишиной деревья и две тени, беззвучно и легко скользящие по снегу,— вот где, должно быть, дышать хорошо. Воздух такой морозный, тихий. Рита вдохнула в себя, и в голову ей ударил запах пряно-муторных духов. Она сверкнула глазами и увидела перед собой Юрия и Астраханкина.

— Кто вам позволил приходить сюда, не постучавшись? — рассерженно спросила она.

— Не горячись, сестрица,— лениво перебил ее гвардеец,— мы пришли спросить тебя: будешь ты сегодня на балу у прокурора?

— Нет, не буду,— ответила Рита, быстро соскакивая с дивана,— и вообще...— Окидывая обоих недовольным взглядом, она добавила: — И вообще, отстаньте вы от меня.

Она повернулась и хотела выйти, как вдруг мягкая улыбка скользнула по ее лицу, она посмотрела на Астраханкина и сказала ему капризно:

— Знаете что? Я хочу, чтобы вы достали лыжи: и мне, и себе, и ему. Ни зачем. Хочу, вот и все! Мы будем кататься.

Астраханкин, обрадованный таким счастливым оборотом дела, щелкнул каблуками, рассыпаясь весь в звонах кинжала, шашки, шпор, и сказал, изгибаясь:

— Ваше желание — для меня закон.

Когда они вышли, Рита уселась на диван, и в глаза ей опять попалась та же коротенькая заметка. Она повернула голову к стеклу и долго смотрела на причудливые узоры замерзшего окошка. И по какой-то неведомой ассоциации ей вспомнились почему-то сначала гладкий, напомаженный пробор гвардейца, потом эффектные, но истасканные фразы хорунжего Астраханкина, потом сумрачно-седой, молчаливый до тайны закамский лес и две темные, куда-то и зачем-то убегающие тени.

И в первый раз за весь день Рите Нейберг стало по-настоящему скучно.

ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ ТИТУЛЯРНОГО СОВЕТНИКА ЧЕБУТЫКИНА

Это был замечательный день. На продолжении тридцати пяти лет жизни у служащего Пермского почтамта, титулярного советника Феофана Никифоровича Чебутыкина не было такого яркого и насыщенного всевозможными событиями дня.

Даже тогда, когда его жена родила двойню, даже тогда, когда внезапно с перепугу умерла его теща,— даже те замечательные дни бледнеют перед тем, что случилось за сегодняшние какие-нибудь пятнадцать часов.

Во-первых, в девять утра, едва он пришел в почтамт и прежде чем он успел раздеться, сослуживцы обступили его с поздравлениями. Столоначальник подозвал к себе и показал ему бумагу, в которой значилось, что государь император за беспорочную службу жалует его, Чебутыкина, бронзовой медалью для ношения ее на груди.

Справедливость требует отметить, что, получивши такую грамоту, Чебутыкин возгордился давно ожидаемой монаршей милостью. Но та же самая справедливость заставляет отметить и то, что препроводительная бумага из губернского правления сильно охладила его пыл, ибо в ней говорилось, что стоимость этой медали, а именно один рубль и сорок копеек, имеют быть удержанными из его тридцатирублевого оклада.

И в душе чиновника мелькнула некая крамольная мысль такого рода, что неужели у государя императора без этих «1 руб. 40 коп.» образуется в казне дефицит? И какой же это, с позволения сказать, подарок, когда за него деньги берут, да еще втридорога, ибо кругленькому кусочку бронзы и маленькой ленточке полтинник красная цена?

Но так как особа государя императора стояла в его глазах выше всяких подозрений, то Чебутыкин взроптал на окружающих его министров и вообще на сильных мира сего, обвиняя их в стяжательстве и корыстолюбии. Вслух же высказал своему соседу, канцеляристу Епифанову, пожелание, чтобы та сквалыжная душа, которая выдумала этот вычет, подавилась этим самым рублем и сорока копейками.

Но канцелярист Епифанов, будучи человеком положительным, а также желая установить хорошие отношения с начальством, доложил об этих возмутительных словах

начальнику стола, начальник стола — начальнику отделения, начальник отделения — начальнику почтамта, и через двадцать минут перепуганного Чебутыкина вызвали к самому...

Через тридцать же он вышел оттуда красный и взволнованный, а через сорок — в очередном приказе по учреждению «за дерзостные отзывы о начальствующих лицах и за своевольные политические рассуждения» титулярному советнику Чебутыкину был объявлен строгий выговор с предупреждением.

«Господи, да что же это такое? — думал ошарашенный Чебутыкин. — Пятнадцать лет сидел без всякого внимания, и вдруг за один день и награда, и выговор! А главное, какая несправедливость».

И в первый раз за все время службы Чебутыкин сильней, чем обыкновенно, ткнул штемпелем по конверту и, почувствовав себя глубоко обиженным, подумал про себя: «Да... теперь я вижу, кто плодит революционеров. Поневоле тут станешь...»

Но тут он оборвался, потому что столоначальник пристально смотрел на него. И побледневший Чебутыкин возблагодарил господа за то, что столоначальник чужие письма читать может, но чужих мыслей читать ему еще не дано.

В два часа бубенцы почтовой пары зазвенели у крыльца. Чебутыкин надел поверх форменной шинели казенный тулуп, доходивший ему до пяток, поднял воротник, выставившийся на пол-аршина над его головой, и, захватив почтовую сумку, сел в широкие, выложенные сеном сани.

Бубенцы зазвякали, сани запрыгали по ухабам пермских улиц. Потом, за городом, когда дорога пошла ровнее, Чебутыкин, подавленный событиями прошедшего дня, свесил голову и задремал.

Он чуть было не проснулся от сильного толчка, но решил, что, должно быть, ямщик остановился, повстречавшись с кем-нибудь, тем более что сквозь сон услышал несколько отрывистых фраз. И опять закрыл глаза, а когда сани тронулись, задремал еще крепче, так и не разобравши, в чем дело.

Прошло еще некоторое время, сани вдруг опять резко остановились, Чебутыкина сильно тряхнуло, он высунул голову из воротника и спросил, недоумевая:

— Что тут такое?

Перед Чебутыкиным стояли три жандарма, они заглянули в сани, один ткнул даже ножной шашки в сено и спросил: не встречался ли им кто-нибудь в пути?

Но Чебутыкин ответил, что он ничего не видел, так как немного задремал. Может быть, ямщик кого-нибудь видел?

А ямщик ответил, что действительно видел каких-то двух человек по дороге не очень далеко отсюда и что люди те махали ему рукой, чтобы он остановился, но он решил лучше не останавливаться.

Услышав такое сообщение, жандармы, вскочив на коней, умчались дальше, оставив Чебутыкина в немалом беспокойстве и волнении.

— Что такое, кого они ищут? — спросил он кучера. — Да чего же ты молчишь, дурак?!

— Кого-нибудь уж ищут, — уклончиво ответил возница. — Такое уж их дело.

При звуке этого голоса Чебутыкин вздрогнул и посмотрел на кучера.

«Что такое? — подумал он, протирая себе виски. — Как будто, когда я выезжал, кучер был у меня ростом меньше и вроде как волосы у него были рыжие, а этот — гляди-ка...»

— Послушай, добрый человек, — с невольным смущением проговорил Чебутыкин после нескольких минут быстрой езды, — послушай-ка, куда ты так гонишь, и скажи на милость, откуда ты взялся?

Но кучер не отвечал ничего. Он с бешенством нахлестывал лошадей, сани неслись по дороге, перепрыгивая через ухабы так, что Чебутыкину невольно стало страшно.

— Послушай-ка! — крикнул он и замолчал, потому что человек обернулся и ответил ему резко:

— Сиди смирно, а не то получишь.

И душа у Чебутыкина, сделавшись маленькой, едва не выпорхнула из саней, потому что черный человек распахнул полу овчинной шубы, и из-за пояса выглянул длинный и холодный револьвер.

Когда из-за лесной гущи вырвались вдруг навстречу домики поселка, ямщик обернулся, натянул левой рукой вожжи и, сдерживая бег лошадей, сказал Чебутыкину:

— Войдем сейчас в избу, и чтоб ни слова. Понял? — и локтем слегка прижал чуть-чуть оттопыривающийся пра-

вый бок шубы, а душа у ошарашенного Чебутыкина стала опять маленькой-маленькой.

В почтовой избе было людно и накурено. Через клубы густого пара Чебутыкин увидел пьющего чай стражника, возле которого оживленно разговаривало несколько человек.

Чебутыкин сделал было шаг к стражнику, но в ту же секунду почувствовал, что локоть его попал в какие-то завинчивающиеся тиски. Он едва не вскрикнул от перепуга и остановился.

— Почта?— спросил стражник, окидывая взглядом форменную фуражку Чебутыкина.— А скажите, господин, с вами за дорогу ничего не случилось?

— Ничего, ничего,— ответил он придавленным голосом.

— А скажите, не повстречались ли вам конные жандармы?

— Повстречались.

— И никого они с собой не вели?

Услыхав, что стражники никого не захватили и что с почтой ничего особенного не случилось, стражник удивленно пожал плечами и пробормотал про себя что-то вроде того: «Да куда же эти черти делись?»

Чебутыкин опять хотел крикнуть, что хотя почту никто не обобрал и сумка у него в руках, но что это видимость одна, потому что...

Но локоть опять начал зажиматься в клещи ямщиковой пятерни, и тот сказал ему тихо на ухо:

— Давай едем...

Чебутыкин беспомощно посмотрел на пьющего чай стражника и, понурив голову, направился к выходу.

— Постойте, господин,— проговорил стражник, вставая и пристегивая шашку,— я все-таки с вами поеду. А то, неравно, как не вышло бы чего худого.

В первую секунду Чебутыкин страшно обрадовался, но почти сейчас же понуро опустил голову и искоса посмотрел на ямщика.

— Давай садись, ваше благородие,— проговорил тот,— место в санях есть, а кони хорошие, скорей только, торопиться надо.

Стражник и Чебутыкин сели рядом, ямщик рванул сразу с места. Ямщик теперь чувствовал, что позади него сидит человек с револьвером, и он поминутно чуть-чуть поворачивал голову назад, не выпуская руку из-под полушубка.

— Вот гонит! — с восхищением сказал Чебутыкину стражник. — Хо-ро-ший ямщик...

Но хороший ямщик, доехав до первого ухаба, резко повернул лошадей. Сани перевернулись, и, прежде чем Чебутыкин и ругающийся стражник успели пошевелиться в глубоком сугробе, над их головами блеснуло тонкое и длинное, как осиное жало, дуло маузера, и ямщик сказал негромко:

— Стоп, не шевелиться... и лежать смирно.

Так как оба лежали в сугробе, он, отскочив в сторону, полез в снег за отброшенной почтовой сумкой. Снег был глубокий, выше колена, и пока он доставал ее, стражник успел вскочить на ноги, рванулся к кобуре и выхватил оттуда револьвер.

Но прежде чем он успел нацелиться, тяжелая сумка ударила ему в голову и снова сшибла с ног. Падая, стражник наугад выстрелил, и почти одновременно черный человек блеснул огнем своего маузера и пригвоздил его выстрелом к снегу.

Ямщик схватил опять сумку, обернулся назад и, заметив на горизонте мчавшихся на выстрелы, очевидно, вернувшихся жандармов, бросился к лошадям.

Крепкая ругань сорвалась с его губ: оглобля санок была переломлена. Бежать по дороге было бы бесцельно, бежать в сторону из-за глубокого снега нельзя. Он выскочил на дорогу, обернулся еще раз, соображая, что бы это такое сделать. Как вдруг он насторожился, отскочил в сторону и, выхватив свой маузер, вскинул его на захрустевшие придорожные кусты.

Мягко скользнув по снегу, оттуда выехала стройная девушка, охваченная серой мягкой фуфайкой, с тонкими бамбуковыми палками в руках. От быстрого бега она слегка запыхалась и сейчас, столкнувшись с маузером, увидав опрокинутые сани и валяющихся людей, слегка вскрикнула и остановилась.

— Дай лыжи, — коротко сказал ей Лбов.

Она вскинула на него глаза и, совершенно не обращая внимания на маузер, как будто бы не из-под угрозы, а по доброй воле, легко соскочила на дорогу и воткнула палки в снег:

— Возьмите.

Ремни были маловаты, но перевязывать их было некогда, и человек с трудом всунул в отверстие сапоги и схватил палки.

Перед тем как оттолкнуться, он встретился с глазами незнакомки.

— Я вас знаю,— после легкого колебания сказала она.— Вы Лбов.

— Я Лбов,— ответил он,— а я вас не знаю.— Он посмотрел на тонкую, плотно охватившую ее фигуру теплую фуфайку, на мягкие фетровые бурки и добавил: — А я не знаю и знать не хочу.

Зигзагообразной складкой дернулись губы девушки, она откинула голову назад и спросила:

— Вы невежливый? Я Рита... Рита Нейберг.

— А мне наплевать,— ответил он,— и вообще на все наплевать, потому что за мной гонятся жандармы.

Он сильным толчком выпрямил сжатые руки, и лыжи врезались в гущу кустов. Еще один толчок — и он исчез в лесу...

— Сволочь,— сказала Рита в бешенстве,— взял лыжи и хоть бы спасибо сказал... И кого это он убил?.. Даже двух.

Пересиливая отвращение, она с любопытством заглянула за сани.

— Барышня,— окликнул ее вдруг кто-то из сугроба,— барышня, он уже ушел?

«Один не умер еще»,— подумала Рита и подошла к Чебутыкину.

— Он ушел?

— Ушел, ушел,— ответила она,— а вы ранены?

— Нет, я не ранен, а так...

— То есть как это так? Чего же вы тогда дураком лежите в сугробе? — крикнула Рита.— И как это вам было не стыдно: вдвоем с одним справиться не могли.

Чебутыкин забарахтался, выполз из сугроба и, стараясь вложить в слова некоторую убедительность, сказал ей:

— Мы и так сопротивлялись, но что же мы могли?..

— Молчите, и ни слова,— презрительно, сквозь зубы сказала Рита, потому что с одного конца торопливо на лыжах приближались два отставших ее спутника, встревоженные выстрелами, а с другой — во весь опор мчались конные жандармы.

Зимнее солнце скользнуло за горизонт как раз в ту секунду, когда стражники соскакивали с коней.

— Ограбили-таки!..— громко крикнул один из стражников.— И кто бы мог подумать, что он вместо ямщика... Из своих рук прямо выпустили.

— Ваше имя? — спросил он Чебутыкина.

Чебутыкин с достоинством отвернул шубу, чтоб виднее были форменные пуговицы на тужурке, и хотел медленно и толково ответить, но унтер-офицер не дал ему докончить и сказал резко:

— По подозрению в сообщничестве с государственным преступником разбойником Лбовым вы арестованы.

Унтер-офицер любил торжественные фразы, но от этой торжественности у титулярного советника Чебутыкина захватило дух — он хотел что-то сказать, но не смог и только подумал: «Господи, ну и день. Господи, и какой же это удивительно проклятый день!»

В ЗЕМЛЯНКЕ, ЗАНЕСЕННОЙ СНЕГОМ

Пробежав на лыжах верст пять, Лбов остановился. Он вытер рукавицей взмокший лоб и сел на сваленное и заметенное снегом дерево. Было почти совсем темно, снег стал матовым, а деревья слились в одну крепкую, черную тень. Лбов посмотрел на сумку, хотел открыть ее, но сумка была заперта. Он вынул нож, собираясь ее надрезать, но раздумал, потому что в темноте можно было выронить что-либо или растерять ее содержимое потом по дороге.

«Здорово,— подумал он и вынул из кармана револьвер, захваченный у убитого стражника.— "Смит",— решил он,— ну и то ладно, пригодится».

Он повернул несколько раз барабан, положил револьвер обратно, встал на лыжи и поехал дальше. В темноте ветки хлестали по лицу — и голову часто обсыпало мелкой снежной пылью, падающей со встряхиваемых кустов.

Часа через полтора он добрался до такой гущи, что огонек землянки вынырнул вдруг — только перед самыми глазами[1].

[1] Место, где скрывался Лбов, было недоступным для полиции и войск. В шифрованной телеграмме начальника пермской охранки заведующему особым отделом Департамента полиции сообщалось: «Лбов с шайкой скрывается не в селении Мотовилиха, а в прилегающих дремучих лесах, часть которых, составляющих казенную дачу (Мотовилихинского завода.— А. Н.), представляет площадь 70 000 десятин, разделенную на 64 квартала по 8 квадратных верст каждый. Дача эта, местами непроходимая для пехоты, хорошо известна Лбову, служившему старшим объездчиком» (ЦГАОР, ф. 102, ДП 00, 1907, д. 80, ч. 42, л. 57 об.).

Стольников был дома, он выскочил на двор и крикнул удивленно:

— Сашка! Откуда тебя в этакое время? Я думал, ты в Мотовилихе заночуешь.

— Было дело,— коротко ответил Лбов и, подходя к сеням, спросил:

— А у нас кто еще?

— Двое из наших. Степан Бекмешев и потом еще один — Федор.

— Что за Федор? — с удивлением спросил Лбов и наморщил лоб. Он был осторожен и не любил, когда к нему приходили новые, незнакомые люди.

— Свой человек, заходи скорей, узнаешь.

Лбов вошел, не здороваясь, сел на лавку и, показывая пальцем на нового человека, спросил прямо у Степана:

— Он кто?

— Из питерской боевой организации,— не менее прямо ответил Степан.— Да ты не думай ничего, шальная голова, мы ручаемся.

— Я не думаю,— проговорил Лбов и, повернувшись к Федору, сказал коротко: — Ну, говори!

Питерский товарищ с любопытством посмотрел на Лбова.

— К тебе скоро приедут еще четыре человека.

— Зачем они мне? — И Лбов мотнул головой.

— Как зачем, вместе лучше! У вас будет тогда настоящая боевая группа...

— Группа? — повторил Лбов и задумался, точно само это слово внушало ему некоторое подозрение.— Как ты сказал? Боевая группа? А кто в ней будет?

— Два анархиста, один эсер и один социал-демократ.

— Я не про то спрашиваю, я спрашиваю: ребята надежные?

— Посмотришь, увидишь. Как у тебя насчет оружия?

— Плохо,— ответил вместо Лбова Стольников,— револьверов много, по Мотовилихе обыски повальные, ребята все сюда направляют на сохранение, а винтовок — всего одна.

— Привезут,— сказал Федор,— нужны только деньги. Ты достань денег.

Лбов с минуту подумал, потом поднял сумку, раскрыл нож и провел им по коже. Целая пачка писем вывалилась на стол. Распечатали. Денег было около тысячи рублей.

Шестьсот Лбов тут же отдал Федору, триста оставил себе, а остальные передал Степану.

— Это вам пока на подпольную,— добавил он,— будет с вас, ведь вам все равно на разговоры.

— Как на разговоры? — И Федор удивленно переглянулся со Стольниковым и Степаном.

— А так, на разговоры,— повторил Лбов.— Я понимаю, оружие покупать, бомбы — ты скажи, чтобы больше бомб привозили, беда как люблю бомбы,— на это я понимаю, а что зря языками трепаться. Да скажи, чтобы к маузеру мне патронов привезли,— добавил он, опять срываясь на прежнюю мысль,— побольше патронов, мне очень нужны хорошие патроны.

Потом он помолчал и, точно принимая окончательно какое-то решение, добавил:

— И хорошие ребята тоже нужны. Только такие, которым бы на все наплевать.

— Как наплевать? — не понял его Федор.

— А так, в смысле жизни.

Вскипятили чай, за чаем много говорили. Лбов оживился, его темные глубокие глаза заблестели, и, крепко сжимая руку петербургского товарища, он сказал:

— Так пусть приезжают, пусть обязательно приезжают, мы тогда такое, такое устроим, что они дрожать будут, собаки.

Потом сел на лавку и спросил:

— У тебя книжки с собой нет?

— Есть,— и Федор подал ему.— На, читай пока.

— Я не могу сам,— резко ответил Лбов и с досадой сжал губы.— Учиться не у кого было,— добавил он зло. Он не любил, когда ему приходилось вспоминать о своей безграмотности[1]. Это было его больное место.

---

[1] Лбов был грамотным, так как окончил Мотовилихинское земское училище, читать и писать умел. Мало того, еще восьми лет от роду он был у своего целиком неграмотного отца письмоводителем, когда тот одно время исполнял обязанности сотского. Определенной грамотности от сына требовала и тяжба отца с казной, пытавшейся урезать и без того маленький земельный надел, которым Лбовы фактически владели 106 лет. Дело это возбуждалось и разбиралось в разных инстанциях до двадцати раз. «В последнее время это дело вел я лично, как сказано в неопубликованной биографии А. Лбова, хотя от имени отца. И мне удавалось пользоваться своей землей, когда я силой прогонял своих противников». Безграмотным, вернее малограмотным Лбов мог быть лишь в идейном, политическом плане.

— Я прочитаю, давай слушай, ребята! — И Степан взял книгу.

Огонек лампы тускло дрожал в задавленной лесом, в заметенной снегом землянке. И три бородатых человека молча слушали четвертого, и из маленькой затрепанной книжки выпадали горячие готовые слова, выбегали горячими ручейками расплавленных строчек и жгли наморщенные лбы пропащих голов.

— Читай, читай, — изредка говорил Лбов, когда Степан останавливался, чтобы передохнуть, — начинай опять с прежней строчки.

— «...Теперешнее правительство само порождает людей, которые в силу необходимости должны переступать закон. И правительство с неслыханной жестокостью, плетьми и нагайками пытается взнуздать этих людей и, тем самым, еще больше ожесточает их и заставляет их решиться: или погибнуть или попытаться разбить существующий строй».

— Это про нас, — перебил Лбов, — это написано как раз про нас, которые жили, работали и которым некуда теперь идти. Для которых все дороги, кроме как в тюрьму, заперты до тех пор, пока будут эти самые тюрьмы. Давеча вот ты читал что-то насчет цены...

— Ценности, — поправил Федор.

— Насчет ценности. Это лишнее. А вот про это, про что ты читал, писать надо. И потом достань мне, милый друг, где-нибудь книжку, в которой написано, как самому делать бомбы.

— Хорошо, я пришлю, — сказал питерец и с удивлением посмотрел на Лбова: сколько в нем энергии, неорганизованной воли и ненависти. И питерский товарищ подумал, что хорошо бы частицу этой глубокой, сырой ненависти вселить в умы рабочих столицы, тех, которые, сдавленные жандармскими аксельбантами, после проигранного восстания, начинают опускать головы и падать духом.

Они долго еще говорили.

В эту снежную, темную ночь долго трепыхался огонек в маленьком окошке лесной землянки, и в эту ночь выросла из сугробов заброшенная землянка, — выросла и бросила вызов городу, застывшему над берегом Камы.

Но город усмехнулся в ответ сотнями огней. Был он закован в каменные стены, был он богат белым серебром казачьих шашек и красной медью винтовочных пуль.

Усмехнулся и не принял вызова город.

СТРАННОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ЧЕРНОЙ ЖЕНЩИНЫ[1]

С первым пароходом шестеро рабочих Сормовского завода, приговоренных к смертной казни, бежали из Нижнего Новгорода в Мотовилиху. Несколько дней они трепались с гармошкой без дела по улицам; был их коновод Митька Карпов голосист, и черный чуб чертом выбивался из заломленного картуза.

Однажды вечером, когда всей гурьбой они шатались по улицам, с ними встретился конно-казачий патруль и потребовал предъявления документов. И ловко закинулась гармошка за спину, и быстро вынырнули из глубины карманов револьверы, и громко ахнули шесть выстрелов в гущу казачьего патруля.

Наклонился набок стражник Ингулов и, падая, выстрелил и прошиб шею Митьке Карпову, которого подхватили товарищи и под выстрелами унесли прочь.

— Стой! — крикнул около одной из хат Симка-сормовец.— Они нагонят нас, давай стучись в эти ворота. Тут свой человек живет.

Калитку отперла хозяйка, и все шесть ввалились в сени.

— Дома хозяин?

— Нету! Нету! — испуганно заговорила хозяйка.— Да куда же вы идете, у меня там чужой человек сидит.

— Стой, стой, ребята... Кто это чужой человек?

— Еврейка какая-то, попросилась переночевать.

На улице послышался топот, и, тяжело дыша, громыхая шашками, пробежали мимо городовые.

— Вот те и ядрена мамаша,— почесывая голову, проговорил Симка,— а что ж теперь делать-то, и на какой черт впустила ее. Ну все равно теперь на улицу не выйдешь, леший с ней, с бабой.

Митьку ввели в хату. Черная женщина лет тридцати пяти с распущенными волосами испуганно вскочила с лавки, когда увидела перед собой шестерых незнакомых человек и кровь, расплывшуюся по шее и лицу одного из них.

— Откуда это? — спросила она, запахивая распахнутый ворот кофточки.

---

[1] Заголовок к главе дан по последней прижизненной публикации повести Гайдаром в Архангельске. (См.: «Комсомолец», 1929, 26 апреля.)

— Оттуда,— коротко ответил Симка и выругался.— Дайте же чем-нибудь человеку шею перевязать, али не видите, как у него кровь хльщет?

Женщина быстро раскрыла дорожную сумку, вынула оттуда бинт, надломила стеклянную пробирку с йодом и умело начала перевязывать раненого.

— Ишь ты,— удивленно сказал Симка,— и откуда это она на наше счастье взялась? Ты кто хоть такая?

Но прежде, чем она успела что-либо ответить, в окошко постучали. Ребята схватились за револьверы.

Распахнулась дверь, вошел хозяин квартиры Смирнов и с ним Лбов.

Лбов вошел, как будто бы давно был со всеми ребятами знаком. И заговорил быстро:

— Давайте раненого оставьте здесь, завтра к нему придет доктор. А все остальные—за мною. А то полиция тут так и кружится, я насилу прорвался.

Ни у кого в голове не мелькнуло даже и мысли ослушаться его, и все пятеро направились к выходу. Но Лбов быстро шагнул вперед, крепко стиснул руку незнакомой женщины и, дернувши ее к свету, спросил с удивлением у хозяина:

— А это кто? Откуда еще тут такая?

— Не знаю,— смущенно ответил тот.— Это баба без меня кого-то пустила.

— Просилась переночевать, рубль дала, вот я и впустила,— запальчиво ответила жена.— У тебя, у черта, хоть копейка есть? К завтраму жрать нечего, а ты вон чем занимаешься.

Муж не ответил ничего. Лбов нахмурил брови, достал из карману десятку, положил на стол, потом сказал:

— Оставить тут ее нельзя, черт ее знает, что за человек, а кроме того, у баб языки долгие. Одевайся, валяй!..

Но черные, точно выточенные брови еврейки даже не двинулись. Она молча накинула пальто, яркий цветной платок и вышла на улицу.

Два раза от разъездов шарахались все в темноту.

Чтобы не навлечь полицию на оставленного раненого, Лбов умышленно избегал перестрелки.

На берегу Камы он легонько свистнул и замолчал. Прошло минут пять—никого не было.

— Ты зачем свистишь? — спросил его Симка.

— Увидишь, — коротко ответил Лбов, — я даром никогда не свищу.

Послышался плеск, — из темноты вынырнула лодка и причалила к берегу. Все семеро сели молча, и лодка темным пятном заскользила по Каме. Слезли на том берегу. На опушке, пока ребята закуривали, Лбов подошел к черной женщине, усевшейся в стороне на срубленном дереве, и спросил:

— Чего же ты молчишь и откуда ты на нашу голову взялась? Убивать тебя вроде как не за что, а в живых оставлять тоже нельзя. И куда я тебя дену?

А ночь была такая звездная. И вечер был такой мягкий. Женщина встала, скинула платок и вдруг неожиданно обняла Лбова за шею.

— Милый, — сказала она шепотом, — милый, возьми меня с собой.

Лбов никак не ожидал этого.

— Вот дура-то, и как это ты скоро... Да на что ты мне нужна. — Он хотел было оттолкнуть ее, но она еще крепче зажала руки на его шее и, прижимаясь к нему всем телом, прошептала:

— А может, на что-нибудь.

А ночь была такая звездная, и вечер был такой весенний. И Лбов вспомнил, что собственная его жена теперь отгорожена барьером казачьих шашек, и Лбов уже мягче разжал ее руки.

— Ты дура, — сказал он ей.

И Симке-сормовцу, который стоял недалеко, показалось, что он улыбнулся, а может быть, и нет, — разглядеть было трудно, потому что ночь была весенняя, говорливая, но темная.

Но то, что женщина улыбнулась и блеснула черными глазами, Симка-сормовец разглядел хорошо.

ВСТРЕЧА

Это было на берегу речонки Гайвы, узенькой мутной полоской прорезавшей закамский лес.

Лбов лежал на берегу речки, а Симка-сормовец запекал в углях картошку, когда невдалеке послышался вдруг резкий свист.

— Бекмешев пришел,— не поворачивая головы, проговорил Лбов.— Давно я уже его жду, дьявола. А ну-ка, свистни ему в ответ.

Но это был не Бекмешев, а паренек лет шестнадцати. Он вынырнул из-за кустов и сказал, чуть-чуть задыхаясь от быстрого бега:

— Ишь куда запрятались, а я искал, искал... Тебе, Лбов, записка от Степана. А сам он не может, занят чем-то.

— Занят! — хмуро передразнил Лбов.— Чем он там занят? А ну, дай сюда!

Он взял записку, распечатал ее, повертел перед глазами и сунул ее Симке:

— На, читай!

Симка прочел. Там было несколько бессвязных и непонятных слов: «Приходи, как под луну, в девятый, четыре патрона есть». Но смысл этих слов был, очевидно, понятен Лбову. Он улыбнулся, привстал с земли, потом сжал губы и задумался.

До сих пор он действовал на свой риск и совершенно один. Сормовских ребят считать было нельзя, они были пришлыми и непостоянными, а Стольников за последнее время ни в какие дела не вмешивался, он стал каким-то странным, все ходил, часто хватался за голову и бормотал какие-то несуразные слова. А теперь — кто они, эти четыре, с которыми придется рыскать, нападать и если нужно, то умирать? Кто они?..

Весь день он был задумчив. В девять вечера был на обычном месте, в верстах пяти от Мотовилихи. Прошел час — никого не было. Лбов нервничал, и эта нервность еще усиливалась окружающей обстановкой, потому что темный лес, насыщенный весенними тревожными шорохами, напитанный сыроватым пряным запахом преющей прошлогодней листвы, бил в голову и слегка кружил ее.

Но никто не видел и не знал, как нервничал тогда Лбов.

И едва только захрустели ветки под чьими-то ногами, едва только фальшивым криком откликнулась кукушка, и не кукушка, а ястреб, выпрямился Лбов и провел спокойной рукой по маузеру.

Их было четверо, четыре человека без имен.

Демон — черный тонкий, с лицом художника. Гром — невысокий, молчаливый и задумчивый. Змей — с бесцветными волосами, бесцветным лицом и медленно-осторожным поворотом головы и Фома — низкий, полный, с подслеповаты-

ми, добродушными глазами, над которыми крепко засели круги очков[1].

И в первую минуту все промолчали — посмотрели друг на друга, а во вторую — крепко пожали друг другу руки и в третью — Змей повернул голову и спросил так, как будто продолжал давно прерванный разговор:

— Итак, с чего мы начинать будем?

— Найдем с чего,— ответил Лбов.— Садитесь здесь,— он неопределенно показал рукой вокруг,— садитесь и слушайте. Я все наперед скажу. Я рад, что вы приехали, но только при условии, чтобы никакого вихлянья, никакого шатанья; чтобы, что сказано, то сделано, а что сделано, о том не заплакано, и в общем... Револьверы у вас есть? И потом нужны винтовки, и потом мы скоро разобьем Хохловскую винную лавку, а потом — надо убить пристава Косовского, и надо больше бить полицию и наводить на нее террор, чтобы они боялись и дрожали, собаки...

Лбов остановился, переводя дух, внимательно посмотрел на окружающих и начал снова, но уже другим, каким-то отчеканенно-металлическим голосом:

— А кто на все это по разным причинам, в смысле партийных убеждений или в смысле чего другого, не согласен, так пусть он ничего не отвечает, а встанет сейчас и уйдет, чтобы потом не было поздно.

Он остановился, и сквозь его голос проскользнула угрожающая, резкая нотка. Больше он ничего не сказал.

— Всю программу изложил,— заметил Бекмешев, стараясь сгладить слегка резкость, с которой встретил вновь прибывших Лбов.

Демон удивленно стянул брови. Гром молчал. Змей выставил одно ухо вперед и слушал, чуть-чуть улыбаясь. И улыбка у него была вкрадчивая, непонятная, так что каждый мог ее понять по-своему.

Только Фома снял очки, вытер спокойно стекла и сказал отдуваясь, но совершенно просто:

— Уф... ну, милый, и завернул же ты... Только надо же все как-нибудь согласовать, чтобы все это не слишком уж разбойно выходило.

[1] У питерских боевиков, кроме кличек, были имена: Демон — Михаил (или Илларион) Паршенков, Гром — Михаил Гресс, Фома (Фомка) — Василий Павлов-Баранов и т. д.

Но что и с чем согласовать, он не договорил, потому что невдалеке заревела сирена проходящего парохода, и шальное эхо долго и неугомонно неслось по лесу.

Пошли к лбовской землянке. Кроме Стольникова, там было еще двое ребят. Уселись у костра, над которым висел котел с мясом, и стали знакомиться.

— Я пить хочу,— сказал Змей.

— И я,— добавил Гром.

— Пойдем,— проговорил Лбов,— я тоже хочу. Входи в землянку, там ведро.

Распахнули дверь, первым вошел Гром. Он пил долго, молча, потом подал ковш Демону и хотел выйти, но взгляд его упал на угол, на груду наваленной сухой листвы, служащей вместо постели Лбову, и на женщину, окутанную красным, густо пересыпанным цветками платком. Он перевел глаза на Лбова и спросил спокойно, не меняя выражения лица:

— У тебя женщина? — Он сделал небольшое, едва заметное ударение на последнем слове.

А Змей, наклонив голову и неопределенно улыбаясь, добавил вполголоса:

— Женщина в цветном платке, это твоя любовь?

— У меня любовь к бомбам, а не к бабам!..— резко ответил Лбов.— И заткните ваши глотки.

В эту минуту в землянку вошел один из ребят и сказал, волнуясь:

— На опушке, возле дороги, знаешь, что возле ключа, костров там тьма, ингушей, должно быть, с полсотни остановилось... Это неспроста, они чего рыщут.

— Неспроста,— согласился Лбов и замолчал.

По лицу его забегали черточки, и казалось, что мысли его напряженной головы проливались рывками через складки морщин лба.

— Неспроста,— повторил он.— Ты, ты и ты,— показал он пальцем на нескольких человек,— вы все марш вперед, слушайте и следите... Нужно, чтобы они не столкнулись сегодня с нами. Сегодня,— он подчеркнул это слово,— сегодня нам нужно отдохнуть.

Через час, за исключением дозорных, высланных к ключу для наблюдения за расположившимся отрядом, все крепко спали.

Змей проснулся от того, что кто-то слегка задел его за руку. Он открыл глаза и на фоне окошка, чуть мерцавшего звездным светом, увидел темный силуэт женщины.

«И чего не спит баба?» — подумал он и опять закрыл глаза.

Женщина накинула платок, осторожно отворила дверь и вышла. Возле землянки она остановилась и прислушалась. Было прохладно и тихо. В кустах что-то хрустнуло, женщина вздрогнула и заколебалась, но потом оглянулась еще раз и быстро исчезла в лесной темноте.

ЭТОЙ ЖЕ НОЧЬЮ

И в тот же день, когда Лбов встретился с боевиками, хорунжего Астраханкина вызвали в жандармское управление, где сообщили ему, что, по имеющимся у них сведениям, ко Лбову и Стольникову присоединились пятеро сормовских рабочих и всей шайкой была ограблена дача князя Абамелек-Лазарева. Еще ему по секрету сказали о шифрованной телеграмме из Петербурга с сообщением, что несколько террористов выехало на присоединение к шайке.

— Надо уничтожить в самом зародыше,— сказал жандармский подполковник,— а то знаете, чем это попахивает? И так за последнее время вокруг чертовщина какая-то начинает твориться. Особенно в Мотовилихе: рыскают какие-то подозрительные типы, собираются в кружки, чего-то шепчутся. А полиция... а полиция, чтоб ей неладно было, только портит авторитет государственной власти. Два раза Лбов перестрелку среди улицы затевал, он один, а их двое либо трое,— отстреляется и уйдет. Это не человек, а черт какой-то! Вы знаете, если эдакому человеку да шайку, так тут может такое, такое выйти...— подполковник запнулся, подыскивая подходящее слово, и несколько раз покрутил пальцем, вырисовывая в воздухе какую-то петлю.

— Ну, в общем нельзя,— закончил он раздраженно,— нельзя потакать, надо в зародыше, надо в корне...

Он был зол, потому что еще утром получил от начальства весьма сухую телеграмму[1], в которой указывалось, что со Лбовым давно бы пора было, пожалуй, покончить.

Астраханкин вышел на улицу возбужденный и энергичный. Он прошел по Оханской до дома, где жила Рита, и завернул к ней.

Рита встретила его приветливо, но сквозь матовую кожу щек проглядывала нездоровая, нервная бледность. И вообще вид у нее был усталый и утомленный. Она попросила Астраханкина в гостиную и, скучая, слушала, как он говорил ей что-то, что она, по обыкновению, не разобрала, так что он обиделся даже немного.

— И отчего это вы, Рита, за последнее время такая?—спросил он.

— Какая?

— Не... не такая, как раньше.

— А какая я была раньше?

— Ну, вы сами знаете, теперь к вам подступить страшно, даже руку у вас поцеловать и то как-то неудобно.

Рита устало протянула ему руку и сказала спокойно и лениво:

— Ну, целуйте, если вам это нравится.

Астраханкин вспыхнул.

— Я хочу, чтобы это вам нравилось. И что это, в самом деле? Я сегодня вечёром уезжаю, у меня, вероятно, со Лбовым схватка будет, может быть, пулю в лоб получу, черт его знает, а вы хоть бы на сегодня переменились!

Она плавно спустила ноги с дивана, откинула кудрявую болонку и быстро схватила его за руку.

— Вы с лбовцами?..

— Да, я. Я только что получил задание,— заговорил он, думая, что эта оживленность вызвана опасением и страхом за его судьбу.

— Вы с лбовцами,— повторила она,— вы должны обязательно схватить его. Слышите, об этом я вас прошу, и если не для охранки, так сделайте это для меня. Я так... я так не-

[1] Удалось найти подлинник шифровки, подписанный директором Департамента полиции Трусевичем 13 мая 1907 года: «Пермь, начальнику охранного отделения. Если в течение двух недель не будет задержан известный вам Лбов, по задержанию коего вы до сих пор проявляли полное бессилие и, по-видимому, бездеятельность, то я вынужден буду признать дальнейшую службу вашу в охранном отделении недопустимой». Но и столь грозные шифровки отчаявшихся начальников не помогали.

навижу...— Начала было она и замолчала, потому что заметила, что зашла слишком далеко, и потому, что Астраханкин, удивленный такой горячностью, посмотрел на нее и спросил, недоумевая:

— И что это за фантазия? Вам-то что до него, Рита? И почему это именно вы ненавидите его?

Рита не ответила. Она поднялась с дивана, откинула назад слегка растрепавшиеся волосы и сказала:

— Возьмите и меня с собой.

— Вы с ума сошли,— ответил Астраханкин, тоже поднимаясь.

— Возьмите и меня,— упрямо повторила Рита,— моя Нэлла не хуже вашего Черкеса, и я не буду вам мешать.

— Вы шутите, Рита, вам-то куда и зачем... Это невозможно, разве я могу рисковать брать с собой на такую операцию женщину. Женщину, гм...— кашлянул он,— да еще такую хорошенькую.

Но Рита даже не оборвала его, как всегда в этих случаях. Она засмеялась и приветливо пожала ему руку, прощаясь.

Когда он ушел, Рита больше не скучала. Рита достала карту окрестностей Перми, долго и внимательно рассматривала ее, но ничего толком не поняла. Тогда она позвонила и сказала горничной:

— Передайте Егору, чтобы Нэлла была напоена, накормлена и оседлана.

— Сейчас? — спросила та, почтительно наклоняя голову.

— Нет,— ответила Рита, удивляясь про себя недогадливости горничной.— Нет, не сейчас, а к семи часам вечера...

А Нэлла у Риты была — как Рита. Тонкая, стройная и с норовом — черт, а не лошадь. И Рита любила Нэллу, и Нэлла любила Риту.

В половине восьмого хорунжий Астраханкин, переправившись с полусотней на пароме, умчался в закамский лес. В девять вслед за ним ускакала сумасбродная и взбалмошная девушка. Она решила твердо ехать в отдалении до того места, где они остановятся, она не хотела раньше времени встречаться с Астраханкиным и потому то и дело сдерживала рвущуюся вперед лошадь.

Один раз, когда Рита чуть-чуть не натолкнулась за поворотом лесной дороги на хвост отряда, она соскочила с коня, отвела его за деревья и села на траву.

«Подожду,— подумала она,— тут дорога, кажется, одна. Я всегда нагнать успею».

В голове ее мелькнула мысль, что хорошо бы увидеть Лбова убитым.

«Нет, нет — не убитым,— почему-то испугавшись этой мысли, поправилась она,— а просто пойманным и связанным. Крепко, крепко связанным».

Она вспомнила голубой блестящий снег, опрокинутую кибитку и человека, хмуро ответившего ей: «А я вас не знаю и знать не хочу».

«Не хочет... Что значит не хочет? — Она обломила ветку распускающегося куста, переломила ее пополам и отбросила. Потом оглянулась: было тихо в лесу, и сумерки надвигались, ползли из-за каждого куста и из каждой щели.— Однако,— подумала Рита,— надо скорей».

Она вывела Нэллу на дорогу, вскочила в седло и ударила каблуками:

— Гайда!

Свежий ветер проносился мимо лица, и Нэлла, почувствовавшая опущенные поводья, перешла на карьер. Изгибающаяся дорога швырялась в разгоряченное лицо Риты причудливыми изломами расцветающих полян, еще чуть освещенных красноватыми отблесками облаков, зажженных зашедшим солнцем. Она долго скакала, но отряд все не попадался. Рита остановила лошадь и оглянулась: сумерки стихийно атаковали землю, и облака угасли.

«Не может быть, чтобы они уехали так далеко»,— сообразила Рита. И она вспомнила, что невдалеке, влево, она миновала другую дорогу, маленькую и уходящую прямо в гущу леса.

Рита решила свернуть на нее, но для того, чтобы не возвращаться, она взяла влево, прямо наперерез, тем более что через лес в ту сторону проходила длинная и узкая просека...

Но через некоторое время прямо из темноты встала перед ней и загородила дорогу черная, враждебно-замкнутая стена невырубленного леса.

Рите стало немного страшно.

«Дорога должна быть где-то здесь, совсем рядом»,— подумала она и, соскочив в лошади, повела Нэллу по лесу на поводу.

Но дороги не было. Сколько времени бродила Рита, сколько раз останавливалась она перед гущей кустов, охва-

тывающих заблудившуюся незнакомку крепкими пальцами длинных веток, сказать было трудно. Рита измучилась и устала, она совсем было отчаялась выйти куда-либо, как вдруг ей показалось, что где-то невдалеке слышен какой-то неопределенный, чужой шорох.

Чаща была настолько густая, что идти дальше с лошадью было нельзя. Рита привязала ее к кустам и пошла одна.

Через некоторое время она вышла на какую-то поляну и прислушалась.

Взошла луна.

Потом Рита отскочила за куст и побледнела, потому что ясно услыхала, как кто-то торопливо пробирается по лесу.

«А ну как разбойники!» — подумала Рита и затаила дыхание.

На поляну вышла женщина. Оглянулась и торопливо пошла прочь.

Острая и светлая, как осколок разбитого стекла, мысль блеснула в голове Риты:

«Откуда тут быть женщине? Это, должно быть, их женщина? И это, наверно, его женщина, и она, конечно, идет к нему».

От этой мысли Рита забыла весь страх и пришла в бешенство.

«Так вот оно что, вот оно что,— подумала она,— ну, погоди же».— И она угрожающе зашептала что-то нервно изломавшимися тонкими губами.

Ей надо было идти отыскивать дорогу, но ей до боли, до дьявола захотелось проследить, куда пошла та. Она остановилась в нерешительности, шагнула раз, шагнула два и, заслышав опять что-то подозрительное, только что хотела отскочить в кусты, как сзади кто-то крепко и плотно зажал ей рот.

Рита сильно рванулась, но платок еще крепче стиснул ее губы. И не успела она опомниться, как ее закрученные за спину руки оказались перетянутыми ремнем. Захватившие ее два человека, по-видимому, сильно торопились. Они взвалили ее на плечи и быстро потащили в лес. Прошло не более десяти минут, как Риту поставили на землю, один остался около нее, а другой, бросившись к землянке, открыл ее и крикнул тревожно:

— Вставайте, черти, ингуши прутся, а вы тут...

Он не успел еще докончить, как из землянки выпрыгнул уже Змей, вслед за ним Лбов с маузером, вросшим в руку, потом и все остальные.

— Шпионку поймали,— быстро заговорил один из дозорных.— А ингуши коней поставили с коноводами и сами прямо сюда ползут, как ящеры. Мы сюда скорей, смотрим — баба в кустах хоронится.

Стрелять было нельзя. Змей рывком выхватил нож и бросился к связанной девушке.

Холодным, лунным огнем блеснуло остро отточенное лезвие, и Рита закрыла глаза.

Но рука Змея остановилась, крепко стиснутая пятерней Лбова.

— Постой, не торопись,— проговорил он и сорвал с губ Риты повязку и сам даже отошел от изумления на шаг. Он узнал ее.

— Это неправда,— порывисто сказала Рита прерывающимся и полным обиды голосом,— я не шпионка... Я заблудилась. Это неправда,— добавила она горячо, а Лбов посмотрел на нее тусклым и тяжелым взглядом.

— Ведь вы же знаете, что это неправда,— сказала она, убежденно подчеркивая слово «вы», точно не сомневаясь в том, что Лбов обязательно должен ей поверить.

— Она лжет,— сдавленным голосом сказал Змей и опять схватился за нож.

Но Лбов, очевидно, почему-то поверил. Оттолкнув Змея, он схватил Риту, легко поднял ее, втолкнул в дверь землянки. И так же легко подхватил валявшийся тяжелый пень и прислонил его к двери, а сам крикнул:

— Все скорей за мной!

И Рита осталась одна. Прошло минут сорок, как частая беспорядочная стрельба покатилась по лесу. Рита рванулась к двери, но дверь была заперта крепко. Рита выбила окно, но оно было слишком узкое для того, чтобы можно было в него пролезть.

Выстрелы перекатывались, будоражили ночной покой, и лес заворчал, заохал, застонал. Потом сразу все смолкло, тишина стала еще резче и еще таинственнее.

Прошел еще час. Вдруг, где-то уже совсем недалеко, резко хлопнул одинокий и никчемный выстрел.

Потом, через несколько минут, сквозь разбитое окошко Рита услыхала хруст.

«Кто это?» — подумала она, но крикнуть не решалась. Разговаривали двое.

— Здесь, где-то близко,— сказал один.

— Здесь,— добавил другой,— тут недалеко лошадь попалась привязанная, так офицер наш на нее наткнулся, не разглядел в темноте, да и бахнул. Она так и свалилась.

— Это что, одну да и ту живой захватить не сумели. А сколько они у нас сегодня коней угнали.

— Нэллу! — крикнула Рита.— Мою Нэллу...

Ее напряженные нервы не выдержали, она упала на мягкую груду сваленной в углу листвы и разрыдалась.

Крик, очевидно, услышали, потому что со всех сторон послышался топот, кто-то отвалил от дверей чурбан, и хорошо знакомый ей голос крикнул:

— Эй, выходи, выходи, мать твою...

Рита гневно вскочила, распахнула дверь и, окидывая взглядом казаков, наставивших на нее винтовки, и наведенное на нее дуло офицерского револьвера, сказала презрительно изумленному и ничего не понимающему Астраханкину:

— Вы идиот! И Лбов хорошо сделал, что поколотил вас, вы ничего не смогли... И кроме того, как вы смели убить мою Нэллу?..

ПЕРЕД БУРЯМИ

А в это время Лбов был уже далеко-далеко. Пока казаки подбирались к землянке, Лбов обходным путем зашел к ключу, напал на оставшихся полтора десятка коноводов, половину перестрелял, и, захватив их винтовки, все лбовцы повскакали на бродивших коней и умчались прочь.

На следующий же день срочной шифрованной телеграммой на имя министра внутренних дел пермский вице-губернатор сообщил о том, что лбовцы напали на коноводов отряда ингушей, захватили десять лошадей и пятнадцать винтовок и скрылись в неизвестном направлении.

Через пять часов была отослана дополнительная телеграмма, указывающая на то, что в Мотовилихе в связи с этой победой Лбова чувствуется сильное радостное возбуждение. И это возбуждение выразилось прежде всего в том, что в проходившего мимо пристава Косовского были произведены два выстрела. Покушавшийся скрылся.

Пристав Косовский хотя от выстрелов остался невредим, но тем не менее получил по голове камнем, вылетевшим в следующую минуту из-за забора.

В тот же день на железной дороге весовщик Ахмаров принял несколько тяжелых ящиков с надписями: «Запасные части для машин». Вечером весовщик отдал два из этих ящиков приехавшему за ними человеку. А через час на квартиру его нагрянула полиция, и весовщика арестовали; полиция долго обшаривала его квартиру, потом отправилась в складочное помещение и, распаковав оставшийся ящик, обнаружила там разобранные винтовки и несколько заряженных бомб.

И ночью начали сыпаться в Пермь ответные телеграммы от министра внутренних дел и от III отделения. Министр негодовал, приказывал, грозил. Охранное отделение предупреждало, телеграфировало какие-то списки, сообщало, что направляет надежных провокаторов в помощь пермскому отделению.

Но Лбов был осторожен. Получив оружие, он не бросился сразу же в рискованные операции, а начал готовиться к выступлению обдуманно и серьезно. Он устраивал по лесам запасные убежища.

Демон организовал целую лабораторию, где с помощью нескольких ребят готовил самодельные бомбы[1]. Фома занимался установлением надежной связи с пермскими революционными партиями.

А Змей превзошел всех. Переодевшись, он отправился в Пермь и, выдавая себя за театрального дельца, обошел все парикмахерские, закупая повсюду парики, наклейки, бороды, грим. Змей устроил у себя целый костюмировочный склад, он то и дело появлялся перед товарищами то в виде почтенного старца, то в виде нищего. Однажды даже его чуть-чуть не ухлопали, когда он явился в форме жандармского подполковника. Он начал всех обучать гримироваться и быстро разгримировываться, что впоследствии сослужило огромную пользу лбовцам.

Но полиция тоже не дремала. На Мотовилиху теперь было обращено особое внимание, за Мотовилихой зорко следили казачьи патрули, а также глаза каких-то неизвестных

[1] Демон (Паршенков) до переезда из Петербурга на Урал работал в патронной мастерской Боевой технической группы при ЦК РСДРП.

субъектов, приехавших неизвестно откуда и неизвестно зачем.

Но Мотовилиха умела прятать свою душу в изгибах изломанных улиц, в провалах раскинувшихся холмов и за крепкими засовами закрытых ворот.

Это было время, когда имя Лбова начинало пользоваться большой популярностью. О нем говорил весь рабочий Урал, о нем говорили и в покосившихся домиках, и в крестьянских хатах, и в пивных города. Люди шептались, осторожно оглядываясь, люди восхищались смелостью рабочего бунтовщика.

А сам Лбов в это время горел. Он бесстрашно появлялся в Мотовилихе, он помогал крестьянам, помогал революционным организациям, а главное — организовывал и готовился к решительному и сильному удару, который он задумал нанести жандармерии к началу следующей весны.

Рита Нейберг в это время не скучала. Скуки не было. Но была тоска. Иногда ей хотелось тоже самой сделать что-либо сумасшедшее, убежать в лес к Лбову и носиться на коне рядом с атаманом «Первого пермского отряда революционных партизан». Иногда она ненавидела этого атамана до того, что страстно хотела, чтобы его поймали, застрелили, его, оттолкнувшего и не понявшего Риту.

Свадьбу она все время откладывала и на все просьбы Астраханкина отвечала коротко и неопределенно:

— Нет, нет. Сейчас нельзя. Потом... Я не знаю когда, но только потом.

И в голове Риты была в это время мысль, что, пожалуй, честней было бы сказать, что никогда. Ибо Рита уже чувствовала, что никогда, потому что Рита...

Однажды утром, после бессонной ночи, она заявила отцу, что уедет на Кавказ... Отец обрадовался, он давно замечал, что с ней случилась какая-то необъяснимая перемена, и он горячо сейчас поддержал ее мысль.

Уезжая, Рита долго и жадно всматривалась из окна вагона на спокойную Каму, обвеянную сентябрьским хрустальным светом, и на темный, убегающий к далеким горизонтам, закамский лес.

И в пестряди мелькающих деревьев ей чудился сдавленный шорох майской ночи, лезвие кинжала, блеснувшее

лунным огнем, крепкий зажим кольца сильных рук Лбова, поставивших Риту в землянку.

Паровоз заревел звонким, хохочущим криком, деревья скрывались, и только в эту секунду Рита остро почувствовала, что уезжать из Перми ей почему-то очень и очень тяжело.

ЧАСТЬ II

СХВАТКА

В марте 1907 года Лбов имел уже крепко сколоченный и хорошо вооруженный отряд в тридцать человек[1].

Стоял теплый весенний вечер, с крыш капало, по улицам Мотовилихи шли возвращающиеся с завода рабочие.

Было все тихо, как будто бы совсем спокойно, и только винтовки, заброшенные за спину стоящих на перекрестках городовых, да какое-то приподнятое настроение прохожих указывали на то, что кругом течет тревожная, насыщенная запахом пороха жизнь.

Городовой на посту у Малой проходной только что вынул кисет с табаком, собираясь закурить, как вдруг испуганно выронил его, потому что услышал резкий полицейский свисток с соседнего поста. Он сорвал с плеча винтовку, дрожащими руками двинул затвором, отскочил к забору, оглянулся и заметил бегущего по направлению к нему человека.

Городовой прицелился, выстрелил — промахнулся, выстрелил еще и еще раз... Человек покачнулся, точно кто-то сильной рукой рванул его за плечо, и отскочил за угол.

Путаясь ногами в болтающейся шашке, городовой бросился за ним, завернул на соседнюю улицу, но там никого уже не было. Он удивленно обернулся, недоумевая, куда же мог пропасть Беглец. Потом, сообразив, что человек, должно быть, скрылся в ближайшие ворота, пробежал к ним.

Но ворота ухмыльнулись ему в лицо разрисованной мелом школьников рожей, и слышно было, как они крепко замкнулись тяжелым засовом.

---

[1] Состав отряда Лбова все время менялся на протяжении 23 месяцев его существования. По сведениям полиции, в отряд однажды входило «свыше пятидесяти человек».

Городовой повернулся, вынул свисток и только что поднес его к губам, как услышал какой-то подозрительный шорох позади. Он хотел было отпрыгнуть, но не успел, потому что из-за забора бабахнул негромкий револьверный выстрел, и маленькая пуля от браунинга, ядовито взвизгнув, прошла через толстую черную шинель, через мундир, разукрашенный засаленным кантом, и маленькая пуля столкнула большого грузного человека в снег.

Падая, городовой видел, что калитка дома распахнулась, и четыре человека, поспешно выскочив оттуда, вынесли на руках пятого, и все торопливо бросились в темную глубину соседнего переулка.

На выстрелы неслись конные дозоры стражников, бежали городовые с соседних постов. Они подняли валявшегося полицейского и закидали его вопросами: в чем дело, кто, где и куда?

Он хотел было открыть рот, чтобы что-то ответить, но рот не слушался, он хотел показать рукой, но рука уже умерла. Тогда он покачнулся снова и стеклянными глазами, холодными и безжизненными, как серебряные пуговицы полицмейстерской шинели, не сказал ничего.

В это время Лбов и еще трое были здесь же, в Мотовилихе, на квартире у Смирнова, а еще шесть лбовцев под командой Ястреба[1] были в другом конце поселка — у вдовы Чекменевой.

Лбов по складам читал только что выработанный устав «Первого пермского революционно-партизанского отряда». Фома переводил на шифр какую-то бумагу, а Гром со Змеем играли в шашки.

— И чего, дьявол, канителится? — недовольно проговорил Лбов, отрываясь от чтения.— И куда он только пропасть мог?

Он ожидал Демона, который ушел за только что прибывшим из Петербурга динамитом и что-то уж очень долго не возвращался.

Вдруг Змей, рывком свернув шею набок, прислушался, выскочил из-за стола, смешав шашки, и распахнул форточку окна.

Бум... бу-бу-бум,— тревожно ворвалось в комнату глухое волнующее эхо.

[1] По агентурным сведениям полиции, это был петербургский боевик Василий Панфилов.

Все вскочили. Лбов открыл затвор винтовки и, попробовав пальцем, полна ли магазинная коробка,— вышел на двор. Через несколько минут он вернулся и сказал, что стреляют где-то возле проходной и что надо быть начеку.

Змей вышел наружу, дошел до темного угла и, прислонившись к забору, слился с ним черной, расплывчатой тенью и стал ожидать. Через некоторое время он услышал, как на гору торопливо бегут два либо три человека. Змей снял с плеча винтовку и остановился, готовый каждую секунду дождем выстрелов засыпать всякого, пытающегося прорваться насильно к убежищу Лбова. Но это была не полиция, а двое незнакомых рабочих.

— В чем дело? — негромко крикнул им Змей, вырастая из темноты перед ними.

— Где Лбов? — задыхаясь, проговорил один...

Не останавливаясь, они все вбежали в ворота.

— Лбов,— проговорил другой взволнованно,— тут одного из ваших узнали, за ним была погоня и его ранили. Потом мы убили полицейского, а раненого унесли... Сейчас он у Коростина на квартире. Что делать?

— А кого ранили? Ты знаешь его? А куда он ранен? — встревоженно проговорил Фома.

— Не знаю, а спросить невдомек было, да и не успели, а ранен в плечо, ну только, кажись, не особенно.

— Надо всматриваться,— сощуривая глаз, сказал Змей.

— Надо увезти его,— предложил Гром.

— Не надо,— оборвал их Лбов,— не надо увозить... Сейчас мы пошлем к нему доктора, потом ты...— он показал пальцем на насупившегося Грома,— ты проберись к нашим и скажи Ястребу, чтобы без моего разрешения никто и никуда. Да приведи-ка сюда Жидовку[1], нечего ей там околачиваться. А Змей пускай пойдет и узнает, кто это, кого они ранили, я думаю, что, вероятно, Демона[2]. А если Демона,

---

[1] Для объяснения клички при публикации повести в архангельской газете сделано примечание: «Под этим именем она значилась в материалах охранки» (см.: «Комсомолец», 1929, 11 июня). Однако в материалах охранки никто под этим именем не значится.

[2] Серьезно раненного Демона лечила на конспиративной квартире мотовилихинского рабочего Кутузова большевичка Клавдия Кирсанова (будущая жена Емельяна Ярославского). Но и в это время имя Демона часто повторялось в полицейских донесениях, как человека, все время остающегося в строю. В чем дело? Загадку удалось разрешить лишь теперь, когда среди документов особого отдела Департамента полиции нашлось сообщение: кличку Демона в этот период взял себе другой боевик. Этот обычай и рождал в народе легенды о том, что лбовцев пули не берут.

то спроси его, где динамит, и вообще узнай, в чем там дело, и скажи, что пусть не беспокоится, мы ему пришлем доктора. Ну, живо...

Гром накинул полушубок, поправил кобуру револьвера и направился к выходу. А Змей уже исчез.

В это время Ястреб я пятью лбовцами был наготове. Черная женщина, услышав выстрелы, бросилась к окну, потом хотела было выбежать на двор, но Ястреб крепко ухватил ее за руку и толкнул обратно на лавку.

— Сиди и не суйся.

— Мне страшно,— сказала она,— я лучше убегу и одна проберусь в лес.

— Сиди,— повторил Ястреб и внимательно посмотрел на нее.

И пытливый взор Ястреба уловил какое-то несоответствие между ее испуганными словами и спокойным провалом черных глаз, в которые нельзя было смотреть и взгляд которых нельзя было пересмотреть, ибо они всегда светились ровной, загадочной темнотой.

— И откуда она взялась на нашу голову?— опять вслух высказался кто-то. Но в это время вошел Гром и передал, что Лбов приказал никому и никуда не уходить, ни с кем не связываться до рассвета, потому что надо во что бы то ни стало забрать и унести динамит, полученный для бомб. Он передал это, потом приказал женщине идти за ним.

— Хай катится от нас подальше,— сказал Ястреб,— а то сидит, как сова какая-то, и молчит, ни с ней поговорить, ни к ней подступиться.

Женщина накинула платок и вышла. Была чуть-чуть морозная ночь, ручьи продолжали еще булькать, но под ногами то и дело похрустывали тонкие пластинки льда. Гром никогда много не разговаривал, женщина — та и подавно, потому и шли молча.

Было темно, и Гром несколько раз оступался и, продавливая стекляшки льда, попадал ногой в воду.

— Ну, ну, не отставай,— говорил он несколько раз женщине, бесшумной тенью следовавшей за ним. Возле одного из поворотов Гром слегка поскользнулся, и почти одновременно невдалеке заржала лошадь, а кто-то окрикнул громко:

— Стой, стой!.. Кто идет?.. Говори, а не то стрелять буду!

Гром сильно толкнул женщину в сторону и сам приник в углубление каких-то ворот.

— Кто там шляется? — спросил опять тот же голос.

— Никого, должно быть, — ответил другой, — это лед в ручье от мороза хрустнул.

— Ну и жизнь, ну и жизнь, — сплевывая, проговорил первый, — ни тебе днем, ни тебе ночью покоя. Ворота скрипнут — за винтовку хватайся, ветер зашумит — к шашке тянись.

Один из трех конных проехал около забора близко, близко так, что Гром мог бы достать круп его лошади концом дула своего револьвера. Гром уже думал, что опасность миновала вовсе, но в это время кто-то впереди загорланил какую-то несуразную песню — должно быть, пьяный, возвращающийся с какой-нибудь попойки, и один из стражников тотчас же повернул и поскакал обратно, а остальные отъехали в сторону и остановились. Гром не видел их, но чувствовал по фырканию лошадей, что они близко. Он выбрался из своего убежища, тихонько дернул женщину за конец платка и пошел вперед. Но не прошел он и полсотни шагов, как столкнулся вдруг со стражником, возвращающимся с захваченным пьяным.

— Что за человек? — окликнул тот.

— Здешний, — сдержанно ответил Гром.

— А ну, давай сюда.

Гром хотел уже выстрелить, но в этот момент пойманный пьяный заорал опять что-то бессмысленное, пытаясь вырваться, стражник ухватил его еще крепче за шиворот, а другой рукой схватился за луку седла, чтобы не слететь, и крикнул во все горло:

— Эй, ребята, давай сюда!..

— Бежим, — шепнул Гром женщине и прыгнул в темноту.

— Уф... ну и влипли было, — проговорил он, останавливаясь минут через двадцать.

Он обернулся.

— Где ты? — крикнул женщине и прислушался. Но было все тихо, только нудно подвывали встревоженные собаки, да чуть слышно булькали запертые льдом ручейки, а женщины не было.

Наконец он добрался до места. Змей уже вернулся и передал, что ранили Демона, а ящик с динамитом уже здесь.

— А где Жидовка? — спросил недовольно Лбов. Он не любил, когда не выполняли его распоряжений, хотя бы и мелочных.

— А пес ее знает,— ответил Гром и рассказал, как было дело.

Лбов забеспокоился, он приказал тотчас же собираться, хотя ему нужно было еще видеть одного из членов подпольной партийной организации, чтобы передать ему некоторую сумму денег, а также кое о чем условиться.

— Ежели ее захватили, так она все может выболтать, и того и гляди, что жандармы...

— Не выболтает,— сказал Фома,— она здорово молчаливая баба.

— Как начнут нагайками, так и выболтает. А ну, давай собирайся.

Но в это время со двора послышался условный свист.

— Кто-то из наших.

Распахнулась дверь, и вошла черная женщина.

— Ты где была, дура? — недовольно, но вместе с тем и облегченно спросил Лбов.

— Я отстала, он слишком быстро бежал, и потом я попала не в тот проулок.

Через несколько минут пришел и тот, кого ожидал Лбов. Они долго и горячо разговаривали. Стало уже светать.

— Смотри,— сказал под конец пришедший,— смотри, Лбов, сочувствие к тебе сейчас огромное, но не покатись только вниз, ребята твои что-то того...

— Чего? — Лбов пристально посмотрел на него.

— Не слишком ли уж они экспроприациями увлекаются?

— Говори проще, грабят, мол, много, так это правда, а вот погоди, еще больше будем. Мы не без толку грабим, а с разбором.

— Смотри, разбирайся лучше, а то восстановишь всех против себя и даже...

— Вас, что ли? — резко перебил Лбов.

— А хотя бы и нас.

— А кто вы и что вы можете?..— начал было Лбов.— Впрочем, не будем ссориться,— оборвался он вдруг и крепко стиснул руку товарищу.

В сенях послышался топот. С силой ударилась о стену отброшенная дверь, ввалился полицейский пристав, а за ним показались около десятка вооруженных городовых.

— Стой!—торжествующе крикнул пристав.—Стой, руки вверх!

Но прежде чем он успел нажать «собачку» своего револьвера, низенький и толстый Фома с неожиданным проворством выхватил револьвер и разбил приставу череп. И все лбовцы почти одновременно ахнули в столпившихся полицейских горячим огневым залпом.

Ошарашенные городовые откачнулись обратно за дверь. Не давая им опомниться, лбовцы кинулись за ними.

— Тащите динамит через огороды!—крикнул Лбов Змею.—А мы их отвлечем на себя.

Через минуту по улицам шла отчаянная стрельба, через две—первая партия полицейских во весь дух уносилась от лбовцев. Но уже со всех сторон к полиции подбегало подкрепление.

— Забирай динамит!—крикнул еще раз Лбов.—А мы... мы заманим их сейчас в ловушку.

И он приказал остальным:

— Отходи, ребята, за мной, в сторону Ястреба.

И ребята поняли, что он задумал.

Полиция, получив новое подкрепление, снова открыла бешеную стрельбу по отступающим лбовцам. Но все же перейти в открытую атаку полицейские не решались и держались на почтительном расстоянии.

— Не торопись, не торопись,—успокаивая, отрывисто бросал отстреливающийся Лбов своим товарищам, перебегающим от одного уступа к другому.

Лбовцы отходили, полиция наседала.

Наконец Лбову надоела эта канитель, и, кроме того, он решил, что ящик с динамитом, должно быть, давно уже в надежном месте. И, раздразнив напоследок полицию, он приказал громко:

— А ну, бегом, ребята!

И все быстро кинулись прочь. Полиция поняла это по-своему, она решила, что лбовцы не выдержали и убегают. С торжествующими криками вся орава бросилась вдогонку. Но это была только ловушка. Прислушивающийся к выстрелам Ястреб давно уже стоял на крыше какого-то сарайчика и, крепко сжимая винтовку, всматривался, силясь разобрать, в чем там дело. Ястреб помнил приказ Лбо-

ва не двигаться с места и сейчас зоркими глазами разглядывал отступающих в его сторону лбовцев и несшихся за ними преследователей.

Ястреб понял все и криво усмехнулся краями губ. Через минуту он с пятерыми товарищами прильнул за забором.

— Эге-ей!..— окрикнул Лбов, не останавливаясь и пробегая мимо.

— Эге-ей... есть,— ответил Ястреб.

И когда бегущие полицейские поравнялись с засадой, Ястреб дунул залпом шести винтовок в бок преследователям. Не ожидавшая отсюда удара полиция дрогнула. А лбовцы, повернувшись, бросились опять на нее с фронта, и расстреливаемые городовые в диком ужасе бросились назад...

Через несколько минут соединившиеся лбовцы спокойно уходили за Каму, покрытую полыньями и блестками пятен выступающей весенней воды.

И только когда они были уже возле середины реки, вдогонку им щелкнули три-четыре выстрела.

В этот же вечер к Лбову прибежало еще пять человек, на следующее утро к отряду примкнуло еще семь.

Через день Лбов, долго ломавший голову над вопросом, кто указал его местопребывание в Мотовилихе, получил сведения о том, что... его нечаянно выдала одна молодая девчонка, которая была захвачена полицией и, желая навести ее на ложный след, случайно указала как раз ту квартиру, в которой ночью остановился Лбов.

Это было только отчасти правдой, потому что дело тут осложнялось одним неучтенным обстоятельством...

Весна стояла в полном цвету. По Каме свистели пароходы, по рощам свистели соловьи, по лесам свистели пули. И под эти веселые свисты шла веселая, напряженная и бурная жизнь.

И что только было? Ни старики, ни старухи, ни даже древний дед Евграф, который чего только за свои сто лет не успел пересмотреть, и те такого никогда не видели.

Отряд Лбова с красными флажками, прикрепленными к дулам неостывающих винтовок, бился не на жизнь, а на смерть с жандармерией. Бился с веселым смехом, с огневым задором и с жгучей ненавистью. По дорогам рыскали каза-

чьи патрули, но для лбовцев не было определенных дорог, им везде была дорога.

Астраханкин загорел, его мягкое, ровное лицо обветрилось, и он едва успевал носиться со своим отрядом от одного края к другому.

Было теплое, весеннее утро, такое, когда солнечные лучи искристыми узорами переплетали молодую росистую траву, когда поезд, в котором возвращалась с Кавказа Рита, невдалеке от Перми едва не сошел с рельсов и остановился перед грудой наваленных поперек шпал.

Первый и второй классы были ограблены дочиста, после чего машинисту было разрешено двигаться дальше. По прибытии в Пермь поезд был оцеплен кольцом жандармов, начались сейчас же допросы и дознания, и никого не выпускали. Арестовали машиниста и человек десять ни в чем не повинных мужиков и даже одного господина, занимавшего купе мягкого вагона.

Насилу прорвавшийся через сеть жандармов Астраханкин бросился встречать и выручать от дальнейших расспросов Риту. Два раза пробегал он весь состав, потребовал даже у проводников, чтобы они открыли ему все вагонные уборные, заглянул и на багажные полки, но Риты нигде не было.

Хорунжий был вне себя. Два дня и две бессонные ночи он рыскал с ингушами и надеялся напасть на ее след. На третий, совсем отчаявшись и обезумев, он сидел в комнате Риты за столом, на котором лежал заряженный револьвер, и писал сумасшедшую прощальную записку. В это время бесшумно защуршала дверь и в комнату вошла Рита.

Она была бледна и чуть-чуть пошатывалась. И какая-то новая, чужая складка залегла возле ее изломанных и красивых губ.

На все вопросы она отвечала коротко и неохотно: была в поезде, а во время остановки, когда лбовцы стреляли, спряталась в кусты... Потом, испугавшись, бросилась бежать дальше... Заплуталась... Пролежала, простудившись, в крестьянской избе и потом вернулась сюда... Вот и все. А в общем, устала, не хочет, чтобы ее много расспрашивали, и хочет отдохнуть.

Но это была неправда. Если бы отец Риты проснулся этой ночью, то он был бы немало изумлен. Рита встала, накинула поверх рубашки легонькое платьице, босиком пробралась в кабинет отца и потом долго возилась там и один за другим открывала зачем-то ящики его письменного стола.

КАК ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК ЧЕБУТЫКИН ПОПАЛ В ХОХЛОВКУ И КАКИЕ СТРАННЫЕ ВЕЩИ ВОКРУГ НЕГО ТВОРИЛИСЬ

На этот раз Феофан Никифорович хотя и ехал налегке, без денежной почты, на которую мог бы кто-либо польститься, но тем не менее некоторое неприятное чувство не покидало его всю дорогу.

Один раз на пути ему попались два вооруженных человека, которые остановили лошадей и попросили у него закурить. И они были весьма удивлены, когда в ответ на такую скромную просьбу Феофан Никифорович что-то завопил и торопливо поднял руки вверх.

Люди, переглянувшись, улыбнулись, залезли к нему в карман, достали коробку спичек, половину отсыпали себе, а половину отдали ему обратно и, поблагодарив, ушли, оставив Феофана Никифоровича в приятном изумлении.

Лошади тронулись. И Чебутыкин поехал дальше, значительно успокоенный, рассуждая приблизительно так, что лбовцы, в сущности, уж не такие страшные люди и иногда даже весьма приятны в обхождении, особенно ежели ехать без денег.

Второй раз ему пришлось удивиться часом позже, когда, заворачивая по лесной дороге, он наткнулся на странную картину: несколько человек невдалеке от дороги стояли возле телеграфного столба, а один, забравшись на столб, старательно перерезал провода, и стоящие внизу шумно выражали свое удовольствие при лязге каждой новой падающей проволоки.

Так как это занятие, по мнению Чебутыкина, приносило явный вред почтовому ведомству, чиновником которого он состоял, то вполне естественно, что он сильно возмутился и даже высказал резкий протест против такого образа действий.

Но работающие не обратили никакого внимания ни на Чебутыкина, ни на его протест (тем более что последний был высказан лишь про себя), если не считать только того, что человек, вынырнувший откуда-то из-за кустов, сказал Чебутыкину вежливо:

— Если вы, господин хороший, чего-либо сболтнете лишнего, так мы на обратном пути будем вас того...

А сам похлопал рукой по поясу, а на поясе... бог ты мой, что увидел Чебутыкин на поясе! — два револьвера, один кинжал, одну бомбу и целую пачку патронов.

И увидевши такое скопление смертоносных орудий, готовых обрушиться на обратном пути на его голову, Чебутыкин поклялся (опять мысленно), что будет молчать, хотя бы на его глазах повырубили все телеграфные и телефонные столбы по всей дороге.

В Хохловке, куда наконец добрался Чебутыкин, было несколько человек жандармов, и потому Феофан Никифорович почувствовал себя в безопасности и остановился у старосты. Был праздничный день. По улицам с гармошкой ходили подвыпившие парни, визжали девчата. В общем, было шумно и весело, чересчур даже весело, так что, пожалуй, получалось нехорошо.

Например, кто-то от полноты чувств запустил в старостино окошко камнем, который попал прямо в голову расположившемуся было отдохнуть Феофану Никифоровичу, чем поверг его в сильнейшее и вполне законное негодование. Он высунулся тогда из окошка, желая уличить виновного в таком неблаговидном поступке, но виновного отыскать было трудно, а просто кто-то из толпы показал Феофану Никифоровичу фигу, чем дело и кончилось.

— Не знаю, что с парнями на селе делается,— почесывая голову, проговорил вошедший в избу староста,— бесятся, охальничают... А тут еще чужаки какие-то, из соседней деревни что ли понаехали, баламутят наших. Пойтить позвать жандармов, что ли?

— А сколько их? — поинтересовался Чебутыкин.

— Да человек семь либо меньше будет.

Староста ушел. В одном конце села завязалась драка, еле разняли. В квартиру лавочника влетел здоровенный булыжник, завернутый в какую-то бумагу. Лавочник развернул бумагу, а на ней было написано: «Смерть паразитам и эксплуататорам!»

Смысл этой фразы лавочник так и не понял, но, почувствовав в ней что-то недоброе, понес ее к жандармскому унтеру, который и объяснил ему обстоятельно, что тут «такое, такое завернуто», а в общем, «ах они, сукины дети!» Жандарм не стал вдаваться в более подробные разъяснения и начал пристегивать шашку.

— Ой, что-то неладное,— проговорил лавочник, встречаясь с Чебутыкиным, который никак не мог сидеть дома, по-

тому что возле дома... черт его знает, что такое парни с девками устраивать под окошками начали. Конечно, ничего особенного: тискаются, целуются, но все-таки женатому человеку смотреть как-то неудобно.

— А что? — спросил он.

— Да, так... Смотри-ка, смотри-ка, — шепотом заговорил вдруг лавочник, — рожи какие-то незнакомые.

Чебутыкин обернулся и обомлел. В толпе стоял человек, который еще недавно сидел верхом на телеграфном столбе и перерезывал провода.

Вдруг откуда-то вынырнули два жандарма с озабоченными, встревоженными лицами, и не успел человек опомниться, как его схватили уже за локти и куда-то повели.

Парни шарахнулись в стороны и рассеялись. А Феофан Никифорович, почувствовав себя вдруг в странном и неприятном одиночестве, решил, что, пожалуй, лучше поскорей прийти к своей знакомой — продавщице казенной винной лавки.

Захлопнув за собой калитку, он (уже значительно успокоившись) приоткрыл ее опять и высунул голову, желая поинтересоваться, что же это такое будет.

На улице было пусто, но изо всех окошек торчали любопытные головы. По дороге навстречу жандармам, ведущим арестованного, ковылял нищий старик, но и он испуганно остановился, заметивши процессию с арестованным.

Нищий был стар и сгорблен, но когда жандармы сделали шаг мимо него, нищий выпрямился и выстрелил одному из них в спину, другой испуганно шарахнулся в сторону сам, а пленник рванулся вперед.

И почти тотчас же с окраины послышалась частая стрельба, и несколько человек с красным флажком появились откуда-то на улице.

Заметив, что дело принимает такой боевой оборот, Чебутыкин хотел было запереть на засов калитку и спрятаться куда-нибудь подальше, но калитку кто-то сильно толкнул, так что Чебутыкин мячиком отлетел и очутился где-то возле навозной кучи.

Во двор вошел один из лбовцев, стукнул прикладом в дверь, и когда оттуда выглянуло испуганное лицо продавщицы, он потребовал водки. Та скрылась на минуту, потом дрожащей рукой протянула ему бутылку, но он вдруг вскинул винтовку и почти в упор выстрелил в нее.

Продавщица вскрикнула и упала, лбовец же бросился прочь. А Чебутыкин, как стоял возле навозной кучи, так и сел. Он хотел было подняться, но с перепугу ноги не слушались — он так и застыл на месте с фуражкой, сбившейся набок, и с рукою, крепко уцепившейся за колесо рядом стоящей телеги.

В это время лбовцы разбивали бутылки с вином и грабили кассу казенки.

— Слушай,— волнуясь, крикнул Фома, подбегая к Лбову, отдающему приказания одному из ребят,— слушай, Александр, что же это такое? — И Фома затрепыхался белыми, подслеповатыми ресницами негодующих глаз.

— Что?

— Как что? Я вхожу, смотрю — женщина лежит раненая, кто-то из наших взял да и выстрелил в нее, так просто, ради удовольствия. Это что же такое, это даже не просто грабеж, а так, бессмысленный бандитизм какой-то!..

Лбов посмотрел на него гневно и сказал:

— Ты врешь! Если в нее стреляли, так, значит, было за что, у меня даром ребята стрелять не будут...

— Не будут? — опять возмущенно перебил его Фома.— При тебе не будут. А кто на прошлой неделе казака убил, которого ты велел отпустить? Не будут? — еще громче начал он.— А как ты чуть отвернешься, так некоторые из твоих новых молодцев всех подряд перестрелять готовы? Попробуй, если хочешь, дай им потачку, попробуй и посмотри, что тогда получится.

— Я потачки не даю! — взбешенно крикнул Лбов и крепко схватил за руку Фому.— Я никому, никогда не даю, это... ты врешь, а если ты не врешь, а если вы там за глазами у меня что-то делаете, так я когда узнаю об этом, то смотри, что я сделаю.

Он выхватил свисток и резким условным сигналом переkликнулся с остальными, и почти тотчас же со всех сторон понеслись на его зов лбовцы.

— Кто убил бабу? — спросил Лбов, когда все собрались около него.— Говори прямо.

Все молчали.

— Я спрашиваю: кто убил? — повторил Лбов и мрачно, пытливо посмотрел на окружающих.

— Не знаю... не видал... Кто-то хоронится, сукин сын,— послышались в ответ недоумевающие голоса.

— Хорошо,— крикнул тогда Лбов,— я узнаю и так, а когда узнаю, то застрелю его как собаку!

Он шагнул во двор — и Феофан Никифорович умер, а если не совсем умер, то почти что совсем, потому что он услышал только последние слова Лбова и подумал, что это относится лично к нему.

— Ваше благородие, господин начальник,— дрожащим голосом начал он, да... так и остался с открытым ртом, потому что в вошедшем узнал своего бывшего ямщика, который когда-то так ловко ограбил его.

Лбов заметил Чебутыкина, но, по-видимому, не узнал его. Какая-то мысль осенила вдруг его голову, потому что он подошел к Чебутыкину, взял за руку и, легонько подымая его, спросил коротко:

— Ты зачем здесь сидишь?

— Я... я отдыхаю, господин ямщик... то есть господин начальник,— испуганно забормотал Чебутыкин.

— И давно это ты здесь отдыхаешь?

— Недавно... то есть давно... ваша светлость,— взмолился вдруг он,— да за что же, да разве же я что-нибудь против имею... Господи, да когда вы прошлый раз мою почту изволили ограбить, разве же я тогда не сочувствовал, ведь меня же тогда, по подозрению, целую неделю в арестном доме продержали... Да зачем же убивать меня... меня, я человек безвредный, я вот на днях в Ильинское опять с почтой поеду, так, может, тогда, бог даст, ваше сиятельство, опять...

— Молчи, дурак, какое я тебе сиятельство,— усмехнулся Лбов,— никто тебя убивать не хочет, а ты скажи-ка мне, видел, кто убил продавщицу?

— Не видел... то есть видел... то есть я сидел отвернувшись...— И Чебутыкин вопросительно посмотрел на Лбова, стараясь угадать, как тому будет угодно: чтобы он видел или не видел.

— Значит, видел,— подбадривающе сказал Лбов.

— Видел, видел, ваше сиятельство, то есть господин атаман. Как же не видать, когда я, можно сказать, на навозной куче напротив пребывал.

— А ну-ка, покажи-ка мне его?— И Лбов вывел Чебутыкина за ворота, где, выстроившись, стоял весь отряд.

Лбов и Чебутыкин прошли по фронту. Чебутыкин только было остановился перед человеком, стрелявшим в продавщицу, как вдруг поперхнулся и попятился назад, потому

что увидел, как тот предостерегающе посмотрел на него и руку положил на подвешенный сбоку револьвер.

— Никак не могу признать,— начал было он растерянно.

Но Лбов пытливым взором заметил движение человека, потянувшегося к револьверу, и внезапную заминку Чебутыкина.

— Этот?—крикнул он и неожиданно с силой схватил за руку одного из новых, недавно поступивших в его отряд.

— Этот,— упавшим голосом из-за спины Лбова ответил Чебутыкин.

В окошко выглядывали любопытные бабы, невдалеке стояли мужики и внимательно присматривались к происходившему.

— У меня, в Первом революционном отряде пермских партизан, бандитов не должно быть и не будет никогда,— холодно и громко проговорил Лбов.— Так я говорю?

— Так, правильно,— послышались в ответ хмурые голоса.

— Лбов... что хочешь?—удивленно спросил его Фома, почувствовавший недобрые нотки в его голосе.

— Оставь, не твое дело,— резко ответил тот. Затем перед глазами всего отряда и окружающих мужиков схватил за руку и дернул вперед стрелявшего так, что тот очутился рядом с Чебутыкиным.

— У меня, в революционно-партизанском отряде, который борется против царизма, бандитов не было и не будет,— повторил он опять.

И в следующую секунду в глазах Чебутыкина сверкнул маузер, в уши ударил грохот, и он покачнулся, считая себя уже погибшим. Но потом сообразил, что стреляли не в него, потому что бывший лбовец зашатался и с проклятием грохнулся на землю, срезанный острой пулей[1] сурово сверкающего глубиной разгневанно-жестоких глаз атамана Лбова, неторопливо вкладывающего дымящийся маузер в кожаную кобуру.

---

[1] Событие это произошло 12 мая 1907 года в большом прикамском селе Хохловке. Пермский губернатор докладывал в Петербург: «Раненный несколькими выстрелами их товарищ Всеволожский выскочил на улицу и упал». Уходя, лбовцы оставили записку: «Товарища убили за то, что стрелял в женщину». Продавщице Анне Киселевой была сделана перевязка фельдшером лбовцев. А сам «казненный», придя в себя, сообщил полиции, что он киевский мещанин, в Пермь же приехал совсем недавно из Челябинска.

В столе своего отца, управляющего канцелярией губернатора, Рита не нашла того, что ей было нужно.

Рита сказала не всю правду дома. Верно, что она пролежала два дня в крестьянской избе, верно и то, что в то время, когда лбовцы грабили поезд, она спряталась в придорожной лесной гуще. Но она умолчала о том, что виделась с Лбовым, что Лбов посмотрел на нее удивленно и спросил ее, пожимая плечами:

— Опять вы?.. И что вам вообще от меня нужно?

— Возьмите меня к себе,— как-то бессознательно, помимо своей воли, сказала Рита. И сквозь смуглую кожу ее лица засветилась вдруг холодная бледность, когда ответил он ей все так же спокойно:

— Нет, я не возьму вас, потому что вы не нужны ни нам, ни мне,— он подчеркнул последнее слово.

На побелевших и крепко стиснутых губах Риты выступила рубиновая капелька крови.

Что было в эту минуту на душе у Риты, передать трудно. Рита почувствовала только, что в виски ударила не то боль, не то большая обида, не то еще что-то тяжелое, а кругом стало так пусто, что воздух зазвенел стеклянным и холодным звоном — это под порывами ветра, стягивающего грозовые тучи, пели и звенели, звенели и пели и со звоном смеялись над Ритой телеграфные провода.

— Хорошо,— сказала она глухо, глядя на траву, по которой белые цветы рассыпались бледными улыбками.— Хорошо,— повторила опять Рита.

Силы ее оставляли. Она кровянила и сжимала острыми зубами губы, чтобы выдержать еще минуту и уйти хотя бы видимо спокойной. Она повернулась и сделала шаг вперед.

— Постойте,— остановил ее Лбов, с удивлением всматриваясь в непокорные, с трудом сдерживаемые ее волей черты ее лица.— Скажите, зачем вам к нам в отряд? Вы дворянка, аристократка, а я...— голос Лбова зазвенел,— я ненавижу аристократов и... уходите.

Рита сделала еще шаг.

— И уходите скорей,— повторил Лбов,— потому что я не знаю, почему я не пустил вам пулю из своего маузера.

Рита остановилась, не меняя выражения лица и как бы подчеркивая, что она не будет иметь ничего против, если он возьмется за маузер.

Лбов был несколько ошеломлен, он помолчал немного, потом медленно и четко сказал:

— Для меня ничего, кроме моей ненависти к жандармам и ко всем, кто за жандармов, за полицию и за охранное отделение, нет, и я не верю аристократам, но вам почему-то я немного, очень немного, а все-таки верю. И я позволяю вам чем-либо доказать...— Он запнулся, потом добавил уже совсем другим тоном:— У меня в отряде есть провокатор, и я не знаю его...

Он повернулся и ушел, подозревая, презирая, но и удивляясь какой-то скрытой силе, руководящей безрассудными поступками взбалмошной девчонки.

Через несколько дней Лбов, Фома и еще один парень были в Мотовилихе без винтовок, но с револьверами, запрятанными в глубину карманов, и с бомбами, засунутыми за пазухи.

Лбов зашел к Смирнову и уговорился там, когда и в какое время он встретится с представителями загнанных в подполье революционных партий. Было решено, что это будет в субботу, здесь же, а чтобы не навлекать никаких подозрений, Лбов должен явиться скрытно и один.

Солнце уже было у горизонта, когда Лбов со своими двумя спутниками возвращался обратно. На углу одной из улиц они остановились, Лбов вынул папиросу, а Фома вслух читал объявление о том, что «за поимку государственного преступника, разбойника Лбова, будет выдана немедленно крупная денежная сумма».

Лбов усмехнулся, сунул папиросу в рот и сказал, обращаясь к Фоме:

— Расщедрились, сволочи, думают подкупить, так все равно без толку. Кто за меня стоит, тот не выдаст, а кто против меня, тот не выдаст тоже, потому что боится, что мои же ребята после ему шею свернут... Дай спичку!

— Нету,— ответил, пошарив в карманах, Фома,— забыл на столе.

— А курить охота,— Лбов оглянулся, вблизи никого не было, только на перекрестке, облокотившись на винтовку, стоял городовой.

— Постой,— усмехнувшись, сказал Лбов,— пойду достану огня,— и он направился к полицейскому.



— Разрешите прикурить,— хитро прищуривая глаза, вежливо попросил Лбов.

— Проваливай, проваливай! — грубо ответил тот, оборачиваясь и заглядывая в лицо просившему.

— Разве спички жалко? — начал было опять Лбов.

Но полицейский, разглядев его лицо, на глазах у Лбова начал вдруг бледнеть и, тяжело дыша, торопливо и испуганно хлопать глазами. По-видимому, он узнал Лбова, потому что дрожащими руками полез в карманы, достал коробок и, щелкая зубами, выбивающими дробь, чиркнул спичку — она сломалась, чиркнул другую — опять сломалась, наконец третья зажглась. Он протянул ее к папиросе спокойно заложившего руки в карманы Лбова и долго никак не мог приложить огонь к ее концу и зажечь ее, потому что и огонь стал, должно быть, холодным от сильного озноба, охватившего городового.

— Спасибо,— спокойно ответил Лбов и, не оборачиваясь, пошел дальше.

Он не боялся выстрела в спину, потому что знал, что полицейский не в силах сейчас ни поднять десятифунтовую винтовку, ни раскрыть застегнутую кобуру револьвера.

Когда Лбов скрылся из глаз городового, тот вздохнул облегченно, сняв шапку, перекрестился и рукавом вытер мокрый лоб — белый, покрытый каплями холодного и крупного пота.

РАСКРЫТОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО

В субботу, после обеда, Астраханкин зашел к Рите и передал ей, что сегодня вечером он не сможет быть с ней в театре, потому что, по-видимому, будет большое дело.

— Какое? — насторожилась Рита.

— Опять со Лбовым.

— Со Лбовым? — равнодушно переспросила Рита, по-видимому, очень мало интересуясь этим.

Она подсела к нему, взяла его руку и спросила ласково:

— Что это вы последнее время хмурый такой?

— Рита,— начал было Астраханкин укоризненно,— Рита, и вы еще спрашиваете...

Рита засмеялась негромко и мягко, но сквозь эту мягкость чуть-чуть проглядывали нотки хорошо скрытой, крепко-крепко спрятанной грусти. Но Астраханкин не уло-

вил их. У него была слишком казачья натура, он умел хорошо джигитовать, замечательно танцевать кавказского «шамиля» и с одного маха рубить на скаку связанные фашинами ивовые прутья. И где ему было разбираться в оттенках.

Он обрадовался, потому что не видел давно Риту такой приветливой, подвинулся к ней ближе и, не выпуская ее руки, заглянул в лицо.

— А вас не убьют? — участливо спросила она.

— Не должны бы, а впрочем, кто от этого застрахован? Сегодня Лбова наверняка возьмут. Только вряд ли живым удастся.

— Как, кто возьмет? — крикнула Рита, но тотчас же замолчала и потом спросила лениво: — Где?

— В Мотовилихе. У него там сегодня какое-то совещание, нам донесли об этом из его же шайки.

Рита насторожилась, сердце у ней забилось быстро-быстро... Еще чуть-чуть... еще немного, и она узнает все. Она сама подвинулась к Астраханкину совсем вплотную и положила ему другую руку на колено.

— А может быть, это неправда... Кто вам сказал про это?

— Тут...— Астраханкин замялся.

А Рита поглядела на него, крепко опутывая его взглядом хороших, ласковых глаз.

— Это... это секрет большой, Рита, я, конечно, не вправе... но я надеюсь на вас. Видите ли, у него в отряде есть одна женщина.

— Женщина? — удивленно переспросила Рита, и ей вдруг вспомнилась лунная поляна в лесу и закутанная в платок тень, пробегающая, осторожно озираясь, мимо деревьев.

— Да, представьте себе, женщина... еврейка. Это очень интересная история: муж ее революционер, его ждет приговор к смертной казни, и ей было обещано, что если она сумеет выдать Лбова, то мужа ее помилуют[1]. Она, знаете...

[1] Жена мотовилихинца Ивана Смириова в 1907 году стала осведомителем полиции и однажды действительно выдала квартиру рабочего Витте, где происходило совещание подпольщиков. Однако Лбову тогда удалось скрыться. Предательство жены не спасло мужа: Иван Смириов вместе с большевиками Николаем Вагановым и Клавдией Кирсановой были приговорены по делу лбовцев к ссылке в Сибирь. В 1918 году ревтрибунал приговорил Смирнову к расстрелу. Приговор привел в исполнение сам Смириов. Видимо, эта история, став известной Гайдару, и послужила отчасти материалом для создания образа незнакомки.

сейчас у Лбова. И вот сегодня один человек принес от нее записку, где она указывает прямо. Теперь это дело верное.

Рита отодвинулась от Астраханкина, сняла руку с колена, потом (как бы поправить прическу) высвободила другую. Она знала все, что ей было нужно, и теперь это было ни к чему.

Астраханкин торопился, ему надо было сделать кое-какие приготовления.

Едва он ушел, Рита забежала к себе в комнату, сунула в карман маленький браунинг, вышла во двор и, оседлавши лошадь, вскочила в седло и умчалась куда-то, по обыкновению, ничего не сказав дома. Надо было предупредить, во что бы то ни стало предупредить Лбова, если еще не поздно.

Около Мотовилихи она остановилась и сообразила, что она ведь ни с кем не условливалась, не уговаривалась, где может разыскать Лбова и как передать ему. И Рите стало холодно при мысли о том, что она, по-видимому, ничего не сможет сделать.

Вдруг счастливая мысль осенила ее голову, она вспомнила, как Астраханкин говорил ей, между прочим, что Соликамский тракт стал за последнее время самым опасным местом, и лбовцы то и дело шныряют там и перестреливаются с разъездами жандармов. Рита жиганула нагайкой лошадь и понеслась туда.

Но было пусто и глухо на покинутой разбойной дороге. Проскакавши порядочно, Рита остановилась возле какого-то домика, выросшего перед ней из-за кустов, и, чувствуя, что горло ее пересыхает, привязала лошадь и вошла во двор.

Во дворе стоял сгорбленный старик и о чем-то разговаривал с длинным, тощим монахом с жестяной жертвовальной кружкой, болтающейся около живота, и рыжеватыми, всклокоченными волосами, выбивающимися из-под затрепанной скуфейки. Рита попросила пить. Старик пошел в хату за квасом, а Рита с монахом осталась во дворе.

— Пожертвуйте что-либо на построение божьего храма,— вкрадчиво, заискивающим голосом заговорил монах.

И при этих словах Рита вздрогнула, как будто бы ее обожгло чем-то, и быстро вскинула на него глаза. Голос показался ей сильно знакомым. Но это был самый обыкновенный бродячий монах, с острым носом, с бородкой, похожей на клочок мха, выросший на иссохшем пне, один из тех, ко-

торые в своих бездонных карманах всегда имеют для продажи все, начиная от саровской просфоры и до вывезенного из Иерусалима кусочка дерева, отломанного от святого креста господня.

Не спуская с него глаз, Рита потянулась к кошельку, достала золотую монету и бросила в кружку, а сама подумала: «Ой, врешь! Ой, и врешь же ты! И вовсе ты не монах...»

Рита хотела заговорить с ним и спросить, не лбовец ли он, но она могла ошибиться и выдать себя. Да и он, не зная, зачем ей это нужно, мог не сказать правды. Тогда Рита усмехнулась, сообразив что-то. Она отступила назад, сунула руку в карман, спокойно вынула оттуда револьвер и стала как будто его рассматривать. И от ее глаз не укрылось, что лицо монаха, не понявшего этот маневр, стало вдруг хищным и злым, а рука его быстро опустилась в карман рясы. Рита положила браунинг обратно — она узнала, что нужно, и подошла к монаху.

— Бросьте играть комедию,— усмехнулась она.— Я вас узнала, вы один из лбовцев и однажды чуть-чуть не убили меня кинжалом... А сейчас вы мне очень нужны, потому что Лбову устраивают в Мотовилихе засаду, а он ничего об этом не знает.

Вышел хозяин с кружкой кваса и расслабленной, старческой походкой направился к Рите. Она сделала несколько глотков и отдала ему кружку. Когда Рита подняла голову, то увидела в руках монаха свой револьвер; пока она пила, он ловко вытащил его из ее кармана.

— Ну, теперь поговорим,— сказал он.

— Поговорим,— ответила Рита и вопросительно посмотрела на старика.

— Ничего,— и крикнул ему: — Эй, дедушка Никифор, покарауль-ка пока нас!

И Рита с удивлением увидела, как дедушка Никифор, убедившись, очевидно, что притворяться незачем, распрямился, помолодел лет на двадцать и, бегом направившись к ограде, залез на забор.

Рита с жаром начала рассказывать монаху, в чем дело.

— Карамба...— прошипел, оборачивая голову, монах,— как бы не было уже поздно.

В это время старик с забора закричал, что далеко видно, как едут сюда шагом двое конных, должно быть, жандармский патруль. Колебаться было некогда. Змей схватил Риту за руку:

— Скорей садись на коня и скачи дальше, где на правой стороне будет обгорелая поляна, там сверни и поезжай прямо, пока тебя не остановят. Когда спросят, кто такая, так отвечай: «Одного поля ягода» — и скажи им, что Змей сейчас же велел проводить тебя к Лбову... Скорей, может быть, еще застанешь его, а если не застанешь ты, так застану я в Мотовилихе.

— Но туда же далеко! — крикнула Рита.— И вы не успеете.

— Успею,— ответил тот.— Я сейчас выкину одну штуку... Скачи!

И оттолкнувшаяся от земли, чуть прикоснувшись ногой к стремени, Рита взлетела на лошадь, ударила ее каблуками и, пригнувшись вперед, прошептала:

— Надо успеть...

Доскакав до обгоревшей поляны, Рита свернула вправо в лес. Пока деревья шли высокие и попадались редко, Рита продолжала двигаться, не слезая с лошади. Но потом, когда чаща начала замыкаться и окутывать ее, а ветви то и дело задевали по голове, Рита спрыгнула с седла и повела лошадь на поводу. Вдали послышался негромкий стук, как будто бы кто-то колол дрова. Рита прибавила шагу — стук послышался совсем близко, чаща вдруг оборвалась, и перед Ритой открылась большая поляна, на которой дымились костры, сновали люди, а посередине была разбита большая палатка.

«Как, однако, они неосторожны,— подумала Рита,— никто даже не остановил меня».

Но она ошиблась, потому что, обернувшись для того, чтобы привязать лошадь, она увидела за спиной у себя двух человек, внимательно смотревших на нее и, очевидно, давно следивших за ней.

— Ты кто такая? — спросил ее один.

Рита ответила, как велел ей Змей, попросила сейчас же отвести ее к Лбову. Лицо спрашиваемого резко изменилось, когда он услышал знакомый пароль, человек схватил ее за руку и мимо костров, мимо лбовцев, провожавших ее удивленными взглядами, повел к палатке. В палатке был только один Демон. Он лежал на куче сухой листвы и читал французскую книгу.

— Что вам нужно? — удивленно спросил он.

— Где Лбов?

— Что вам нужно? — переспросил он ее опять, вставая.

Рита рассказала.

Демон выхватил из-за пояса револьвер, выбежал из палатки и три раза выстрелил в воздух. И тотчас же, вскакивая с земли, бросая неоконченный ужин и торопливо закидывая за плечи винтовки, повскакали и бросились к палатке встревоженные лбовцы.

— Но где же Лбов? — повторила опять Рита.

— Поздно уже,— ответил Демон,— Лбов там, и я боюсь, как бы не пришлось нам отбивать его у жандармов силою, если... если только его захватят живым, в чем я сильно сомневаюсь.

— У вас тут есть женщина,— по-французски сказала Рита Демону,— это она предала его.

— Жидовка? — крикнул изумленный Демон. — Она здесь?.. Приведите эту чертову бабу ко мне,— приказал он одному из лбовцев.

Через несколько минут ничего не подозревающую женщину ввели в палатку.

— Зачем я вам нужна...— начала было она, но, увидев Риту, остановилась. И обе женщины пристально-пристально посмотрели одна на другую, и в темных провалах загадочных глаз еврейки и на длинных ресницах Риты зажглась и задрожала открытая ненависть.

— Матрос[1],— приказал Демон,— я поручаю ее тебе, береги ее, как свою голову, а если у нас будет схватка и возиться с ней будет некогда, застрели ее тогда как собаку, понял?..

— Я поеду,— сказала Рита,— мне надо возвращаться.

— Спасибо,— крепко пожал ей руку Демон,— спасибо, но скажите, кто вы такая и зачем это вы?..

— Он знает,— глухо, глядя на кончик своего опущенного хлыста, ответила Рита.— Он знает и кто, и зачем.

Ничего не понимающий Демон изумленно посмотрел на нее, а она повела лошадь обратно через гущу, потом, наконец, вышла на дорогу и вскочила в седло.

Было совсем темно, и Рита, опустив поводья, поехала шагом. Голова ее горела, и все случившееся казалось ей каким-то странным, удивительным сном.

---

[1] В отряде Лбова был приехавший из Петербурга беглый матрос 14-го Балтийского экипажа Ал. Максимов по кличке Сорока (по другим данным — Воробей).

Рита была спокойна, она почему-то была уверена, что на этот раз Лбов вывернется опять.

«Какое мне, в сущности, дело?» — попробовала было подумать она. Но все, все в ней запротестовало, и она тотчас же почувствовала всю напускную фальшь этого вопроса, потому что Лбов был единственным человеком на ее пути, который так резко отличался от остальных, похожих один на другого, крепко затянутых болотом, на котором посреди чавкающей, затянутой подкрашенной травой тины желтыми цветами сияли пышные генеральские эполеты, тонкими лилиями — стиснутые петлей корсетных приличий напудренные женщины, и старые серые жабы, воспевающие гимн красоте и уюту — своей родной стихии...

А Лбов... Сумасшедший Лбов, бросившийся в заранее обреченную на гибель авантюру, как он высоко стоял у Риты в глазах — он, слившийся с маузером, от которого дрожь всадника передавалась коням и к огневому языку которого прислушивалась встревоженная жандармерия всего Урала.

Возле домика на дороге Рита опять остановилась, соскочила с лошади и стала привязывать ее к плетню, но откуда-то вынырнули два человека — по отблеску раззолоченных кантов Рита узнала в них жандармов — и, прежде чем она успела что-либо сообразить, они крепко заломили ей руки назад.

— Стой, курва,— грубо крикнул один,— ты чего по ночам рыскаешь!..

От такого вежливого обращения Рита взбесилась и рванулась, собираясь крикнуть им, кто она такая, но, сообразив что-то, стиснула губы, рассмеялась и замолчала.

На все вопросы она не отвечала ничего, ее посадили верхом, и четверо конных повезли ее по направлению к городу.

«Как мне быть? — подумала Рита.— Сейчас отвезут, должно быть, в жандармское, будет скандал, дома откроется все... Что же теперь делать?»

Ночь была жгучая, темная, кони плыли шагом по густой, плотной темноте, насторожившиеся стражники с винтовками, взятыми на руку, чутко прислушивались к шороху враждебно притаившихся придорожных кустов и молчали. Рита молчала тоже.

А в это время в Мотовилихе разыгралось такое дело...

Штука, которую выкинул оставшийся во дворе переодетый монахом Змей, не была особенно замысловатой. Он спрятался в кусты, подождал, пока подъехавшие жандармы соскочили с коней, и когда один из них направился в хату, а другой остался сторожить лошадей, Змей, подкравшись сзади, всадил ему в спину свой длинный неизменный нож, потом перерезал этим же ножом подпругу седла и уздечку одной лошади, а сам подскочил к другой. Но, сообразив что-то, он вернулся к убитому, стащил с него мундир, штаны, шашку, фуражку и так стремительно умчался верхом, что даже пуля, посланная вдогонку выскочившим из хаты жандармом, не догнала его.

Возле поселка он переоделся в жандармскую форму и смело въехал на улицы Мотовилихи. Еще задолго, не доезжая до дома, где должен был быть Лбов, Змей увидел около сотни ингушей, под покровом темноты пробирающихся вперед.

«Ого!» — подумал Змей и поскакал быстрее. Чтобы не столкнуться с ингушами, он взял правее, чтобы переулками подъехать к дому с другой стороны.

— Стой! — крикнул ему кто-то со стороны огородов.— Кто едет?

— Свой! — Змей спустил предохранитель револьвера.

Сквозь просвет разорванного облака упало на землю лунное пятно, и Змей разглядел целую цепь полиции, пробирающуюся к дому с другой стороны.

«Ого!» — опять подумал Змей и рванул поводья. Предполагая, что за домом, вероятно, уже сидят жандармы, он соскочил с лошади, немного не доезжая, и через заборы, через какие-то сарайчики добрался до двора.

«Сейчас Лбов убьет!» — сообразил он, взглянув на поблескивающий, обшитый золотой тесьмой рукав своего жандармского мундира. Он постучался в дверь и крикнул негромко:

— Сашка, чур, не стрелять, это я, Змей, переодетый...

Дверь распахнулась, и под пытливыми взглядами пяти насторожившихся револьверов Змей вошел в комнату.

— Ишь ты, черт, как вырядился,— сказал Лбов,— тебя зачем принесло?

— Сашка... ведь ты пропал,— торопливо заговорил Змей,— дом окружают, с одного конца ингуши, с другого полиция — тебя предали...

— Отобьемся,— хищно блеснув глазами, крикнул Лбов.

— И не думай даже, их много — и пешие, и конные... Ты вот что,— мы сейчас откроем стрельбу, а ты беги через заборы, там возле угла стоит оседланная лошадь — может, вырвешься.

— Нет,— после легкого колебания ответил Лбов,— пропадать — так всем вместе. Давай за мной, ребята, и помните, что кто раньше времени выстрелит, хоть нарочно, хоть нечаянно, тому я сзади в башку сейчас же выстрелю. Раз тут так не отобьешься, значит, надо по-другому.

Они выскочили во двор, оттуда через заборы в соседний, оттуда в следующий, но квартал был весь оцеплен.

Тогда Лбов сказал Змею:

— Ты в форме жандарма, мы сейчас выйдем и пойдем прямо напролом, если тебя спросят, кто мы такие, говори — арестованные. Ну, ребята, попробуем, не все ли равно, что так пропадать, что эдак, главное — больше спокойствия.

А луна, как назло, заблестела в прорывы быстро летящих туч — свет и тень, тень и свет,— и все шестеро, распахнувши калитку, вышли на улицу. Не прошли они и сорока шагов, как впереди показалось звено из цепи ингушей.

Но ни один из шестерых не побежал, не свернул, а все они, руки опустивши в карманы, сдерживая волею удары сердец, выстрелами трепыхающихся под рубахами, пошли прямо.

Ингуши их заметили еще издалека. Но ни одна винтовка не взметнулась в их сторону, ни одна рука не потянулась к эфесу шашки, ибо слишком уж большим дураком или невероятно проницательным умником должен был быть тот, у кого могло бы мелькнуть подозрение, что прямо навстречу, отдаваясь в руки вооруженного до зубов отряда, идет без выстрела сам Лбов.

— Что такие за люди? — ломаным языком спросил у Змея один кавказец, должно быть, вахмистр.

— Скандальщики, в полицейское управление для протокола,— ответил тот, останавливаясь. И выругался: — А вы что, дураки, отстаете, ваши уже давно на месте, а вы тут еще валандаетесь?

Ингуш на гортанном наречии подал тогда негромко какую-то команду, и мимо остановившихся посреди улицы лбовцев, прибавляя шагу, поскакали ингуши, сдерживая горячившихся коней и поблескивая остриями высоких, закинутых за плечо пик.

— Бежим! — крикнул Змей, когда топот немного затих. — Они могут вернуться...

— Ого, ого... Ну, нет, — запротестовал Лбов, — зачем же так без толку уходить, ты смотри, что сейчас получится.

Они зашли на другую улицу, поднялись на горку, так что, оставаясь укрытыми, они видели, как впереди, отделенная от них рядами заборов и переулками, тихо плыла и наконец встала на месте ровная шеренга казачьих пик.

— Ну, ребята, теперь давай! — вынимая револьвер, скомандовал Лбов.

Все нацелились.

Р-р-а-з...

И вздрогнула ночь от раската грохнувших выстрелов. Другой...

И опять вздрогнула ночь, и заметалась испуганно расстреливаемая темнота.

Не разобрав, откуда стреляют, полиция из-за огородов открыла стрельбу по дому, в котором, по ее точным расчетам, должен был находиться Лбов, — и пули полетели в сторону ингушей. Предполагая, в свою очередь, что это по ним кроют лбовцы, ингуши открыли огонь по дому, — и пули полетели в полицию.

В темноте огни выстрелов вспыхивали фейерверочными блесками. Кто-то командовал, кто-то свистел, кто-то кричал:

— Стойте, стойте!.. Чего же вы по своим, черти, дуете![1]

— Ого-ого! — крикнул восторженно, изгибаясь от радости, Змей. — Вон оно как пошло!

А Лбов стоял, облокотившись на бревно, и пристально смотрел вниз, но что он думал в эту огневую минуту, — он не сказал никому. Горделивая складка прорезала его хмурый лоб, и, точно чувствуя, как насыщенная огнем и криками ночь дает ему новую силу, он распрямил свои широкие крепкие плечи и сказал коротко:

— Ну, теперь идем.

---

[1] В частной газете «Камский край», выходившей в 1907 году в Перми, есть описание одной из таких сцен: «3 марта около трех часов утра в квартиру рабочего Витте в Малой Язовой явилась полиция с целью арестовать собравшихся рабочих, но от залпа, данного последними, разбежалась, благодаря чему рабочие скрылись. В наказание хозяев, у которых собирались рабочие, полиция и драгуны под командованием офицера и пристава расстреляли дом. Во время этой стрельбы случайно оказался убитым полицейский стражник. Все имущество хозяев полиция разгромила, выбила окна и повредила печи. Стрельба продолжалась до 8 часов утра, сделано более 600 выстрелов».

Через два часа были две встречи.

Связанная Рита попала к Астраханкину, отряд которого после неудачной схватки собрался возвращаться в город. Когда Астраханкин увидел Риту, он побледнел, стеганул нагайкой двух жандармов, конвоировавших ее, приказал развязать ей руки и, молча посмотрев на нее, не сказал ничего — совсем ничего. Подвигаясь шагом впереди отряда к дому, Астраханкин впервые, должно быть, не прямо сидел в казачьем седле, а опустил голову, точно был не в силах нести в ней какое-то мучительно-тяжелое подозрение, помимо его воли крепко опутавшее его.

А вторая встреча была Лбова с черной женщиной.

— Ты что же? — спросил он и сильно рукой рванул ее на себя. Но женщина ничего не ответила.

Лбов вынул маузер, медленно вскинул его к груди и выстрелил. И падая, женщина слегка вскрикнула, и так же загадочно, как и всегда, светились темнотой провалы ее потухающих глаз, в которых не отразился ни мягкий лунный свет, ни одна из звезд, густо пересыпавших ночное небо.

КАК ЛБОВ СОБИРАЛСЯ ПЕРМЬ БРАТЬ

Июльские ветры знойные, лучистые. Июльские ночи теплые, пряные, когда Кама мягкими волнами плещет на отлогие песчаные берега и журчит веслами шныряющих лодчонок. Эти ночи перекликаются эхом с гудками залитых огнями пароходов, у которых искры, вылетая из трубы, танцуют, кружатся и тают меж рассыпанных по небу горячих звезд.

И в такую летнюю беспокойную ночь в двадцати верстах от Мотовилихи на большой поляне, вырванной у гущи заснувшего леса,— костры, костры, песни, бурчащие варевом котлы, дымный смех, огневые речи, что винтовочные заряды, и черная ненависть, как кинжальная сталь.

Сегодня Лбов из разных краев Урала собрал командиров своих... Был здесь Ястреб, у которого в красноватых глазах из уральского камня отсвечивалась огоньками непотухающая трубка. Был Матрос с сережкой в надорванном ухе и часами, у которых вместо брелка повешена заряженная бомба. Был Стольников с неразглаженными морщинами вечно думающего о чем-то лба... Был Демон, Змей, Фома,

Сибиряк[1], Черкес, Сокол, одноглазый Ворон... И многие другие атаманы были.

Недовольно посмотрел Лбов, прерывая речь, и сказал Матросу строго:

— Чего это там твой конвой разорался? Опять перепились. Да и сам-то ты, всегда от тебя несет, как от винной бочки!

— Полно,— ответил Матрос, играя двухфунтовым брелком,— что ты, Лбов, святыми что ли нас хочешь сделать?..

— Не святыми, а распускаетесь здорово, грабить без толку начали. Вон вчера у Ворона один другого ножом пырнул, поделить не сумели чего-то.

— Так то у Ворона, а у меня этого нет, у меня, брат, всегда распределено, кому сколько.

— Ой, смотри, Матрос,— и усмешка мелькнула у Лбова,— не всегда и не на все у меня глаза закрыты. Не слишком ли у тебя уж распределено, кому, что и сколько? Бандитом настоящим, того и гляди, станешь.

Бросил играть брелком Матрос, отвернул глаза и сказал Змею, но негромко, так, чтобы не слышал Лбов:

— Что же нам, монахами что ли быть? На то и разбойничали, чтобы грабить, на то и живем, чтобы пить, а то что ж тогда, волчья жизнь совсем получится. Да он что, с ума что ли сошел, аль не видит, все кругом пьют, а не мои только... Нас-то теперь, если всех подсчитать, так много будет... Я думаю, что около четырехсот наверняка наберется.

Но Змей посмотрел на него злыми желтыми глазами, перекривил свое и без того искаженное лицо:

— Много... Это наша и беда, что много.

Говорил опять опьяненный успехами Лбов. Говорил, что довольно мелочью заниматься и надо на широкую дорогу выходить. Уже немало винных лавок разгромлено[2], уже не -

---

[1] Сибиряк — известный петербургский боевик Дмитрий Савельев, он же Минеев.

[2] Винная торговля была важнейшим источником пополнения казны. Царское правительство, пользуясь монополией на продажу вина и водки, вздувало цены на них — и тем самым обирало рабочий люд и спаивало его, а на вырученные деньги содержалась многочисленная полиция и жандармерия. Чтобы помешать этому, лбовцы объявили у себя в отряде сухой закон и часто бросали бомбы в окна казенок, когда там никого не было, или экспроприировали их кассы. Однажды лбовцам удалось заставить закрыть на три недели все питейные заведения Мотовилихи. Но эти попытки нанести ущерб казне не принесли желаемых результатов.

мало крупных заводских контор разбито. В Полазне, Добрянке, Чермозе, Юго-Камске... Пеплом развеяли дачи-поместья многих князьков и дворян. Уже перерублены телеграфные столбы, то и дело перевертываются железнодорожные рельсы, а жандармы не ездят больше парами, а ингуши не гарцуют одиночками.

— А что же еще делать,— заговорил Стольников,— объявить разве войну государю императору? Я думаю, если послать ему бумагу и написать в ней, пусть лучше он добром...— Но здесь Стольников оборвался и замолчал, как и всегда, оканчивая думать только про себя.

— Война и так объявлена,— ответил Лбов,— мы теперь не одиночки, нас много, но нам надо еще больше, а для этого нужно, чтобы все видели, что мы сильны,— мы должны поднять на ноги весь Урал.

— И как?— спросил молчавший до этого Фома.— Что же ты хочешь делать?

— Что... что делать?— присоединились к Фоме еще несколько атаманов, настораживаясь и заглядывая в лицо Лбову, по которому пятна колыхающего пламени от разгоревшегося костра переливались дымно-красными оттенками.

— Надо взять Пермь,— сказал тогда Лбов и замолчал. Замолчали и насупившие брови генералы этого войска, ошарашенные размахом замыслов Лбова, так уверенно выбросившего это предложение.

Потом горячие споры поднялись около этого плана.

— Взять-то мы, может, возьмем. Особенно если с налета,— говорил Ястреб,— но мы же не удержимся там долго.

— И не надо,— все более и более разгорался Лбов.— И не надо... Мы разобьем тюрьму, мы разграбим охранку, повесим всех аристократов, возьмем заложником губернатора... И когда об этом узнает вся Россия,— со всех концов к нам потянется такой же народ, как и мы, у нас будут тысячи, и мы выйдем тогда из леса в город, на улицы.

— Пермь? Взять Пермь!— восхищенный и подавленный этой мыслью, заговорил Змей, точно задыхаясь от приступа лихорадочного кашля.

— Да, Пермь город богатый, там мы наложим, как это... контрибуцию на всю буржуазию,— вставил Матрос.

— Идет, идет,— загудели кругом голоса.— Надо составить план... Надо скорее... Ура Лбову!.. Мы тебя в губернаторском доме поселим, а на доме поставим красный флаг.

Последняя мысль о флаге почему-то показалась чудовищно дерзостной Стольникову, морщины его лица на мгновение разошлись, и он как-то по-детски радостно вскрикнул:

— Над губернаторским!.. На большом шесте и красный флаг... пусть... пусть...

Он замолчал.

И тогда встал Лбов и, точно сообщая о том, что назавтра надо будет ограбить почту или разгромить казенку, сказал громко и просто:

— Значит, решено. Будем брать Пермь! — Но сколько веры, сколько жизни было вложено им в эти простые, чеканные слова!

Долго еще обсуждали, горячились, спорили. Прискакал дозорный и сообщил, что на дороге, верстах в пяти отсюда, движется какой-то отряд, человек в двадцать пять, но на это сообщение на радостях почти не обратили никакого внимания, а просто выслали навстречу Ворона с его шайкой, чтобы он разделался с ними как следует.

Было решено: Пермь взять во второй половине июля, а до того времени поручить Ястребу произвести какую-нибудь крупную экспроприацию, чтобы достать тысяч сорок денег, необходимых для подготовки наступления.

— Хорошо, я достану,— сказал тот, подумав.

— Где?

— Я ограблю «Анну Степановну»[1], это один из самых больших камских пароходов.

— Но как же ты сможешь ограбить пароход? — закидали его вопросами удивленные лбовцы.— Атаковать на лодках будешь, что ли?

— Это уже мое дело,— уклонился от ответа Ястреб.— Если я сказал, значит, это будет так.

А ночь все гуще и гуще опутывала землю, по лесу неслись веселые крики, играла гармония, и разбуженные деревья шелестели листвой удивленно, а разбойные, ничего не боящиеся соловьи насвистывали торжественные марши сумасшедшим людям, их безумным замыслам и безрассудно смелому атаману.

---

[1] Пароход был так назван в честь жены основателя камской пароходной фирмы И. И. Любимова. Второй такой же пароход назывался «Иван Иванович». На Каме это были самые крупные и быстроходные почтовые суда, ходившие между Пермью и Нижним Новгородом.

ОГРАБЛЕНИЕ ПАРОХОДА «АННА СТЕПАНОВНА»

В семь часов вечера второго июля на пристани толпилось много народа. Матросы суетливо сновали по трапу, пассажиры прощались. Пароход горел огнями и, точно от запаса скрытой могучей силы, нетерпеливо вздрагивал всем корпусом.

Как раз в ту минуту, когда сходни хотели было уже убрать и запоздавшие провожающие торопливо кинулись с парохода, с берега человек около шести, хорошо одетых и совершенно не внушавших никаких подозрений шныряющим повсюду жандармам, прошли на палубу. Среди них были две женщины, которые шутили, смеялись и перекидывались фразами со своими спутниками. И из обрывков этих фраз окружающие могли бы понять, что это самая обыкновенная веселая компания, отправляющаяся в небольшую речную прогулку.

Пароход загудел, задышали искрами огромные трубы, и огни Перми, раскинувшейся над горою, тронулись с места и тихо поплыли назад.

Был теплый летний вечер. Пристав Горобко[1], облокотившись на перила, смотрел на клокочущую под винтом воду и молча курил папиросу. Он ехал в Оханск выяснить, в каком положении находятся там местные революционные организации, ибо, по последним сведениям, зараза лбовщины начала доходить и туда.

Еще один поворот Камы, и скрылись огни Перми. Горобко зашел в буфет и, не найдя там свободного столика, попросил разрешения присесть к столу двух пассажирок, в последнюю минуту подоспевших на пароход. Пристав заказал бутылку вина и черной икры с лимоном. Несколько бокалов оживили Горобко, и он начал разглядывать своих спутниц. У одной было белокурое интеллигентное лицо, ей

[1] Пристав Горобко — лицо реальное. За день до происшествия на пароходе он был назначен на должность полицейского пристава в Оханске. В ту ночь он действительно находился на пароходе «Анна Степановна» по дороге к новому месту службы. Когда раздались выстрелы, он даже не вышел из каюты, закрывшись на ключ, чем вызвал потом гнев губернатора. Неудачными были и предпринятые Горобко поиски высадившихся на берег лбовцев. Губернатору он доносил: «Из расспросов крестьян я вполне убедился, что сельское население... скрывает все от чинов полиции и склонно действовать в пользу грабителей».

можно было дать не более двадцати пяти лет, у другой черты лица были много грубее, волосы рыжеватые, и говорила она низким грудным голосом.

— Я вам не мешаю? — вежливо прикладывая руку к козырьку, спросил Горобко, желая завязать с ними разговор.

Но белокурая женщина рассмеялась в ответ звонко, и видно было, что она совершенно ничего не имеет против того, чтобы Горобко заговорил с ней, и ответила ему приветливо:

— Мешаете? Отчего же, напротив, мы очень рады.

Обрадованный такой снисходительностью, Горобко представился и узнал, что одну из женщин зовут Мартой, другую — Ольгой, и обе они едут в Оханск, к своему дяде, тамошнему исправнику.

Вскоре была заказана еще бутылка, пили уже вместе. Горобко подсел поближе и сделал попытку взять руку белокурой женщины, причем с ее стороны препятствий никаких на это не встретил. Женщины были, по-видимому, робки, потому что они спрашивали Горобко о лбовцах, о том, что они много грабят и что недавно даже посланные им дядею деньги с одним знакомым человеком попали в руки этой шайки.

— Конечно, по дорогам возить опасно, там их, черт знает, шныряет сколько. У нас почтовые чиновники теперь совершенно не ездят с деньгами без стражи. Другое дело здесь, на пароходе. Здесь почта чувствует себя вполне безопасно, потому что, к счастью, у лбовцев ни своих речных крейсеров, ни подводных лодок нет еще, а попробуй они с берега пароход обстрелять, так у нас тут четыре человека охраны, и мы в ответ такую канонаду откроем, что только берегись!

После этого сообщения женщины, мило улыбнувшись, заявили, что им надо пойти на палубу, и выразили уверенность, что они скоро с ним еще встретятся. Горобко пошел к себе в каюту, но в каюте ему не сиделось, он вышел тоже на палубу и, пробираясь между высыпавшими наверх пассажирами, увидел двух дам, оживленно разговаривающих с пожилым джентльменом, не выпускающим изо рта дымящуюся трубку, и краем уха Горобко уловил, как тот сказал им:

— Вы должны себя вести осторожнее, а потом, это будет не раньше, чем в три часа.

«Должно быть, папаша делает выговор, что они пофлиртовали со мной»,— подумал Горобко, неприятно удивленный, что дамы на пароходе с родственниками, так как он только что думал попытаться пригласить одну из них к себе в каюту.

В это время к приставу подошел жандармский унтер-офицер, доложивший ему взволнованно:

— Ваше благородие, там в третьем классе мужик сидит. Стал он чай пить, а я как рядом был, так и ахнул, гляжу: ус-то один у него и отвалился.

— Что ты, дурак, мелешь, ты пьян что ли?— рассердился Горобко.— Как так, ус отвалился?

— А так, ваше благородие, стал он, значит, чай пить, а сам ситным с колбасой закусывал, потом вынул платок, провел по губам, а ус-то и упал, ну только он живо подхватил его и живо приладил, а я как будто ничего не заметил.

Горобко, раздосадованный тем, что ему не дали возможности подслушать дальше разговор дамочек, и в то же время встревоженный таким странным исчезновением мужичьего уса, направился в третий класс. Но сколько они оба ни ходили, никакого такого мужика не нашли, из чего Горобко заключил, что унтер был пьян, а потому легонько двинул его в шею и, обозвав скотиной, приказал сидеть ему в почтовом отделении, а не шататься без толку по пароходу.

Берега стали черными. Река скрылась, окутанная ночным туманом. Только винт неумолчно работал, бурлил и отбивался от смыкающейся вокруг него воды. Изредка впереди, точно пляшущие звездочки, показывались огоньки снующих лодчонок, бревенчатых плотов, а один раз огненным пятном выплыл встречный пароход и заревел сиреною так, что эхо долго металось, долго билось от воды к небу и от леса к лесу до тех пор, пока, обессиленное, не утонуло в плеске невидимой воды.

Горобко еще раз прошелся по палубе, натолкнулся на высокого, черного, чуть-чуть прихрамывающего человека, который попросил у него закурить. Горобко, как истый джентльмен, не дал закурить от своей папиросы, а чиркнул спичку, и, прикуривая, черный человек внимательно рассматривал и точно определял по кобуре систему и количество зарядов его револьвера. Потом, поблагодарив, отошел, а удивленный Горобко увидел, как человек, постояв около перил, бросил папиросу, не раскуривая, за борт. Из

этого Горобко заключил, что человек вовсе не курит, а подходил, очевидно, совсем не для этого.

Десять минут спустя он заметил этого же человека в обществе господина с трубкой. Они стояли на границе палубы II и III класса и о чем-то разговаривали. Пока они разговаривали, к ним подошел какой-то мужичок и тоже попросил закурить. Закуривая, он обменялся с ними несколькими фразами, затем отошел, сел на лавку и, бросив на пол цигарку, затоптал ее ногой. И все это, а также сообщение унтера о человеке, потерявшем ус, повергло пристава в некоторое тревожное состояние.

«Что за чертовщина,— подумал он,— тот закурил — в воду бросил, этот — ногой затоптал. Тут что-то не то».— И Горобко твердо решил, добравшись до Оханска, вызвать наряд жандармов и устроить проверку документов у странных курильщиков. Затем он ушел к себе в каюту, разделся и лег спать.

Сколько он спал, определить было трудно, но проснулся он оттого, что пароход загудел вдруг короткими, тревожными гудками, и вверху раздалось несколько гулких выстрелов. Горобко в одном белье выскочил в коридор. Он слышал, как на палубе и где-то рядом кричали несколько голосов, затем ахнул еще выстрел, кто-то завопил громко:

— Давай, лови теперь пристава, его каюта здесь!

Горобко испуганно заметался. Увидев полуоткрытую дверь первой каюты, из которой выглядывала испуганная суетой и шумом какая-то старая барыня в ночном пеньюаре, он, не раздумывая, отдернул дверь и, невзирая на отчаянные крики перепуганной мадам, как был, в одном белье, так и впрыгнул к ней. Захлопнув за собой дверь, крикнул ей:

— Молчи, старая чертовка, или ты не слышишь, что на пароходе бунт!..

Через дверь было слышно, как в соседнюю каюту ворвались несколько человек, затем кто-то крикнул:

— Его здесь нет, он, должно быть, у капитана, сукин сын! — И все вломившиеся быстро бросились назад.

Пароход все ревел и шел, ускоряя ход, вперед. Вверху стреляли и кричали, а Горобко и старая мадам, надевши наспех набок парик, молча сидели и глупо смотрели друг на друга. Вдруг раздался сильный взрыв, точно наверху кто-то бросил бомбу. Тревожные гудки сразу прекрати-

лись, корпус задрожал, послышался лязг сброшенного якоря, гул машины смолк, пароход сразу остановился. Потом раздался еще более сильный взрыв, и кто-то громко сверху закричал:

— Давай спускай!..— И тотчас же заскрипели блоки спускаемой на воду шлюпки.

А на палубе в это время орудовали под командой Ястреба Сокол, Демон, Сашка, Султан, а из женщин — эсерки Ангелина и Марта и еще несколько лбовцев, переодетых мужиками,— всего двенадцать человек.

Ястреб, не выпуская изо рта трубки, а из зажатых кулаков револьверы, отдавал короткие и быстрые распоряжения. Он приказал бросить бомбы в машинное отделение, когда пароход отказался остановиться. Он же застрелил жандармского унтер-офицера и одного из полицейских, прежде чем те успели попасть в кого-либо из своих больших «смитвессонов».

Всем пассажирам, не закрывшимся в каютах, было приказано лечь и не шевелиться, и пароход сразу, как бы после повальной болезни, вымер и покрылся распластавшимися людьми, которые лежали до тех пор, пока Демон не вернулся из почтового отделения с кипой засунутых в сумку денег, из-за которых им и его товарищами было разрезано свыше пятисот ценных пакетов.

После этого в спущенную лодку сошли все лбовцы. Последним сошел Ястреб[1]. И четыре весла, дружным ударом по волнам, рванули лодку к далекому берегу. Но едва только они успели отъехать несколько сажен, как винт с шумом заработал: освобожденный пароход заревел и начал медленно поворачиваться носом в сторону отъезжающих.

— Потопить хотят,— сообразил Ястреб. И все лбовцы поняли это, и весла чуть не гнулись под рывками мускули-

[1] Операция на пароходе была проведена в основном силами петербургских боевиков, а полученные средства (более 30 тысяч рублей) предназначались для финансирования ряда важных боевых акций. Самого Лбова на пароходе не было, но когда судно уже отчалило, его увидели с палубы на берегу среди провожающих. В своей неопубликованной автобиографии Лбов рассказывал: «В ограблении парохода «Анна Степановна» я лично не участвовал, но все делалось по разработанному миою плану».

стых рук, и все с замиранием сердца смотрели на острый нос взявшего полный ход парохода.

«Сейчас порвет якорную цепь и потопит»,— подумал опять Ястреб и приказал открыть огонь по капитанской рубке.

Вспугивая прибрежных птиц, жирно хлопающих крыльями, загрохали выстрелы. Пароход отошел на всю длину распущенной якорной цепи, рванулся... И сразу замедлил ход, потому что якорь лежал, очевидно, на мягком песчаном дне, и ему не за что было зацепиться, и цепь не порвалась, а потащила за собой якорь, тормозя ход.

Это и спасло лбовцев. Лодка со свистом врезалась в отлогий берег, недалеко от селения Новоильинского. И перепрыгивая через теплую плескающуюся воду, все повыскакивали, бросившись к кустам, где их ожидали уже готовые подводы с местными мужиками. Взвалили сумки, забрались на охапки душистого, покрытого утренней росой сена, и лошади быстро понесли их прочь по направлению к Пермским лесам.

Из-за смеющегося горизонта брызнули полосы вынырнувшего солнца, и волны Камы заплескались русалочьим смехом.

В эту минуту Ястреб в мчавшейся телеге закуривал трубку, Демон считал деньги, Гром снимал с лица грим.

А на палубе парохода стоял в наспех одетых брюках пристав Горобко и занимался самым бесполезным в этот момент делом: он поднимал кулаки и, глядя вслед уезжающим, посылал страшные проклятия Лбову и всем потомкам его до десятого поколения включительно.

НАЧАЛО КОНЦА

После неудач с операциями против Лбова, после сильного надлома, который пережил Астраханкин, понявший, что Рита держит связь с лбовцами, он, не будучи в силах вынести нависшего над ним тяжелого кошмара, подал рапорт с просьбой о переводе его из Перми в какую-либо другую воинскую часть.

У Астраханкина ни на минуту даже не мелькнула мысль выдать Риту полиции. Астраханкин простил бы Рите ее взбалмошный поступок, если бы он не чувствовал, что

связь Риты с лбовцами вызвана особенно мучительною для него причиной.

Он получил назначение в Вятку.

Был вечер, когда он пошел прощаться с Ритой. Это был не прежний казачий офицер, рассыпавшийся в звонах шпор. Его лицо обветрилось, его глаза помутнели, и, вместо обычного роскошного бешмета с красным башлыком, на нем была простая черная черкеска, и только один его любимый серебряный кинжал поблескивал с тоненького пояса, крепко охватившего талию.

Рита была в саду.

Первые несколько минут они оба молча сидели на скамейке и не могли заговорить, так как оба хорошо чувствовали, что между ними теперь лежит огромная пропасть, на дне которой — Пермские леса, дымные костры и черный призрак атамана Лбова. Они перекинулись несколькими ничего не значащими фразами, и Астраханкин, встретив перед собой крепко замкнувшуюся в кольцо душу Риты, встал уже затем, чтобы уйти, но не выдержал, повернулся и спросил ее глухо и не глядя ей в глаза:

— Рита, зачем это все? Разве теперь лучше, чем было?..

Но Рита посмотрела на него прямо и ответила не враждебно, не вызывающе, а просто и мягко, как говорят люди, испытавшие и пережившие многое, маленьким детям:

— Вы не поймете. Мне все здесь так надоело, так опротивело. Впрочем,— добавила она еще мягче,— не будем об этом говорить и... прощайте.

Астраханкин, крепко стиснув, поцеловал ее руку, быстро, по-казачьему повернулся и, наклонив голову, торопливо, точно опасаясь, чтобы Рита не увидела его лицо, прыгнул в кусты.

В этот же вечер Рита встретилась со Лбовым. Это было недалеко от архиерейской дачи. Лбов был сильно занят, но, несмотря на это, он проговорил с ней полчаса. Он сидел на огромном спиленном дереве, а Рита стояла. Рита просила его принять ее к нему в шайку, но Лбов опять резко отказал:

— Нам вовсе не по дороге. Мы на все это идем из-за того, что нам надоело быть каторжниками, надоело вечно работать на кого-то и не видеть никакого просвета, а вам... Вам-то чего нужно?

— Мне тоже надоело...— начала было Рита, но оборвалась, потому что подумала: как сказать, как заставить понять его, что ей надоело прямо противоположное тому, что говорил он? Как объяснить этому человеку, не бывавшему никогда в обстановке спокойной, изящной жизни, что и эта жизнь может осточертеть?..

— Буржуазия грабит народ, стало быть, и ты грабишь,— раздражаясь, перешел Лбов вдруг на «ты».

— Но я же не граблю и не грабила,— ответила Рита.

— Грабила,— упрямо повторил Лбов,— и ты, и отец твой, и вся твоя родня, и все, все вы одного полета. Откуда у вас деньги? У нас так: если не ограбишь, так нету денег. И у вас тоже... Но мы грабим только по необходимости, потому что нас жизнь забросила на такую дорогу. Ты думала когда-нибудь, что у тебя вон коня убили прошлый раз, а сегодня ты на новом гарцуешь, а мужик, если имел лошадь, да сдохни она, значит, ему и самому ложись и помирай?

— Но как же, как же переделать это все? — горячо спросила Рита, ошеломленная наплывом новых мыслей.

— Как? Да очень просто...— Лбов запнулся.— Как? Я и сам не знаю, как. Вон Стольников у меня думал все, как да как, вчера с ума от этого сошел.

В это время Лбову сказали, что он очень нужен. Прощался на этот раз Лбов с Ритой без открытой враждебности, но нотки холодности не оставляли его до последней минуты.

Рита не сразу поехала домой.

На одной из лужаек она спрыгнула с лошади, бросилась на траву и долго лежала, точно пригвожденная к земле острыми лучами звездного света.

— Я пойму, наконец, пойму,— шептала она, улыбаясь,— пойму, что ему нужно, чего он хочет, и тогда я добьюсь все-таки того, что он возьмет меня к себе.

«Грабители»,— вспомнила вдруг она слова Лбова и опять улыбнулась, представляя себе толстенькую фигурку своего облысевшего отца, любящего сходить в балет, сыграть в преферансик и плотно покушать. Но она вспомнила убитую Нэллу и, точно по волшебству, выросшего на другой день в ее конюшне коня. И на этот раз не улыбнулась — почувствовала, что у Лбова есть своя невысказанная, неоформленная, но горячая правда.

А в это время Лбову принесли три тяжелых известия.

На станции полиция по указке одного из лбовцев-провокаторов арестовала Фому.

У Ворона опять не поделившие что-то несколько человек убили друг друга.

Матрос ограбил кассу крестьянской потребиловки.

И Лбов остро почувствовал вдруг, как поляна под ним дрогнула, колыхнулась, будто это была не лесная поляна, а плот, брошенный на волны седой Камы.

С арестом Фомы, умевшего как нельзя лучше улаживать всякие вопросы с подпольной Пермью, у Лбова, не знающего, чего он, собственно, сам хочет, порвалась всякая связь с революционной партией. Бесцельные грабежи начали входить в систему, и тщетно Лбов со своими помощниками пытался установить порядок, дисциплину.

Он заколол однажды штыком Матроса, убил Зацепу, Великоволжского, начинающих предаваться разнузданному грабежу, и выработал даже нечто вроде устава «Первого пермского революционного партизанского отряда». Но ничто не помогало.

Лбова погубили его оторванность от подлинной рабочей массы, его анархичность и его собственная слава, так как со всех концов Урала к нему начали стекаться неустойчивые, чуждые делу рабочего класса элементы, желающие хотя раз в жизни погулять, повольничать, пограбить, пострелять в ненавистную полицию, но совершенно не задумывающиеся о конечных целях вооруженного восстания.

Лбов пользовался огромным авторитетом среди рабочих как организатор, как человек, показавший, что в душе придавленного народа тлеет острая ненависть, которая готова вот-вот прорваться наружу, но Лбов и оттолкнул от себя всю сознательную массу тем, что он сам не знал, куда, зачем и во имя чего он идет.

Деньги теперь были. На пароходе «Анна Степановна» Ястреб захватил более тридцати тысяч рублей. Оружие было, так как из Петербурга нелегальным путем пришла его целая партия. Люди были, потому что каждый новый день увеличивал отряды на десяток новых партизан. Но о взятии Перми нечего было думать. Не было одного, и самого главного — не было единой руководящей идеи, во имя которой можно было бы решиться на такой шаг...

И Лбов видел это. Лбов чувствовал, как партизаны начинают управлять им, а не он ими. Внешне все было как будто бы по-старому: каждое его приказание исполнялось при нем моментально, перед ним трепетали... Никому и в голову не могло прийти ослушаться его слова, его радостными криками встречали во всех отрядах. Но едва только он отворачивался, как начиналось совершенно другое.

В октябре Лбов[1] еще раз созвал наиболее преданных ему товарищей и вместе с ними решился на целый ряд крутых и жестоких мер. Он запретил принимать кого бы то ни было в отряды; он приказал расстреливать всех бандитов, действующих под именем лбовцев, приказал прекратить на время всякую экспроприаторскую работу, уйти в леса, заняться постройкой зимних квартир и дать передохнуть населению от постоянного свиста пуль, набегов жандармов, массовых арестов и провокаций с тем, чтобы после этой передышки, весною, с ядром из крепко сколоченного, выдержанного отряда поднять настоящее революционное восстание.

Но было уже поздно. До полиции через провокатора дошли об этом сведения. Она переполошилась, когда узнала, что Лбов собирается вводить дисциплину, ибо ее ставка была на подрыв авторитета Лбова в глазах населения — ставка умная и правильная. Через несколько дней после получения сведений от провокатора была послана срочная шифрованная телеграмма в Петербург, и еще через несколько дней был получен особо секретный шифрованный ответ, гласящий, что охранное отделение предпринимает последний и самый решительный удар по Лбову с той стороны, откуда он меньше всего его ожидает.

Октябрьским темным, шуршащим листьями вечером скорый поезд из Петербурга доставил в Пермь хорошо одетого, закутанного в широкий зеленый плащ человека.

Это был не простой человек, не простой провокатор охранки, не простой жандармский шпик, — это был член ЦК партии эсеров, талантливейший шеф провокаторов Российской империи Эвно Азеф.

[1] В октябре 1907 года Лбов в последний раз побывал в Мотовилихе. Не надеясь, наверное, на скорое возвращение домой, он повидался тогда же с матерью и простился с нею. Простился навсегда.

Уже через три дня он виделся с Лбовым. Свидание происходило в Мотовилихе, на квартире одного из старых эсеров. Азеф был человеком, авторитет которого стоял очень высоко в глазах Лбова, ибо Азеф был сам боевиком, старым боевиком, известным всей подпольной и революционной России.

Разговор у них был недолгий; Азеф пообещал пополнить отряд Лбова к следующей весне опытными идейными инструкторами с тем, чтобы поднять уровень сознательности лбовцев. А пока предложил ему произвести крупную, последнюю экспроприацию в Вятке, чтобы отвлечь внимание полиции туда. После некоторого колебания Лбов согласился. Азеф порекомендовал тогда ему в помощники некоего Белоусова, как опытного боевика, за которого можно было поручиться во всем. Они распрощались, и в ту же ночь скорым поездом Эвно Азеф уехал обратно в Петербург.

Великий провокатор сделал свое дело[1].

СМЕРТЬ ЗМЕЯ

Это было почти перед самым отъездом, когда Лбов в последний раз сидел со Змеем под старой, искореженной годами осиной, точно с прощальной ласковостью осыпавшей их тихо падающими пожелтевшими листьями.

— Ну, мне пора идти.— Лбов поднялся.— Прощай, Змей. Я думаю, мы скоро опять увидимся, мне ведь всегда удача.

— Удача раз, удача два...— начал Змей, потом вскочил, схватил обе руки Лбова, и, весь дергаясь лицом, переплетенным сетью нервов, преданный и верный Лбову Змей заглянул ему в лицо и с ужасом, точно открывая что-то новое, сказал сдавленным голосом Лбову:

— Сашка, а ведь тебя скоро убьют, должно быть.

— Почему скоро?— усмехнулся тот.

— Так,— ответил Змей, не выпуская его рук.— Так, уж очень кругом какой-то разлад пошел, в общем, что-то не так. Помнишь, как мы начинали и какое это было время?

---

[1] Роль Азефа в деле Лбова до сих пор остается загадочной, скорее всего она преувеличена.

Змей замолчал, и лицо его задергалось еще больше. Он выпустил руку Лбова и своими желтыми некрасивыми глазами заглянул в глубину этого счастливого для него времени.

Змей был когда-то парикмахером. В японскую войну его контузило снарядом, потом, невзирая на его болезненное состояние, его отдали в арестантские роты за то, что во время бритья конвульсивно дернувшейся рукой он едва не перерезал горло одному подполковнику. И душа у Змея была серая с зеленым, а жизнь была у Змея до побега из тюрьмы — серая с грязным. И вполне понятно, что в его болезненно кривляющейся от снарядных и нагаечных ударов душе, в озлобленной и изломанной душе, самыми лучшими днями были дни, проведенные возле крепкого, прямого и сильного Лбова.

Лбов ушел, а Змей долго еще сидел на краю придорожной канавы, обрывал кусочки ветки и бросал их наземь, бросал и улыбался... а может, и не улыбался, потому что у его лица никогда не было хоть на минуту установившегося выражения. И хвойные ветки падали на дорожную пыль, пахучие, смолистые, точно те, которые бросают за гробом умершего. Вдруг Змей насторожился и, скользнув в канаву, вытянулся плашмя. По дороге ехал патруль из четырех ингушей. Может быть, они и проехали бы, не заметив его, но одна из лошадей испугалась чего-то, оступилась в канаву и придавила ногу Змею.

Взбешенный Змей вскрикнул и, вскочив во весь рост, выстрелил из маузера — свалил одного ингуша, отскочил за канаву, выстрелил — в голову лошади другого, и только что хотел приняться за третьего, как земля на краю канавы под его ногами обвалилась, и, поскользнувшись, он упал. Хотел подняться, но в это время ингуш с хищно-орлиным носом и узкими, стальными глазами взмахнул пикой и сквозь серую рубаху, сквозь спину пригвоздил Змея крепко к земле.

Пика глубоко ушла в землю, стояла прямо, и Змей, крепко насаженный на синюю сталь, искорежившись, повернулся полуоборотом, концами пальцев распластанных рук судорожно врылся в мякоть придорожной пыли и умер с открытыми, желтыми, сухими глазами, в которых не было ни слез от боли, ни ужаса от смерти, а была только змеиная ненависть.

ПРОВОКАТОР[1]

Было уже ясно, что дело революции проиграно. Туманный город лихорадочно поблескивал огнями вспыхнувших фонарей, город дышал тяжело и нервно. И звоном побрякивающих цепей, криками схваченных в темноте теней город расплачивался за солнечно-пьяные, окутанные счастливым смехом, перевитые красными флагами сумасшедшие дни.

В тот вечер на окраине в квартире наборщика Сумрачного в последний раз собрались члены комитета. Последний раз встречались товарищи — крепко спаянные звенья разрываемой цепи.

---

[1] Эта главка в составе повести печатается впервые. Она важна для понимания того, что произошло среди революционеров города Перми. Главка эта была напечатана Гайдаром в «Звезде» 29 ноября 1925 года как отдельный рассказ «Провокатор». Повторять его тогда же в повести Гайдар, видимо, не хотел, да это и не принято, поскольку повесть печаталась в той же газете спустя всего полтора месяца после рассказа. Постоянный читатель «Звезды» и без того мог прочесть тогда и рассказ, и повесть.

Сюжет рассказа-главки, не считая беллетристических условностей, заимствован непосредственно из истории Пермского комитета РСДРП, который почти целиком был арестован по доносу провокатора Вотинова. В руках жандармов тогда оказались Яков Свердлов и его жена Клавдия Новгородцева, многие другие подпольщики. Всего к дознанию привлекли 53 человека. Близка к реальным событиям и такая деталь, как решение комитета покинуть город тем подпольщикам, которым грозил явный провал. «10 июня 1906 года Яков Михайлович вернулся в Пермь из очередной поездки,— вспоминала К. Новгородцева.— Было решено, что в эту же ночь мы уедем из Перми, где оставаться далее было просто невозможно. В связи с нашим отъездом надо было перераспределить работу между остающимися товарищами, кое-кого перебросить в другие города, иных, наоборот, вызвать в Пермь. Для этого в тот же день назначили заседание комитета».

Думается, совсем не случайное лицо в рассказе и наборщик Сумрачный. В дореволюционной Перми подпольным (ночным, «сумрачным») наборщиком был мотовилихинский рабочий Михаил Туркин, который при Гайдаре стал редактором «Звезды». Работники подпольной типографии тоже были взяты полицией в ночь накануне ареста комитета. Был Туркин и в эмиграции, хотя бежал туда уже из сибирской ссылки. И даже упомянутый Латыш — не случайное имя, не от нарицательного произошло. В подпольной типографии действительно работал Дмитрий Латышев, который попал в тюрьму в ту же ночь вместе с товарищами. Там же оказалась и молоденькая учительница Александра Костарева, тяжело заболевшая в холодной камере.

— Ну, что же? — поднялся из-за стола и проговорил седой металлист Поддубный. — Что ж, братцы, пусть будет пока так. Когда, где встретимся — не знаю. Да и, думаю, вряд ли чтобы привелось всем вместе собраться, потому что дело наше гиблое в смысле теперешнего времени и вообще насчет виселицы... Паспорта есть, до заграницы авось доберетесь. Не засыпьтесь только, и ни лишнего дня в городе. Здесь каждая собака, не только городовой, в лицо узнает.

Он кончил. С минуту все молчали. Переваривали в головах сказанное, о чем-то думали.

— Я не согласен, — отбрасывая папиросу, громко проговорил Павел, — зачем за границу? Зачем уезжать? Это же измена. Мы должны остаться, мы должны работать, а не смотреть издалека. Я сейчас не поеду, да и вообще лучше бы всем остаться, это было бы честнее.

— Ты говоришь глупости, — мягко ответил опять Поддубный. — Зачем погибать ни за что? Надо выждать, пока горячка пройдет, тогда вернуться и начинать сначала. Так будет лучше. Так будет выгоднее для партии, для революции и для всего. Ты слишком горяч, Павел.

— Я не согласен, — повторил упрямо тот и, вздрогнувши, замолчал и обернулся, как будто окликнул его кто-то.

Тревожно повернулись головы комитетчиков к темному окну. И насмешливо улыбнулась оттуда черная, насыщенная бесшумными тенями ночь.

— Кто там? — глухо спросил Павел.

— Там нет никого, это ставня хлопает, — ответила ему Дора. — Ты нервничаешь сегодня, Павел.

Выходили поодиночке, но Павел и Дора встретились на первом же перекрестке и пошли вместе. Сначала молчали. Дора крепко держалась за руку Павла, жадно вдыхала клубы морозного свежего воздуха, иногда задерживалась у фонаря и синими глазами, под которыми темными дымками залегли бессонные ночи и тревога, заглядывала в его постоянно бледное, четко высеченное лицо.

— Знаешь, Павел, — сказала она, — мне кажется, что ты прав. Я думаю не ехать за границу, я думаю, что лучше будет, если я тоже останусь здесь.

— Ты? — Он даже остановился и крепко стиснул ее руку. — Ты?.. Зачем?.. Но ты должна завтра же уехать... Это было бы глупым оставаться. Глупо и безрассудно.

— Но постой, ведь ты же там...— начала было она, но Павел не дал ей докончить, торопливо потянул за руку и заговорил волнуясь:

— Я другое дело... Но тебе зачем?.. И потом, ты совсем девушка, у тебя не хватит сил... нет, нет...— и он с тревогой посмотрел на нее:— Дай мне слово, что ты теперь же, завтра же уедешь. Дай мне слово.

— Хорошо,— ответила Дора, подумавши.— Хорошо, но ты непоследователен, Павел. Я не осталась бы и сама. Это я спросила просто так.

— Зачем?

— Видишь ли, я люблю тебя за то, что ты горячий, энергичный, но мне кажется, что у тебя слишком много личного.

— Э-гей!— раздался вдруг позади резкий, хохочущий крик. Они шарахнулись в сторону. И внезапно, вырвавшись из-за поворота, бесшумно вылетели широкие черные сани. И мимо промелькнули погоны, желтые аксельбанты, крепко перевившие схваченного человека.

— Везут, везут... везут,— с дрожью в голосе сказала Дора,— когда же кончится?

Прощались в тени дома, недалеко от одной из людных улиц.

— Мы встретимся,— сказал напоследок Павел,— я верю в это, Дора. Может быть, я скоро и сам приеду за границу, может быть, приедешь ты. Но так или иначе, а мы встретимся.

Через день, к вечеру, когда Поддубный, уже вполне готовый к отъезду, поджидал наступления темноты, к нему совершенно неожиданно зашел Павел. Он был по обыкновению бледен и чем-то сильно взволнован. Он спросил, нет ли у Поддубного какой-либо явки в Екатеринославе.

— Нет,— махнул тот рукою.— Ты спятил, что ли? Там вся организация разгромлена дочиста, а ему явку. Влипнешь только. И чего все мудришь? Не понимаю,— добавил он и внимательно посмотрел на Павла.

— Ты сейчас едешь?— вместо ответа переспросил тот.

— Сейчас. Лобачев уже уехал, а Дора, кажется, собирается завтра.

— Как завтра!— крикнул Павел.— Да разве же она не уехала?

— Нет, она только что была у меня, а сейчас пошла к Латышу.

— К Латышу! — широко открывая глаза, полушепотом повторил Павел и, покачнувшись, ухватился за спинку кровати. — К Латышу? — с ужасом повторил он еще раз. — Но ей же нельзя было сейчас идти к Латышу.

— Почему? — удивленно взглянул на него Поддубный. — Почему нельзя, Павел? — холодно переспросил он, невольно вздрагивая и пытливо впиваясь в белое, перекошенное страхом лицо. — А ты что знаешь?

Резкий стук в дверь оборвал его вопрос. Резкая и четкая мысль прорезала внезапно голову, он бросился к окну, но в это время распахнулась сорванная с крючка дверь, мелькнули красные околыши, и, поднимая темный револьвер, проговорил полицейский офицер:

— Стойте, вы оба арестованы.

— Бросьте, господин капитан, ломать комедию, — тяжело дыша, после некоторого молчания ответил Поддубный. — Бросьте... вы хорошо знаете, что арестовываете только одного меня.

Дору задержали как раз в ту минуту, когда она входила к Латышу. Она молча подошла к полицейским саням и даже улыбнулась чуть-чуть, когда офицер вежливо пожал ей руку и застегнул полость у санок.

— Я не советую вам ни кричать, ни сопротивляться по дороге, — предупредил ее он, — это было бы бесполезно.

— Я не собираюсь, — коротко ответила она и с тревогой подумала: «Если были тоже и у Павла, то кончиться хорошо не могло, потому что он вспыльчив, горяч и так легко не дастся».

В тюрьме она встретилась почти со всеми комитетчиками, не было только Павла. В усталых глазах Доры мелькнула счастливая улыбка, и она спросила у Поддубного:

— Скажи, а Павел?.. Его не сумели захватить? — и, по-детски захлопав в ладоши, добавила: — Как я рада!

Посмотрел на нее тяжелыми тусклыми глазами осунувшийся Поддубный и сказал глухо:

— Павла нет вовсе.

— Как вовсе! А что с ним? — бледнея, спросила Дора. — Почему ты так говоришь?

— Знаешь, Дорочка, я сегодня узнал... Но ты не волнуйся и плюнь. Я сегодня узнал две вещи: первая — та, что Павел любит тебя.

— Ну, я знаю, а вторая?..

— А вторая, что он провокатор...

Жадно пожирал тюремный камень свет от тусклых ламп и сам светился темными провалами холодных углов. И к холодному камню — горячая голова, горячий полубред с полураскрытых губ Доры. «Мы еще встретимся»,— вспомнились ей последние слова Павла. И голос ее снижался до мягкого шепота, почти ласкового от острой ненависти, вложенной в бессвязно срывающиеся слова.

— Да-да, милый,— шелестели истрескавшиеся от жара сухие губы,— я верю, что, может быть, еще не скоро, может быть... совсем в другое, в наше время, мы опять встретимся... Милый! Я верю, что будет день, будет встреча, когда уже... горячими словами оружейного залпа мы еще раз, последний раз поговорим[1].

АРЕСТ

В февральский метельный день, когда Пермь, покрытая шапкой плотных сугробов, начинала загораться вечерними огнями, Рита, закутавшись в мягкий воротник своей шубы, шла неторопливо домой, подставляя свое лицо мелким снежинкам, поблескивавшим искорками от света уличных фонарей. У самого крыльца она заметила, как отец торопливо вбежал на лестницу, открыл ключом дверь и захлопнул почти перед самым ее лицом.

Рита позвонила.

Удивляясь такому странному возбужденному состоянию всегда спокойного и уравновешенного отца, она прошла к себе в комнату, села на диван и принялась читать книгу, далеко не похожую на те, которые приходилось читать раньше, в которой каждая строчка ошарашивала своими выводами, новыми и не всегда понятными Рите.

Через час ее позвали к чаю, за столом она встретилась с отцом, который, будучи, очевидно, в превосходном состо-

[1] После победы Советской власти многие пермские провокаторы были преданы суду революционного трибунала.

янии духа, крепко поцеловал ее в лоб и спросил, как всегда:

— Ну, как ты себя чувствуешь?

— Хорошо,— улыбнулась Рита.— Отчего бы мне плохо чувствовать?

— Ну вот, ну вот,— обрадованно заговорил ее отец, с аппетитом проглатывая бутерброд и запивая его крепким чаем.— Я очень рад. Вообще сегодня такой замечательный день. Ты знаешь, Риточка, мы сегодня получили приятное сообщение, очень приятное. У губернатора как гора с плеч свалилась. Знаешь про этого? Про разбойника Лбова?

— Ну,— полушепотом переспросила Рита, отодвигая стакан и чувствуя, как серебристый блеск бисерной бахромы от лампы засыпает ей глаза стеклянными искрами.

— Ты знаешь, мы только что получили сообщение из Вятки, что он наконец арестован... Но что, что с тобой?

— Ничего,— резко вздрагивая, ответила Рита.— Ничего...

А серебряная ложечка в ее руке, точно ожившая, начала перегибаться и плясать, крепко стиснутая ее тонкими, сильными пальцами.

— Рита!— испуганно крикнул ее отец.— Рита, что с тобой?

Рита ничего не сказала, встала, шатаясь, пошла к двери своей комнаты, зацепила столик с огромной китайской вазой — и ваза с грохотом полетела на пол, и мелкие осколки разлетелись по паркетному полу. Рита захлопнула за собой дверь, заперла ее на ключ и, бросившись на диван, истерически разрыдалась. Это были не просто слезы, слез было совсем мало,— была петля, крепко окутавшая ее, сдавившая горло, жадно тянущееся к воздуху, был туман, плескавшийся в глаза, был судорожный зажим пальцев, пытающихся разорвать кольцо, крепко стягивающееся вокруг шеи. Но кольцо было неуловимо, оно не рвалось, и только ворох платья, только кружевные девичьи подушки измочаливались и нарастали на кровати белой лоскутной пеной.

В дверь стучались, отец требовал, чтобы она открыла, говорил, что пришел доктор, убеждал, просил, но Рита послала всех к черту.

Тогда кто-то стал выламывать дверь.

Рита, не вставая с кровати, протянула руку к ящику письменного стола и, выхватив оттуда браунинг, бабахнула им по верху двери и крикнула, что если ее не оставят в покое одну, то она выстрелит и по низу. За дверью смущенно

зашептались, потом кто-то, вероятно, доктор, сказал, что, пожалуй, правда, самое лучшее будет дать ей остаться на некоторое время одной и успокоиться. От дверей ушли.

Лбов был арестован при следующих обстоятельствах[1].

Белоусов, которого рекомендовал ему Азеф, оказался провокатором. Он долго выжидал момента, когда Лбов останется один, и однажды убедил его съездить в Нолинск для того, чтобы завести там связь с несколькими приехавшими туда видными боевиками.

Когда Лбов шел по улице в Нолинске, Белоусов внезапно куда-то исчез, и из-за угла вылетело около десятка конных жандармов, несшихся во весь опор на Лбова.

Лбов не растерялся, выхватил маузер и начал крыть по всему десятку. Не ожидавшие такой встречи, жандармы дрогнули, бросились было врассыпную. И никогда бы нолинским жандармам не захватить Лбова, если бы верный маузер, служивший долгую огневую службу Лбову, не изменил на этот раз, если бы маленький стальной кусочек выбрасывателя не сломался, — патрон застрял в канале ствола. Лбов рванул раз, рванул два, но патрон срывался со сломанного зубца.

Он бросился было к воротам одного дома, но ворота были заперты, а через забор он не успел перескочить, потому что налетевший стражник сшиб его конем с ног. Лбов упал, поднялся снова, но в это время кто-то сильно ударил его по голове, и кто-то крепко завернул ему руки назад. И если бы один, если бы два, — а то много, много...

Звякали от радостных сигналов телефонные провода, неслись во все стороны города патрули, распахивались двери

---

[1] Обнаруженные теперь в фондах особого отдела Департамента полиции документы полнее раскрывают картину последних операций против Лбова. В марте 1908 года вятский губернатор в докладе царю отмечал: «11 февраля в Перми был задержан один из главных соучастников Лбова, и обстоятельство это дало возможность напасть на правильный след к розыску Лбова, который оказался уже арестованным 17 числа того же месяца в городе Нолинске Вятской губернии за убийство стражника и был опознан выслеживавшими его жандармскими властями». Происшествие в Нолинске — скорее случайность, чем заранее подготовленная ловушка для Лбова. Провокаторы и сыщики оказались позади событий. Лбов уже был арестован под именем Семена Леща, а охранники все еще искали пути к нему.

нолинской тюрьмы, входили туда сначала отряды новых стражников, потом ввели под стражей закованного в цепи Лбова, и кольцом вокруг тюрьмы встали стражники[1].

А телеграфные провода пели: «Вятка — Петербург — охранке». А из Петербурга: «Охранным всех городов. Срочно, срочно, секретно. Ключ — двуглавый орел, 22... 16... 34... 25... 17... зпт... 37... 42... тчк...». И шифрованные телеграммы сообщали охранкам всей России, что разбойник Лбов пойман.

Выезжали в Вятку жандармские полковники из Петербурга на следствие, и старые генералы везли в Вятку повышения, назначения и ордена за долгожданную поимку одного из самых заклятых врагов самодержавия.

Через несколько дней, около трех часов пополудни, Рите доложили, что ее хочет видеть человек, назвавшийся титулярным советником Чебутыкиным, который, несмотря на уверения в том, что его не примут, категорически настаивал, чтобы его сейчас же пропустили к Рите.

— Чебутыкин,— вспоминала Рита,— Чебутыкин, какой такой Чебутыкин? А-а, наверное, тот, которого Лбов тогда ограбил.— Она попросила привести его.

Вошел испуганный Феофан Никифорович и, осторожно озираясь вокруг, сообщил Рите, что на улице с ним случай-

[1] Лбов и находившийся вместе с ним Аркадий Мышкин, бывший вятский семинарист, были арестованы в Нолинске при несколько иных обстоятельствах. Днем 17 февраля 1908 года они проходили мимо квартиры полицейского надзирателя, внимательно осматривая дом и окружающую местность. Надзиратель, стоявший в это время у окна, почуял что-то недоброе. Лицо незнакомца высокого роста и с повелительными манерами (то был Лбов) бросилось ему в глаза, и он немедленно послал вдогонку переодетого стражника Селюнина. Он-то и был убит Лбовым, когда началась погоня. Первым схватили Мышкина. Конный стражник нагнал Лбова, когда тот выпустил из маузера всю обойму. Второпях Лбов пытался зарядить его на бегу еще двумя патронами, но один из них был вставлен неправильно: пулей не к стволу, а, наоборот, к ударнику. Эта оплошность и погубила Лбова. Маузер заклинило, и преследуемый оказался практически безоружным, хотя при обыске у арестованного нашли 74 боевых патрона и четыре обоймы по десять патронов в каждой. У Мышкина оружия не было. В его кармане обнаружили лоскуток бумаги с изречением на латинском языке: «Одно спасение для побежденных — не ожидать спасения». (См.: «Вятский вестник», 1908, 24 апреля.)

но встретился человек, в котором он узнал одного из своих знакомых.

— То есть не знакомых,— поправился он,— а знаете, из этих,— он снизил голос до шепота,— из лбовцев.

Лбовец приказал ему идти и вызвать дочь управляющего канцелярией губернатора.

— Я было начал отказываться — неудобно, мол, мне, но у них, сами знаете, чуть что — и руку в карман.

Рита недоверчиво посмотрела на него и спросила просто:

— А почему это они доверяют так вам?

Чебутыкин смутился, он ничего не ответил на этот прямо поставленный вопрос, а сказал, опуская голову в затрепанной чиновничьей фуражке без кокарды, из-под которой начали пробиваться жиденькие поседевшие волосы:

— Отчего меня опасаться, человек я маленький, со службы меня выгнали за то, что лбовцы меня грабили всегда, а сам-то он, Лбов, когда узнал об этом, так мне завсегда поддержку оказывал, потому что жена у меня, ребятишки к тому же, и потом, хотя и не люблю выстрелов, всяких бунтов, так как человек я не военный, а мирного происхождения, но разве же я могу быть за полицию?

В осунувшихся чертах его лица, в тени его глаз Рита уловила что-то искреннее и оживилась. Она вышла с ним вместе на улицу. Чебутыкин пожал ей руку и пошел торопливо в своем ватном пальтишке с единственной уцелевшей медной пуговицей прочь, боком, с опаской проскользнув мимо маячившего на углу полицейского.

Риту вызвал Гром. Гром подтвердил, что Лбов действительно арестован[1], сказал, при каких обстоятельствах, и попросил, чтобы она объяснила план квартиры губернатора, которого лбовцы решили захватить заложником и требовать взамен его выпуска Лбова. Рита рассказала ему и, вся охваченная надеждами, что, может быть, Лбова удастся спасти, долго не могла уснуть в эту ночь.

Но через несколько дней надежды ее рухнули, потому что Болтников[2], губернатор Перми, осунувшийся от посто-

[1] Гром (Михаил Гресс) был арестован еще раньше Лбова — в 1907 году. В следующем году ему «пожаловали» 15 лет каторги. При отправлении из Перми в Сибирь Гром пытался бежать из арестантского вагона на станции Сылва, но был убит полицией.

[2] Имеется в виду А. В. Болотов — пермский губернатор в 1906—1909 годах. Слухи о намерении лбовцев взять его в плен дошли до самых верхов правительства и отразились в сохранившейся полицейской переписке.

янных выговоров, приказов, разносов из Петербурга по поводу неумения и бездеятельности, из-за которой до сих пор не могли схватить Лбова, губернатор, до которого дошли слухи о том, что его собираются захватить заложником, написал письмо, перепечатал его во многих экземплярах и приказал раздать в Мотовилихе с тем, чтобы письмо попало в руки оставшихся лбовцев. В письме говорилось, что он, губернатор, твердо решил, даже в том случае, если его захватят заложником, настаивать на том, чтобы суд над Лбовым шел своим чередом и что о его судьбе пусть правительство не беспокоится.

Был он стар, но был по-своему и честен и тверд — этот один из верных сторожей самодержавия, один из преданнейших слуг всероссийского государя императора.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА

Лбова, закованного в цепи и, кроме того, прикованного цепью к каменной стене, допрашивали прямо в его камере из боязни, чтобы по пути в следственное отделение суда кто-либо из лбовцев не попытался отбить его у полиции. Охрана тюрьмы была увеличена, во всех окружающих домах были поставлены шпики, и ежедневные наряды жандармов обходили дворы, открывали погреба; они боялись, что под тюрьму будет сделан подкоп с целью взорвать ее и во время взрыва освободить Лбова.

«Сегодня десять человек неизвестных прибыло в город»,— сообщало охранное отделение, и напуганные жандармы нервничали, требовали ускорения суда, вызывали новые части, как будто бы город был в крепко обложившем его вооруженном кольце.

На допросах Лбов не сказал ничего[1]. Он не выдал ни одного человека, не указал ни одной явочной квартиры, ни одного склада оружия. Лбов отказался от заключительного слова на суде, и защитник один без толку взывал к милосердию судей, которого не могло и не должно было быть.

[1] На допросах Лбов вел себя мужественно. При аресте у него нашли два паспорта на имя крестьян Саввы Унжакова и Павла Дехтерева. Лбов готовился к побегу за границу, намеченному им на лето 1908 года.

Лбов хмуро, молча смотрел по рядам зрителей, впившихся в него жадными глазами, и как бы отыскивая кого-то. Его равнодушно-усталый взгляд не находил ни искорки чьего-либо участия в жадных до зрелищ лицах присутствующих. Опуская глаза на свои ржавые, крепко охватывающие его кандалы, он вдруг чуть откинул голову назад, вздернул брови, пристально посмотрел в угол, и нечто вроде слабой, мягкой улыбки скользнуло по его губам.

В углу, закутанная в черный платок, темными пятнами бессонных глаз ободряюще, ласково смотрела на него женщина.

Это была Рита. Она приехала в Вятку. После долгих хлопот через некоторых влиятельных генералов, друзей своего отца, ей удалось добиться разрешения присутствовать на суде.

И Лбов, который крепко выдерживал на своих плечах свалившуюся на него тяжесть, возле которого не было сейчас ни одного человека, могущего принять на себя каплю тяжести его последних часов, Лбов искренне обрадовался, когда увидел здесь Риту. Он молча смотрел на нее и как бы сказал ей глазами: «Спасибо, передайте все, что вы здесь видели и слышали, моим товарищам».

И Рита слегка наклонила голову, точно давая понять ему, что она его поняла, и тотчас же накинула на себя дымку вуали, чтобы не показалось странным окружающим, как крупная слеза скатилась вдруг с глаз молодой женщины...

Это был последний взгляд, которым обменялась Рита с Лбовым, потому что в следующую минуту прочитали о том, что государственный преступник и разбойник Лбов за содеянные им по статьям таким-то (бесчисленный список) преступления приговаривается к смертной казни через повешение.

Жандармы еще крепче сомкнулись вокруг и заслонили приговоренного Лбова. Тотчас же распахнулись позади судейского стола двери, и через две шеренги вооруженной стражи, взявшей винтовки наперевес, тяжело звякая цепями, в последний раз пошел по дороге к тюрьме Лбов.

Когда тяжелые ворота тюрьмы запахнулись за скованным Лбовым, Рита, молча провожавшая взглядом ушедших, подошла к углу и, не будучи в силах идти дальше, не зная, куда и зачем идти, оглянулась: нет ли где-нибудь поблизости извозчика? Но извозчика не было. Рита чувствова-

ла, что у ней кружится голова, она остановилась и слегка прислонилась к какому-то дереву, чтобы не упасть.

— Вам нехорошо, сударыня? — послышался позади ее знакомый голос.

И, обернувшись, Рита увидела перед собой Астраханкина, не узнавшего ее из-за густой, спущенной вуали.

— Рита! — крикнул вдруг он радостно. — Рита, это вы? Я так рад, так рад вас видеть! Но как вы сюда попали? — И он замолчал, вдруг удивился своей недогадливости, взял ее под руку, и они вместе прошли еще несколько кварталов, потом взяли извозчика и уехали в гостиницу, где остановилась Рита.

Когда, снимая шляпу, Рита откинула вуаль, Астраханкин отошел даже на шаг, удивляясь, какая огромная перемена произошла с лицом Риты.

Рита в эту минуту была очень хороша. Под ее глазами темными пятнами залегли бессонные ночи, она была бледна, и сквозь боль, которая сказывалась в каждой черточке ее лица, она старалась улыбаться, чтобы не показать Астраханкину, что было у нее в эту минуту на душе.

Они разговорились, как старые, хорошие знакомые, но оба умышленно не затрагивали вопроса о Лбове, хотя у обоих, по разным причинам, Лбов не выходил в эту минуту из головы. Астраханкин, близко сидевший около Риты, глядел на ее побелевшие губы, на кольца черной, чуть-чуть растрепанной прически. И Астраханкин чувствовал, что он говорит не то, что надо, а надо сказать многое-многое. Надо сказать ей опять о том, что он любит ее, и о том, что теперь все кончено и Лбова на днях повесят, что от человека, так властно вставшего между ними, от грозы Урала, останутся только тени в прошлом, да громкая слава, да проклятия полиции, да, может быть, воспоминания мотовилихинских, полазненских, чермозских и других рабочих...

— Ну, мне пора, Рита, — вставая, сказал он с большой неохотой. — Скажите, когда к вам можно зайти. Завтра я непременно, непременно хочу еще раз вас видеть, а сейчас у меня смена караулов.

— Где? — крикнула Рита.

И Астраханкин, поняв, что он сказал больше, чем было нужно, замолчал было. Но, повинуясь устремленным на него загоревшимся глазам Риты, он ответил, опуская голову:

— При тюрьме. Сегодня от нашего полка наряд, и я назначен караульным начальником.

Рита крепко стиснула ему обе руки и, усадив его на диван, внезапно вдруг вскочила к нему на колени, охватила его шею и посмотрела ему в глаза,— и в этом молчаливом взгляде было столько ясной, четкой, огромной просьбы, граничащей с унижением и с приказанием.

— Нет,— глухо сказал Астраханкин,— я знаю, что вы хотите. Нет, Рита, этого нельзя.

Рита еще крепче обвила руками его шею и, вся страстно прижимаясь к нему, заговорила горячо:

— Милый, устройте ему побег, вы же все можете, я же знаю: весь караул в ваших руках. Мы все втроем убежим за границу, и я клянусь вам, клянусь, что тогда я буду ваша, а не его... Ведь между нами ничего нет, и он совсем, совсем не любит меня. Мы даже уедем от Лбова в другой край, в другую часть света уедем от него. Я обещаю вам это искренне, и как никому и как никогда.

— Нет,— еще глуше проговорил Астраханкин.— Это не нельзя, а это невозможно, потому что у меня только внешний караул, а помимо этого есть внутренний, который не выпустит никого из тюрьмы без тщательного осмотра, и, кроме того, в камере у Лбова постоянно дежурят жандармы.

Рита скользнула на диван и, положив обе руки на спинку, наклонила к ним голову.

— Тогда,— начала она снова,— тогда передайте ему от меня письмо, это вы можете, это моя последняя просьба к вам, в которой вы не можете мне отказать.

— Хорошо,— совсем тихо, почти шепотом ответил Астраханкин,— письмо я передам.

Рита подошла к столику, нервно оторвала клочок от большого листа бумаги и написала на нем несколько слов. Потом запечатала его в конверт и отдала Астраханкину, который сидел, облокотившись руками на эфес шашки, с головой, опущенной книзу, и глазами, тускло отражающими желтые квадратики паркетного пола.

Рита подала ему письмо, он протянул руку и сунул его в карман. Все это он сделал так машинально, что Рита спросила его тревожно и возбужденно:

— А вы передадите его? Дайте мне честное слово, что это письмо будет у Лбова.

Астраханкин встал и, вежливо щелкая шпорами, так же как и всегда, но только с ноткой холодности, за которой была спрятана боль, ответил ей:

— Даю вам честное офицерское слово, что это письмо будет у Лбова.

Потом он взял ее руку и, прощаясь, поцеловал крепко-крепко и твердо, как всегда, повернулся и вышел за дверь.

Дальнейшее можно узнать из рапорта командира Вятского полка губернатору:

«Караульный начальник, офицер Вятского полка, в два часа дня, обходя постовых тюрьмы, потребовал у тюремного смотрителя, чтобы тот отпер камеру, в которой содержался преступник Лбов. Мотивировал это тем, что ему нужно было произвести проверку жандармов, сидящих в камере с Лбовым. Ничего не подозревавший смотритель заметил ему, что охрана в камере подчиняется исключительно начальнику тюрьмы, которого в настоящую минуту нет, но офицер настаивал, и, не видя в этом требовании ничего противозаконного, смотритель открыл ему дверь. Тогда офицер попросил охраняющих жандармов выйти и оставить его вдвоем с преступником Лбовым, и на отказ последних выругал их и выгнал пинками за дверь. После всего этого, оставшись наедине с Лбовым, он пробыл в камере около пяти минут.

Дежурный надзиратель смотрел в окошко и видел, как офицер передал Лбову письмо, которое тот вскрыл, прочитал, улыбнулся и сказал:

— Передайте ей от меня спасибо и скажите, что я теперь верю ей.

После чего офицер встал, попрощался за руку с разбойником Лбовым и вышел, не отвечая ни на какие расспросы, и через некоторое время сообщил, что ему нездоровится, передал начальство над караулом своему помощнику, а сам уехал к себе домой. Явившийся к нему через два часа наряд с тем, чтобы арестовать его за совершенный проступок, нашел дверь запертой и, взломавши таковую, увидел офицера лежащим в полной форме на ковре у письменного стола с наганом, зажатым в руке, и с простреленной головой. На столе лежала ручка и несколько листов разорванной на клочки бумаги. По ним, кому они были написаны, понять невозможно, потому что только на одном из них сохранилось несколько слов: "в этом у нас одно... вы его, а я вас". Больше никаких следов, могущих пролить свет на это загадочное обстоятельство, не найдено...»

КАЗНЬ

Мягкой мартовской ночью, когда влажная земля, чуть подогретая солнечными лучами за день, начинала снова затягивать грязный снег пластинками в льдинки, в мартовскую темную ночь, когда еще не весна, но весна уже близко, в пять часов, когда еще не утро, но рассвет уже подкрадывается к горизонту, когда в узком окошке камеры, в которой сидел последние часы Лбов, запыленные стекла через решетку светились лунными отблесками, туманными из-за пыли, плотно облепившей решетчатое окно, в коридоре послышались шаги.

«Сейчас будет конец,— подумал Лбов,— это, наверное, за мною».

Он встал, шагнул раз, и в мертвой каменной тишине запели железным лязгом кандалы, и цепь, приковавшая его к стене, одернула его за спину сильно и сказала ему насмешливым звоном: «Стой!»

Захлопали засовы, зашуршала открываемая дверь, и к нему вошел священник. Лбов никак не ожидал видеть священника, ему в голову не приходила ни разу мысль о том, что кто-то должен еще прийти к нему для того, чтобы заставить его покаяться перед тем, как попасть в руки палачу. Он сел обратно на скамейку, скривил губы, презрительно усмехнулся и спросил спокойно:

— Тебе какого черта, батя, надо?

Священник, никак не ожидавший услышать такое обращение со стороны человека, готовящегося предстать перед судом всевышнего, обозлился сначала, но не сказал ничего, а подошел к Лбову на такое расстояние, чтобы тот не мог броситься к нему из-за приковывающей его цепи, и начал казенным елейным голосом привычное, заученное обращение:

— Покайся, сын мой, в грехах своих, ибо настает час расчетов со здешней суетной жизнью.

Но Лбов не имел ни малейшего желания заниматься покаянием, он пристально посмотрел на священника и сказал холодно:

— Каяться мне нечего, просить прощения мне не у кого. Я знаю, святой отец, к чему ты подбираешься, и нечего тебе богом прикрываться, а сунь ты лучше руку в карман и читай мне прямо по записи вопросы, которые тебе охранка задала.

— Безбожник, душегубец,— прошептал тот, а сам подвинулся еще на полшага и протянул тяжелый крест к губам Лбова. Но Лбов рывком отвернул лицо и ответил, сплевывая на пол:

— Все вы одна шайка, одна лавочка. Не был бы я сейчас к стенке прикован, я показал бы тебе раскаяние.— Он запнулся, потом плюнул еще раз на пол и сказал с открытым презрением и ненавистью: — Охранники, жандармерия в рясах.

Обозленный священник крепко выругался и с размаху ударил Лбова крестом по губам. Струйки теплой крови закапали с губ Лбова,— горячие красные капли на холодное ржавое железо. Лбов крикнул, рванулся вперед так, что с шорохом посыпалась штукатурка от натянувшейся цепи, а священник в страхе отскочил к двери и захлопнул за собой дверь камеры. Цепь на этот раз была сильней Лбова. Он сел опять и, вытирая рукой влажную от крови бороду, откинул назад голову и прошептал, просто себе говоря:

— Ну, что же, ничего.

Снова застучали в коридорах шаги, на этот раз уже целого отряда, распахнулись двери, вошел жандармский офицер.

«Пришли»,— подумал Лбов и опять встал: не хотел показаться им слабым и измученным.

Его окружили, сначала крепко связали руки за спину, потом отомкнули цепь от стены. Лбов не сопротивлялся, потому что было ни к чему. Под сильным конвоем, мимо взявших на изготовку винтовки солдат с побелевшими лицами, Лбова вывели на тюремный двор.

Была мартовская ночь[1], еще не весна, но уже скоро весна, был час, когда еще не светало, но чуть заметной полоской рассвета уже начинал поблескивать горизонт. И Лбов посмотрел еще раз на небо, по которому сигнальными огоньками перемигивались звезды, жадно хлебнул глоток сырого свежего воздуха и, наклонив голову, вспомнил почему-то воду бурливой речки Гайвы, прелые листья, из-под которых начала пробиваться молодая трава, себя, Симку-сормовца, Стольникова и разбойный свист мальчугана, вынырнувшего из-за кустов,— паренька, сообщившего о том, что боевики приехали. Весенняя вода тогда мутной

---

[1] Здесь Гайдаром смещены события. Лбов был осужден военным судом 22 апреля, а казнен в ночь с первого на второе мая 1908 года.

стальной полоской прорезала лес, а в глубине солнечного неба блестели крыльями и перекликались задорными свистами пролетающие отряды журавлей.

Лбов поднял голову и, увидев перед собой силуэт виселицы, остановился. Вкладывая всю силу, он напряг мускулы, как бы стараясь разорвать опутывающие его веревки, но тотчас же убедился, что сделать все равно ничего нельзя, что умирать все равно надо, твердо зашел на помост. Саваном его не окутывали, а петлю набросил палач прямо на шею.

— Ну, что ты теперь думаешь? — насмешливо спросил у Лбова помощник прокурора. Палач хотел уже выбить табуретку из-под ног, но задержался на мгновение, чтобы дать возможность ответить разбойнику на вопрос его превосходительства.

Лбов повернул голову, как бы поправляя петлю, и ответил медленно и чеканно, сознавая, что это последние слова, которые приходится говорить ему:

— Я думаю, что́ мне сейчас есть, то и тебе скоро будет.

Прокурор вздрогнул, а палач испуганно и торопливо вышиб табуретку из-под ног[1].

По Пермским лесам, по лесным тропам, по берегам Камы справляла жандармерия свой праздник[2]. Шли аресты, рабо-

---

[1] «В мае 1908 года к нашему домику на Висимской улице в Мотовилихе прискакал конный стражник. Он держал у седла какой-то странный сверток. Стражник позвал мою мать, Елизавету Васильевну. И когда та вышла на порог, он бросил сверток к ее ногам. «Что это такое?» — вскрикнула мать. «А это все, что от твоего разбойника Лбова осталось! — ответил стражник.— Повесили его в Вятке!» В свертке была одежда моего казненного отца. Мать горько зарыдала и припала к земле». (Из воспоминаний старшего сына Лбова, Михаила Александровича, 1902 года рождения, записанных А. Г. Никитиным в 1986 году. Публикуется впервые.— *Прим. ред.*)

[2] Списки лиц, привлеченных к полицейскому или судебному дознанию по делу Лбова, наглядно показывают, что в подавляющем большинстве это были рабочие и крестьяне. Из них создавались лесные отряды, они снабжали боевиков одеждой и хлебом, предоставляли квартиры для ночлега и явок. Месть правительства была беспредельна. Четыре мотовилихинских большевика — рабочие Николай Ваганов, Фердинанд Витте, Иван Смирнов и Клавдия Кирсанова — были приговорены к ссылке в Сибирь, трое других (в том числе большевик Михаил Шитов) — к каторжным работам, еще двое — к заключению в крепости. Большинство ближайших помощников Лбова погибли в боевых операциях или были казнены в застенках.

тали провокаторы, то и дело тянулись партии закованных в кандалы лбовцев, то и дело распахивались ворота тюрем Приуралья. И снова жандармы ездили парами, ингуши гарцевали одиночками, и полицейские выходили на посты без заряженных винтовок.

Не связанные сильной волею Лбова, неорганизованные отряды под натиском полиции и провокаторов распались, разбрелись и таяли...

Наступал конец.

Рита уехала за границу. Ей было тяжело оставаться в Перми, да и опасно было оставаться в России, ибо на допросах могла выясниться ее связь с лбовцами. В майский медовый день скорый поезд уносил ее из города. В Вятке поезду была остановка около десяти минут. Рита вышла на площадку и зажмурилась от солнца, блеснувшего ей в глаза. Рядом стоял состав. Рита пошла по перрону. Возле арестантского вагона, находящегося около паровоза, она остановилась, посмотрела в решетчатое окно и, широко открывая глаза, вскрикнула, сделав шаг вперед.

Из окна смотрел и улыбался ей приветливо худой, заросший черной бородой Демон.

— Это вы?—крикнула Рита, позабыв всякую осторожность, и горячая волна нахлынувших образов ударила ей в голову.

— Это я,—ответил он ей под гудок заревевшего паровоза.—Прощайте, спасибо вам за все.

Рита добралась до своего купе, заперлась на ключ и бросилась на диван.

«Спасибо,—подумала она,—мне-то за что?» Потом вскочила, приложила лоб к стеклу вздрагивающего окна и прошептала горячо и искренне:

— Милый, милый, если бы ты знал, как я тоже теперь ненавижу их всех!

(1925—1926)

ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ (ДАВЫДОВЩИНА)

Повесть[1]

Предлагая эту повесть вниманию читателей «Уральского рабочего», автор должен сделать оговорку. Повесть эта написана на исторической канве, и главные действующие лица ее — действительно существовавшие люди, все же второстепенные персонажи — вымышлены и введены исключительно с тем, чтобы сделать повесть более занимательной и интересной.

А поэтому некоторое расхождение написанного с действительно происходившим не должно смущать товарищей, которым когда-либо приходилось встречаться с «лесными братьями». Самих боевиков — Алексея и Ивана Давыдовых автор, поскольку мог, старался вывести без излишних прикрас, по тем материалам и воспоминаниям, которые удалось достать.

Автор

(1927)

[1] Историко-революционная приключенческая повесть «Лесные братья (Давыдовщина)» создавалась Гайдаром в Перми и Свердловске, впервые напечатана в газете «Уральский рабочий» в 1927 году (с 10 мая по 12 июня). Тогда же повесть печаталась в усольской газете «Смычка». С тех пор эта повесть ни разу не издавалась. И по своему сюжету, и по времени действия ее главных героев она примыкает к повести об Александре Лбове. Уральские боевики под руководством рабочих — братьев Алексея и Ивана Давыдовых действовали в районе Александровского завода и Луньевских угольных копей на севере Пермской губернии. Печатается повесть с незначительными сокращениями.

УНТЕР-ОФИЦЕР ШТЕЙНИКОВ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АРЕСТАНТСКИЕ РОТЫ

На севере Пермской губернии, в Соликамском уезде, в одной версте от маленькой станции Копи, посреди высоких гор, на берегу озера, убегающего в зеленую даль кудрявых лесов, стоял старый Александровский завод Демидова. До 1905 беспокойного года каждый день из каменных труб черною лентою плыл в небо тающий дым, дышали огнем раскаленные печи и ударами железного сердца звенели тяжелые молотки закопченных кузнецов.

В 1905 беспокойном году, в один из будничных дней, как потушенные окурки гигантских папирос, перестали вдруг дымить трубы. Остыли печи, и перестало биться железное сердце, надорванное стихийной в то время эпидемией рабочих забастовок.

Конечно, в этой забастовке повинны были и управители завода, хищными зубами конторских расчетов выгрызающие каждую заработанную копейку у александровцев. Конечно, в этой забастовке повинна была и волна революционного брожения, начавшаяся по всей России. Но при всем этом все же нельзя не указать, что главными инициаторами, главными вдохновителями этой забастовки были братья Иван и Алексей Давыдовы, в то время простые рабочие, потом — сотоварищи по делу великого бунтовщика Лбова, позднее — грозные мстители за его смерть и каторгу сотен других революционеров и еще позднее — мертвецы, погребенные в глубоких тайниках каменных тюрем рядом с трупами многих десятков расстрелянных и повешенных товарищей.

Точное место их могилы неизвестно, ибо нет над ними ни памятников, ни каменных плит, ни даже поросших травою холмиков набросанной земли. Но имена их живы и до сих пор в памяти рабочих седого Урала, с благодарностью вспоминающих их славную жизнь и с горечью — их гордую смерть.

В мае 1907 года с одним из первых пароходов, пришедших из Чердыни, прибыла в Соликамск партия арестантов.

Их построили попарно. Окружили цепью стражников. И перед тем, как тронуться, старший конвоир еще раз озабоченно посмотрел — все ли в порядке, крикнул толпе зевак, чтобы она держалась подальше, потом сделал выражение лица таким, какое он всегда считал необходимым при разговоре с арестантами, то есть свирепым до неестественности, и гаркнул громко:

— Ну вы, подзаборные дворяне, если по дороге чуть что... то враз пулю.

Хотя эти слова должны были, по-видимому, относиться ко всей партии, но обращены они были в первую очередь к невысокому, крепко сколоченному арестанту, стоявшему в первой паре.

Запрятав усмешку в края чуть обвислых губ, арестант плюнул на землю, растер плевок ногою и по-солдатски, прикладывая руку к козырьку, ответил четко:

— Так точно! Уж постараемся, ваше благородие!

Но, очевидно, «его благородию» не пришелся по вкусу ни неуместный плевок, ни подозрительный смысл полученного ответа, ибо он, повернув коня, перекрестил дважды арестанта нагайкой и еще раз, приказав конвойным быть начеку, подал команду трогаться.

Лязгнули кандалы, и, сопровождаемые толпой любопытных мальчишек, державшихся поодаль, арестанты тронулись в путь.

На перекрестке одной из улиц вышла маленькая задержка: из-за угла перерезала путь похоронная процессия. Хоронили умершего с перепоя купца Сидора Перегоркина. Арестанты остановились, конвойные настороженно приподняли шашки, ибо получилась заминка — одна из тех, во время которых конвойному полагается быть настороже.

Арестант из первого ряда толкнул локтем соседа и шепнул ему что-то, но в следующую же минуту обернулся, потому что услышал чей-то негромкий окрик из толпы:

— Штейников!

И в ту же секунду к его ногам упал маленький камешек, завернутый в бумагу.

Воспользовавшийся давкой арестант быстро поднял его и сунул за пазуху. Как раз в это же время монахи, прибавившие ход, освободили дорогу, и партия тронулась дальше.

Штейников внимательно посмотрел на рассасывающуюся толпу, стараясь угадать бросившего камень. Сначала

он никого не увидел, но потом взгляд его остановился на старьевщике, стучавшемся деревянной палкой в ворота соседнего дома.

«Не этот ли? — подумал Штейников. — Но кто бы это мог быть?»

Ворота тюрьмы широко раскрыли железную пасть, потом лязгнули, проглотив серую массу заключенных. И арестант из первого ряда, бывший унтер-офицер Штейников, еще раз плюнув на землю очередной тюрьмы, констатировал факт, что еще один этап по пути в арестантские роты пройден.

Незадолго до этого управляющий Луньевскими копями, лежащими в семи верстах от Александровского завода, Иванов позвонил приставу Караваеву и попросил его арестовать и выслать из Луньевки рабочих: Алексея Давыдова и Петра Неволина, выгнанных им из завода и работающих на постройке одного из казенных домов.

В эту же минуту пристав Караваев был озабочен только что полученной телеграммой из Перми, в которой говорилось, что, по имеющимся у охранного отделения агентурным сведениям, известный бунтовщик и мятежник Лбов собирается распространить свое влияние на северные уезды губернии, а поэтому приставу предлагалось быть более осторожным, тщательно наблюдать за вновь прибывающими и проезжающими пассажирами, а также обо всем исключительном немедленно доносить не только в Соликамск, уездному исправнику, но и непосредственно в Пермь.

Эта телеграмма, с одной стороны, несколько встревожила пристава, с другой — польстила его самолюбию, ибо с уездным исправником был он не в ладах и надеялся, что теперь плоды его усердной работы будут по достоинству оценены непосредственно губернским жандармским управлением.

И пристав Караваев, получив сообщение управляющего, решил немедленно, сейчас же круто прибрать к рукам всех подозрительных и неблагонадежных людей, а потому тотчас же вызвал к себе урядника Китаева и стражника Попова, приказав им задержать обоих рабочих.

Было раннее теплое утро, когда оба полицейских неторопливо и важно подошли к кучке отдыхающих рабочих. Однако при их появлении никто не счел нужным ни встать, ни поздороваться с ними, наоборот, все замолчали и сделали вид, что прибывших не замечают. И если бы полицей-

ские были более внимательны, то они, вероятно, смогли бы заметить, что при их приближении кто-то быстро шмыгнул в кусты, а некоторые торопливо попрятали какие-то отпечатанные листки за пазухи.

— Углев! — окрикнул стражник подрядчика. — А где у тебя эти зайчики? Почему их не видно?

Углев лениво повернул голову и ответил спокойно, как будто бы не понимая, о ком идет речь:

— Какие еще?

— Петька и Алексей!

Однако подрядчик Углев, по-видимому, не торопился с ответом, потому что он вынул кисет, закурил и только тогда ответил начинавшему уже сердиться стражнику:

— Нету еще! Не было и не знаю, когда будут! Может, и вовсе не прийдут!

Стражники, убедившись в том, что толком здесь ничего не добьешься, крепко выругавшись, ушли доложить об этом приставу.

Через некоторое время после того, когда они скрылись, из-за деревьев показались двое. Были они возбуждены чем-то. Смеялись громко. Один из них тащил целую связку свежих баранок, а другой нес под мышкой сверток каких-то листов.

— Давыдов! — крикнул обеспокоенный подрядчик. — Алешка, пес тебя заешь! Чево вы опять там натворили! Сейчас только стражники за вами приходили!

Но Давыдов рассмеялся вместо ответа. Потом откусил баранку и, бросая кипу листовок под дерево, сказал спокойно:

— Черт с ними! Это все управитель еще за забастовку науськивает! С завода выгнал, так и отсюда выпереть хочет! Только мне теперь наплевать!.. Совершенно наплевать! — повторил он и многозначительно переглянулся со своим товарищем.

Тот утвердительно кивнул головой и добавил:

— Нам теперь что? Мы теперь свободные дворяне! Эх, ма!..

Возле них собрался народ. Давыдов вынул из свертка несколько прокламаций и громко стал читать их притихшим рабочим. И после первых же слов еще несколько человек побросали лопаты и подошли поближе, внимательно прислушиваясь.

— Черт его знает, руки как свинцом налились! День такой тяжелый, а тут еще послушаешь — и работать сегодня неохота! Как подумаешь, что написано, так плюнул бы на все и ушел куда глаза глядят!

— Стой тише, слушай!

И опять все замолчали.

Алексей кончил читать и сказал:

— Слышали, что возле Перми Лбов делает? Все замутил, всех поднял. За его башку сколько тысяч обещано! Полицию, ингушей нагнали, а ему хоть бы что! Как ястреб носится вокруг!.. Это — человек!

— А у меня баба на днях к отцу своему ездила,— вмешался в разговор один из присутствующих.— В Мотовилихе он служит. Так там вроде как фронт открылся! Что ни ночь, то стрельба. Шпиёнов, говорят, нагнали! В каждый дом их насадили. И все без толку, потому что на заводе все как один за Лбова стоят!

И разом разговор вдруг оборвался, ибо было видно, как с горки спускались возвращающиеся полицейские.

— Алешка!.. Неволин, бегите! — послышались предупреждающие голоса.— Ребята, все на свои места! Будут спрашивать, говорите, что ничего не видели и ничего не слышали!

Но Давыдов вместо того, чтобы бежать, еще раз переглянулся с Неволиным. Неторопливо спрятал листовки, спокойно засунул руки в карманы и встал, прислонившись к старой, покрытой мхом ели.

Урядник Китаев, озадаченный равнодушным видом Давыдова, подошел к нему. Внимательно посмотрел на него и, положив на всякий случай руку на эфес шашки, приказал ему следовать тотчас к приставу. Но так как ни Давыдов, ни его товарищ не выказали ни малейшего намерения подчиниться этому приказанию, то он сделал попытку схватить Давыдова за рукав, но в ту же минуту получил такой сильный удар в голову, что, шатаясь, отлетел в сторону.

Увидев это, стражник Попов вынул револьвер, но прежде, чем он успел поднять его, грохнул неожиданный выстрел, и стражник упал в канаву. Давыдов, подскочив к раненому полицейскому, выхватил у того шашку и бросился с нею на урядника Китаева, который в страхе принялся бе-

жать, чуть прихрамывая, потому что пуля, пущенная ему вдогонку Неволиным, слегка задела ногу.

— Теперь айда,— крикнул Давыдов,— давай сматываться!

Но взбешенный Неволин, махнув головой, чтобы его подождали, побежал к конторе управляющего, распахнул дверь и, встретившись лицом к лицу с Ивановым, выстрелил в него в упор из своего большого, но ржавого бульдога.

— Получил?— крикнул он покачнувшемуся и побледневшему управляющему.— Так тебе, собаке, и надо!

И Неволин, повернувшись, хотел выскочить из дверей, но в это же время кто-то из-за спины со всего размаху ударил его бутылкой по голове. Он закачался, хотел выстрелить еще раз, но не смог, потому что на него наскочили со всех сторон и крепко заломили руки назад.

Когда он очнулся, то увидел себя окруженным полицейскими.

Прямо перед ним стоял управляющий с перевязанной головой. Выстрел был направлен верно, но пуля дрянного, старого револьвера не смогла даже пробить подбородок Иванова и застряла возле кости.

Неволин обернулся и, увидав, что Давыдова нет, решил, что, вероятно, тому удалось скрыться. А потому он вздохнул глубоко и, взглянув в лицо управляющему, сказал с ненавистью:

— Не взял тебя старый бульдог, погоди, возьмет новый маузер!

И опять закрыл глаза.

А в это время в лесах, прилегающих к Перми, носились неуловимые боевые дружины мотовилихинского рабочего Александра Лбова.

А в это время в лесах, прилегающих к Перми, рыскали карательные отряды хищных ингушей, и то здесь, то там схватывались отчаянной мертвой схваткой два непримиримых врага: жандармерия и лбовцы. И весь рабочий Урал с напряженным вниманием следил за этой неравною схваткою. И по заводам, в цехах, собравшись кучками, делились рабочие друг с другом добытыми сведениями. Полушепотом, чтобы не слышали те, кому не надо, поговаривали, покачивая головой:

— Ну и ну!.. Затеял Лбов дело! Отчаянный человек!.. Да только вряд ли чего добьется! Вот ингушей прислали, жандармов понагнали, а как если нужно будет, так и казаков пришлют! Ох, казаков-то на Дону хватит еще на нашего брата!

Но по ночам жены рабочих таскали лбовцам хлеб, и часто по ночам то в одно, то в другое окошко мотовилихинского поселка тихо и осторожно:

— Тук... тук...

— Кто там?

— Тише, отворяй! Свои... лбовцы!

БРОДЯЧИЙ ТЕАТР МИСТЕРА ФРАНСУА ДЖОНСОНА

С некоторых пор широковещательные афиши, намалеванные пальцем, обмокнутым в чернила, обещавшие показать пермской «почтенной» публике «представление по совершенно новой программе, с участием египетского факира и прорицателя Али-Селяма. фокусника Лонжерона, а также прочего людского и животного состава» потеряли всякую привлекательность для базарной публики. И если не считать десятка-другого завсегдатаев мальчишек, из которых добрая половина пробиралась без билетов, то последние две недели сарайчик на Сенной площади, именуемый громко театральным помещением, был совершенно пустым.

Тщетно арендатор сарайчика Соломон Шнеерман — он же Франсуа Джонсон — ломал голову, придумывал какой-нибудь новый номер, чтобы привлечь внимание публики и повысить сборы театра. Ничего не получалось, тем более что с тех пор, как во время одного из представлений у египетского прорицателя Али-Селяма неизвестно кто украл в темноте единственный восточный халат, впал Али-Селям в мрачное настроение и, ежедневно бессовестно напиваясь, заявлял уже несколько раз, что надоело ему быть факиром и что собирается возвратиться он опять в лоно церкви путем поступления в иноки какого-либо богоугодного монастыря. И если до последнего времени мистер Джонсон возлагал надежды на французского фокусника Лонжерона, то теперь окончательно пал духом, ибо еще только на днях Лонжерон нагло потребовал от него, чтобы

ему заплатили жалованье за три месяца, угрожая в противном случае бросить театр и уехать к себе на родину в Тамбовскую губернию.

И перед мистером Джонсоном во весь рост встал вопрос о необходимости срочно сменить местопребывание своего театра, искать более доходного места и менее требовательного зрителя. А посему, поразмыслив, мистер Джонсон решил отправиться с одним из ближайших пароходов вверх по Каме, в глухой уездный городишко Соликамск.

Узнав об этом бесповоротном решении, факир Али-Селям и фокусник Лонжерон решительно направились в ближайшую базарную пивную и там, осушив полдюжины пива, заказали вторую и, вероятно, распили бы и ее таким же порядком и разошлись без всяких приключений, если бы внимание фокусника не было привлечено сидящим в углу рыжебородым странником, который в продолжение целого часа тянул все одну и ту же бутылку пива, то и дело посматривая на дверь и, по-видимому, поджидал кого-то.

Но не это обстоятельство привлекло внимание Лонжерона. Странным ему показалось то, что, нагибаясь за тем, чтобы поднять нечаянно упавшую коробку спичек, странник уронил шапку и инстинктивно, сразу же схватился за голову, как бы поправляя волосы, то есть невольно сделал тот самый жест, который делает всякий цирковой клоун, боящийся потерять плохо прилаженный парик.

«Эге,— подумал Лонжерон,— вот оно что!» — И толкнул локтем мрачно насупившегося факира Али-Селяма, усиленно и без всякой очереди накачивающегося пивом.

— Ну? — коротко спросил тот, опрокидывая в глотку стакан.

— Заметил?

— Ничего не заметил! — хмуро ответил тот и добавил тихо:

— О, господи! Прости прогрешения наши, как бы не влипнуть еще в какую историю! Пойдем лучше отсюда, брат, дабы не согрешить!

Но Лонжерон был совершенно особого на этот счет мнения и, не послушавшись благого совета старшего товарища, начал исподтишка наблюдать за подозрительным странником.

Тот, по-видимому, отчаявшись дождаться того, кто ему был нужен, потянулся уже рукой к сумке, собираясь уходить, как вдруг внезапно переменил свое намерение. И от

Лонжерона не ускользнуло то, что странник подчеркнуто спокойно засунул правую руку в огромный карман потрепанной рясы, ибо в окошке показались силуэты двух прохаживающихся возле дверей полицейских.

Пивная имела только один выход. Впрочем, была другая дверь, но та через коротенькие сени вела только в уборную.

Еще раз заглянув в окошко, незнакомец быстро встал, глаза его сощурились, заблестели, и лицо, сразу сбросив маску благочестивого смирения, приняло настороженный и хищный вид. Он встал и быстро вышел в уборную.

Терзаемый любопытством фокусник пошел за ним...

Прошло минут пять, и оттуда же мимо захмелевшего Али-Селяма, слегка покачиваясь, прошел какой-то бритый подвыпивший мастеровой в засаленной куртке, обутый в грубые нечищеные сапоги.

«Пресвятая богородица,— подумал, широко открывая глаза, ничего не понимающий Али-Селям,— а это еще кто? Как будто бы туда больше никто не проходил! Неужто он там все два часа сидел!»

Еще минуты через три после того, как мастеровой вышел из пивной, Али-Селям окончательно забеспокоился и решил было проведать, почему так долго задержался в уборной его товарищ. Но едва только он встал, как распахнулась дверь пивной, вошло несколько человек полицейских с обнаженными револьверами. Двое заняли выход, а остальные, проходя мимо столиков, начали внимательно всматриваться в лица посетителей. Потом двое подошли к хозяину. Тот мотнул им головой, показывая на вторую дверь.

Оба полицейские взвели курки, осторожно распахнули дверь и почти тотчас же до слуха Али-Селяма долетели отчаянные ругательства, крики. А еще минутой позже стражники вывели оттуда связанного фокусника, мычащего что-то несуразное, ибо рот его был крепко заткнут потрепанной скуфейкой неизвестно куда исчезнувшего странника.

— Пресвятая заступница! — еще раз пробормотал окончательно перепившийся и перепуганный факир Али-Селям.— Да разве я не говорил, что лучше уйти от всякой мирской греховности и постричься в иноки!

Преследуемый сбежавшимися на выстрелы полицейскими и, убедившись в том, что со своим опустевшим револьвером он ничем не может помочь захваченному товарищу, Алексей Давыдов бросился бежать в лес.

Прошло не менее часа до того, как он остановился и сел передохнуть на душистую траву укромной лесной лощины.

«Эх, Петька, Петька! — подумал он, опуская голову.— И ничего еще не сделал, а пропал уже ни за что!»

Долго сидел Давыдов раздумывая, что делать и куда сейчас направиться. Потом встал, спустился к ручью, набрал холодной воды, смочил ею разгоряченную голову и, направляясь в сторону полотна железной дороги, проговорил вслух:

— Конечно, дело ясное! Уйду к Лбову, а там дальше видно будет!

Через несколько дней он был уже в Перми и там зашел на квартиру одного из знакомых рабочих, деповского слесаря, и попросил его указать кого-нибудь из мотовилихинцев, чтобы тот проводил его к Лбову. Но товарищ Давыдова в ответ только покачал головой:

— Нет! Это дело неладное! В Мотовилихе сейчас жандармы на каждом углу и провокатор на провокаторе верхом сидит! И ты враз можешь влипнуть!

— Но там же бывают лбовцы,— возразил Алексей,— мне говорили, что сам Лбов часто там появляется, значит, уж не так опасно!

— Ну, то Лбов! — загадочно ответил ему слесарь.— Лбову никакая дорога не заказана, ему, случится нужда, так он и к самому губернатору заявится! А ты лучше вот что... Вечером я к тебе одного человека пришлю, он тебе посоветует, как быть.

Слесарь помолчал немного, потом спросил, собираясь уже уходить:

— Так ты, значит, совсем полетел? Ну, а как Ванюшка, брат где? Сидит все еще?

— Сидит!

— Башковитый человек! И сколько он книг перечитал! Прорва! Кабы он не сел, больших бы делов наделал!

— Не больше Лбова!

— Ну, нет,— подумав, ответил слесарь,— это, брат, друг другу не пара. Совсем, можно сказать, разные люди. И на-

тура у них разная, и приемы разные! Лбов тот больше на бомбу напирает! Жандармов бы ему перебить, полицию перестрелять — это ему самое важное дело, а Иван нет! И характер у него не такой, как тебе сказать, отчаянный что ли, а главное, он все больше на пропаганду надеется! Полиции, говорит, много, всю полицию не перестреляешь. Убили, скажем, вчера стражника возле Малой проходной, а сегодня же двух поставят! Надо, говорит, народ организовать, а когда уже все одни к одному, тогда и подниматься разом!

— Знаю я,— махнув рукой, горячо возразил Алексей,— уж сколько раз об этом спорили, нудное это дело, да и как его сорганизуешь, когда каждый норовит в кусты, да и время-то сейчас такое тяжелое! Попритихли, полиция жмет повсюду, вот и надо что-нибудь такое устраивать, чтобы заметно было, чтобы чувствовалось, что не все, мол, благополучно! Да и, кроме этого, вон говорят, что Лбов здесь, как язва у губернатора под сердцем сидит. На него, можно сказать, все внимание. Вот за его спиной и валяй, организовывай понемногу! Одно другому не мешает!

— А разве же кто говорит против организации пропаганды? Валяй, пропагандируй сколько тебе в душу влезет!

Вечером слесарь привел одного из своих товарищей. Тот долго разговаривал с Алексеем и только когда окончательно убедился, что человек свой, надежный, то предложил тогда, чтобы завтра к 12 часам дня Алексей зашел в пивную возле базара и ожидал там, пока подойдет к нему человек и спросит его, не на малярную ли работу приехал он наниматься?

— А как я узнаю его? — спросил Алексей.

— Да и незачем тебе вовсе, он сам тебя узнает! Ты в этой одеже будешь! Ну и хорошо, раз подойдет человек, спросит, значит, тот самый! Он тебя до самого Лбова проводит. Отчаянный парень! Сколько его ловили — и все никак!

На другой день Алексей, беззаботно насвистывая, пробирался через базарную толпу к указанной ему пивной. Часы пробили ровно двенадцать, когда на глаза ему попалась убогая вывеска кабачка. Как раз, в аккурат, подумал он и направился было к дверям, но вдруг разом остановился и, быстро повернувшись, замешался среди народа.

«Вот, черт возьми, чуть-чуть было не напоролся! — подумал Давыдов. — И откуда его принесло? Надо будет обождать немного, пока уйдет».

Причиной этого внезапного беспокойства Алексея было то, что на деревянной скамейке рядом с пивной он заметил фигуру знакомого по Соликамску стражника.

Стражник равнодушно пощелкивал семечки и, очевидно, совершенно случайно присел отдохнуть в тень от лучей горячего солнца. Если бы стражник не был знакомым, то Алексей спокойно прошел бы в пивную, но сейчас это сделать было совершенно невозможно. Алексей отошел за дощатые ларьки, находившиеся напротив, и стал ожидать.

Прошло минут двадцать. Стражник вылущил весь запас семечек, потянулся, застегнул распахнутый ворот, по-видимому, собираясь уходить. Но в это время из пивной вышел толстый рыжий человек, вероятно, хозяин, и взволнованно шепнул что-то полицейскому. Тот быстро вскочил, бросился к двери, но тотчас же раздумал войти в пивную, очевидно, побоялся, сказал что-то хозяину, и тот, подобострастно кивнув головой, побежал куда-то в сторону. А стражник остановился невдалеке от дверей, и Алексею ясно было видно и то, что покраснело и насторожилось стражниково лицо, и то, что теперь он уже внимательно следил за всеми входящими и выходящими из пивной, и то, что правая рука стражника твердо легла на кожаную кобуру большого казенного револьвера.

«Вот тебе и мама! — подумал Алексей. — Что же это такое здесь начинается?»

И вдруг ясное, четкое подозрение мелькнуло у него: «А не выследила ли полиция того лбовца, с которым он должен был встретиться?»

При этой мысли Алексею сразу стало холодно. Мало того, что он не мог сам пойти и предупредить о надвигающейся опасности человека, не мог даже послать кого-либо из мальчишек с запиской, ибо он и сам не знал в лицо того человека.

В это время дверь распахнулась. Стражник незаметно сжал рукоятку револьвера, но тотчас же опустил руку, ибо оттуда вышел, очевидно, не тот, кого он ожидал. Это был подвыпивший мастеровой, шел он слегка покачиваясь, подпевая и вскоре затерялся в толпе. И почти тотчас же вслед за этим к кабачку под предводительством запыхавшегося рыжего хозяина торопливо подошли еще трое полицей-

ских, и тогда уже вчетвером, открыто вынув револьверы, они быстро ворвались в пивную.

Алексей еще дальше отодвинулся за ларьки и стал смотреть, что будет дальше. На всякий случай он обернулся и совершенно неожиданно для самого себя заметил, что не только он один внимательно наблюдает за дверьми кабачка. И что невдалеке от него стоит недавно вышедший из пивной человек и его напряженно-сосредоточенное выражение лица не носит на себе ни следа недавнего хмеля.

Опять распахнулась дверь. На этот раз оттуда вышли двое полицейских: один тащил в руках старый подрясник и рваную котомку, а другой держал за шиворот какого-то, по-видимому, сильно выпившего человека, ибо человек почти не стоял на ногах, отчаянно икал и орал во все горло басом:

— Господи, отверзи ми двери покаяния...

Но стражнику, по-видимому, мало понравилось это пение, потому что он пнул псалмопевца коленом пониже спины и, тряхнув его за шиворот, крикнул сердито:

— Ну ты, египетский черт, заткни свою глотку, туда тоже — прорицатель! Какой ты прорицатель, когда не видишь, что вокруг тебя делается?

Алексей обернулся и увидел, что мастеровой быстрыми шагами, почти бегом, удаляется в сторону.

«Погоди-ка! — подумал вдруг Алексей, бросаясь вслед за ним. — Погоди-ка, друг, да не ты ли это был мне нужен?»

На углу Красноуфимской Алексей догнал незнакомца. Но, выжидая момент, когда тот очутится на какой-либо менее людной улице, пошел за ним следом шагах в двадцати позади. У одной из витрин Алексей остановился, заметив, что незнакомец искоса обернулся несколько раз.

Незнакомец круто повернул за угол и быстро пошел дальше. Потом еще раз завернул, и, наконец, они очутились на глухой, пустынной улице.

«Сейчас подойду! — решил Алексей и завернул вслед за угол, но на улице уже никого не было. — Что за дьявол?» — подумал он, осматриваясь.

Сделал Алексей еще несколько шагов вперед, как вдруг с боку из ниши каменных ворот кто-то негромко, но твердо крикнул:

— Стой!

И Алексей увидел наведенное на себя дуло черного браунинга и незнакомца.

— Ты чего за мной следишь? Шпионишь, провокатор? — голосом, не предвещавшим ничего хорошего, спросил Алексея незнакомец.

«Конечно, он!» — мелькнула мысль у Давыдова и, улыбнувшись, он ответил:

— Нет, зачем следить. Я только хотел спросить, не нужны ли вам малярные рабочие?

Человек внимательно окинул взглядом Давыдова, медленно опустил браунинг в карман и еще не совсем доверчиво сказал:

— На малярные работы нанимаются раньше.

— Раньше? — присвистнул Давыдов.— Скажи, милый человек, спасибо, что хоть поздно пришел, а то вовсе в безработные попал бы!

И он коротко рассказал незнакомцу, как было дело.

— Вот оно что! — ответил тот.— А у меня тоже вышло дело. Был я под гримом, да хозяин заметил. Гляжу, возле дверей полицейский похаживает. Пошел в уборную, сбросил одежду, да за мной какой-то дурак увязался, так я ему пригрозил пистолетом, заткнул рот и ушел.

В ту же ночь новый товарищ Давыдова, по кличке Студент, удачно минуя конные разъезды, охранявшие Соликамский тракт, провел его в лес к месту стоянки боевой дружины Лбова.

И в ту же ночь встретился Алексей с легендарным «разбойником», грозой уральской жандармерии — самим Александром Лбовым.

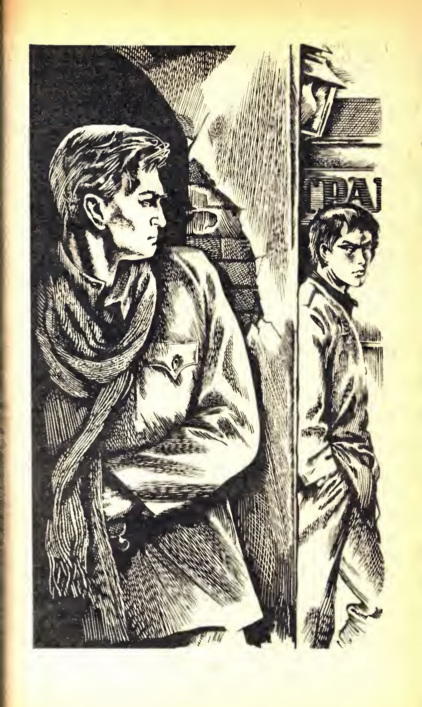
— Ну, говори, рассказывай, как у вас там? — коротко спросил Лбов, усаживаясь у костра и внимательно изучая черты лица Давыдова.

Лбов перебивал его иногда, задавая короткие и прямые вопросы:

— Ребята надежные есть? Бомбы делать умеете? Жандармов много? Солдаты стоят? Управляющий кто?

Давыдов отвечал ему также коротко и четко:

— Ребята есть. Бомбы сделаем Жандармов мало. Управляющий — собака.



— Ну,— проговорил Лбов через некоторое время, оканчивая разговор.— Ну, ближе к делу. Чего же ты хочешь?

— Оружия и денег для начала. Я хочу собрать там вторую боевую дружину.

— Нет,— ответил Лбов после долгого раздумья,— нет, не надо пока другой дружины. Ты лучше подбери небольшую отчаянную надежную кучку, чтобы в нее не пробрался ни один провокатор, и с нею начинай дело. Так надежней будет. У меня вон народу много, уж, кажется, вот как смотрю за всеми, а все-таки знаю, что есть провокаторы, того и гляди, что провалишь с ними все дело. У тебя, я слышал, брат есть?

— Есть, старший. В тюрьме сидит.

— За что?..

— За пропаганду.

— Пропагандист, значит? Массы просвещает! Знаю, слышал я про него,— с едва уловимой насмешкой сказал Лбов.— Ну, что ж и то дело хорошее.

В это время к Лбову быстро подбежал кто-то и сказал несколько слов.

Лбов вскочил, схватил винтовку, набил полные карманы патронами и, захватив с собой человек десять, направился с ними в лесную чащу. На опушке он остановился и окликнул Давыдова. Когда тот подошел к нему, то Лбов молча снял карабинку с плеч одного из дружинников.

— Возьми,— сказал он, протягивая ее Алексею,— и пойдем с нами. Дай-ка мы посмотрим тебя в деле.

— Смотри,— ответил Давыдов и, заложив полную обойму в магазинную коробку, щелкнул затвором и перекинул карабинку через плечо.

УНТЕР-ОФИЦЕР ШТЕЙНИКОВ РАЗДУМЫВАЕТ ОТПРАВЛЯТЬСЯ В АРЕСТАНТСКИЕ РОТЫ

В Соликамской тюрьме за сравнительно короткий период Штейников успел трижды попасть в карцер, дважды быть высеченным и неоднократно быть битым по зубам.

Всему этому способствовало то, что Штейников обладал странным и неуживчивым характером. Нельзя сказать, чтобы он грубиянил администрации. Наоборот, он под-

черкнуто четко, по-солдатски отвечал на каждый вопрос, а на поверке никто так громко, как он, не орал в ответ на приветствие:

— Здравия желаю, ваше благородие!

Но, несмотря на все это, а может быть, именно поэтому, начальство ему не доверяло и всегда ожидало от него какой-нибудь выходки.

Так, например, встретившись в коридоре с помощником начальника тюрьмы, он встал, вытянувшись во фрунт, и совершенно неожиданно спросил почтительно:

— Разрешите поинтересоваться, ваше высокородие, что у вас слышно, скоро ли революция будет?

А в другой раз в тюремной больнице, когда доктор приказал больному, едва стоящему на ногах арестанту, отправиться обратно и не велел тому больше показываться в больницу, то Штейников успокоительно гаркнул доктору:

— Будьте благонадежны, ваше благородие! Он не покажется. Куда ему показываться, когда он не сегодня-завтра с вашего разрешения подохнуть должен.

Растягиваясь же на скамейке для того, чтобы быть высеченным, он сказал в порыве откровенности присланному для наблюдения лекарю:

— Беда, как не люблю, когда меня секут, господин лекарь. Ей-богу, никакого удовольствия. Если бы вам, господин лекарь, с полсотни влепить, то вы, должно быть, и папу с мамой не узнали бы?

Характерно то, что вообще в промежутки между этими редкими репликами Штейников молчал или говорил крайне неохотно.

Здесь же, в тюрьме, он познакомился с Петром Неволиным и братом Алексея Давыдова — Иваном. Последнему он передал еще при поступлении в тюрьму брошенную неизвестно кем бумажку с камнем, в которой сообщали о том, что Алексей застрелил стражника и скрылся неизвестно куда.

Вскоре Штейников с партией арестантов должен был отправиться дальше в Сибирь.

«В Сибирь, так в Сибирь, хоть к самому дьяволу!» — решил Штейников и, вероятно, позвякивая кандалами, пошел

бы он отмеривать версты, если бы одно обстоятельство не изменило бы вдруг его намерение.

Каким-то образом Иван Давыдов получил письмо от Алексея. Алексей писал, что скоро он думает возвратиться опять в Александровский завод, но уже с группой боевиков. А потому предлагал Ивану поразмыслить над планом побега, обещая прислать необходимую для подкупа сумму.

— Алеша действует,— решили они.

И в ту же ночь Штейников, размышляя над предложением Неволина, два часа пролежал с открытыми глазами молча, а потом заявил вдруг категорически, что он раздумал отправляться в арестантские роты; решил бежать и присоединиться к группе Алексея.

Петр и Иван начали внимательно нащупывать почву, кого бы это из администрации можно было подкупить? И после некоторых колебаний выбор их остановился на надзирателе Мальцеве.

Однако этот план бегства с подкупом был непригоден для Штейникова как чересчур затяжной, а потому он изобрел свой собственный план.

Нельзя сказать, чтобы план этот блистал особенной изобретательностью, ибо здесь не было ни подкупов, ни перепиленных решеток — ничего. План был прост и четок.

Когда партия отправляемых арестантов тронулась к пристани по соликамским улицам, Штейников незаметно потуже подтянул ремешок на брюках, расстегнул ворот. И, когда арестанты дошли до перекрестка, Штейников, с силой толкнув стоявшего рядом конвойного, на глазах у всех прыгнул в сторону и пустился наутек.

Почти одновременно загрохотали вдогонку выстрелы из десяти или двенадцати винтовок. Но Штейников, не обращая внимания, ровным солдатским бегом на носках продолжал нестись вперед. Он выбежал за город, преследуемый пятью конвойными. Конвойные остановились в ряд и спокойно с колена начали посылать ему вдогонку пулю за пулей.

Штейников зигзагами добежал до подножия холма. Теперь ему оставалось самое трудное — пробежать сажен двадцать в гору. Это было почти невозможно. Тогда он выкинул такой номер: зашатался и упал, как будто подстреленный. И, когда конвойные разом бросились к нему, он... вдруг прыгнул опять вперед.

Этим он выиграл, во-первых, то, что прошло по крайней мере полминуты, пока догонявшие его снова остановились в ряд и взяли винтовки на изготовку; во-вторых, то, что руки преследователей сразу же после бега дрожали и не смогли взять правильно арестанта на мушку. В следующую минуту он уже был за холмом. Подоспевшие туда конвойные увидали, что Штейников теперь далеко и, как закусивший удила иноходец, несется по холмистому лугу, то исчезая, то появляясь вновь.

Преследователи дали еще несколько выстрелов. Потом, путаясь ногами в ножнах шашек и задыхаясь от усталости, они побежали вслед за Штейниковым, поминутно оборачиваясь и ожидая, что вот-вот прискачет, вероятно, вызванный уже резерв конных стражников.

Но стражники прискакали слишком поздно, ибо Штейников, не получив ни одного золотника свинца, сделал крюк. Крепкой солдатской грудью он мощно разрезал волны седой Камы, вышел на песчаный берег и, пошатываясь, ушел в лес.

ЖАРКИЙ АВГУСТ

В конце июля Давыдов, получив от Лбова деньги, оружие и четырех боевиков в подмогу, направился на север — в Александровский завод. Боевиками-лбовцами были Семев, Мальцев, Студент, Белявин. Кроме того, со дня на день Алексей ожидал брата Ивана и Петра Неволина, которым деньги на подкуп пересланы были еще на прошлой неделе через одного верного человека.

Прощаясь с Давыдовым, Лбов говорил ему напоследок:

— Не знаю, Алексей, придется увидеться или нет. Думаю, что еще придется. Помни мой совет: большой дружины не набирай. С большой дружиной пропадешь, а пуще всего берегись провокаторов. Помни, что если тебе туго придется, ударяйся в мою сторону... А может быть, в случае чего, ударюсь к тебе и я.

Он помолчал, пожал руку Алексею и добавил:

— Ребят я тебе даю надежных. Давай начинай, а там видно будет, что выйдет.

И, повернувшись, ушел. Сел на сваленное ветром дерево и, насупив черные косматые брови, долго думал о чем-то,

опустив голову. Долго думал, ибо чувствовал, что не справиться ему с взятой на себя задачей. Пусть еще гремят выстрелы его дружинников, расстреливающих полицию, пусть еще дрожат жандармы на темных перекрестках опустевших улиц. Но все туже и туже стягивается вокруг него мертвое кольцо предательства и измены. И даже рабочие, уставшие от постоянных обысков и арестов, потерявшие веру в возможность нанести смертельный удар самодержавию, все холодней и холодней относятся к лбовцам, реже встречаются с ними, предпочитая на время глубоко замкнуться в самих себя.

Но крепок еще и могуч был дух гордого бунтовщика. Встал он, поглядел вокруг на буйно разросшийся зеленью лес, увидел, как бодро гогочут раскинувшиеся на полянке дружинники его неугомонной вольницы, услышал, как ревут гудками на Каме охраняемые перепуганным конвоем пароходы, и подумал гордо:

«Нет, еще поборемся, еще посмотрим. А если и я сорвусь, так за меня Давыдов кончит».

— Кончит! — с твердым убеждением проговорил он и, стукнув прикладом винтовки о заросшую мхом каменную глыбу, медленно зашагал к поляне.

После побега Штейников направился прямо в Александровский завод и там поселился в домике рабочего Ларионова, с которым близко сошелся еще в тюрьме.

Со дня на день он ожидал прибытия боевиков, а пока копался в огороде, ходил на сенокос, отдыхал после тюрьмы, тюремных розог и карцеров. Он познакомился с некоторыми рабочими, в том числе Тимшиным[1], странным спокойным человеком, имевшим, однако, сильное пристрастие к бомбам и уже неоднократно бросавшим их в окна ро-

[1] Лицо реальное. В 1926 году, собирая материалы о «лесных братьях», А. Гайдар приезжал в Александровск и останавливался в доме вдовы Тимшина — Анны Васильевны (ныне улица Гайдара, 87). Тимшина вспоминала: «Он приехал днем. Все расспрашивал про братьев Давыдовых. Ведь мой муж в те далекие годы помогал Ивану и Алексею. Гайдар ночевал в нашем доме две ночи. Уезжая, сказал: «Буду писать книжку о Давыдовых. Нельзя забывать смелых людей». (См.: Мочалин А. Люди смелые, мужественные. — Звезда, 1964, 26 сентября.)

скошной усадьбы управляющего, высоко раскинувшейся на горе.

Страсть к бомбам была, кажется, единственной страстью Тимшина. И вряд ли что-нибудь доставляло ему такое сильное удовлетворение, как те минуты, когда вечером, засев в кустах, ожидал он момента, когда можно будет метнуть крепко запаянный кусок газовой трубы, начиненный динамитом, услышать звон разбитого стекла, а потом глухой гул стен вздрогнувшего барского дома, того самого, перед обитателями которого днями, почтительно сняв шапки, торопливо проходили рабочие.

Так прошло несколько недель напряженно спокойно. Но ни пристав Караваев, ни управляющий не верили этой показной тишине, ибо в шепоте, обрывающемся при приближении мастера, в глазах, загорающихся ненавистью при встрече с управляющим, чувствовалось, что скоро, совсем скоро что-то начнется. А поэтому и управляющий, и пристав Караваев были начеку.

Началось все совершенно неожиданно.

Как-то вечером Штейникову сообщили, что Алексей Давыдов с товарищами здесь неподалеку. И точно старый солдат перед смотром, затянул Штейников пояс, застегнул наглухо ворот рубахи, торопливо пошел навстречу своим новым товарищам и, получив винтовку, спокойно, без лишних слов осмотрел ее внимательным взглядом старого служаки. В тот же вечер начисто протер ее тряпкой, смазал коровьим маслом, уверенно заложил обойму и мысленно поклялся не выпускать ни одного патрона даром.

Через несколько дней из тюрьмы прибежали оборванные и загорелые Иван Давыдов и Петр Неволин.

...Еще больше насторожился, насупился и тяжело задышал огнями старый Александровский завод.

Это было в первых числах августа, когда на Луньевских копях в семи верстах от Александровска показались вдруг в открытую пять или шесть человек с красным флагом. Вошли настороженно, винтовки взяв на изготовку, и улыбались выглядывающим из окон лицам.

Прошли к казенке. Прикладами винтовок и палками перебили водочные бутылки, забрали кассу, потом долго перестреливались с жандармами, засевшими в квартире уп-

равляющего, и быстро скрылись, ибо со стороны взбудораженного Александровска неслись уже во весь опор на взмыленных конях вызванные в помощь жандармы.

Это была только первая разведка Давыдова, первая проба осуществления намеченного боевиками плана.

Алексей и Иван были людьми несхожими. Иван был старше лет на восемь. Был он чуток, мягок и спокоен. Хороший пропагандист, надежный подпольщик, он пользовался большим авторитетом на конспиративных собраниях и массовках.

Никто так терпеливо, как он, не мог разъяснить александровскому рабочему, к чему тот должен стремиться, чего добиваться и что ненавидеть. Единственным и главным недостатком Ивана была некоторая слабовольность и неумение подчинить своему влиянию, сорганизовать массу. Он был политически развит, теоретически силен. Но в практической работе он часто напоминал ребенка, особенно тогда, когда не мог сослаться в том или ином случае на одну из страниц прочитанной им авторитетной книги.

Алексей был проще. Недаром у Алексея была кличка Соловей. Алексею и сам черт не брат. Раз он задумал, значит, сделал, а что сделал, о том не пожалел. И когда, притесняемый управляющим и полицией, увидел он, что нет ему никакого житья, да и не только ему, но и всем, махнул рукой и сказал:

— Эх, мама, где наше не пропадало!

Как-то после встречи сказал ему брат:

— Слушай, Алеша, а мне что-то не нравится твоя затея. Главное, все без толку. Игрушки это... Помнишь, как раньше было перед забастовкой, как сходки собирали, агитировали, а потом как ахнули — весь завод встал. Сколько народа втянули, всех захватили! Это я понимаю, а тут что? Ну, будет нас кучка, а остальные при чем? Остальные ни при чем вовсе.

— Забастовка! — присвистнул Алексей. — А ну ее к черту, эту забастовку. Тоже будоражили, шумели, орали. Думали: забастуем — всего, как есть, добьемся, а под конец что вышло?

— Как что? Выиграли все-таки...

Алексей зло рассмеялся, плюнул и ответил с сердцем:

— Выиграли! Подумаешь, выигрыш какой! До забастовки на поденной 40 копеек получали, а после 45. Что же вышло?.. Шуму сколько было, а все-то навсего ему цена пятак. Да на какой пес мне этот пятак сдался? Если кто без пятака подыхал, тот и от него не разжиреет. Тоже, хорош выигрыш...

— Да не в этом дело...— начал было Иван, но Алексей оборвал его:

— Брось, ты, Ванька, на ясный день тень наводить, брось философию, довольно речи говорить, пора и дело делать.

Была у братьев Давыдовых старуха мать, была молодая сестра и меньшой брательник Васька. Жили они с краю завода, недалеко от опушки, в маленьком черном покосившемся домике.

Наискосок через улицу жил богатый старый часовщик. И часто можно было видеть в окошко его паучью голову, низко склонившуюся над распотрошенными часами. Жил старик этот замкнуто. Народ его не любил, и по вечерам крепко-накрепко закрывал он на засов двери у себя в доме. И давно про старика нехорошая молва среди народа ходила.

Сидит у окна старый филин, а сам все в сторону давыдихиного дома поглядывает. Недаром говорили ребята, что видели ночью старика, выходящим из полицейской квартиры. Не станут люди без толку говорить.

Пришли как-то ночью братья повидаться с матерью. Обрадовалась им мать. Не знала, в какой угол посадить. Но ребята хитрые были: в угол садиться не садились, а садились к окошку, пистолеты из кармана вынимали, курки пробовали и на стол перед собой клали.

— Так, мамаша, надежней будет...

Увидала старуха этакое дело и разохалась:

— Ой, ребята, нехорошую вы жизнь затеяли. Жили бы лучше в мире и покое, а то и так укоряют меня на старости люди. Зашла к лавочнику намедни за солью, а он и говорит мне: «Что ж ты, старая, двух разбойников вырастила? Пойди-ка ты лучше в контору к управителю и спроси-ка его, сколько за их беспутные головы честным людям денег обещано». Ох, сыночки, сыночки, да что же это такое?

И говорила братьям младшая сестра Анка:

— А у нас на заводе только и разговору, что про вас, братцы; все ребята чего-то шушукаются, а девки и бабы только ахают и бог знает, что говорят. Головы, говорят, у них отчаянные. Деньги, слышно, с собою мешками возят, а у Алексея шашка вся в серебре и конь белый с кавказской уздечкой. Только врут, должно быть, бабы про все это...

А меньшой братишка ничего не говорил, сидел у стола насупившись, как волчонок, и тихонько пальцем трогал черную сталь холодных пистолетов.

Увидала мать, догадалась, про что меньшой сын думает, и крикнула сердито:

— Не тяни руки-то, идол! Ишь ты, тебя только там не хватало!

Но всех трех сынов крепко любила старуха.

И ответил всем трем по очереди Алексей:

— Плюнь ты, мать, на лавочника. И знай — не его словами свет живет. Коли для управителя мы разбойники, так он сам для нас первый бандит. Мы, мать, у богатых награбленное берем, а он последнюю полушку у нищего норовит вытащить. А ты, Анка, меньше слушай, что бабы языками чешут. Нет у нас привычки деньги мешками возить, а когда случаются деньги, так сразу в оборот идут: оружие достать, товарищей из тюрьмы выручить, либо голодные рты у своего же брата рабочего, выгнанного управителем, куском хлеба заткнуть. А ты, Васька?.. Впрочем, о тебе нет речи. Ты пока вырастешь, так все еще лучше нас и без нас поймешь, а пока молчи и чтоб никому ничего. Понял?

И блеснул в ответ мальчишка угольками черных глаз:

— Понял!

Ушли братья в лес к кострам и товарищам. Только на углу встретил вдруг Алексей расплывчатого часовщика. Встретил, посмотрел на него пристально. Ничего не сказал и пошел дальше.

Вздрогнул старик и еще крепче в эту ночь запер на засовы двери, а когда скрылся вовсе месяц, потухли звезды и спустилась ночь черная, как душа провокатора, выплыла из стариковой избы чья-то тень — не старикова ли? — и утонула в темноте.

С тех пор, как братья Давыдовы появились в окрестностях Александровского завода, жандармы начали часто наведываться в дом их матери. В последний раз они категорически потребовали, чтобы мать им указала место, где укрываются ее сыновья. Причем из некоторых фраз, сказанных

жандармами, было видно, что им точно известно время последнего свидания Давыдовых с матерью.

Не добившись ничего от старухи, жандармы взяли в работу мальчугана. Но ни угрозы, ни побои не заставили его сознаться ни в чем. Исполосованный плетьми, Васька так же молчал, как и при начале допроса, и по его глазам видно было, что скорее он позволит запороть себя насмерть, чем скажет хоть одно слово[1].

Для Давыдовых стало ясно, что здесь замешан какой-то вредитель, докладывающий полиции обо всем, что происходит в маленьком домике. Через несколько дней слежки было окончательно установлено, что часовщик бывает тайком у урядника.

Тотчас же на небольшом совещании «лесных братьев» было решено уничтожить провокатора. Исполнить это взял на себя Штейников.

———

Были уже сумерки, когда Штейников, заложив руки в карманы, спокойно проходил по пустынным улочкам окраины Александровского поселка. Невдалеке от дома часовщика он зашел в мелочную лавчонку. Полусонный лавочник вздрогнул при звуке дернувшегося звонка, лениво поднял голову и отпустил покупателю осьмушку махорки. Штейников бросил на прилавок медяки и быстро вышел.

Лавочник хотел было сунуть деньги в ящик, но увидел, что покупатель всучил ему одну пробитую копейку.

— И до чего народ мошенник пошел! — пробормотал он, закрывая опять сонные глаза,— так и норовит обжу-

[1] Младший брат Давыдовых, Василий, прожил долгую жизнь. В 1964 году он дал интервью корреспонденту пермской «Звезды» А. Мочалину: «В 1907 году мне исполнилось пятнадцать лет. Нам с Анной, старшей сестрой, товарищи Ивана и Алексея поручили наладить помощь от населения. Мы доставляли боевой группе продукты, чинили и стирали белье, держали связь с рабочими других городов. За нашим домом следили ищейки. Начались обыски, допросы, побои. Били сестру, били меня. Оба мы немало времени отбыли в тюрьмах... Анна от долгих скитаний по тюрьмам, от пыток охранки тяжело заболела. В 1919 году она умерла. Мне же довелось защищать дело революции в гражданскую войну. Вместе с красногвардейцами Александровска и Кизела я участвовал в походах против Колчака. А в память о братьях я храню газеты, где была напечатана повесть Гайдара «Лесные братья». (См.: Звезда, 1964, 26 сент.)

лить. Кто это приходил-то? Никак Безгодов. Вот я ему покажу в следующий раз...

Потянувшись, лавочник азартно зевнул и стал запирать двери. Штейников, пробравшись до дома часовщика, уверенно распахнул калитку, дал пинка затявкавшей собаке и потянул ручку двери, но дверь не поддавалась.

«Уже заперся, старый сыч!» — подумал Штейников и постучался.

Послышались шаги.

— Кто там? — раздался голос из-за двери.

— До хозяина надо, — ответил Штейников, стараясь насколько возможно изменить голос.

— Я и есть хозяин, чего нужно?

— Часы починить.

— Приходи утром. Какая на ночь глядя починка может быть? Да ты хоть кто такой?

— Управителев повар, — ответил Штейников. — Да ты что, мил человек, я к тебе второй раз приходить что ль буду? Возьми сейчас, а завтра после обеда я зайду.

Старик колебался. Потом отодвинул засов и сказал, протягивая руку:

— Давай часы.

Но Штейников не хотел стрелять здесь же, ибо грохот выстрела мог бы привлечь всю улицу, а потому он сделал вид, что не слышит слов часовщика, и прямо направился в комнату.

Бормоча что-то себе под нос, старик прошел за ним и, подвигая лампу, сказал недовольно:

— Так давай же часы.

Но тотчас же часовщик осекся, потому что, несмотря на тусклый свет, он заметил покрытые грязью грубые руки посетителя и усомнился сразу: точно ли это повар, а не конюх, либо еще кто похуже? Он сделал шаг к окошку, намереваясь распахнуть его. Но Штейников предупредил его, быстро загородив дорогу:

— Чего тебе там надо?

Часовщик, убедившись окончательно, что дело неладно, быстро схватил с подоконника тяжелый молоток, но почти одновременно грохнул выстрел. Испуганно слетел с печи и метнулся через всю комнату ошарашенный грохотом рыжий кот. А старик, не выпуская из рук молотка, медленно осел на пол.

Штейников потушил лампу и выскочил во двор, прислушался. Не было слышно ни криков, ни шума. Очевидно, звук выстрела, заглушенный четырьмя стенами, не смог прорваться до улицы.

Через несколько дней давыдовские боевики или, как они называли себя «лесные братья», сделали налет на Всеволодо-Вильвенский завод. Налетели совершенно неожиданно. Открыто вступили в перестрелку с жандармами и, когда жандармы разбежались, направились в волостное правление, забрали там печать и чистые паспортные бланки, потом так же, как это делали лбовцы, начали громить казенку. Братья Давыдовы не пили сами и не позволяли пить водку своим товарищам.

— Алешка, давай в городки играть! — крикнул Неволин, возвращаясь из разгромленной лавки.

— Давай! Отчего не сыграть, ставь чушки...

Начертили на земле квадрат. По углам поставили нераспечатанные водочные бутылки, а посередке целую четверть. Ребятишки понатаскали палок. Кругом толпились рабочие, мужики, даже бабы высунулись из окошек, с любопытством наблюдая за невиданной игрой.

— Эх, Лексей Иваныч! — высовываясь из толпы, проговорил лысый мужичонка.— Ей-богу, Лексей Иваныч, нехорошее дело ты затеял. Ты бы лучше нам ведерочко поставил, а мы уж за твое здоровье...

— Лексей Иваныч,— в один голос завопили бабы,— ну их к бесу, окаянных. Перепьются, как скоты, а потом стражники всех заберут.

Алексей выбрал палку потолще, свесил ее в руке и ответил, отходя от кона:

— Царь Николка вам поставит, а наше дело отставлять подальше... Ну начинай, Петька!

Размахнувшись, Неволин бросил палку, но попал в самый край, разбив только одну бутылку. Потом бросил Иван, но его палка пролетела далеко в сторону, не задев вовсе ни одной бутылки.

— Плохо,— послышались голоса,— ты, брат, ее кругом, кругом палку пускай.

— Эх, рука человека не поднимается на божье добро,— проговорил рыжий мужичонка, покачивая головой.

— А ну дай, дядя, может, у меня подымется?

Алексей поплевал на ладонь, сощурил глаза, нацелился. Тяжелая палка со свистом ударила в самую середину по четверти и, перевернувшись, разбросала далеко в стороны осколки разбитых бутылок. Тяжелый запах спиртового пара пошел от разгоряченной земли.

— Эх, Лексей Иваныч,— почесывая голову, с нескрываемым сожалением проговорил рыжий мужичонка.— Всю бы улицу напоить можно. Думал хоть раз в жизни вволю, и то не пришлось!

И мужичок, понурив голову, отошел в сторону. Потом, вытащив из кармана утаенный штоф, он выпил его из горлышка, утерся рукавом и начал было петь что-то очень жалобное, но, заметив в окне через улицу высунувшееся лицо своей бабы, раздумал петь и, не обращая внимания на ее окрики, торопливо завернул куда-то за угол.

Срочно в Александровский поселок из Перми были вызваны усиленные наряды жандармов и полсотни конных ингушей. События начали принимать угрожающий характер. В течение двух-трех недель с момента появления боевиков было совершено несколько убийств и экспроприаций. Последним актом неуловимых было ограбление заводского кассира, у которого «лесные братья» отобрали свыше семи тысяч рублей. Каждый день приносил александровским рабочим что-нибудь новое. Уже часто народная молва приписывала давыдовцам легендарные поступки. Например, упорно уверяли, что якобы Алексей Давыдов вместе со Лбовым явился однажды к пермскому губернатору под видом просителя, пробыл у него некоторое время и ушел, оставив записку: «Дурак за добычей бежит, когда она у него под боком лежит».

Несмотря на явную неправдоподобность многих таких легенд, им охотно верили и охотно делились ими друг с другом.

В это время группа усилилась еще несколькими боевиками, в том числе александровским рабочим Деменевым, который, будучи арестован полицией, на полном ходу поезда убежал от охранявших его жандармов, выпрыгнув в открытое окно вагона.

Нужно было доставить еще оружие и патроны. Алексей предложил Студенту отправиться в Соликамск и через указанного ему человека достать все необходимое и привезти сюда.

Вообще в этот период Алексей проявил много предусмотрительности. Так, например, он установил несколько пунктов, к которым, в случае неудачи, должны были собираться боевики; связался с аптекарем и через него доставал необходимые медикаменты. А самое главное — вверх по речонке Лытве на глухой лесной поляне облюбовал место для зимовки и приказал рыть землянки. Всюду и везде он появлялся сам, подбадривал, указывал и сорганизовывал.

Но полиция работала тоже. Губернатор Болтников, перепуганный тем, что, помимо Лбова, начинает организовываться другая самостоятельная «шайка», отдал категорическое распоряжение: не щадить ни сил, ни затрат и тотчас же ликвидировать дружину «лесных братьев», не давая ей возможности разрастись и окрепнуть. Окрестности Александровска начали наполняться незнакомыми, неизвестно для чего явившимися людьми, а в поездах, проходивших от Усолья к Чусовой, можно было заметить нескольких без толку разъезжающих взад и вперед все одних и тех же лиц.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-СЕЛЯМА

— Конечно,— проговорил Али-Селям, опрокидывая в глотку стакан пива,— конечно, если разобраться подробно, то все в этом мире суета и видимость!

Но Лонжерон не любил вдаваться в философские размышления и ответил лениво:

— Ну понёс!.. Чушь все, дядя, говоришь!

— Конечно, видимость,— продолжал Али-Селям, опрокидывая еще стакан.— Возьмем, к примеру, меня. Какой я басурманский факир с этаким богопротивным именем, если я, скажем, не только у этих египтян не был, но даже ни одного настоящего фараона в глаза не видал! Я даже, сказать по правде, не знаю вовсе, какие такие фараоны бывают! Или, к примеру, почему ты есть Лонжерон, когда ты вовсе не Лонжерон, а Гавриил Петухов, мещанин Тамбовской губернии? Ну, скажи, пожалуйста, где же тут истина?

Нету истины!.. Потеряна истина! Погрязло человечество во грехе и беззаконии, и каждый норовит как бы друг друга обмошенничать!

И Али-Селям, горестно опустив захмелевшую голову на руки, вздохнул, глубоко печалясь о неразумности людской.

— Ну-ну, опять завел,— ответил Лонжерон насмешливо.— Почему да почему, да все потому! Ежели я, скажем, не Лонжерон, то публика билеты покупать не будет! Потому каждый думает: черт его знает, может, это и настоящий Лонжерон? Ну, а если написать Гаврила Петухов — плюнет зритель и отвернется! Ей-богу, отвернется! Ну скажи, пожалуйста, что русский Гаврила показать может? Да этот самый Гаврила, может, осточертел уже зрителю, когда он и без того каждый день глаза мозолит! Да он хоть лоб расшиби, а никто ему, Гавриле, не поверит! Где, скажут, такое возможно, чтобы простой мужик Гаврила и все тайны черной магии постичь мог? Ясно, скажут, обман и жульничество!

— Суета все! — упрямо повторил Али-Селям.— Кабы достать мне настоящий паспорт, так я бы давно опять в иноки!..

Но тут он замолчал, потому что Лонжерон сильно толкнул его кулаком в бок, ибо совсем рядом с ними, положив голову на руки, спал человек. А черт его, человека, знает, может быть, вовсе и не спал?

— Вот, старый дурак, будто тебя кто за язык тянет,— сердито проговорил Лонжерон, выходя из пивной.— Да тебя, болвана, если одного пьяного оставить, ты бог знает что выболтаешь! Кабы н-а-с-т-о-я-щ-и-й,— передразнил он,— услышал бы полицмейстер, он бы тебе прописал настоящий! Видел — рядом человек сидел, может, это шпион какой! Вот придут завтра да засадят тебя в каталажку, а то еще по этапу на твой Афон отправят!

— Ну, что ж на Афон,— заплетающимся языком попытался оправдаться Али-Селям.— Я и сам рад на Афон! На Афоне — тишина, кельи, смиренные иноки! А благолепие какое! Господи, какое благолепие, яко на небесах, а к тому же и трапеза!

— Трапеза...— прервал его сердито Лонжерон, подталкивая рукой в спину,— тебе настоятель покажет трапезу! А куда, скажет, недостойный раб Симеон, деньги, собран-

ные на построение храма, ты девал? А заковать, скажет, этого сукина сына Симеона в железные кандалы и посадить его в самый темный подвал! Вот тебе и будет трапеза!

Соломон Шнеерман, увидав, что приятели успели уже накачаться, начал их отчитывать:

— Пьяницы вы несчастные, только сошли с парохода и успели уже! Двадцать лет театр держу, всякий роскошный театр держал! По восемь человек труппы держал, не считая звериного состава, а никогда таких негодных людей не видел! Ну, начнутся представления, что скажет публика? «Какие же это замечательные артисты, если мы этих иностранных артистов под заборами пьяных ежедневно видим?» Да разве я вам не говорил, что сегодня театр надо устраивать! Что же я, по-вашему, один театр буду устраивать! Работы столько, что втроем не переделаешь! Двух досок в крыше не хватает, дверь не запирается, да еще эти негодяи мальчишки такое во всех углах наделали, что и сказать прямо невозможно! Да туда сейчас и свинья носа не сунет, не только благородный зритель, особенно ежели с дамой!

Долго он ругался и перестал только тогда, когда заметил, что Лонжерон исчез куда-то, а Али-Селям мрачно похрапывает, опустив голову на грудь.

Проснувшись утром, Али-Селям возымел сильное и вполне законное желание опохмелиться. Но ввиду того, что Соломон Шнеерман усомнился, как бы это опохмеление не послужило толчком к очередному пьянству, категорически отказался выдать Али-Селяму просимый им аванс в сумме 20 копеек. Али-Селям попробовал было сунуться к Лонжерону, но Лонжерон тоже не дал, опасаясь, как бы Али-Селям не запил, ибо тогда работу по очистке сарайчика пришлось бы делать ему одному.

Али-Селям окончательно огорчился и, захватив лопату и метелку, с истинно христианской покорностью направился к сараю. Сарайчик был пуст и грязен. Лонжерон принялся выскребывать пол, а Али-Селям, вооружившись топором, занялся заколачиванием прорех на подгнивших подмостках.

Проклиная в душе людскую скупость и сребролюбие, поработав немного, сел он закурить. Но так как руки его после вчерашнего слегка дрожали, то выронил он последнюю папироску, которая, покатившись по подмосткам, провалилась в щель.

Изругавшись, Али-Селям зашел к стенке, опустился на колени, зажег спичку, отыскивая под полом оброненную папироску. Сырая, заплесневелая земля попахивала теплой гнилью. Среди щепок он не увидал папиросы, да и не стал ее разыскивать, потому что внимание его было привлечено небольшим ящиком, засунутым в самый дальний угол. Ящик был крепко заколочен и перевязан накрест веревками. Это открытие так заинтересовало Али-Селяма, что в первую минуту он хотел было позвать Лонжерона и поделиться с ним известием о странной находке, но, вовремя спохватившись, благоразумно умолчал и, добравшись на животе до ящика, потрогал его. Ящик был тяжелый и весил не менее двух пудов.

И в тот же вечер Али-Селям тайком перетащил находку к себе на квартиру. Потом ночью пробрался в старую, полуразвалившуюся баню возле огорода, где долго в тусклых окошках ее светился огонек восковой свечки. Потом огонек потух, и из бани вышел Али-Селям. Шел он, покачиваясь как пьяный, не переставая в то же время осторожно озираться.

Хозяина в квартире не было. Не понадеявшись на своих артистов, он остался ночевать в театральном сарайчике, куда уже было свезено небогатое театральное имущество.

Утомившись от дневной сутолоки, Соломон Шнеерман крепко заснул на охапке сена, брошенной в углу.

Проснулся он от того, что ему послышался легкий скрип деревянной крыши.

«Это негодяи мальчишки, должно быть, пробираются?» — рассерженно подумал он, хотел было заорать, но поперхнулся сразу, как будто бы горло ему заткнули тряпичным комом, увидев на фоне голубого звездного неба чью-то руку, спускающуюся в еще незаделанное отверстие крыши, а в руке белую сталь большого длинного револьвера.

«Га! — подумал озадаченный и порядком перепуганный Шнеерман. — Так это рука, а не мальчишки! Какой же может быть разговор у мирного человека с такой воинственной рукой?»

И Соломон Шнеерман, зарывшись в сено, натянул на себя покрепче одеяло и, сделав щелку для глаз, начал наблюдать, что будет дальше.

В следующую минуту из отверстия спустилась на землю веревка, затем по ней соскользнул человек. Чиркнул спичкой и, осмотревшись, он крикнул тихонько наверх:

— Нет никого! Будешь ожидать!

Затем направился к подмосткам, опять зажег спичку, и крепкое ругательство долетело через минуту до слуха притаившегося еврея.

— Кто там? — послышался сверху встревоженный голос.

— Его здесь нет, — взволнованно ответили снизу.

— Куда же он девался, если должен быть здесь? Поищи получше!

При этих словах Шнеерман, подумавший, что предметом поисков грабителей является он сам, едва не взвыл от ужаса. Но человек, спустившийся вниз, не стал производить дальнейших розысков и, поднявшись по веревке, исчез в отверстии. Потом Шнеерман услышал, как оба незнакомца, спустившись по крыше, спрыгнули на землю. Минут через десять, убедившись в том, что ничего подозрительного более не слышно, Шнеерман высунул голову из-под одеяла и, постукивая зубами, возблагодарил небо за дарованное ему спасение, не понимая в то же время причины ночного нашествия вооруженных людей на театральный сарайчик.

Утром он рассказал об этом Лонжерону и Али-Селяму. Лонжерон рассмеялся и заявил, что все это враки. Но Али-Селям вздрогнул и, молча повернувшись, вышел во двор. Вскоре вслед за ним вышел Лонжерон.

— Ты чего дрожишь, — спросил он Али-Селяма, — испугался что ли? Брось, врет, должно быть, хозяин! Ну за каким чертом полезут в этот сарай грабители? Выпил, должно быть, тайком с вечера. Вот и померещилось!

— Нет, я так, — ответил Али-Селям, — лихорадит просто что-то!

— Чтоб тебя лихорадило? В кабаке давно не был? Знаю я эту лихорадку! Нет, брат, ты воздержись! Как-никак, а завтра у нас представление!

На следующий день базарная площадь была полна народу. Еще с утра Соломон Шнеерман суетился около дверей балаганчика. Он приводил в окончательный порядок помещение, вывешивал намалеванные на холсте плакаты, на которых были изображены смерть с косой и черт рыжего цвета с хвостом; похожий на калач и облаченный в черную мантию кудесник, держащий в одной руке книгу с надписью «Черная магия», а в другой похожий на арбуз земной шар, поперек которого была надпись: «Мне известны тайны всего мира».

Одновременно с этим Соломон Шнеерман зорко наблюдал за тем, чтобы никто из мальчишек самотеком не пробрался в помещение, а также несколько раз яростно пинал ногой облепленного репьями грязного козла, неоднократно пытавшегося содрать с деревянных стенок балагана облинявшее полотнище вывешенного флага.

Словом, забот у него была масса. Не считая уже того, что он то и дело искоса посматривал на Али-Селяма, мысленно призывая на его голову все египетские казни, если только он ухитрится до начала представления каким-нибудь непостижимым образом надрызгаться, что иногда случалось, и, если по правде сказать, то и не очень редко. Но, к счастью, сегодня все шло вполне благополучно.

Близилось начало представления. Билетов продано было уже порядочно, и театральный сарайчик был полон. В первых рядах, как это и полагается, сидели забравшиеся чуть не за три часа до начала ребятишки, затем публика посолиднее: торговцы, мясники, мастеровые, бабы и прочий неприхотливый и невзыскательный люд, оторвавшийся от своих дел, чтобы за гривенник вдоволь насладиться созерцанием обещанного увлекательного представления.

Еще раз вышел за двери клоун Лонжерон и, перекривив засыпанное мукой лицо, затрубил в жестяную трубку, напоследок созывая публику.

Наконец, распахнулся вылинявший занавес. Вышел сам Соломон Шнеерман, поднарядившийся в порыжевший сюртук, и, обращаясь к публике, произнес короткую речь. Потом он прочел небольшую лекцию о тайнах магии, познанных им в Индии и прочих странах, попросил публику по возвращении домой рассказать о виденном представлении всем своим родным и знакомым, дабы и они имели воз-

можность получить огромное удовольствие, посетив театральное представление Франсуа Джонсона.

Затем выступил Лонжерон. Он ловко, уверенно проделал несколько удивительных и непостижимых уму фокусов. Например, он извлек из носа одного мальчишки целый дождь медных трехкопеечников, продемонстрировал таинственное исчезновение со стола нескольких платков и, к великому смущению сидящих, обнаружил потом все исчезнувшее в карманах некоторых зрителей.

Потом Лонжерон одолжил у одного из торговцев фуражку.

Он заявил, что будет жарить в ней яичницу — и точно: разбил и выпустил туда несколько яиц, невзирая на протесты владельца фуражки, обеспокоенного таким неприятным фокусом, помешал яичницу ложкой, потом раз... раз и на глазах пораженных зрителей вытащил из фуражки сначала платок, потом красную ленту, потом цветную коробку, еще коробку и еще коробку, и такое бесчисленное количество коробок, что никак нельзя было понять, как могли они поместиться в фуражке.

Когда сопутствуемый бурными возгласами одобрения Лонжерон исчез за перегородкой, вышел факир — египетский прорицатель Али-Селям. Лицо его было для большей загадочности выкрашено в зеленый цвет, а одет он был в широченный ситцевый халат с разводами.

— Господа,— сказал Соломон Шнеерман, выступая из-за занавески,— почтенные господа и госпожи, смотрите обоими глазами на этого замечательного египетского человека! На ваших глазах он удавится сейчас за шею на веревке и по истечении пяти минут, будучи снят с петли, окажется совершенно живым к вашему величайшему и неимоверному восторгу!

Публика заохала и насторожилась. И точно, Али-Селям с невозмутимым выражением лица забрался на табуретку. Шнеерман приладил ему петлю и вышиб табуретку из-под ног. В тот же момент за занавеской Лонжерон закрутил ручкой хриплого органа, и под мрачно торжественные звуки «Догорай, моя лучина» Али-Селям повис в воздухе.

Однако не прошло и двух минут, как публика заволновалась и потребовала, чтобы Али-Селям перестал удавливаться и тотчас же слез на твердую землю. И только чей-то бас с задних рядов гаркнул хмуро:

— Хай висит! Хай висит, сколько заказывали!

Но на него тотчас же зазыкали и заорали.

— Виси сам, черт окаянный!

— Тебе чтобы за гривенник — человека до самой смерти?!

Увидав такое настойчивое единодушие публики, Соломон Шнеерман, напыжив свою тщедушную фигурку, с трудом приподнял ноги Али-Селяма, подсунул под них табуретку; потом, забравшись на нее, отстегнул незаметно крючок, зацепленный за ремень, проходящий под халатом к поясу, и, скинув петлю, спросил почтительно:

— Живы ли вы, великий факир?

Но так как Али-Селям ничего не отвечал, то на лице Соломона Шнеермана показалась ясно выраженная тревога. Он повторил вопрос второй раз. Волнение начало передаваться зрителям, и единодушный радостный вздох вырвался у присутствующих, когда после третьего вопроса Али-Селям потянулся, как бы возвращаясь из небытия к земной жизни, и, по-восточному приложив руки к голове, молча поклонился зрителям, ответив басом:

— Жив, господа и госпожи, благодаря милости моего аллаха!

Когда публика немного успокоилась, опять выступил Шнеерман и предложил всем желающим выйти на сцену, и для того, чтобы убедиться, что не было никакого обмана, проделать повешение над самими собой. Но, несмотря на троекратное предложение, желающих воспользоваться им среди публики не нашлось. После этого Шнеерман роздал зрителям десяток беленьких конвертов и предложил желающим написать любую фразу и запечатать ее, утверждая, что прорицатель прочтет и даст ответ на каждый вопрос, не распечатывая конверта.

Он собрал в ящик все вопросы и, поставив его на стол, удалился за ширмы, унося с собой ловко вытащенное второе дно со всем содержимым ящика. Пока Али-Селям демонстрировал искусство поглощения подряд 25 стаканов воды, Шнеерман, распечатав конверты, прочел их содержание и стал за ширмой, чтобы оттуда подсказывать ответы Али-Селяму.

После этого Лонжерон вызвал из публики в помощь прорицателю одного из мальчишек и приказал ему вынимать конверты по одному.

Али-Селям же для того, чтобы показать, что он вовсе не притрагивается к содержимому ящика, отошел к самой занавеске. Мальчишка вынул первый конверт. Али-Селям потер голову, как бы раздумывая, а на самом деле прислушиваясь к шепоту Шнеермана, потом сказал замогильным голосом:

— У в этом конверте спрашивают, где такое находится страна Египет? А на это я могу ответить, что находится эта страна у в владении африканского царя, которое расположено возле самого моря!

— Правильно он говорит? — вопросил публику Лонжерон.

— Правильно! В самую точку, — послышались голоса.

— А у в этом спрашивают... — Али-Селям замялся, — ...у в этом конверте насчет любви вопрос записан... Но в такой неудобной форме, что в присутствии дам отвечать я не буду, хоть и могу!

— А у в этом конверте?..

Но тут Али-Селям поперхнулся, как будто глоток пива попал ему не в то горло, потом закашлялся, испуганно посмотрел на публику, раскрыл рот еще раз, чтобы ответить, но отяжелевший язык не слушал его. И тщетно ничего не понимающий Соломон Шнеерман шипел ему:

— Глухой дьявол!.. Отвечай же!.. Спрашивают, куда девался какой-то ящик?.. О чтоб тебе провалиться! Отвечай же что-нибудь, скотина ты этакая!

Но у Али-Селяма от страха глаза вылезли на лоб. Он замычал что-то несуразное так, что разозленный, ничего не понимающий Шнеерман выскочил из-за кулис и сказал за него, обращаясь к публике:

— Прошу извинения! Ему занемоглось. Это с ним бывает! От чересчур умственного напряжения вроде как бы египетская темнота находит. Прошу покорно пожаловать в следующий раз! Сеанс... окончен!

И в эту же ночь на квартиру Соломона Шнеермана был произведен настоящий налет.

Послышался не громкий, но властный стук. Шнеерман поднял голову. Стук повторился.

— Кто там? — спросил он.

— Отворите, полиция!

Шнеерман наспех натянул штаны, подошел к двери, отодвинул щеколду. И в тот же момент ноги его подкосились, и он сел на пол, потому что увидел перед собою три черных маски и три руки, направляющие на него револьверы.

— Тише! — сказал один из налетчиков.— Сидите смирно, и вам ничего плохого не будет! Где ваши товарищи?

— Там...— прошептал Шнеерман, указывая пальцем на соседнюю комнату.

Первый налетчик, не опуская револьвера, подошел к ситцевой ширме, раздвинул ее. Но прежде чем он успел сделать шаг, как с треском захлопнулось окно, и что-то грузное бухнулось на грядки огорода, прилегающие к стене дома.

— Га,— сказал Шнеерман, стараясь выдавить улыбку из перекосившегося рта,— теперь я понимаю, кто им был нужен! Но кто же мог предполагать, что этот бесштанный пропойца на самом деле богатый человек!

ПОВЕШЕННЫЙ БРОДЯГА

Возле Александровского завода Алексей Давыдов то и дело прорывался через кольцо ингушей, провокаторов и жандармов, стягивающееся вокруг него.

Была ночь сухая, душная. На берегу реки сидели выбравшиеся из чащи «лесные братья» — двое: Штейников и Алексей.

— Алешка! — сказал Штейников, возвращаясь из кустов с куканом, на котором были нанизаны несколько пойманных рыбок.— Чего-то вода плещет. Кажется, что по реке плывет лодка. Остановить ее или нет?

— Не надо. Пусть проходит мимо. Рыбачит кто-нибудь.

Плеск все приближался, уже было слышно, как журчит разрезаемая рулевым веслом вода, слышны были чьи-то негромкие голоса.

— Алексей, да она правит прямо сюда,— прошептал Штейников, опять высовываясь из зарослей.

— Давай смотаемся в сторону! — ответил Давыдов.— Не стоит встречаться с кем-нибудь около этих мест, разболтают еще. А тут и стоянка недалеко!

И, захватив винтовки, они быстро скрылись в гуще леса.

— Рыбаки, должно быть,— повторил Алексей, останавливаясь и прислушиваясь к шороху причаливающей лодки.— Вероятно, ночевать будут. Давай закуривай, а потом пойдем дальше, костер разведем и уху сварим!

— Закуривай,— сказал Штейников, пошарив в карманах,— а спички на берегу позабыл!

———

Сильный и отчаянный крик заметался эхом по лесу. Потом опять, но уже какой-то глухой и сдавленный.

— Кого там черти режут?— приложив руку к уху, пробормотал Штейников.— Погоди, я проберусь и посмотрю, а заодно и спички найду! Тсс!.. Слушай, да они, кажется, уже уплывают! Слышишь, опять заплескались весла!

Штейников полез к берегу, но и Алексей не захотел его ожидать. Быстро выбрались они на прежнее место; лодки уже не было видно. Штейников стал шарить спички. Алексей прислушивался, ему показалось, что кто-то хрустит ветками позади. Он обернулся и тотчас же резанул Штейникова за плечо:

— Смотри!

И оба боевика увидали, что почти рядом тихо колышется черная тень повешенного человека.

Ударом ножа Алексей перерезал веревку, и тело человека тяжело повисло ему на руки.

Повешенного положили на сырую мшистую землю, и Алексей приложил ухо к его груди. Но ничего не разобрал. Мешали слушать всплески теплой реки, шорох листвы да причудливые перекликивания, пересвисты какой-то неугомонной ночной птицы.

«Нет,— подумал он,— конченое дело!» — И хотел уже встать, как вдруг скорее почувствовал, чем услышал легкий, едва уловимый удар сердца.

— Стучит!— сказал он, поднимаясь.— Клади его выше! Давай оттягивай руки назад, может быть, он еще выживет!

Через несколько минут лежавший на земле человек вздохнул и застонал. Принесли воды, влили ему в горло, он хлебнул глоток и вздохнул еще глубже.

— Жив,— решил Алексей.— Но кто это, кто? За что его повесили? Может быть, это были вовсе и не рыбаки, может быть, это были жандармы?

Чтобы не привлечь внимания уплывшей лодки, огня не зажигали. Но в это время небо просветлело. Поляна озарилась голубым мерцающим светом, и Алексей увидел одутловатое, крупное лицо лежащего в рваных отрепьях человека.

— Вероятно, какой-нибудь бродяга,— решили они.

Вскоре человек очнулся. Сначала, увидев возле себя двух незнакомых людей, он перепугался и, очевидно, принимая их за каких-то других, забормотал:

— Ей-богу, ничего не слышал, ей-богу, спал за кустом!

Но потом, когда ему толком объяснили, что никто его трогать не собирается, он назвался Семеном Федоровым, отправляющимся на заработки в Чусовую.

Будто бы по дороге он заблудился. Попал на берег речки и уснул там. Проснувшись, он услышал рядом с собой голоса. О чем был разговор, слышал он плохо. Но только, не удержавшись, он чихнул, на него накинулись четыре человека и связали его. Долго допрашивали, кто он и зачем подслушивал, потом посадили в лодку, повезли с собой и, наконец, посовещавшись, решили высадить его на берег и повесить.

Весь этот рассказ, а особенно его первая часть показались Давыдову мало правдоподобными, ибо берег речки, на которой захватили его неизвестные люди, вовсе не лежал по соседству с Чусовским трактом. Но в то же время Давыдов чувствовал, что нельзя было подозревать в этом человеке шпиона, ибо какой же это шпион, если его свои, очевидно, переодетые жандармы самым настоящим образом повесили.

И, поразмыслив, Алексей решил: вероятно, свой человек, который не сознается только потому, что не уверен в том, к кому он попал, и в том, что спасшие его люди не выдадут его обратно жандармам.

Он задал бродяге еще несколько вопросов, но тот упорно отмалчивался.

— Послушай,— негромко сказал ему молчавший до сих пор Штейников,— а не лучше ли нам его опять того?..

— Что того?

— Да обратно! На то же самое место, пусть висит, где висел, и ему спокойно будет, да и нам тоже!

— Нет,— категорически отказался Давыдов,— это дело разобрать надо, что ты еще выдумал! Ты возьмешь его с собой и отведешь к землянкам! А я пойду к ребятам, может быть, там, поближе к заводу, узнаю что!

В условленном месте Алексей встретился с поджидавшими его боевиками. Здесь же был только что вернувшийся из Соликамска Студент.

— Есть оружие?— весело спросил Алексей, здороваясь с товарищами.

— Нет,— хмуро ответил Студент,— ящик украли! Когда ночью я тащил его, то за мной увязались шпики. Васька отвлек их на себя, а я забежал в какой-то пустой балаган и спрятал его. Но его оттуда украли!

И он рассказал по порядку, как было дело.

— А самое главное то, что вчера, подъезжая сюда, я увидел шагающим вдоль полотна того самого фокусника, который украл ящик. Я соскочил на ходу, но он, узнав меня, бросился сломя голову бежать и скрылся где-то в лесу!

— Значит, он здесь неподалеку?

— Здесь!

— Это, конечно, провокатор?

— Ясное дело!

Алексей стиснул губы и выпрямился.

— Ну, ребята, смотрите в оба! А только эту сволочь мы должны обязательно изловить!

— И повесить!— послышались голоса.

— И повесить башкою вниз,— зло сощуривая глаза, добавил Алексей.— Теперь оставим это! Что нового?

— Есть новое... Жандарма вчера убили и бомбу к управителю опять Тимшин бросил.

Стали совещаться. Предстояло большое и трудное дело. Нужно было пробраться к общежитию полиции и разгромить его бомбами. Выработали план. Время назначили — послезавтра, в полночь.

— Послушай, Алексей,— тихо сказал ему брат, когда они остались вдвоем,— ты слышал что-нибудь про Лбова?

— Нет, но я жду!

— А я слышал! Мне надежные люди передавали, что он гибнет! Кругом измена, провокация, начинаются грабежи. И даже он, Сашка Лбов, своей железною волею не в силах

более поддерживать дисциплину! А кроме того,— добавил он, помолчав,— кроме того, рабочие разгромлены и рабочие устали!

— Ну... а к чему это ты?

И Алексей пристально, испытующе посмотрел на брата.

— Рабочие устали! Ну что ты сделаешь,— он особенно подчеркнул слово ты,— если разгромили Лбова с его мотовилихинцами.

— Неужели ты думаешь выдержать?

Алексей помолчал, постучал прикладом винтовки о носок сапога и ответил сквозь зубы:

— Выдержу или не выдержу — это дело второе. Но то, что пока жив буду, не сдамся — это первое!

— А если?..— И Иван еще более снизил голос.— А если сами рабочие перестанут верить тебе и будут считать тебя за простого разбойника, тогда что?

Алексей быстро, рывком повернул голову, еще сильнее стукнул прикладом о носок сапога.

— Не будут!

— Нет, будут! Я тебе говорю, что будут! И если не все, то многие! Мы не собираем их, не разъясняем им ничего, на что идем, зачем все это, почему, для чего?!

— Нельзя!.. Конспирация прежде всего! Дурак ты, что ли, если не понимаешь?

— Нет, я понимаю, а это ты слепой,— резко ответил Иван, и его обыкновенно мягкий голос прозвучал на этот раз тверже, чем обыкновенно.— Я слышу уже, что когда мы ограбили заводского кассира, то жалованье всем задержали! И, воспользовавшись этим, полиция повсюду, на всех перекрестках кричала рабочим: «Видите, кто такой Давыдов? Разбойник, и больше ничего! Ему бы только пограбить! Он ваши же деньги забирает, а вы еще ему верите, поддерживаете его». И, знаешь, многие заколебались что-то!

— Я не для себя деньги беру, а для них же,— запальчиво ответил Алексей,— мне, что ли, деньги нужны? Для кого это я, как волк, по лесам рыскаю? Разве не для них же?

— Нет,— убежденно ответил Иван,— какая им польза от тебя? Ну, повесят из-за тебя многих? Жандармов, ингушей на постой по квартирам пошлют? Людей арестуют, в тюрьмы, в Сибирь сошлют? Только-то и всего! Ты один, а один в поле не воин! Героизмом, брат, тут ничего не сделаешь, надо массы поднимать!

— Так пусть все подымаются,— нервно ответил Алексей.— Пусть все восстают, если не хотят идти в тюрьмы! Ты

говоришь, что силой их не подымешь, а чтоб сами они поднялись — время еще не пришло. Так что же делать? Неужели сидеть сложа руки, агитировать потихоньку? Но я не могу потихоньку, когда у меня все нутро вроде как каленым железом прожжено. Я делаю!.. Я буду делать, как умею! А кто прав, кто виноват — это уж разберут после!

— После чего?

— А хотя бы после того, когда нас повесят, — с издевкой ответил Алексей. — Я знаю все сам, мы люди конченые, нам одна дорога, и с этой дороги мы... Я, например, не сверну никогда, что бы ты мне ни говорил!..

К вечеру из леса пришел Штейников. Боевики собирались уже ложиться спать, как со стороны, где стоял часовой, послышался предупреждающий свист. Все насторожились. Штейников молча схватил карабин и бросился вперед. Через несколько минут он вернулся, но уже не один, с ним был еще незнакомый человек.

— Посланный от Лбова, — проговорил Штейников.

Все встали. При свете костра боевики увидели невысокого полного человека, лет двадцати восьми. Движения его были порывисты, глаза насторожены, и, точно опасаясь, чтобы не попасть в засаду, он сунул правую руку в оттопыренный карман брюк. Затем он подошел к Алексею и сказал ему негромко несколько условных фраз. Потом, осмотревшись, вынул руку из кармана и сел рядом.

Посланный принес хорошие вести. Лбов передавал, что дела его идут неплохо, и обещал, в случае надобности, прислать денег и оружия.

— Денег мне не надо, — ответил Алексей, — оружие надо! Где и у кого я его достану?

— В Чусовой, — ответил лбовец, — я дам тебе адрес надежного человека, и через него ты всегда, когда нужно будет, получишь!

И поднялся с локтя Иван и спросил:

— Послушай, но у нас говорят, что у Лбова дела вовсе плохи! Что рабочие его устали поддерживать! Кругом провокация! Что Матрос ограбил несколько крестьянских потребиловок! Дисциплина падает, начинается пьянство, и дружина разлагается!

— Неправда, — ответил посланный, — дружина крепка! Еще только недавно Ястреб ограбил огромный камский па-

роход, и теперь Лбов собирается сделать налет на Пермь. Он силен сейчас как никогда!.. Неправда, не верьте тем, кто сеет смуту и уныние!

При этих словах Алексей насмешливо посмотрел на брата, а Иван опустил голову и покачал ею, как бы раздумывая и не доверяя.

— Хватит разговоров, пора спать, на рассвете отправимся на стоянку, там отдохнем! Посмотришь наше логово, а затем у нас... дело на днях будет... большое дело!

— Какое? — спросил у Алексея лбовец.

— Налет на полицию!

— Когда?

— Послезавтра ночью!

Проснувшись рано, все тронулись в путь. К полудню добрались до того места, где недавно Алексей и Штейников были случайными свидетелями разыгравшейся ночью непонятной драмы.

— Вот на этом самом месте,— сказал Алексей, показывая на уступ берега.— Как раз здесь позавчера мы сняли с петли повешенного человека!

— Ну? — спросил, заинтересовавшись, лбовец.— Кого же это? Вашего, что ли?

— Нет, в том-то вся и загадка, что не нашего! Жандармы, вероятно, повесили! Да я сам ничего не понимаю! Может быть, сегодня от него что-нибудь узнаю толком, а тогда, ночью, никак ничего не мог добиться!

— От кого добиться? — Лбовец остановился.

— Да от повешенного! Я же тебе говорю, что мы его успели с петли снять! Как только лодка отъехала — так и сняли!

Лбовец вытащил из кармана папиросу, закурил ее, вытер взмокший лоб и спросил:

— Так сейчас он где?.. Отпустили вы его?

— Да нет же, он у нас в землянке заперт! Вот придем к вечеру, и увидишь сам!

— Шпион,— ответил лбовец.— И почему ты не оставил его висеть?

— Вот тебе и на! Да разве же шпиона стали бы вешать жандармы?

— А откуда ты вздумал, что его повесили жандармы?

— А то кто же еще?

Лбовец промолчал, заколебался, потом ответил твердо:

— Кто? Я повесил!..

— Ты? — И Алексей остановился. — Ты его повесил? Но тогда погоди, значит, ты здесь не один? Ведь в лодке были еще трое! Что же они здесь делали, куда делись? — И Алексей посмотрел на спутника.

— Мы искали вас, а он следил за нами! Он сидел, спрятавшись в кустах, и подслушивал наш разговор!

— А где остальные?

— Они ждут меня возле поселка!

— Вот оно что, — протянул Алексей.

Дальше они шли молча. Алексей шепнул о чем-то Штейникову. И Штейников, как охотничья собака, насторожился и всю дорогу неотступно шел по пятам за лбовцем. Лбовец чувствовал это и, тоже искоса, посматривал на Штейникова и руки из кармана не вынимал.

Так приблизились они к землянке. Едва только были брошены сучья в потухающий костер, как Алексей приказал привести бродягу, вынутого из петли.

— Дай я застрелю его! — рванувшись вперед, сказал лбовец.

— Нет, — ответил Алексей, — не стреляй! — Добавил холодно: — Застрелить кого нужно мы еще всегда успеем!

Бродягу вывели.

— Подойди сюда!

Тот подошел.

— Смотри, — и Алексей показал на лбовца, — этот был, когда тебя вешали?

— Был, — еле ворочая от страха языком, ответил спрашиваемый.

— За что? Что ты слышал? Говори прямо!

— Они говорили... — начал было перепуганный бродяга.

Но лбовец навел на него дуло револьвера и крикнул рассерженно:

— Посмей только соврать, собака!

Хищной кошкой подобравшийся сзади Штейников крепко схватил лбовца за руку. Лбовец перехватил револьвер в левую руку и, вероятно, выстрелил бы в Штейникова, если бы не только что подошедший Студент, который крикнул во весь голос:

— Стойте! Стойте!.. Пес вас возьми! Да ведь это же вовсе не бродяга! Это он!

— Кто он?

— Он,— крикнул Студент,— подбегая к оборванцу и дергая его за рукав,— это тот самый, который украл ящик с оружием, это и есть шпион!

И разоблаченный Али-Селям, влипший в новую историю, так и остался стоять с открытым ртом, не будучи в силах сказать в свою защиту ни слова.

Потом, убедившись, что на этот раз судьба привела его уже наверняка к виселице, попробовал было броситься бежать. Но Штейников, успевший переменить позицию, сильно ударил его прикладом по голове, и Али-Селям без памяти упал на землю.

— Повесить его,— раздались возмущенные голоса.— Повесить сейчас же! Давай тащи веревку!

Но Алексей крикнул:

— Не надо, что вы спятили, что ли? Сейчас от него ничего не добьешься! Мы допросим его утром! Свяжите его и заприте в землянку!

Потом, уже без всякого колебания, он подошел к лбовцу и протянул ему руку. Тот посмотрел на Алексея и протянул свою.

— Не сердись,— сказал Алексей.— Сам знаешь, нам нужно быть осторожными! И, ей-богу, час тому назад я еще никак не мог решить, кто из вас провокатор!

Через четверть часа все спали...

НЕОЖИДАННАЯ ПОМОЩЬ

Проснулся Али-Селям поздно ночью. Руки и ноги его были крепко перетянуты, горло пересохло, но утолить жажду было нечем.

В сущности, Али-Селям ничего не понимал, что произошло и почему.

Выскочив из окошка квартиры Шнеермана почти нагишом, он бросился бежать. К утру, на окраине, один из рабочих, принявший его за сбежавшего арестанта, дал ему рваные штаны, рубаху без рукава и войлочную шляпу, прожженную в нескольких местах. И в этом непривлекательном костюме зашагал Али-Селям по шпалам, твердо решившись никогда не возвращаться в этот проклятый

городишко, доставивший ему столько напастей из-за найденного ящика.

«О, чтоб он провалился,— подумал Али-Селям,— хотя бы за добро какое пострадать. Ну, скажем, водка была бы в ящике или там корзина с пивом, а то бомбы, будь они прокляты!»

Подходя уже к станции Копи, услышал он окрик, увидел, что за ним бежит кто-то, и кинулся сам наутек, куда глаза глядят. Забежал в лес, заснул под кустом. Слышит, голоса рядом. Лежать бы ему да лежать молча, а тут еще муравей — тварь негодная, заполз в ноздрю. Ну, ясное дело,— чихнул человек. Так налетели сразу. «Кто такой? Что делаешь? Что слышал?» А чего там слышать, когда он не слышал ничего, а если и слышал, то все со страха позабыл. Не поверили — повесили; так и тут неладно, один повесил, другой снял, а теперь вместе, сообща повесить собираются. И что за чудные дела — зачем же тогда снимать человека было?

Али-Селям поворочал языком — язык был сух. «Эх, пивца бы парочку!..» — И, скорбно опустив голову, он с грустью подумал, что никогда ему не придется больше выпить ни одного глотка: ни бархатного, ни столового, ни черного, у которого пена, как от земляничного мыла,— мелкая, душистая пена.

Эти мысли до того разбередили воображение Али-Селяма, что ему сразу сильно не захотелось быть повешенным. Он огляделся. Дверь была крепко заперта снаружи. В узенькое окошко едва-едва просовывался краешек месяца да клочок облачного неба.

«Нет,— подумал Али-Селям,— не убежишь отсюда!»

И вдруг краешек месяца исчез. В землянке стало совсем темно, но заслонила свет не туча, а тень человека, подобравшаяся к маленькому отверстию окна.

— Спишь? — послышался шепот.— Слушай!..

И в следующую минуту через щель разбитого стекла просунулся длинный узкий нож и насаженная на него белая записка. Тот же голос сказал:

— Разрежешь веревки — беги через трубу, записку отдашь по адресу.

И снова месяц выглянул в окошко.

Сначала Али-Селяму показалось, что все это только сон, и он тряхнул головой. Нет, не сон. Стальное лезвие ножа лежало почти рядом на полу. Тогда надежда охватила

Али-Селяма. Извиваясь, он пополз, достал зубами нож, вставил его черенок в щель и, повернувшись, начал водить по лезвию веревками, крепко стянувшими ему заломленные назад руки. Клинок был остер, и вскоре Али-Селям встал на ноги. Тогда он обернул лезвие ножа тряпицей, сунул его за пазуху, поднял записку, развернул ее; но было слишком темно. Прочесть он ничего не смог.

Он подошел к печке. В сущности это была не печь, а глиняный угол, от половины которого тянулась вверх рыхлая глиняная труба. При помощи чурбана он обломал края трубы, потом поставил чурбан, встал на него и просунул туловище в отверстие. Но отверстие оказалось узким для его грузной туши, и в один момент он очутился в таком положении, что, стиснутый со всех сторон, не мог двинуться ни вверх, ни вниз, а так и остался висеть между небом и землей. И тогда с отчаянной решимостью, которую изгоняла из него вспыхивающая зарница, предвестница приближающегося рассвета, он рванулся, глина с шорохом посыпалась вниз, и он очутился на крыше землянки.

По тлеющим углям догорающего костра он определил, что боевики спят дальше, в стороне. Он прислушался, ожидая: не подойдет ли к нему тот, кто помог бежать? Но никто не подходил.

Тогда Али-Селям решил не искушать больше судьбу, вздохнул и одним прыжком слетел с землянки. Потом бросился в ту сторону, где чаща леса была особенно густа. Почти тотчас же вслед ему грохнул одинокий выстрел, но пуля как-то странно засвистела чересчур далеко в стороне.

Угрюм и мрачен в непогоду старик Урал. Злится, брызжет пеною холодных волн полноводная Кама. Разметывает ветер бесконечные караваны бревен, сплавляемых с гор по бурливым речонкам. Над мутной, молочной рябью всколыхнувшегося озера желтыми бабочками кружатся сорванные с лесистых берегов сухие, увядшие листья.

В осенние темные ночи, когда улюлюкает ветер, гоняясь по небу за табунами взлохмаченных туч, когда глухо стонут источенные веками каменные уступы горных вершин,— тогда пустынно и глухо бывает на притихших уличках заброшенного в глушь Александровского завода.

Не слышно ни говора, ни смеха. Не видно даже конных разъездов по окраинам. Не видно полицейских постов на перекрестках. Всё попряталось, всё повымерло.

Такая гулкая непогодливая ночь — раздолье для подкрадывающегося боевика. Не видно зажатого в руке маузера, не слышно шороха крадущихся шагов...

Человек, сидевший на лавке, не зажигая огня, посмотрел в окно наметанным глазом, различив силуэты знакомых фигур, и открыл им дверь.

Вошли трое — братья Давыдовы и Штейников.

— Буря! — отряхиваясь от дождевых капель, сказал Иван.— Даже собаки попрятались! А мы рыщем!

Плотно занавесили окна старым одеялом, зажгли огонь, поставили самовар.

— Ну,— спросил Алексей, усаживаясь за стол,— рассказывай все по порядку!.. Правда ли, что разбит Лбов? Где его разбили или когда... и кто его мог разбить?

— Правда,— сказал хозяин хаты.— Я был там! Все видел... и только вчера оттуда!

Он поставил самовар на стол. Налил продрогшим боевикам по стакану чая. И, пока они, обжигая губы, пили кипяток и согревались, он рассказал им вот что.

В декабре 1905 года колючей проволокой опутался Мотовилихинский завод. Тот самый завод, который стоит возле Камы, в пяти верстах от губернского города Перми.

И Мотовилиха разбросала по изломанным улицам груды бесформенных заграждений. Выбросили красное знамя восстания.

В то время, в те горячие, пахнущие кровью дни, командовал одной из баррикад рабочий лафетного цеха Александр Лбов.

Было зарублено восстание сотнями казачьих шашек. Мертвых шашек. Сначала сталь, блеснувшая на морозном солнце, потом кровь. Многие были арестованы. Многие повешены. Многие убежали вовсе неизвестно куда, и только один Лбов, захватив с собою холодную, пропитанную ненавистью винтовку, ушел в соседний лес.

Начались в Мотовилихе обыски. Оружие, оставшееся по рукам у восставших, девать было некуда, и то один, то другой рабочий прибегал в лесную избушку Лбова и говорил ему:

— Спрячь мои патроны, спрячь мой браунинг. Спрячь мою бомбу, ибо у меня дома ее все равно найдут.

И так в маленьком лесном домике, запорошенном мертвыми снегами, было положено начало того самого арсенала, который послужил складом оружия боевой дружине Лбова.

Время шло. Наступала весна. К Лбову — первому и великому мятежнику Урала — приехали из Петербурга четыре боевика. Это были четыре отчаянных, отпетых профессионала, которым ради идеи, ради задуманной цели жизнь была ни во что.

А после нескольких сумасшедших налетов к Лбову прибыло из окрестностей много посторонних людей. Лбов перезимовал холодную буранную зиму и готовил к весне самый отчаянный, последний удар. Тот удар, при котором он надеялся или разбить все, или разбиться самому.

А весною началось самое главное. Началось сказочное усиление Лбова. Но в этой мощи, в этой силе таилась и гибель отчаянного, порвавшего со всем боевика.

Летом лбовцы начали в открытую вступать в схватки с жандармами, и успехи Лбова взбудоражили весь Урал. К Лбову потянулись разные, неустойчивые и безыдейные, но до отказа отчаянные парни. И Лбов, почувствовавший вокруг себя десятки, сотни новых боевиков, решил, что пора поднимать восстание. Лбов не стал считаться с уставшими, издерганными рабочими массами и задумал только одно: нужно перевернуть все сразу, одним взмахом, одним натиском кончить все. Но старое было крепче Лбова. Все старое цепкими клещами вцепилось в измотанное тело массы, и уставшие рабочие начали говорить: «Зачем все?..»

— Милый товарищ Лбов! Друг Лбов, мы знаем, что ты за нас! Мы верим в это, но плетью обуха не перешибешь!.. Подожди!.. Подожди!.. Мы устали, сколько нас, арестованных из-за тебя, сколько сосланных в Сибирь, в Александровский централ, в каторгу! Мы не ставим тебе в упрек, но поверь, у нас есть жены, у нас есть дети!.. Товарищ Лбов, пожалей же их!

Но Лбов, ослепленный удачами, не видел ничего. Он знал только то, что его боятся, что перед ним дрожат.

А когда Лбов увидел все, то было уже поздно. Вокруг него собрались не те люди, о которых он думал, — собрались забубенные головушки, люди с темным и неизвестным прошлым, которым все равно за что пропадать.

Лбов распустил на время боевые дружины и скрылся до весны неизвестно куда.

Долго сидели боевики, молча слушая рассказ.

— Но это еще не конец,— сказал Алексей, прерывая молчание,— он вернется!

— Нет! — ответил Иван,— нет! Это уже начало конца!

В это же утро лбовец ушел обратно.

Опасаясь предательства со стороны убежавшего Али-Селяма, Давыдов срочно переменил место стоянки. Через некоторое время боевики сделали отчаянный налет на общежитие полиции, забросали его бомбами. Штейников убил на станции жандарма, потом сообща они произвели несколько экспроприаций по соседним селениям.

Это было время наибольшего расцвета боевой работы «лесных братьев», но уже собирались тучи над головами дружинников. Начались массовые аресты александровских рабочих. Всех, кого подозревали в связи с «лесными братьями», хватали, разгоняли по тюрьмам. Днем и ночью заседали суды, и приговорами холодными, неумолимыми ссылали людей в Сибирь на поселение, на каторгу, в одиночки тюрем. Были арестованы десятки, были измотаны сотни. За несколько дней жандармы, получив от кого-то верные сведения, разом разгромили всю опору давыдовцев на Александровском заводе...

Были схвачены многие другие активные помощники боевиков.

И однажды осенним вечером доползли до давыдовцев слухи о том, что и сам главный бунтовщик Урала, непобедимый Лбов, разбит полицией и вновь скрылся неизвестно куда. Это был тяжелый удар для «лесных братьев», ибо ясно было, что теперь, когда руки пермского губернатора развязаны, он все силы бросит на давыдовцев.

Падал холодный мокрый снег. Боевики шли вдоль полотна железной дороги. Алексей был хмур, и тяжелая новая складка проборοздила его лоб.

— Ну, что же, ребята, делать будем? Заварили кашу — расхлебывать надо! Давайте дадим и мы отдохнуть народу! Скроемся глубоко в лес, перезимуем, а к весне, когда потеряют след гончие собаки, примемся опять за свое!

Алексей тряхнул головой, горькой усмешкой дернулись его губы, и он сказал, посмотрев на Ивана:

— Эх, браток, золотая у тебя голова! Верно ты говорил, да только...— Он не досказал.

— Вместе жили, вместе и помирать будем!

— Не загадывай, как придется!..

Поймал Алексей черную мысль, как птицу. На лету свернул ей голову, отбросил в сторону и сказал весело:

— Помирать дело не главное! Помереть всегда можно! Курица и та помирать умеет, а главное, чтобы прожить с толком!

— Алешка,— проговорил Неволин, когда боевики собрались заворачивать в лес,— вы идите, а я потом приду! Мне еще тут надо к одному человеку заглянуть! Дело есть!— И он зашагал вдоль по линии.

Снег мокрым, хлюпким мякишем посыпался с неба. В несколько минут окрасились поля матовой белизной сумрачного вечера. Далеко позади загудел паровоз. И его эхо, похожее на протяжный волчий вой, долетев до слуха задумавшегося Неволина, заставило обернуться.

Черное изгибающееся чудовище, выползая из притихшей лесной чащи, медленно двигалось все ближе и ближе. Когда поезд поровнялся с Неволиным, он остановился, пропуская вагоны мимо. Потом сильным прыжком отскочил и бросился бежать к опушке леса.

Очевидно, жандармы еще издалека заметили шагающего вдоль полотна одинокого путника и узнали его, потому что человек пять с винтовками наперевес выскочили на площадку и открыли по нему стрельбу. Неволин добежал до опушки, повернулся и, не обращая внимания на дикий визг пуль, проносившихся возле него, на яркие молнии вспышек, на грохот выстрелов, закричал:

— А, собаки!—И, неторопливо прицелившись, дважды бабахнул по площадке останавливающегося поезда. Потом снова бросился бежать.

— Стой!—сказала ему догнавшая его пуля и цепко схватила за бедро.

Но, пересилив боль, он продолжал бежать. Слышно было, как жандармы, рассыпавшись цепью, перекликиваются и идут по его следам.

Неволин прошел еще минут десять, но силы сразу оставили его, и он сел на покрытый снегом торчащий пень. Так просидел он минут пять, истекая кровью. Потом голова его упала на одну из веток за его спиной; ветка вздрогнула

и уронила на его горячую голову целую гроздь хрустального чистого снега.

Когда Неволин опять раскрыл глаза, голоса уже раздавались совсем близко. Но, несмотря на это, чувствовалась какая-то мертвая, холодная тишина.

— Алексей,— пробормотал Неволин,— Алеша, что же это?

Черные тени деревьев надвигались на него из чащи, властно закрывали ему глаза. И, окончательно теряя сознание, Неволин увидел, что одна из теней, оторвавшись от деревьев, прямо подошла к нему, распахнула плащ, из-под которого злобно бросились в глаза желтые офицерские эполеты, и, лязгнув взводом стального курка, сказала:

— Один есть!

НОВАЯ ВЕСНА

И вскоре после смерти Неволина скрылись давыдовцы. Не стало о них слышно ни слова. Умолкли выстрелы, перестали рыскать по дорогам ингуши, потянулись обратно в Пермь провокаторы. И тихо, как тяжелобольной после острого кризиса, задышал Александровский завод. Никто не знал, куда девались «лесные братья», ибо исчезли они так же неожиданно, как и пришли.

Говорили, что скрылись они совсем с Урала. Поговаривали даже, что где-то в Казанской губернии будто бы рыщет отряд какого-то Алешки. Но и это оспаривали многие. Одни говорили, что отрядом этим верховодит вовсе не Алешка, а татарин Абдулка. Другие же утверждали, что никакого Абдулки тоже нет, и нечего языком трепаться, когда не знаешь толком.

Одно было ясно — боевики скрылись. Впрочем, однажды уже позднею зимою тайком с уха на ухо поползли слухи. Говорили, что один приезжий охотник, забравшись на лыжах в лесные дебри, заблудился. Были уже сумерки, когда собака его залаяла и бросилась прочь. Он свистел ей, кричал, но она не возвращалась. Через несколько минут он услышал, что далеко в лесу раздался страшный грохот, как после взрыва орудийного снаряда. Тогда, перепугавшись, охотник повернул по старому следу. К утру догнала

его собака. Была она вся окровавленная и сдохла к вечеру у ног своего хозяина.

Но опять и этому особенно не поверили, ибо ради чего разумные люди станут в собаку бомбами кидать? Потому большинство и решило, что охотник врет или ему просто померещилось, а собаку заел волк.

Впрочем, были на заводе и такие, которые как-то загадочно переглядывались, ничего не спрашивали, точно сами что-то знали. Но и они крепко помалкивали.

И так прошла зима. Наступили снова теплые дни. Разлились реки. Чаще стали жены арестантов получать записки от томившихся за решеткой мужей, братьев: «Как?.. Что?.. Не слыхать ли про наших? Где они?..»

Грустная была эта весна. Даже в солнечном покое голубого неба, как и в глазах девчонок, грустящих о замурованных в каменные мешки женихах, была какая-то осенняя хрустальная тоска. Точно все огневое, хорошее прошло навек.

Этою же раннею весною на широкой перекладине вятской тюрьмы в звездную ночь повешен был преданный провокатором мятежник Лбов. И этой же весной злилась и плакала седая Кама, не услышав более буйных пересвистов лбовской вольницы.

Так шли дни тихие, как шорох измятой колесами травы, горькие, как душистая осенняя полынь. И вот однажды...

Вечером на Чусовском тракте проезжие мужики наткнулись неожиданно на труп убитого жандарма. Чья-то меткая пуля пробила ему грудь и чья-то крепкая рука пришпилила к его гимнастерке записку: «Убийцам Лбова, сторожевым собакам самодержавия, проклятие».

Рука, писавшая записку, была знакома.

Удар, нанесенный прямо, в открытую, был знаком.

И снова тяжело задышал трубами, нахмурился, заклокотал заводскими свистками очнувшийся от спячки старый Александровский завод.

А через три дня опять вспышками предрассветных зарниц заблестели огневые выстрелы.

— Боевики вернулись!..

— Тише!

— Тише!

Хрустнула под ногами сухая ветка.

Ночь темна, шумит по верхушкам буйный уральский ветер. В полночь кукует кукушка: прокуковала раз, два, три — и замолкла.

Прорываться через кольцо надо. Кому умирать охота? Никому умирать неохота. У бесстрастного, спокойного Штейникова смерть за спиной стоит и гладит холодной рукой вихрастую голову.

Тряхнет головою Штейников, усмехается:

— Уйди, смерть, рано еще, еще есть заряды в обоймах.

— Тише!

И в четвертый раз прокуковала кукушка, но уже откуда-то издалека.

— Стоп! — сказал боевикам Алексей. — Слышите?

Охваченные кольцом горящих костров, заперты были боевики в лесной чаще. Слышно было, как издалека доносится смутный гул, ржание сытых коней, гортанная речь ингушей.

В пятый раз закуковала лесная кукушка. И не кукушка вовсе, а каторжник Штейников, ценою своей жизни решивший спасти товарищей, подал сигнал, что сейчас он откроет огонь. Будет он будоражить ночь и стрелять с колена в луну, звезды и прочие планеты, чтобы к нему бросились ингуши и потеряли след ускользающей дичи.

Сел Штейников на пень, приложил приклад маузера к плечу и нажал курок:

— Раз.., два.., три...

И тотчас же диким воем, фырканьем дрожащих коней, окриками резких команд была разбужена фальшивая тишина. В то время, когда боевики, воспользовавшись поднятой суматохой, ползком пробрались через разорвавшееся кольцо, Штейников услышал рядом с собою сразу четыре или пять голосов.

Он лег на траву и, ощетинившись двумя маузерами, стал ожидать. Мелькнул огонь горящей головешки, потом другой, потом сразу замелькало много длинных смолистых огней.

Факелы смыкались вокруг него все уже и уже. Штейников не двигался. Слившись грудью с сырою пахнущей травой, он выжидал.

— Здесь где-то, — сказал голос рядом.

— Смотри в оба!

— Смыкайся, забирай в кольцо!

Тогда Штейников сунул оба маузера за пояс, напружинил ноги и, разом вскочив, впился в горло ближайшего человека. Человек захрипел, дернулся, но вырваться не смог; инстинктивно нажал собачку револьвера и выстрелил. Потом, полузадушенный, упал на землю. Факелы густым кольцом смыкались вокруг Штейникова. Тогда он сам схватил горящую головешку из рук упавшего и пошел навстречу к огням.

— Кто стрелял? — крикнул ему встревоженный голос.

— Я, — ответил Штейников.

— В кого?

И Штейников очутился в самой гуще человеческой цепи. Благодаря тому, что он тоже держал в руках факел, его сначала приняли за своего, но когда же увидели ошибку, то было уже поздно, ибо Штейников со всего размаха ударил ближайшего горящим факелом по голове и бросился в лес. Чья-то пуля провела ему горячую борозду по боку, вторая расплавленным свинцом прожгла левую руку.

Но Штейников был не из тех, которых можно свалить первой раной. Он плюнул и на первую, и на вторую пулю и ровным солдатским бегом на носках побежал через заросли, цепко впивающиеся и царапающие колючками лицо, преследуемый десятками взбешенных ингушей. Вероятно, сердце у Штейникова было каменное, вероятно, билось оно всегда одним и тем же размахом, ровным и мерным, как вымуштрованный офицерской нагайкой четкий солдатский шаг.

Уже утренняя птица челкар радостными криками приветствовала зарю, уже таял туман под лучами выглянувшего солнца, а он все бежал, и лоб его был сух, как серый придорожный камень, из которого самая сильная рука не выжмет ни капли. Только грудь его была влажной от стекающей капельками крови.

Есть такая порода лошадей, которая не умеет уставать понемногу. Лошадь бежит до тех пор не уменьшая шага, пока сразу не остановится и не упадет совершенно обессиленная. Так и Штейников. Он остановился и почувствовал, что ни бежать, ни идти больше нет сил. Он шагнул несколько раз, зашатался, потом в глазах у него потемнело, и, оступившись, он полетел куда-то под откос, вниз.

Когда он очнулся, то солнце уже высоко стояло на небе. Он дополз до ручья, журчавшего неподалеку, напился и, прихрамывая, пошел дальше. Прошел, вернее прополз, саженей двести.

«Больше не могу,— подумал он,— нет никаких сил».

Хотел прилечь, но вдруг из-за густо разросшегося куста увидел перед собою маленькую землянку и человека, стоявшего перед нею.

Собравши силы, он сделал еще несколько шагов. Человек, обернувшись, увидел его, подошел к нему и, перекрестив беглеца, сказал ему, как-то странно усмехаясь:

— Здравствуй, брат мой, давно уже я жду тебя!

Этот ответ, как и сама процедура перекрещивания, до того поразили Штейникова, что он инстинктивно протянул руку к поясу, ибо никто его, бездомного беглеца, каторжника, кроме полиции, ожидать не мог. Но человек, лицо которого оказалось что-то странно знакомым Штейникову, расхохотался и сказал:

— Ты, конечно, пришел не за тем, чтобы меня повесить?

И только тут Штейников понял, что перед ним стоит сумасшедший человек...

Между тем боевики, вырвавшись из кольца, остановились далеко в стороне от места схватки с ингушами.

Сели отдохнуть. После быстрого бега дышалось тяжело. Сначала сидели молча, но чувствовалось, что каждый думает все о том же.

— Погиб Штейников,— не то спросил, не то ответил товарищам очнувшийся от раздумья Иван.

По лицу Алексея пробежала гримаса, ибо в словах брата он почувствовал оттенок грустной подавленности.

— Все погибнем,— вызывающе ответил он.

— А за что?

Бешеный перегиб перекосил лицо Алексея. Казалось, что Иван дотронулся до его самой больной, наглухо скрытой раны, о существовании которой он не хотел, чтобы подозревали.

— За что? — крикнул он.— А так!.. Ни за что, за собственное удовольствие!.. Назло всему!..

— Назло лучше жить!

— Нет, иногда лучше умереть и... молчи лучше, когда ничего не понимаешь!

— Ребята!..— проговорил он, немного помолчав.— Да что же это такое на самом деле, что это на всех такая хандра нашла? Ну ее к черту! Будем работать, как в прошлом году работали! Разве плохо было? А теперь еще лучше работать надо! Лбова нет — так надо же, чтобы хоть кто-то доказал, что еще не все погибло, не все задушено.

Он долго говорил, говорил горячо и убедительно, а когда кончил, то веселей и легче стало у него на душе.

Взошло солнце, зашумел, ожил лес, и появились улыбки на заросших, обветренных и небритых лицах «лесных братьев».

СМЕРТЬ ДЕМЕНЕВА

Было решено произвести экспроприацию железнодорожной кассы на станции Усолье, но так как самого главного боевика Штейникова теперь уже не было, то дело это поручили Деменеву.

Он уехал в Усолье один, ибо рассчитывал там на помощь нескольких местных рабочих, связанных с давыдовцами.

Было утро, от воды широко разлившейся Камы подымался легкий теплый пар. На станции было в этот час только шесть мастеров да пять жандармов.

Поставив двух часовых у входа в вокзал и захватив одного с собою, Деменев ворвался в жандармское помещение. Два жандарма спали, двое играли в шашки.

Скомандовав «Руки вверх!», Деменев схватил со стола небольшой, обитый железом ящик и, приказав жандармам лечь на пол, хотел было разоружить их, но в это время сзади послышался стук; распахнулась дверь, и вошел пятый, вернувшийся откуда-то жандарм. Увидев двух вооруженных людей и товарищей, лежащих на полу, он с криком от-

скочил назад, захлопнув за собою дверь. Выбежав на перрон, он дал выстрел в воздух.

Деменев понял, что дело плохо, что сейчас поднимется настоящая тревога, и не рискнул тратить время на разоружение стражников. Выстрелив в одного из них, он бросился бежать. Но едва он распахнул дверь, как стражники повскакивали и, через открытое окно выбравшись на перрон, перерезали ему дорогу. Остановившись на углу, они открыли по беглецу частый огонь.

«Ничего,— подумал Деменев,— вот мы сейчас вам покажем!»

Он начал отстреливаться, озираясь по сторонам: он не понимал, куда могли деваться его товарищи. Но уже через несколько мгновений он понял, что товарищей нет. Очевидно, испугавшись перестрелки, невыдержанные и не закаленные в схватках помощники бросились бежать кто куда.

Тогда Деменев, которому пора было уже думать о спасении, бросил тяжелый ящик. С трех сторон путь ему был перерезан, оставалась только одна дорога — за пакгаузы.

Пробежав немного, он понял, что попал в ловушку, ибо впереди, насколько хватало глаз, была только вода и вода, широко разлившаяся по полям. С гладкой как лист поляны он отстреливался до тех пор, пока одна из пуль не пробила ему грудь. Тогда он упал вниз лицом. Теряя сознание, судорожным зажимом пальцев вырвал клок росистой травы и стиснул его так, что зеленая травяная кровь капельками потекла на землю.

Потом пальцы разжались — и он умер.

Бомбы были на исходе, и Алексей то и дело торопил рабочих завода, замедливших на этот раз давно обещанную доставку условленного количества.

— Нет никаких сил, Лексей Иванович,— отвечали ему с завода.— Слежка такая, что до уборной без чужих глаз не дойдешь. Только примешься за работу, станешь обтачивать, глядишь, мастер идет. «Ты что такое, сукин сын, делаешь? Почему не своей работой занят?» — и так это подозрительно он смотрит, что беда прямо.

К счастью, мастер заболел, слег на несколько дней. Поставив в проходах наблюдателей, несколько рабочих быстро принялись за дело. В то время, когда один обрезал ку-

сок газовой трубы до нужного размера, другой делал винтовую нарезку, третий просверливал закрышку и...

Работали быстро, сосредоточенно, то и дело оглядываясь по сторонам.

— Эх, мать твою!..— зло сплевывая, проговорил один и начал обертывать тряпицей порезанный в спешке палец.— Вот и кружись тут, как черт в колесе. Того и гляди, что влипнешь за других! Хорошо им... ушли в лес — ищи, свищи их, как ветра в поле, а тут: придут домой и заберут тебя голыми руками. Тут тебе и тюрьма, тут тебе и каторга, а дома — баба да четверо ребятишек — один одного меньше!

— Мы не поможем, так кто же поможет? — процедил сквозь зубы другой.

— Против помощи никто не говорит. Да все без толку! Я один, может быть, уже десятую бомбу вытачиваю, а польза какая? Мало что-то пользы видно, беспокойства хоть отбавляй! Арестовывают людей, выгоняют целыми десятками. Про Ваську слышали?

— Что?

— Письмо прислал. Сказывает, всех ребят, которых отсюда уволили, ни на один завод не принимают. Так и говорят: «Александровцы — бунтовщики, вешать вас, сукиных детей, надо! Нету для вас работы!» Управляющий будто телеграмму дал по всему Уралу, чтобы, значит, гнать александровцев отовсюду в шею!

За дверьми раздался свист. Запыхавшись, вбежал мальчишка-подросток и крикнул:

— Управитель идет... Управитель идет, ребята!

Быстро набросали недоделанные бомбы в ящики с разным железным ломом и застыли на своих местах.

Управляющий вместе с приставом вошли при всеобщем молчании. Негромко разговаривая, они медленно прошли вдоль станков, иногда останавливаясь то около одного, то около другого рабочего.

Их пропускали подчеркнуто вежливо, на вопросы им отвечали коротко и четко.

Остановившись возле крайнего станка, как раз там, где только что точились бомбы, управляющий сделал рабочим знак, чтобы подошли.

Через минуту возле него образовалась большая куча. Управляющий был, по-видимому, настроен хорошо или по крайней мере старался казаться таким.

— Ребята,— начал он,— ну как живете? Не надоела вам вся эта волынка, а ну сознайтесь по правде?

Ребята молчали, как бы не понимали, о чем идет речь.

— Я спрашиваю, неужели вам не надоела эта канитель? — Управляющий развел руками, и голос его сделался соболезнующим и грустным.— Ведь вы подумайте, а позор-то какой! Какой позор!.. Жили честно и мирно, а теперь что — разбойникам помогаете? Вы думаете, я слепой? Разве я ничего не вижу? Ну скажите, пожалуйста, и зачем вы с этими грабителями связались? Ну скажи хоть бы ты?..

Управляющий ткнул пальцем в одного из рабочих:

— А, ты не связывался, и другой не связывался, и третий не связывался, так что же, по-вашему, я с ними связывался или, может быть, он? — Управляющий махнул в сторону сочувственно покачивающего головой пристава.— Вот прошлый раз бомбу кто-то в квартиру бросил? А для чего, спрашивается, бросили? Ну хорошо, бомба только рояль и стены попортила, а если бы она, сохрани боже, меня убила... что тогда было бы?

Управляющий повысил голос:

— Я вас спрашиваю, скоты вы этакие?.. Думаете, прекрасно завод без управляющего остался бы? Да вам бы такого другого прислали, что от него небо в овчинку показалось бы! Виданное ли это дело, чтобы управляющих убивать?..— Он остановился, покраснев и захлебываясь от негодования. Помолчал и, пересилив себя, начал опять ласково:

— Да и за что меня убивать, посудите сами, ну что я кому-нибудь сделал? Граммофон для вас из своих средств купил, каждый год жена для ваших ребятишек елку устраивает... подарки там, разные орешки, коробочки, пряники... Чего же вам еще надо?

— Чтобы вы все передохли, сволочи! — раздался вдруг резкий голос из толпы.

Тотчас же толпа забурлила, началось движение, послышался общий гул не то одобрения, не то негодования. Кто именно крикнул, определить нельзя было.

— А, вы вот как? Значит, вот что,— пятясь к выходу, злобно взвизгнул управляющий,— ну хорошо, хорошо, мы с вами будем по-другому разговаривать! Мы будем по-другому!..

— И мы тоже! — крикнул кто-то в ответ.

Едва управляющий и пристав скрылись, как недоделанные бомбы были снова извлечены из ящиков, и работа закипела еще более лихорадочным темпом.

Теперь тот самый рабочий, который порезал себе палец и крыл почем попало давыдовцев, ввинчивал крышку, бормотал, стиснув зубы:

— А! Ты так... подарки, коробочки? Чтоб вы подавились своими коробочками! А ты спрашиваешь, зачем помогаем? Не тебе ли, лысому черту, помогать прикажешь? — Он ввинтил крышку, быстро отер со лба капли крупного пота и, передавая бомбу товарищу, сказал резко:

— Моя уже готова!

ЗАСАДА

— А Штейников-то жив,— сказал однажды Петька Чудинов Алексею.

— Что ты говоришь?

— Ей-богу, жив! Мне сейчас баба одна александровская говорила. Жандармы у нее на постое, так разговаривали меж собою,— убежал, говорят, куда-то! Кровь на листьях видели, а догнать не могли! Так-таки спрятался, вероятно, куда-нибудь: рану пережидает! Штейников, брат, если вернется,— во как дело пойдет! И сколько раз конец ему приходил? Нет, смотришь, живучий человек, вывернется! Не то что Неволин либо Деменев — тем сразу!..— Он вздохнул.

Получив это сообщение, Алексей был крайне обрадован. Если Штейников жив, значит, вернется, а если вернется — многое еще можно будет сделать.

Как-то однажды Алексей заявил:

— Патронов у нас мало, бомбы доставать все труднее становится! Помните адрес в Чусовой, что дал мне приезжий лбовец? Завтра я сам туда отправлюсь и попробую! Может быть, и достану!

На следующее утро лошадьми он уехал. В Чусовой он быстро нашел нужного ему человека. Человек знал условный пароль лбовцев. Принял он Алексея осторожно в сумерках, запер крепко за ним ворота. И до полуночи проговорили они.

Человек жил замкнуто в небольшом каменном домике. Приехал он сюда приблизительно год тому назад. Чем он занимался, соседи точно не знали. Несколько раз полиция

делала у него обыски, но все безрезультатно. Очевидно, был он опытен и хитер. Он пообещал Алексею свести его завтра вечером к другому человеку, у которого можно будет получить все необходимое.

— Когда?—спросил Алексей.

— Завтра в восемь!

Алексей стал прощаться, но хозяин уговаривал его остаться ночевать. Алексей было согласился, но вспомнил, что у него есть дело к одному из рабочих прокатного цеха, и ушел, несмотря на предупреждение хозяина, пообещав завтра быть ровно к назначенному часу.

Выходя из дома, он то и дело осторожно оборачивался. Один раз, когда ему показалось, что идущий за ним по дороге человек не так пьян, как хочет казаться,— Алексей быстро завернул за угол, пробежал немного, завернул снова и скрылся за разбросанными домиками заводского поселка.

«Неужели выследили и узнали?—подумал он.—Нет, вряд ли! Вероятно, это просто за его домом иногда посматривают! Ну и заинтересовались: кто это такой оттуда вышел? А все-таки надо быть начеку».

На следующий день к вечеру Алексей запоздал немного, и вот почему: пробираясь к каменному домику, он увидел, как в распахнутое окно противоположного дома высунулась, но тотчас же спряталась форменная фуражка жандарма.

«Как он тут живет?—подумал Алексей.—Рискованное соседство! Или это слежка?»

Алексей постоял на углу, потом обошел квартал и с противоположной улицы заглянул через ворота во двор, который, по его мнению, должен был выходить к нужному ему дому. На дворе было пусто. Он осторожно открыл калитку, перелез через забор и очутился возле бани, прилегающей к каменному домику. Затем тихонько, чтобы с улицы не было слышно, отворил дверь в сени, ощупью пробрался к скобке и, дернув ее, быстро вошел в комнату.

Рука его моментально рванулась к маузеру, ибо по меньшей мере восемь жандармов, очевидно, не ожидавших его появления со стороны черного хода, повскакивали из-за стола.

«Засада!» — сообразил Алексей и, не раздумывая, разрядил пол-обоймы в бросившихся к нему жандармов, выскочил в сени. Перемахивая через забор, он почувствовал, что пуля оцарапала ему правое бедро. Почти тотчас же за ним вслед из-за забора выглянула голова одного из преследователей, но моментально спряталась, услышав свист пули, пролетевшей над самым ухом.

«А! — подумал взбешенно Алексей, рыкая в темноту. — Поймать захотели, собаки! И здесь выследили... Ну хорошо!»

Злоба цепко стискивала ему горло: злоба не за полученную рану, а за то, что ему не удалось достать патронов и бомб, за то, что своим появлением он окончательно засыпал и провалил ожидавшего его человека.

Он до того обезумел от бешенства, что, ничего не соображая, пошел на станцию и без всяких предостережений взял билет на первый попавшийся поезд.

Так, почти не помня самого себя, он доехал до станции Пашия. Почувствовал жажду, слез и пошел в буфет. По дороге в коридоре он встретил лениво позевывающего жандарма и опять почувствовал приступ охватывающей ярости. Теряя всякое благоразумие, на глазах у всех он застрелил жандарма. Затем подошел к стойке, налил полный стакан водки, которой он раньше никогда и в рот не брал, залпом выпил. Потом, играя блеском двух маузеров, заставил расступиться оцепеневшую публику и ушел, прихрамывая, в двери, за которыми метался, как неприкаянная душа, черный горячий ветер.

ПОЗДНО РАЗОБЛАЧЕННЫЙ ПРОВОКАТОР

Прошло несколько летних месяцев. О Штейникове не было ни слуха. А он в это время лежал в землянке, на которую наткнулся, спасаясь от преследовавших его ингушей. В бородатом, полусумасшедшем человеке он узнал беглеца, спасшегося через разломанную трубу. Помешательство у Али-Селяма было тихое. Иногда он оставлял впечатление нормального человека. Понемногу Штейников, оправившись от раны и вывиха, узнал всю правду об Али-Селяме.

Одного только он никак не мог понять, кто помог бежать Али-Селяму. Не мог потому, что и сам Али-Селям не

знал этого. Иногда он морщил лоб и говорил о какой-то записке, полученной им через окно в ночь побега. Штейников много раз спрашивал, какая это записка, от кого, к кому, куда он ее дел. Тогда Али-Селям тер виски, силясь припомнить что-то, но вспомнить не мог.

И вот однажды, когда Штейников почти что оправился и собирался уже через недельку покинуть келью отшельника, он сидел в землянке на чурбане и вырезал на дорогу набалдашник для толстой дубовой палки. Нож притупился. Штейников подошел к лежащему в углу камню и принялся точить клинок. Но точить, стоя на коленях, ему было неудобно, да и темно. И он решил подвинуть камень к чурбану.

Камень был тяжелый. Штейников с трудом подкатил его к свету и увидел вдруг, что под камнем лежала беленькая бумажка. «Записка!» — подумал он и, схватив ее, развернул.

Карандашом написанные слова выцвели, стерлись, но все же разобрать было можно. Штейников прочел ее — и ахнул. Записка была на имя пристава, и в ней сообщалось точно прежнее место стоянки боевиков. Теперь перед Штейниковым с внезапной резкостью вырисовывались все подробности.

Очевидно, мнимый лбовец, увидав, что Али-Селяма боевики обвиняют в шпионаже, принял его за своего, помог ему бежать и отдал записку для передачи полиции.

«Но наши-то... Наши ничего не знают! — ужаснулся Штейников. — Надо сообщить как можно скорее, если еще не поздно».

На следующее же утро, несмотря на то, что он не совсем еще поправился, Штейников собрался в путь.

Али-Селям проводил его до порога. Он был оборван, и голое тело просвечивало сквозь его рубище. Он долго стоял, глядя на удаляющегося Штейникова, потом сел на порог землянки и, понурив всклокоченную голову, пробормотал:

— Суета все и суета. Мне бы только покой!..

А в это время Алексей получил последний и самый тяжелый удар.

Как-то вечером к нему вместе с братом пришли несколько рабочих. Долго говорили они то о том, то о другом; по-видимому, хотели что-то сказать важное, но не решались.

Заметив это, Алексей даже рассердился и крикнул:

— Что вы вихляетесь, говорите прямо, что вам нужно?

— Вот что, Лексей Иванович! — сказал старший из них. — Видишь, какое дело! Конечно, знаем мы, что ты за нас, да только измучился народ больно через все это! Из дому ни шагу, всюду за тобой полиция следит! Ни собраться потолковать про свои дела, ни книжку какую прочесть, ничего! Брось ты это свое дело! Ей-богу, брось! Передохни сам малость и дай народу поправиться! Многие тебя об этом просят! Свои же ребята, рабочие, и не в обиду, а просто как товарища! Устали очень, Лексей Иванович, а пользы никакой!

Долго, долго сидел молча Алексей, и горькая улыбка не сходила с его плотно сжатых губ. Потом встал и ответил, но ответил как-то глухо и не глядя никому в глаза:

— Хорошо!.. Хорошо, пусть будет по-вашему, я уйду!

Затем он, повернувшись, скрылся в чаще и не возвращался оттуда до самого утра.

Когда он вернулся, то глаза его горели сухим лихорадочным блеском.

— Мы уезжаем, — сказал он, — уезжаем отсюда, кто хочет, тот уедет со мной!

— Далеко?

— Далеко, — ответил он, — очень далеко!

— Когда? — спросил лбовец, тот самый, предупредить о котором торопился Штейников. И следующими словами, сам того не зная, Алексей произнес себе смертный приговор:

— Через три дня!..

Боевики шли по дороге и наткнулись на засаду полиции. Вступили в перестрелку, потом бросились врассыпную.

Собравшись через час, они недосчитались только одного — Ивана Давыдова...

Но на следующий день они узнали, что полиция никого не убила, следовательно, Иван спасся.

Между тем Штейников еще по дороге узнал от одного надежного человека, что боевики уже ушли к Каме с тем,

чтобы, добравшись до нее, сесть на первый попавшийся пароход, идущий книзу. И узнав, что лбовец был с ними, утомленный Штейников тяжело опустился на траву и, закрыв глаза, пробормотал пересохшими губами:

— Конченое дело, слишком поздно!

ЭПИЛОГ

Иван Давыдов в перестрелке был тяжело ранен. Семь суток пролежал он в лесу, не решаясь выбраться.

Наконец жажда и голод измучили его, он выполз на дорогу и попался в руки жандармам.

Его отвезли в заводскую больницу и поставили около него сильный конвой. Сначала он был без памяти, потом начал приходить в себя.

— Доктор,— сказал он однажды,— скажите правду, зачем вы меня лечите, разве только затем, чтобы передать здоровым в руки палачам? Доктор,— еще тише сказал он,— если вы по ошибке вместо лекарства дали бы рюмку яда?..

Доктор посмотрел на него и пожал ему руку.

Просьбу доктор выполнил. В этот же вечер Иван умер...[1]

По указанию провокатора жандармы возле Чермоза схватили боевиков и отправили их на пароходе в Пермь[2].

[1] Пермский губернатор сообщил министру внутренних дел: Иван Давыдов во время перестрелки с жандармами тяжело ранен в ногу 15 августа 1908 года. Обнаружили его случайно в лесу в полутора верстах от Всеволодо-Вильвы по Ивакинской дороге одного, спящим в бреду, с открытым боевым спуском нагана в руках. Осмотрев раненого, врач сделал заключение: гангрена до пояса, безнадежен. Не семь дней, а полмесяца он таился в лесу, лишенный движения. Умер И. Давыдов в больнице через три дня после ареста — 3 сентября. (ЦГАОР, ф.102, ДП 00, 1908, д.2, ч.43, л.70—76.)

[2] Согласно телеграмме, полученной в Департаменте полиции из Перми, «главарь шайки» Алексей Давыдов вместе со своими товарищами Мичуриным и Чудиновым были арестованы в семь часов вечера 21 августа 1908 года в Добрянском заводе. А 24 августа пермский губернатор сообщил в Министерство внутренних дел, что «вся означенная шайка в корне изъята». И это несмотря на то, что не был тогда еще обнаружен Иван Давыдов, многие другие боевики (ЦГАОР, там же, л.64—69).

На каждой новой пристани пароход наполнялся пассажирами, и боевиков перевели на корму. Пассажиров оттуда повыгоняли.

Никогда, вероятно, Пермь не видела такого судебного процесса. Улицы были запружены народом. Конные жандармы густыми шпалерами оцепили здание, где заседала выездная сессия Казанского суда.

Боевики держались спокойно. Алексей выгораживал всех, сваливая всю вину на себя.

Его же вместе с Чудиновым и еще Безгодовым приговорили к смертной казни. Последний был арестован по подозрению в убийстве старика часовщика. Лавочник, у которого Штейников покупал махорку, в сумерки принял его за Безгодова и донес на совершенно непричастного к делу человека.

Когда закованных в кандалы смертников, окруженных двумя рядами конвойных, вывели на улицу, то раздался общий приветственный гул. Окна были распахнуты. Балконы усыпаны народом. Кто-то крикнул:

— Да здравствует революция!..

Откуда-то донеслись граммофонные звуки «Марсельезы».

— Умирать, так с музыкой! — улыбнувшись, сказал товарищам Алексей.

Распахнулись ворота тюрьмы, и каменная одиночка поглотила приговоренных.

...Наступила ночь.

Провалами темных пятен мерцала пустота серых каменных углов тюрьмы. Алексей подошел к окну и, прислонившись к стенке, долго и жадно всматривался в небо...

Во дворе замелькали факелы. Один, другой... Они кружились, дымили — казалось, что безумные черные тени жандармов и палачей толкутся и носятся в каком-то диком торжествующем танце.

Потом стало тихо, тихо.

И на дворе раздался стук, — стук топора о дерево, как будто бы кто-то колол дрова.

И осужденные поняли, что это палачи вышли на работу. Палачи готовят виселицу.

Ночью всех осужденных повесили...

(1927)

ТАЙНА ГОРЫ

Фантастический роман[1]

Прощался с Верой Реммер не как все. Он раскатисто, звонко смеялся, несколько раз подходил к столику, наливал в рюмку коньяк, возбужденно опрокидывал ее в рот и повторял, улыбаясь:

— Ну, смотри, чтобы никто и ничего, иначе мы можем сорваться.

Оставалось десять минут до того времени, когда за Реммером должен был зайти его товарищ по экспедиции.

Вера посмотрела на часы и улыбнулась. Не потому, что ей было слишком весело, а потому, что ее заражала бодрая уверенность Реммера. И, накинув ему на шею петлей гибкие смуглые руки, она спросила напоследок:

— Виктор... а что если Запольский опять?..

Реммер нервно сдернул ее руки и ответил не грубо, но резко:

— Это твое дело. Я не вмешиваюсь и... не будем больше об этом говорить!

Затрещал телефон. Вера взяла трубку. Звонили из редакции, спрашивали:

— Уехал Реммер или нет?

[1] Приключенческая повесть «Тайна горы», жанр которой был определен А.Гайдаром как «фантастический роман». Место действия повести — Северный Урал, верховья Вишеры. Сюжет посвящен разоблачению происков иностранных концессионеров-горнопромышленников. Повесть написана в Перми и печаталась там впервые в газете «Звезда» в 1926 году (с 8 по 30 сентября). Потом вошла в первый сборник путешествий и приключений «На суше и на море» (М.—Л., 1927, с.7—34). Перепечатывалась в газете «Арзамасская правда» в 1969 году (1 апреля — 28 мая, с перерывами). Здесь повесть печатается по тексту сборника 1927 года с уточнением ряда мест с помощью первой звездинской публикации.

— Нет, сейчас уезжает.

Она хотела передать трубку, но телефон быстро дал отбой. В коридоре послышался стук шагов, пришел товарищ Реммера — Федор Баратов. Он так же, как и Виктор, был одет в серые холщовые бриджи, в рубаху с широким раскинутым по плечам воротом и обут в высокие кожаные сапоги.

— Алло! — вместо приветствия сказал Реммер. — Можно ехать?

— Можно.

Два вещевых мешка были захвачены в левые руки, две охотничьих винтовки — в правые, и все втроем спустились вниз к машине.

Был вечер. На Сибирской возле редакции кричал громкоговоритель:

— Проект концессии на разработку золотых приисков в верховьях Вишеры...

Мимо проезжали машины с иностранцами, в большинстве янки.

— И откуда их так много набралось! — сказала Вера. — Рыщут и рыщут. Вчера на пароходе человек двадцать приехало.

Реммер сел в машину последним.

— Алло! — крикнул он шоферу. — Дай ход...

Но прежде чем шофер успел нажать ногой педаль, к дому с треском подлетела мотоциклетка, и телеграфист, не соскакивая с сиденья, кинул Виктору телеграмму.

Он распечатал, оттолкнул рукою дуло винтовки, и кривая усмешка перекосила его ровное лицо:

— Стоп!..

Не раскрывая дверцы, он легко перескочил через борт машины на мостовую, вбежал в дом и нажал кнопки телефона, автоматически соединяясь с редакцией:

— Это вы?.. Я только что получил телеграмму о том, что Штольц проверил и подтверждает все, он успел уже на три дня раньше... Я не особенно доверяю Штольцу... Да, да... Я имею на это основание и все-таки еду сам...

Он вышел, на ходу поцеловал в щеку Веру и вскочил в машину. Шофер вовремя нажал рукой рычаг, отпуская тормоз, и машина, загудев, понеслась к пристани.

Это было ровно в девять часов вечера, 25 июня 1925 года[1].

В половине девятого, в тот же вечер, с запада прилетел двухместный аэроплан, и бритый серый англичанин в костюме, немного помятом в дороге, подъехал к квартире Реммера. Там он оставался не более трех минут, ибо в ней никого не было, кроме уходящей домой Веры. И Вера слышала, как он сказал своему спутнику по-английски:

— Джон, через час вы вылетите в Чердынь и передадите ему этот пакет...

Ночь 25 июня 1925 года была замечательна и тем, что в самой большой гостинице города в четырнадцатом номере повесился человек, только что перед этим прописавшийся Сергеем Кошкиным, танцором-чечеточником, 32 лет от роду.

В IV классе парохода «Красная Звезда» было шумно и оживленно, но тесно до отказа. Никогда раньше пароходам Камы не приходилось перевозить такую разношерстную буйную публику. Слухи о больших изыскательных работах в горах, в верховьях Вишеры, заставили хлынуть туда тысячи человек из южных губерний СССР.

Все те, кто околачивался раньше без дела в Одессе, Ростове, Новороссийске, собрав несложные манатки, быстро перебрасывались с юга, через Пермь, на север.

Ходили слухи об открытых американцами сказочных богатствах, о находке самородков. И хотя точное местонахождение этих залежей еще никому не было известно, хотя никто еще не видел ни одного человека, нашедшего самородок хотя бы в два грамма весом, однако все чувствовали, что раз американцы взялись, значит что-то тут да есть.

Позади огромных мешков с войлоком в укромном углу сидели два человека. Осторожно оглядываясь, один из них время от времени отворачивал борт рваного ватного пиджака и, не вынимая из кармана бутылки с дешевым коньяком «Экстра», наливал жестяную кружку, подставленную товарищем. Оба по очереди рывком опрокидывали коньяк в глотки, затем из другого кармана извлекалась тонкая не-

[1] При публикации повести в газете «Звезда» А.Гайдар указал другой год: 1937. Но «перенести» события в будущее, кроме некоторых деталей, ему тогда не удалось.

нарезанная чайная колбаса, от которой сразу отхватывалось зубами полчетверти.

Реммер, как и всякий журналист, был любопытен. Он спустился вниз и, усевшись на мешки, разговорился с одним вятским мужичком.

— Куда, дядя, едешь? — спросил он, угощая того папиросой.

— Куды?! — добродушно ответил тот.— Известно, куды все, туды и я...

— А зачем?

Мужичок удивленно посмотрел на него, потом ответил, закуривая:

— Да ведь как же; у нас хлеба кажный год плохие, кажное лето мужики на отхожие промысла уходят. И я ходил раньше либо канавы рыть, либо по штукатурке. А тут такое дело вышло, попер народ туды. Ну, думаю, дай и я тоже, авось счастье выйдет!

Потом, почему-то снижая голос, добавил, растягивая слова:

— Говорят, которым людям удача бывает, ба-а-альшущие куски находют. По хунту, а то и больше...

Реммер улыбнулся, хотел ответить, но не сказал ничего, потому что из-за мешков услышал, как чей-то подвыпивший голос негромко, но резко сказал:

— А я тебе говорю, что Штольц заплатит.

— Ды ни-столько!..

— Нет, столько...

— Да если твоего Штольца со штанами продать, откуда он возьмет столько?!

— Не знаю,— менее уверенно, но все же твердо ответил другой. И потом совсем тихо, так тихо, что Реммер еле-еле услышал, добавил:

— А не заплатит, так не видать ему ни одной бумажки...

Реммер весь насторожился, но больше разобрать ничего не смог...

Он пошел к себе в каюту.

— Тебе радиограмма,— сказал ему Баратов.

Реммер разорвал. Вера сообщала: 1. Какой-то человек на аэроплане вылетел в Чердынь, чтобы передать тебе пакет. 2. Из Киева сообщают, что ничего не известно.

Первый пункт Реммера озадачил, второй — вызвал складку на лбу: вторым пунктом он был недоволен.

— Алло! — сказал он, подавая Баратову депешу.— Что это за аэроплан?

Тот удивленно пожал плечами, не зная, что ответить.

В это время в дверь каюты постучал матрос и сообщил, что Реммера вызывают из Перми по беспроволочному телефону. Он подошел. Говорила Вера. Она сообщила, что два часа тому назад кто-то со стороны веранды вырезал стекло и, проникнув в комнату Реммера, взломал ящики письменного стола! Сейчас работает угрозыск.

Вместо того чтобы нахмуриться или взволноваться, Реммер рассмеялся и ответил спокойно:

— Верочка, не беспокойся... Ничего особенного там не было...

Когда он отходил от аппарата, лицо его выражало сильнейшее удовольствие, и по губам прошла широкая веселая улыбка.

Пожилой англичанин, пьющий у стойки буфета виски, удивленно посмотрел на странную, ничем не оправдываемую улыбку русского и протянул руку за следующей рюмкой. А Реммер распахнул дверь каюты, бросился на койку и сказал Баратову:

— Пока все очень хорошо. Ящики взломаны...

И, быстро раздевшись, лег спокойно спать.

По делу о взломе ящиков в квартире Реммера Веру вызвали в угрозыск. Ее начальник, товарищ Седых, был ей хорошо знаком. Он спросил ее о некоторых подробностях, о том, не известно ли ей, похищены какие-либо вещи или нет?

— По-моему, нет,— ответила Вера.— Я говорила с Виктором по радио, и он передал, что ничего ценного в его ящиках не было...

Вера хотела уже уходить, как взгляд ее упал на письменный стол начальника.

— Откуда это у вас? — удивленно спросила она.— Это, вероятно, взломщики взяли с собой, а вы нашли у них?

И она протянула руку за красной маленькой звездочкой из уральского камня, на которой были поставлены ее инициалы. Но начальник вдруг нахмурился, точно внезапная новая мысль пришла ему в голову. Однако тотчас же улыбнулся и спросил:

— Разве вещичка знакома вам?

— Это звездочка Виктора. Я подарила ему ее как раз в начале весны, когда...— Она запнулась на мгновение, потом тотчас же улыбнулась и добавила спокойно: — Когда я разошлась с мужем и сошлась с Виктором. Но как она попала к вам?

Седых ответил что-то неопределенное, потом, сославшись на занятость, вежливо распрощался.

Едва Вера вышла, начальник вызвал к себе старшего инспектора Балабуша и приказал:

— Телеграфируйте в Чердынь — установить слежку за журналистом Реммером, вероятно, его придется арестовать...

Инспектор Балабуш был крайне удивлен. Но инспектор не имел привычки много разговаривать, и если бы его начальник сказал, что надо арестовать самого председателя окрисполкома, значит, у начальника были веские доводы.

В это время Вера сидела в театральном садике, читала какое-то письмо, ела мороженое и была страшно далека от мысли о том, что она сделала...

В Чердыни человек в крагах и авиаторской шапке принес Реммеру в гостиницу пакет. Там было 10 пятидесятидолларовых бумажек и письмо от одной из крупнейших американских газет, в котором в сухой, чисто деловой форме делалось ему предложение информировать газету о ходе изысканий бассейна реки Вишеры.

Реммер прочел письмо, посмотрел на каменное лицо авиатора, потом сел за стол и начал писать ответную записку. Но через минуту он разорвал написанное, встал и сказал летчику:

— Хорошо.

Человеку в крагах, по-видимому, кто-то вполне доверял, ибо человек в крагах не потребовал ни расписки, ни ответа. Он повернулся и вышел.

— Подкуп? — коротко спросил Реммера Баратов.

— Да,— еще короче ответил тот.

Гостиница была набита до отказа. Реммер умывался в то время, когда с хозяином спорили двое.

— Номеров нет,— убеждал хозяин.

— То есть как нет, когда надо,— резко отвечали ему.— Мы в коридоре заночуем!..

— Номеров нет,— упрямо повторил хозяин,— а если вы будете скандалить, я позову милиционера.

Реммер вытер мокрую голову и вышел в коридор. Там он встретил двух спорящих людей и в одном из них узнал того, который упоминал имя Штольца за войлочными тюками парохода.

Реммер остановился и еще раз внимательно посмотрел на них, точно желая крепче запечатлеть в памяти их лица. Если бы Реммер обернулся в этот момент, то он увидел бы, что в пяти шагах в стороне стоит незнакомый человек и внимательно, с той же целью, всматривается в его собственное, Реммера, лицо.

— Виктор,— сказал ему Баратов, когда, попыхивая в темноте последними перед сном папиросами, они лежали в кровати,— а не слишком ли рискованную игру мы ведем? И не лучше ли все дело передать в руки следственных органов?

— Нет,— после минутного молчания ответил Реммер,— фактов еще никаких, а кроме того... а кроме того, я люблю иногда ходить по битому стеклу.

По реке Вишере тянулись вверх лодки, нагруженные поклажей. Сами приискатели шли пешеходом по берегам. Ночевали у костров, прямо под открытым небом. Вставали с зарей, снова и снова торопились вперед.

Время от времени попадались сторожевые посты, домики милиции, наспех, но крепко сколоченные и обнесенные двумя рядами колючей проволоки.

Многие из проходивших задолго перед постами сворачивали в сторону и старательно обходили их по тем или иным соображениям, не желая встречаться с заставами.

Впрочем, застав было всего пять на пятьсот верст от Чердыни до Золотого камня — горы, у подножия которой вырос целый поселок, центр изыскательных работ.

Через пять суток моторная лодка благополучно доставила Реммера и Баратова от Чердыни до места.

Поселок был разбросан на скалистой, покрытой лесами и изрезанной шумными ручьями местности.

Встретился со Штольцем Реммер в тот же вечер. Встретились они как умные враги, знающие силу друг друга, вежливые, спокойные, взвешивающие каждое выпущенное слово и улавливая за словами противника скрытый смысл.

— Здравствуйте! Как дела? Не устали? — спросил Штольц.

— Спасибо... Совсем не устал. Крепок, как и всегда.

— Здесь климат очень нездоровый. Я, например, иногда скверно чувствую себя.

— Вряд ли в Перми вы чувствовали бы себя теперь лучше, — пряча улыбку, ответил Реммер, — там лихорадит. Может быть, вам нездоровится от того, — здесь Реммер пристально посмотрел на него, — что вы слишком много работаете?

— Много... — коротко отрезал Штольц, но, спохватившись, переменил тон и сказал дружелюбно:

— Впрочем, вы ведь только что с дороги, заходите ко мне, я вас познакомлю кое с кем из здешних инженеров. Кстати, пообедаем.

Реммер заколебался, но тотчас же сообразил, что это знакомство будет ему весьма полезно, и согласился.

Зашли в бревенчатый дом. Свежая пакля еще торчала клочьями из стен, пахло смолистыми непросохшими бревнами, по стенам стояли две койки с походными матрацами, в углу несколько винтовок, а посередине большой стол, накрытый простыней, вместо скатерти, и уставленный закусками и вином.

Не прошло и пяти минут, как в комнату вошли трое; из них два американца-инженера, помощник начальника изыскательной экспедиции Янсон и еще некто, кого Реммеру отрекомендовали мистером Пфуллем — спортсменом и известным путешественником, большим любителем охоты на медведей.

Реммер поздоровался с инженерами и с удивлением посмотрел на короткого и толстенького мистера Пфулля, не совсем понимая, как это такой пухлый и круглый человечек может быть ярым охотником, да еще на такого крупного зверя, как медведь.

В продолжение нескольких дней Реммер осматривался и наблюдал за кипучей жизнью поселка Золотой горы.

Каждый день дальше в горы на восток отправлялись новые и новые люди. Иногда с востока приезжали инженеры, оборванные, грязные, с озабоченными энергичными лицами. Они отправлялись в кабинет концессионной конторы, о чем-то подолгу докладывали мистеру Янсону. Потом в Москву начинали посылаться доклады, а в газеты Штольц посылал соответствующую информацию:

«Обнаружено золото рядом с восточной границей района концессии...»

«По заключению инженера Бранта, мощная золотоносная жила должна проходить у восточной части концессии...»

Читая эти короткие сообщения, Реммер невольно удивился. Он начинал чувствовать, что подозрения его относительно Штольца на этот раз начинают немного колебаться.

В самом деле, американская концессия охватывала сравнительно небольшой район. Всем было хорошо известно, что концессионеры старались расширить его и потому изыскания производят по соседству. Ясно, что им было бы выгоднее умалчивать о новых открытиях, а если не умалчивать, то по крайней мере преуменьшать их значение.

А тут?.. Телеграммы Штольца — четкие, определенные и, по-видимому, соответствующие действительности.

У Реммера со Штольцем были старые счеты, и Реммер имел основание подозревать его кое в чем. Но в данном случае Штольц действовал, по-видимому, вполне честно.

Через неделю Штольц куда-то исчез из поселка. Реммер спрашивал у Янсона, у инженеров, зашел даже к мистеру Пфуллю. Мистер Пфулль был дома, сидел в кресле с грелкой на животе и с ногами, укутанными в плед, пил какао.

Мистер Пфулль извинился за свой домашний костюм и объяснил, что ему весьма нездоровится, потому что во время последней охоты он оступился, сорвался с уступа скалы и, падая, получил сильные ушибы.

Реммер высказал соболезнование, надежду на скорое выздоровление, но в душе остался при сильном подозрении, что у мистера Пфулля просто насморк и больше ничего.

О Штольце он ничего не узнал. Но вечером двое рабочих передали, что видели Штольца в сопровождении каких-то двух бродяг, направившихся в лес на северо-восток.

Реммер удивился: почему на северо-восток? В той части не производилось никаких изысканий, ибо инженеры единогласно пришли к заключению, что россыпями та сторона наиболее бедна.

Утром Реммер и Баратов тоже отправились в далекую прогулку на северо-восток.

В первый и во второй дни им еще попадались одиночки приискатели, копающиеся по берегам горных ручьев. Но еще через два дня они попали в такую глушь, где не было никого и ничего.

Решили отдохнуть. Устроили из ветвей шалаш, натаскали травы, съели по коробке саморазогревающихся консервов и легли спать.

Черными хлопьями падала на землю густая тьма. Было тепло, тихо и безветренно. И оба крепко уснули.

Ночью первым проснулся Баратов. Он насторожил слух, потер виски и выполз из шалаша. Потом вернулся и дернул Реммера за рукав.

— Что ты?—спросил тот, вскакивая.

— Ты ничего не слышишь?

— Нет, ничего.

Прислушались. Все было тихо-тихо.

— А что?

— Так, ничего,— ответил Баратов.— Мне показалось, что кто-то...

— Кричит, что ли?—перебил его Реммер.

— Нет. Что кто-то поет.

Оба рассмеялись.

— Кто тут ночью будет распевать?! Давай спать дальше...

Вятский мужичок, дядя Иван, тот самый, с которым Реммер разговаривал на пароходе, человек был хитрый и дошлый.

Добравшись до приисков, он прикинул умом и сообразил, что ежели народ прет больше к юго-востоку, то ему прямой расчет немного удариться в сторону, чтобы, ежели

будет удача, не делиться с кем-нибудь, а одному заграбастать все.

Вот почему через некоторое время дядю Ивана можно было увидеть с мешком за плечами и огромной допотопной шомполкой пробирающимся через густые причудливые леса в верховьях реки Вишеры.

— Ну и места,— бормотал он, весело продвигаясь вперед и покуривая набитую махоркой трубку.— В жизнь не видал таких местов.

Шел дядя Иван три дня и думал так: «Дойду до места, а там и искать буду».

«Место» это представлялось дяде Ивану как нечто определенное, ну, вроде, скажем, своей пашни либо огорода, обнесенного жердями. Во всяком случае, дядя Иван был твердо уверен, что «место» должно иметь свои отличительные черты, по которым он его сразу узнает.

Но на шестой день зашел дядя Иван в такую глушь, что и поворотиться некуда. Сел он тогда на камень и подумал, не сбился ли он уже с дороги и не осталось ли «место» в стороне: либо влево, либо вправо. И после некоторого раздумья повернул дядя Иван вправо.

Шел он опять до тех пор, пока не уперся в старую седую гору, а из той горы ручьи бегут прямо из-под земли; речонка рядом пробегает светлая, быстрая, цветов сколько хочешь, и птицы поют очень приятно.

Скинул дядя Иван сумку, взял топор и срубил себе крепкий шалаш. Потом соснул немного и пошел бродить по берегу речонки. Присматривался старательно к речному песку, собирал его на лопатку и подносил к хитро прищуренным глазам. Но, однако, не было в тот день удачи дяде Ивану, и ничего он для первого раза не нашел.

И вот однажды, копаясь возле речки, поглядел дядя Иван на куст, разросшийся рядом, и увидел, что торчит из земли железка какая-то. Потянул он ее и вытянул из-под прелых листьев остов ржавой, никуда не годной винтовки.

Чудно что-то показалось дяде Ивану. В эдаком месте, куда, можно сказать, ни один человек ни ногой за всю жизнь, должно быть, и вдруг ржавая солдатская винтовка. Стал он копать еще и нашел старую шапку необыкновенного фасона, которую нельзя из-за ветхости целиком вытащить.

Еще больше удивился дядя Иван и стал думать, припоминать. Какой такой народ — либо мордва, либо киргизы — шапки такие носят? И вспомнил, что ни у мордвы, ни у киргизов не видел он шапки-буденовки, а видел он их десять лет тому назад, когда были тяжелые годы и когда здорово красные дрались с белыми.

Стал еще искать что-либо дядя Иван, но так-таки больше ничего не нашел.

В течение двух дней Реммер и Баратов охотились, отдыхали или лазили по горам.

Горы были странные, изломанные, особенно одна. Она была источена ветрами, покрыта низкими корявыми деревьями, и несколько глубоких трещин врезывались в ее грудь.

Однажды Баратов, рыская с ружьем по гуще, оступился и едва успел ухватиться за корень соседнего дерева. Он вытянул ногу из какой-то ямы, посмотрел вниз и содрогнулся: под ногами был темный глубокий колодезь, с краями неровными и заросшими мхом.

Баратов позвал Виктора, оба легли на землю и свесили головы вниз... Дна не было видно, но снизу доносился шум быстро текущей воды. Там, в темноте, бился о камни и плескался уносящийся куда-то невидимый поток.

Зажгли бумагу, бросили, и она долго огненной бабочкой летела в черную пустоту, наконец упала, но тот час же, прежде чем успела потухнуть, точно чья-то невидимая рука,— подземная вода быстро рванула и унесла ее прочь.

— Черт! — крикнул Реммер, потому что тяжелый камень, зацепившись острым углом за тонкий ремешок фляги, потянул Реммера вниз. Ремень оборвался, и камень с флягой бухнул где-то далеко внизу.

— Жалко,— сказал Реммер,— там у меня было горячее какао...

— Теперь простынет,— пошутил Баратов.

— Нет, у меня термос выдерживает температуру приблизительно до полутора суток.

По пути обратно Баратов подстрелил жирную утку, и оба долго возились, очищая и зажаривая ее на сыром деревянном вертеле.

— Когда повернем обратно? — спросил Баратов.— Завтра?

— Да, утром.

— Утром...— в раздумье протянул Федор,— ну что же, можно и утром.

Он помолчал немного, потом добавил:

— Виктор, а ведь правда, странная какая-то гора?

— Чем?

— Так... Вся изрезанная, какие-то провалы, где-то под землей вода шумит... Я ночью проснулся, и мне показалось, точно над ней зарево какое-то... Так, чуть видно... Будто бы огонь в середине ее.

— Откуда тут быть огню? Это заря, должно быть, была,— ответил спокойно Реммер, отрывая зубами мясо от куска зажаренной птицы.

— Виктор! — спросил опять Баратов, перескакивая на новую мысль.— А как ты все-таки веришь, что Штольц бывший белый офицер? Ведь вот из Киева не подтверждают.

Реммер нахмурился и отбросил обглоданную кость.

— Нет, не подтверждают, а сообщают только, что после стольких лет выяснить почти невозможно. А кроме того, я же тебе говорил, что давно, еще в Париже, в кабачке «Цыганская жизнь», мне подавал карточку человек, удивительно похожий на Штольца.

— Ну?

— Ну, ничего не «ну»! Тот кабачок эмигрантский, и все официанты в нем — бывшие офицеры.

Он подумал, потом добавил:

— Теперь ящик взломан. Штольц давно знает, что я собираю о нем сведения. В ящике был нарочно оставлен черновик моего письма, в котором я писал, что подозрения относительно Штольца были ни на чем не основаны и что была ошибка.

— И он теперь успокоится?

— Конечно. И мне будет легче следить дальше...

Легли спать. Во сне Реммер видел Веру, потом видел оставленного дома дога, потом опять Веру. «Вера, сыграй мне что-нибудь!» — попросил он. Она села и, к его большому удивлению, заиграла ему какой-то военный сигнал.

Но огромный муравей, пробравшись под рубаху, больно укусил Реммера. Он заворочался и открыл глаза.

Было темно. Реммер отряхнул рубаху, потом насторожился.

«Что такое,— подумал он,— разве это не во сне я слышал?»

Вышел и прислушался.

Ему показалось, что кто-то далеко-далеко, за изгибами ушедших в серую утреннюю мглу скал, играет на медной трубе красноармейскую зорю — сигнал тихий, мелодичный и умирающий в туманах, молчаливым кольцом охвативших горы.

«Что такое? — подумал он.— Неужели Федор позапрошлую ночь был прав?»

Он разбудил Баратова, они быстро вскинули винтовки и исчезли в тумане, направляясь на странный сигнал.

Долго рыскали по горам Реммер и Баратов. Долго и тщательно обшаривали все закоулки и уступы ущелья, но нигде никого не было.

Через несколько часов безрезультатных поисков перевалили через трудно проходимую скалу и пошли по другой стороне ската, рассуждая: что бы это такое все слышанное утром значило?

Лощина была узенькая, сравнительно удобная для пути, но зато, находясь на дне ее, невозможно было определить направление куда идешь, ибо то она загибала вправо, то резко поворачивала влево, и так все время.

— Вероятно, мы спустимся к подошве горы с левой стороны,— решил Реммер.

— А стоит ли идти дальше?

— Стоит. Легче спуститься и обойти гору низом, чем подниматься опять вверх.

Вдруг Баратов остановился и быстро наклонился к земле, поднял тонкую обгоревшую спичку. Оба посмотрели друг на друга.

— Кто-то курил...

— Кто, не знаю. Но то, что спичку зажигали еще совсем недавно, это верно.

Теперь ясно было, что они находятся на правильном пути. И оба зашагали еще быстрее.

Так в этот день прошли они верст двадцать, и когда уже вечерело, когда солнце цеплялось уже за острия вершин, гора резко оборвалась, и они круто спустились в низину, покрытую густым лесом.

У подножия огромной, обрывающейся отвесно скалы они наткнулись на остатки костра с не потухшими еще угольями.



Волнуясь, они бросились в кусты, рассчитывая найти кого-либо рядом, и сразу же их глазам представилась странная, поразившая их картина.

На земле лежал человек с полузакрытыми, застывающими глазами. Низко наклонившись над ним, стоял на одном колене какой-то мужичок и вливал ему в рот воду.

При виде подошедших сидевший ахнул, хотел было бежать, но Баратов крепко схватил его за плечи и приказал ему остаться.

— Кто ты такой и кто это лежит?..

В первую минуту мужичок молчал, как бы окаменев, потом, приглядевшись к ним, вздохнул, точно радуясь тому, что это были они, а не кто-либо другие, и, показывая на лежащего человека, ответил:

— Я... я-то вятский. А вот двое каких-то приходили и человека ни за что кончили. Я убег со страха, а потом, когда пришел, гляжу — человек лежит...

Реммер подошел к раненому. Глаза у того были все еще полуоткрыты, и он молчал. Потом, делая над собою огромное усилие, он гневно забормотал что-то, и розоватой пеной окрасились его губы. Реммер уловил несколько отрывистых бессвязных слов:

— На гору надо... надо назад план... они повесили и украли.

— Кого повесили? — спросил, ничего не понимая, Реммер.

Но раненый не смог больше ничего сказать и забормотал что-то совсем непонятное. Он умер скоро, ничего не открыв и не объяснив.

Дядя Иван рассказал следующее.

Совсем недавно он лежал и отдыхал, когда услышал рядом резко спорящие голоса. Тогда он, обрадованный предстоящей встрече с живыми людьми, вскочил, чтобы броситься к ним навстречу, как вдруг шарахнулся и спрятался за кусты, потому что по лесу загрохотал выстрел и тотчас же раздался сильный крик. Через час, когда все стихло, он вышел и нашел умирающего человека. Больше ничего он не знал.

Оба стояли, наморщив лбы, и думали.

— Помнишь сигнал? Это, очевидно, кто-то из них играл зорю утром.

— Но зачем? — пожал плечами Реммер.

— Я и сам не знаю,— ответил Баратов.— Странно, Виктор, все как-то выходит... Про какие планы он говорил? По-моему, надо бы еще раз побывать на горе.

Посоветовались. Решили, что остаться нужно было бы. Но патронов не было, консервы были на исходе, даже спичек осталось мало. Решили тогда отправиться обратно к Золотому камню, в поселок, запастись надолго необходимым и опять вернуться сюда.

Когда Реммер вернулся, он нашел у себя на столе только что принесенную телеграмму. Ее содержание так поразило своей неожиданностью, что он сел на стул и пожал плечами, совершенно ничего не понимая. Телеграфировала Вера и почему-то только уже из Чердыни о том, что она выехала сюда.

Этот безрассудно-взбалмошный поступок поставил его в тупик. Он нарушал все его планы и был совершенно непонятен ему.

Баратов тоже ничего не понимал. А дядя Иван и подавно. Оба стали прикидывать, взвешивать, стараясь найти объяснение, но ничего не могли придумать. Однако, успокоившись, пришли к заключению, что должно было случиться что-нибудь особо важное для того, чтобы Вера вопреки уговору, не списавшись предварительно и так неожиданно, решилась на этот поступок.

Через два часа в сумерках на оживленных грязных узеньких улочках поселка Реммер встретил человека, в котором узнал Запольского. Человек прошел мимо, по-видимому, не заметив Реммера. И Виктору внезапно показалось, что между этой встречей и телеграммой есть какая-то связь.

Чтобы хоть немного разузнать что-либо, он направился к Штольцу, ибо, если Запольский успел уже зайти к нему, то, может быть, меж слов Виктор смог бы уловить что-либо у того.

Вошел в большие заваленные сени. Было тихо. Отворил дверь. В комнате никого не было, но на столе стояла дымящаяся недоеденная тарелка борща. Очевидно, Штольц на минуту куда-то вышел. Реммер хотел повернуть обратно, как вдруг рванулся вперед с широко открытыми и удивленными глазами... На столе лежала полетевшая с камнем в глубину подземного колодца его фляга.

Он не поверил своим глазам, взял ее в руки. Конечно, его узенький ремешок, оборванный острием камня, и широкий треугольник от нехватающего куска кожи, вырванного им нечаянно еще о борт моторной лодки.

Он положил флягу обратно. Вышел в темные, заваленные седлами и мешками сени и услышал на крыльце шаги. Рассчитывая, прежде чем уйти, пропустить в дом идущих, он спрятался в угол, за кошму. Прошел Штольц. Реммер только высунулся — опять шаги: прошел Запольский. И едва только Реммер увидел Запольского, как острое любопытство овладело им. Он чувствовал, что тут можно услышать кое-что для него интересное. Но прислушаться через толстую стену было невозможно.

Тогда Реммер выбрался из-за кошмы, вышел на темный двор и, осторожно оглядываясь, пошел вдоль стены. Однако подслушать через окно было невозможно из-за двойных рам, а также потому, что оттуда шел яркий свет.

Он уже решил было, что его затея — дело невозможное, как, сообразив что-то, пробрался к конюшне, залез на крышу, оттуда на крышу дома, потом к чердачному окну. Осторожно повис на руках и спустился на земляную насыпь чердака. В темноте он разыскал трубу и открыл дверку, и тотчас же до него донеслись голоса нескольких человек.

Штольц и Запольский были уже не одни. Реммер подосадовал на поздно пришедший ему в голову способ услышать, о чем они будут говорить, но все же приложил ухо к дверке, желая узнать о чем, собственно, сейчас идет разговор. И то, что он услыхал, превзошло все ожидания.

Пока Реммер пробирался по двору, Штольц разговаривал о своих делах с Запольским. И действительно, Реммер мог бы почерпнуть много интересного. Штольц нервничал.

— И надо же было,— говорил он раздраженно,— чтобы как раз та часть плана, на которой был обозначен вход, была вырвана. Мы обшарили все и не нашли. Найти все-таки можно, но надо только больше запасов и больше людей.

— Думаешь опять?

— Да, и притом, чем скорее, тем лучше, потому что... ты видишь, это?

— Ну... фляга...

— Я нашел ее там, значит, кто-нибудь теперь рыщет уже и в этом районе.

— Почему теперь? Может быть, это давно, какой-нибудь турист...

— Давно,— резко засмеялся Штольц.— В том-то и дело, что не очень давно. В ней было еще горячее какао, которое я выпил с удовольствием.

— Где ты ее нашел?

— Она была у самого подножия горы, там течет река, и у скалы вода в ней так бурлит, точно в реку вливается из-под земли какой-то поток. Если только владелец этой штуки не утонул в этом дьявольском водовороте, то он и сейчас где-то там.

Он замолчал и пристально посмотрел на Запольского, шепотом добавил, подчеркивая слова:

— А скажи, пожалуйста, что ему там было нужно?

— Где Реммер?— спросил через некоторое время Запольский.

— Не знаю, пропал пока без вести, охотится, должно быть. А что?— Штольц вздрогнул.— Ты думаешь, это опять он?..

— Я ничего не думаю... Думаю только, что его все-таки лучше убрать отсюда подальше,— ответил Штольцу Запольский.

Глаза Запольского засветились злым огоньком, и он добавил полушепотом и странно улыбаясь:

— Его уже скоро арестуют. Знаешь? В руках у повесившегося нашли маленькую вещичку... Удалось установить, что она принадлежит Реммеру.

Штольц недовольно сдвинул брови.

— Смотри,— предостерегающе проговорил он,— зачем ты запутываешь дело? Было уговорено проще... Повесился, и все. А эта новая комбинация — это твоя отсебятина...

Потом усмехнулся и добавил:

— Что это ты так на Реммера?

Плохо скрытая ненависть мелькнула в лице Запольского.

— Мне нужно, чтобы его совсем не было около Веры... Штольц засмеялся.

После того как Запольский принес ему черновик, выкраденный из ящиков Реммера, журналист уже не казался ему таким опасным врагом. Но Штольц вспомнил о найденной фляге, тотчас же снова насторожился и ответил резко:

— Да, пожалуй, было бы лучше, чтобы его убрали...

Как раз в это время в комнаты ввалилось несколько человек во главе с мистером Пфуллем. А на темном дворе Реммер забирался на крышу конюшни.

Наверху подвывал ветер и, врываясь в трубу, иногда заглушал отдельные фразы говоривших. Реммер весь превратился в слух, засунув голову в дверцу трубы, чувствовал, как сажа сыплется ему на голову, и чутко прислушивался к каждому голосу.

Говорил Штольц. Он рассказывал о том, где он провел это время.

— Найти трудно, но вполне возможно... От плана вырван кусок... Основное направление известно. В крайнем же случае можно взорвать то место, откуда выбегает подземная речка. Ее русло должно проходить как раз через пещеру. Надо только торопиться. Нужно обязательно сегодня же в ночь, тем более что этот (он подчеркнул слово) уже здесь, он вернулся с охоты или черт его знает откуда. Как вы думаете, мистер Пфулль?

Порыв ветра загудел, завыл, и Реммер не расслышал нескольких фраз. Потом сразу с полуслова поймал голос мистера Пфулля:

— ... А кроме того, зачем же подкупали, если на него положиться нельзя. Вопрос о концессии проходит инстанциями. По-видимому, так и будет. Богатый восток они будут разрабатывать сами, а нам отдадут бедный россыпями север...

Несколько голосов тихо и сдержанно рассмеялись. Дальше заговорили инженеры.

А Реммер все слушал... Реммер начинал понимать, в чем дело: концессионеры старались расширить свой район. Они умышленно подчеркивали, что делаются разведки к юго-востоку, давали фальшивые отчеты о якобы открытых в той стороне россыпях и в то же время отчего-то тянулись потихоньку к северу. Что это за пещера? И для чего нужна она им? Уж, конечно, не для интересной прогулки. Они боятся, что им не разрешат захватить другой козырь, и поэтому умышленно передергивают карты.

«Бедный север! — подумал, усмехаясь, Реммер. — Вот вам чего, голубчики, надо!»

Все это в течение нескольких минут стало ясным Реммеру.

Напоследок опять говорил мистер Пфулль:

— Все готово... Сегодня же ночью отправляйтесь. И чтобы обязательно было все сделано, возвращайтесь с точными планами и окончательными данными...

Сказал это он резко, повелительно, и Реммер удивился: почему это все так прислушиваются к распоряжению мистера Пфулля и откуда у этого пухленького трафаретного туриста и «любителя охоты» такая властность тона?

Застучали табуретки, и все стали выходить...

Баратов ахнул, когда увидел Реммера, вернувшегося ночью с головой, перепачканной сажей, возбужденного и точно хватившего в излишке спиртного. Они долго говорили. Реммер что-то кому-то писал. И в ту же ночь, оставив Баратова дожидаться Веру, захватив с собой дядю Ивана, он по следам только что отправившейся партии пустился в путь. Ему нужно было во что бы то ни стало узнать, где находится эта загадочная пещера для того, чтобы своевременно информировать газету. В ночь на вторые сутки он настиг Штольца. Его люди, расположившись возле костров, варили ужин. Костер Штольца и инженеров был поодаль и почти что у края ущелья, внизу которого шумела горная речка.

— Останься здесь и лежи смирно, а я пойду вперед,— приказал Реммер дяде Ивану.

— Боязно одному-то,— ответил тот, постукивая зубами.

— Чего боязно? Кто тебя тут заметит?!

— Кто их знает, у них в карманах фонарики эдакие есть с электричеством, нажмешь пупочку — он и светит...

Реммер махнул рукой, сбросил сумку, взял в левую руку ружье и тихонько пополз.

Было шумно в лесу от ветра, гулявшего по вершинам. Огни костров, как светляки, мерцали точками и не были в силах рассеять далеко вокруг себя плотную темноту. Реммер осторожно дополз и остановился совсем недалеко от костра. Штольц разговаривал с Янсоном, но почему-то Штольц вдруг встал и отошел на несколько шагов собирать сучья для костра.

Он был почти рядом с Реммером, и тот лежал, распластавшись на земле, сдерживая дыхание, и был готов каждую минуту вскочить на ноги. Штольц остановился. Из-за темноты видеть друг друга они не могли. Потом Штольц

вернулся, шепнул что-то одному из инженеров и исчез. Инженеры заговорили еще громче, и, успокоившись, Реммер стал вслушиваться. Потом, не поворачиваясь, он пополз задом обратно, отполз немного, хотел встать, как вдруг отчаянно рванулся, потому что две пары рук крепко стиснули ему плечи.

Не раздумывая, он ударил кого-то ногой, вывернувшись, отскочил назад. Но в этот момент кто-то третий толкнул его в спину с такой силой, что Реммер оступился, крикнул и полетел со скалы вниз туда, где далеко в темноте шумела и пенилась невидимая вода.

— Кто-то следил за нами,— задыхаясь, через несколько минут говорил Штольц.— Я заметил в темноте двигающийся циферблат светящихся часов.

Через двое суток оборванный, голодный Реммер вернулся к Золотому камню. Его винтовка утонула в реке, сумка с провизией осталась у дяди Ивана.

Оглушенный падением и отнесенный потоком, Реммер с большим трудом выбрался на берег уже далеко от места схватки. Только к полудню следующего дня добрался он до того места, где оставил дядю Ивана, но напрасно он кричал, напрасно искал — дядя Иван исчез.

Бешеная злоба охватила тогда Реммера. В таком виде, без оружия, без запасов, он чувствовал себя бессильным, ибо нечего было и думать двигаться дальше.

Подходя к дому, он был удивлен тем, что ставни его квартиры наглухо заперты. Вошел в сени, вынул ключ, отворил дверь и очутился в полутемной комнате. Тогда он распахнул окна. В комнате был беспорядок, на полу валялась разорванная бумага, в одном углу стояли полураскрытые чемоданы. «Эге,— подумал он,— значит, Вера приехала». Посмотрел в другой угол — винтовки и патронтажа Баратова не было.

«В чем дело,— подумал Реммер,— куда они пропали?»

Он прошел еще несколько раз по комнатам и поднял простой холщовый мешок дяди Ивана. Тогда он понял все. Ясно, что струсивший дядя Иван рассказал об его исчезновении, а затем они все втроем бросились вдогонку за экспедицией.

От этой мысли вся усталость слетела с Реммера. Винтовки у него больше не было, но из ящика письменного стола он вытащил большой маузер и две нераскупоренные пачки патронов. Взял мешок дяди Ивана и с поспешностью, неестественной даже для него, начал набрасывать туда все съестное, что попадалось под руку. В кладовой он нашел пол-окорока, тонкую колбасу и четыре банки консервированного молока. В шкафу лежал сухой хлеб. Все это он быстро увязал, потом сел за стол и стал писать записку на тот случай, если бы, не найдя его, друзья вернулись обратно.

Перо со скрипом быстро бегало по бумаге. Наступили сумерки. Реммер написал, запечатал, хотел встать, но взгляд его упал на зеркало, и в нем он ясно увидел отражение чьего-то лица, внимательно наблюдавшего за ним через окно позади. Сохраняя полное спокойствие, Реммер встал, не оборачиваясь, но лицо из зеркала исчезло. Тогда, опасаясь какого-нибудь подвоха или засады, Реммер зашел в другую комнату, распахнул окно, прямо выходящее в лес, выбросил сумку и маузер с тем, чтобы самому незаметно исчезнуть тем же путем.

Реммер не был трусом, но он чувствовал, что кто-то за ним наблюдает. А сейчас ему нельзя было терять ни минуты, ибо Вера была где-то там, где Штольц, где Запольский, и могущая быть между ними встреча не предвещала бы ничего хорошего.

Но... в дверь вдруг раздался громкий и властный стук. Реммер ничего не понимал. Так стучать соглядатаи Штольца не могли. Стук повторился.

Реммер подошел и откинул крючок двери. Вошли двое.

— В чем дело и кто вы?—спросил он.

Вместо ответа один из пришедших повернул выключатель и положил на стол бумагу. В ней говорилось, что предъявителям сего предписывается арестовать обвиняемого по статье такой-то журналиста Виктора Реммера и направить его под конвоем в Пермь.

Реммер пошатнулся. Этого он уж никак не мог ожидать. Это была, очевидно, какая-нибудь тонкая, хитро проведенная «шутка» Штольца.

— Здесь какое-то недоразумение... Может быть, мы сможем его здесь выяснить?

— Нет,—вежливо, но твердо ответили ему,—недоразумения нет, и нам точно приказано отправить вас в Пермь.

— Но что это за статья?—спросил он, ничего не понимая.

— Убийство,—холодно ответил ему агент.

Крик удивления и негодования сорвался с губ Реммера. Он понял, что объяснять тут нечего. Он знал теперь наверное, что это проделки Штольца. Еще знал, что сейчас он не должен быть арестован, потому что его дело было в самом разгаре, потому что Вере могла грозить опасность, потому что он знал, что никакого убийства нет, и потому что где-то там уже разыскивали и, может быть, нашли уже загадочную пещеру.

«Буду потом отвечать за все. Объясню все потом»,—мелькнула мысль в его голове. И рассчитав все до мелочи, он пружиной напряг ноги, выпрямился и отскочил в соседнюю комнату. И почти одновременно послышались два звука: лязг защелкнувшегося американского замка и треск выстрела.

Револьверная пуля прожгла доску двери, разбила циферблат стоявшего на этажерке будильника, но Реммер был уже за окном. Он схватил сумку и маузер и прыгнул в овраг. Не успел еще добежать до первых деревьев, как сзади послышались крики и частая стрельба. Реммер махнул отчаянно головой и врезался в кусты.

Бежал долго-долго. И только, когда почувствовал, что дышать нечем, покачиваясь, пошел шагом, потом сел на большой, заросший мхом камень.

Было тихо. Он провел рукой по лбу—лоб был мокрый. Он посмотрел на ладонь, ладонь была красная. «Кровь,— подумал он,—но это пустяки...».

«Теперь я «уголовный»,—сообразил вдруг Реммер.

Мысль эта показалась настолько дикой, что он рассмеялся странным, горьким смехом. Потом опять сдвинул губы.

«А крепкою хваткой берет Штольц, он опасней, чем я думал. Впрочем...—он еще крепче стиснул губы,—впрочем, посмотрим...».

Нечего сказать! Лес да горы, горы да лес... Попробуй найти сразу Веру или наткнись на Штольца? Стоп, товарищ, река. Реку с бревном—вплавь, ручей—вброд, а ущелье?!

По карнизам с осыпающимися камнями, по звериным тропам и густым зарослям вперед и вперед пробирался Реммер.

Добрался до прежнего места, где еще недавно он ночевал с Баратовым. Долго искал следы партии Штольца, долго прислушивался, не слыхать ли где стука или крика. Но молчал девственный хмурый лес.

Ночью он забрался на вершину дерева и далеко впереди в ущельях увидел отблески костра.

«Штольц или Вера?» — подумал он. И, спустившись, напролом через темноту пошел вперед.

А кругом свистели горные ветры, шумели гнущимися вершинами деревья да смешивались свисты с плесками разбивающейся о камни воды.

Ночь, темь, тени, кочки, клочья, камни и опять ночь. Стоп...

Остановился Реммер и прислушался. Где-то близко, совсем рядом разговаривали двое:

— Черт шею сломит...

— Ничего.

— Он будет доволен...

— Ясно.

— Их двое внизу, как раз где река выходит из горы.

— И баба...

— Баба не в счет!

— В счет, если у нее маузер.

Камни с шорохом вылетают из-под ног, ничего больше не видно, и ничего Реммеру больше не слышно. Костры были совсем рядом. Реммер не хотел рисковать, он взял влево и полез на крутую, но не особенно высокую скалу с тем, чтобы оттуда сверху наблюдать за Штольцем.

Добрался. И лег. Огни и тени здесь были видны близко внизу, но разговоров не было слышно.

«Надо спуститься ниже»,— подумал Реммер и, нащупав ногою камень, полез. Но чем ниже спускался он, тем круче становился спуск, и наконец опущенная нога его встретила под собой пустоту, он быстро отдернул ее назад.

«Нельзя, надо вернуться».

Он сел верхом на уступ и решил передохнуть. Сидя, он почувствовал, что рядом на отвесной скале как будто бы кто-то шевелится меж камнями.

Он вынул маузер. Долго сидел, насторожившись, но шум больше не повторялся.

Потом по небу огромными кругами заиграли вдруг отблески северного сияния, и совершенно неожиданно стало совсем светло. Реммер залюбовался бы в другое время при-

чудливою игрою красок, но на этот раз выругался по адресу сияния, потому что снизу его могли увидеть. Стал пробираться назад, но едва наступил ногою на высунувшийся из скалы камень, как тот сорвался и с грохотом, разбиваясь на мелкие куски, полетел вниз прямо в лагерь Штольца. Внизу зашевелились, кто-то посмотрел наверх, потом послышались крики.

«Пропал,— подумал Реммер.— Теперь без уступа выбраться нельзя, вниз же прыгнуть — значит сломать голову или живьем попасть в руки Штольцу...».

Он прислонился к скале, взял в зубы нераспечатанную пачку патронов и с отчаянной решимостью взвел курок с тем, чтобы отстреливаться до конца.

Человека на скале заметили снизу, но в него не стреляли, ибо, по-видимому, решили взять живьем. И Реммеру было видно, что кто-то, очевидно, Штольц, приложив к глазам бинокль, всматривался в его лицо.

«А, была не была!» — подумал Реммер и нажал курок. Горное эхо, прокатившись по ущельям, взбудоражило тишину. Снизу послышались проклятия.

«Все равно пропадать!» — решил Реммер и нажал на курок второй раз. И в ту же минуту о камни рядом шлепнулась выпущенная снизу ответная пуля.

Но не успел Реммер открыть настоящий огонь, как внезапно сверху посыпался мелкий щебень и рядом с ним повисла сброшенная кем-то веревка.

«Наши!» — мелькнула в его голове мысль, и, ухватившись за канат, упираясь ногами во впадины, он быстро полез вверх. Пули шлепались рядом, но потухающее сияние мешало стрелявшим взять верный прицел.

— Федор! — крикнул Реммер, хватаясь за край скалы и подтягиваясь на руках.— Федор, как вы вовремя...

Оборвался на полуслове, потому что по сторонам слышны были голоса кольцом охватывающих преследователей. Посмотрел ничего не понимающим взглядом и увидел: веревка была крепким узлом привязана к стволу разбитого бурей дерева, и около нее никого из людей не было.

Было пусто...

Крики преследователей приближались. Реммер еще раз окинул взглядом местность и быстро бросился вправо, вверх, с тем, чтобы скрыться в гуще разросшихся зарослей.

За ним гнались. Но это его не беспокоило особенно, потому что он имел выигрыш во времени. Он остановился

и опять оглянулся, но тотчас же упал плашмя, потому что увидел, как справа ему перерезало путь несколько человек во главе со Штольцем.

Нужно было во что бы то ни стало добраться до кустов, но теперь это можно было сделать, выбрав только путь напрямик, через крутые изломанные уступы скал.

Выбора не было. Он вскочил и, перескакивая с камня на камень, цепляясь за корни колючей травы, полез вверх. Через несколько минут его заметили и открыли бешеную стрельбу. Реммер был весь на виду и представлял собою превосходную мишень. Он чувствовал, что вот-вот одна из пуль срежет его, и потому напрягал все усилия, чтобы как можно скорей выбраться наверх.

Оставалось не больше двух саженей. Но эти две сажени можно было пройти только ползком, медленно: было слишком ровно и круто.

Обстреливаемый со всех сторон, он пополз, изгибаясь как ящерица. Добрался, ухватился за острый, врезавшийся в руки камень. Одним прыжком вскочил на ноги, и в ту же секунду метко пущенная Штольцем пуля рванула ему бедро.

Он покачнулся, едва-едва не полетел обратно, но, сделав усилие, шагнул вперед и бросился в чащу леса.

Сгоряча боли не чувствовал и бежал сначала быстро, но потом силы вдруг разом оставили его; он зашатался и лег на мох у корней корявого, сваленного ветром дерева.

— Эге-ге! — близко послышался крик Штольца. — Даешь сюда, он здесь где-то!..

— Эгей, — послышалось в ответ слева. — Он далеко не уйдет, он ранен.

«Надо забраться поглубже в чащу... — подумал Реммер. — Надо бежать...».

Стиснув зубы, он встал, сделал несколько шагов и тотчас же почувствовал, что ни бежать, ни идти он не может.

Хватаясь за ветви, он с трудом продвинулся еще немного.

«Надо лечь, — опять мелькнула мысль, — надо лечь за камень и крепче держать маузер».

В глазах его сразу вдруг потемнело, и он не видел уже больше, куда идет. Потом он слегка вскрикнул, потому что земля под его ногами куда-то исчезла, и сам он скатился в какую-то темную глубокую яму.

Но куда попал, разобрать он не мог, потому что от потери крови и от нечеловеческой усталости он потерял сознание.

Дядя Иван, не дождавшись Реммера, испугался порядком. С рассветом он вылез из своего убежища и стал обшаривать соседние кусты. Но там никого уже не было. Экспедиция Штольца снялась еще до рассвета, а Реммер так и пропал без вести.

«Как бы чего плохого не случилось,— подумал дядя Иван.— И куда это он делся-то?»

Он постоял в нерешительности, потом завопил во всю глотку:

— Го-о-о...

Раскатившееся по горам эхо удесятерило силу его голоса, и дядя Иван перепугался еще больше, потому что его могли услышать ушедшие утром люди.

Так прошатался он без толку до полудня, потом закусил колбасой и пошел обратно сообщить о случившемся Баратову.

Вера была уже там. Она была страшно поражена тем, что Реммер не дождался ее. Она приехала сообщить ему, что случайно от Запольского ей удалось узнать о том, что Виктор скоро будет арестован, ибо в руках у повесившегося чечеточника Кошкина была найдена маленькая звездочка из уральского камня, принадлежавшая Реммеру. И в угрозыске было твердое подозрение, что чечеточник не повесился, а был повешен.

Ошеломленный таким сообщением Баратов не знал в первую минуту, что и отвечать. Несмотря на несомненную ясность доказательства, он ужаснулся от мысли о нелепом и тяжелом обвинении, предъявленном Реммеру.

— Но как к повешенному, на самом деле, могла попасть она?— недоумевая, спросил он.

— Ему всунул ее кто-то и, очевидно, с целью запутать Виктора,— горячо ответила Вера.— Но кому это выгодно? Это может быть выгодно только Штольцу, или...

— Или?..

— Или хотя бы Запольскому. Он бывал у меня несколько раз, он мог украсть ее и потом подделать все.

Возвращение одного дяди Ивана еще больше встревожило их.

— Может быть, они его убили? — побледнела от одной мысли Вера.

— Может, он ушел один дальше, потому что не нашел дяди Ивана?

Дядя Иван сознался, что, может, убили, а может, и не нашел, потому что действительно он вздремнул несколько часиков, а когда проснулся, то экспедиции Штольца уже не было.

— Вероятно, так оно и было,— решил Баратов.— Вероятно, Виктор подумал, что дядя Иван струсил да и утек обратно, а потому, не желая упускать партию Штольца, отправился один.

— Зачем же утек? — обиделся тогда дядя Иван.— Действительно, оно страшно, конечно, только как же это так утек?! Раз сказал: буду дожидать, значит, и ждал. Верно только, что отполз я еще назад немножко, чтобы, значит, подальше, а кроме того, соснул... А как же так можно, чтобы утек?..

Стали совещаться. Вера резко настаивала, чтобы сейчас же всем втроем пуститься вдогонку.

— Где же его там найдешь? Это вам не квартира. Разве легко разыскивать человека...— начал было приводить доводы Баратов.

Но Вера ничего и слышать не хотела. Баратов и сам соображал, что одному Реммеру там может прийтись очень тяжело, но согласился, рассчитывая встретить партию Штольца или Реммера около того места, где выбивалась подземная речка и где они нашли умирающего.

Штольцу не везло. Помимо того, что он дважды упустил из рук следившего за ним Реммера, помимо всего этого, Штольц никак не мог отыскать вход в пещеру. Тщетно его люди целыми днями лазили по горам, обшаривали все закоулки. Гора так была изломана, так перепутана зарослями и пересыпана глыбами, что разыскать было почти невозможно.

— Сволочи вы! — раздраженно говорил он несколько раз одному из своих спутников, тому, которого встретил Реммер за войлочными тюками парохода.— И как это вы не

могли вырвать всю бумагу? Самое нужное место, а его на плане нет.

— Черт его знает! Остался у него в руке какой-то клочок, мы думаем: ну и плевать, бумага большая, а тут гляди-ка, что вышло. Главное, когда бы у нас одно дело, а тут еще хреновинку какую-то в руки ему сунуть приказано. И так уж повесили его, сунули, а она выпадает, так Васька, должно, минуты три мертвый кулак в руке держал, чтобы не разжимался...

Наконец решили, что в пещеру придется пробраться, взорвав вход выбивающейся из скалы речки.

В эту-то ночь Штольцу и донесли двое из его людей, что как раз возле места предполагающихся работ они видели двух вооруженных мужчин и одну женщину.

«Еще новое,— подумал Штольц,— этого только не хватало. Кого там еще черт принес?»

Сколько времени находился Реммер в бессознательном состоянии, сказать бы он не смог. Было темно. Он полез в карман и достал электрический фонарик.

Узкая белая полоска сильного света прорезала темноту. Реммер лежал около стены. До другой стены и до потолка света фонаря не хватило, и потому он не мог определить, как велика пещера, в которую он попал. Он сел. Бедро ныло, во всем теле чувствовалась сильная слабость. Реммер потер рукой виски и начал припоминать все по порядку. Он никак не мог себе представить, каким образом он попал так далеко в глубь пещеры, ибо выходного отверстия вблизи не было видно. Он помнил, что за ним гнались, что он провалился в яму.

«Странно,— подумал он,— очевидно, я уже в бессознательном состоянии забрел куда-то?»

Он прислушался. Справа в темноте, но, очевидно, еще где-то далеко был слышен шум бьющейся о камни воды.

«Вот оно что,— подумал Реммер,— видно, что это и есть та самая пещера, которую так тщательно разыскивает Штольц?»

Он попробовал встать на ноги. После некоторых усилий это ему удалось. Он разорвал рубаху, достал из сумки йод и смазал им рану, потом перевязал лоскутами. Однако сла-

бость его была очень сильна, и он почувствовал, что сделать сейчас хоть что-либо невозможно.

«Что делать? — подумал Реммер.— Выбраться отсюда без посторонней помощи я ни за что не смогу. Даже если Штольц не найдет входа в пещеру, что очень возможно, то все равно в конце концов я сдохну с голода... Что теперь делать?»

И блестящая мысль осенила вдруг голову Реммера. Он вспомнил о судьбе своей первой фляги. Вспомнил и ночной разговор двух разведчиков Штольца о том, что двое мужчин и одна женщина находятся как раз на том месте. Конечно, это был Баратов с Верой и с дядей Иваном. Они, очевидно, остановились как раз там, где ночевали и где был найден тяжело раненный Штольцем один из его сообщников.

Реммер зажег снова фонарь, достал бумагу, долго писал что-то и чертил рукою план. Потом открыл флягу, выпил из нее воду, засунул туда написанное и крепко завинтил крышку. Потом пополз туда, где билась и клокотала подземная вода.

Штольц, не разыскав Реммера, захватил с собой всю партию людей и перебросился к тому месту, где река выбивалась из горы.

Скала была крутая, и после тщательного осмотра люди принялись сверлить буравами крепкий камень, приготовляя гнезда для динамитных патронов.

Несколько человек по приказанию Штольца отправились разыскивать замеченных перед этим днем людей, о которых доносили Штольцу его разведчики.

Но поиски не увенчались успехом, и в окрестностях, прилегавших к участку начатых работ, никого не было обнаружено.

Работа продвигалась туго.

— Черт его знает,— говорили инженеры,— может быть, скала здесь толщиной в несколько сажен, долго тогда придется с ней повозиться...

Штольц стоял на берегу и думал, а думать было ему о чем. Во-первых, Реммер все-таки ускользнул, во-вторых, какие-то люди, очевидно, следили за ним, в-третьих, вход в пещеру так и не был найден.

Вдруг один из работавших издал крик удивления, бросился к кустам, достал большую сухую палку и начал что-то вылавливать из водоворота. Около него столпилось несколько человек, наконец он зацепил темный предмет и вытащил.

Штольц даже побледнел от изумления: это опять была фляга.

— Что за проклятая гора!—крикнул он.—Еще там внутри ее посудные мастерские, что ли, находятся?!

Он быстро раскупорил ее, надеясь найти там опять горячее какао или что-нибудь в этом роде, но какао там не было, а была тщательно свернутая бумага.

Развернув ее, Штольц прочел, и выражение сильной радости блеснуло на его лице.

«Ага, голубчик, вот ты когда нам попался,—подумал он.—Теперь и взрывать не надо, а я-то думал, что он сквозь землю провалился, что ли...»

— Ага,—пробормотал он опять через некоторое время,—так это Вера и Баратов тут около шныряют!..

Он приказал окончить работу. И, захватив с собой ничего не понимающих и изумленных товарищей, быстро отправился назад.

В это время Реммер ползал по пещере и ждал. Он не был уверен в том, что брошенная им в поток фляга тотчас же попадет к Вере, но, кроме того, как ждать и надеяться, ему ничего не оставалось делать.

Так прошел день. Несколько раз ему казалось, что кто-то идет, что чей-то голос слышится невдалеке. Несколько раз он кричал с тем, чтобы его услышали, но никого не было.

Наконец, совсем отчаявшись дождаться кого-либо, он заснул тяжелым крепким сном.

Проснулся он оттого, что сильный свет бил ему прямо в глаза. Он защурился, привстал и крикнул радостно:

— Федор, наконец-то вы!

Но в ответ послышался громкий и злобный смех.

Перед ним был Штольц.

Штольц не хотел вовсе убивать сразу Реммера.

Предполагая, что Реммеру уже давно известны все запутанные извилины пещеры, он хотел допытаться, чтобы Реммер точнее рассказал ему все, что ему известно. Кроме того, Реммер был ранен и опасности никакой не представлял. Просто-напросто ему связали руки и оставили лежать в то время, когда все пришедшие разбрелись по запутанным лабиринтам, отыскивали что-то в воде подземного потока, доставали пригоршнями песок и радостными криками выражали свое удовольствие по поводу результатов этого осмотра.

— Это удивительно,—говорил восхищенно Штольц,— золото заметно прямо на глаз. И отчего бы это такой большой процент?..

— Почва богатая,— объяснил кто-то.— А кроме того, поток быстрый, тянет за собой массу песка. Здесь, когда вода падает с обрыва, песок взбаламучивается и, как более легкий, уносится прочь, а золото крупинками оседает на дно.

Прошло не меньше двух часов, прежде чем все вернулись опять к тому месту, где лежал связанный Реммер. Было решено оставить около него одного человека на всякий случай, а всем остальным выбраться наверх с тем, чтобы захватить оттуда провиант, инструменты и снова спуститься сюда производить дальнейшие разведки. Штольц торжествовал: все удавалось как нельзя лучше. Пещера была найдена, золото было найдено, и Реммер был у него в руках.

Прошло еще несколько часов. Реммер лежал, полуоткрыв глаза, и молчал. Возле него сидел часовой и тоже молчал.

Но сидеть часовому надоело, он попробовал, крепко ли связаны руки и ноги Реммера, и, убедившись в том, что все на своем месте, встал, зажег фонарик и пошел бродить по узким и темным коридорам.

Вдруг послышался легкий сдавленный крик, потом какое-то хрипение. Потом стало все тихо-тихо...

«Вероятно, у меня начинаются галлюцинации!» — сообразил Реммер. Потому что ему показалось, что из глубины коридоров послышался тихий, странный смех.

Он прождал еще час, но часовой не возвращался. Наконец опять послышались шаги, но уже много.

«Штольц,— подумал Реммер.— Но... странно, почему это совсем не с той стороны идут?»

Он не стал больше задумываться над чем-либо, а закрыл глаза и притворился спящим.

Голоса приближались. И помимо своей воли, Реммер поднял вдруг голову.

«Что я, брежу, что ли?.. Нет, конечно... Конечно, это они... Они получили мое письмо через флягу и идут...».

Он приподнялся на локте и крикнул, и тотчас же в ответ послышались радостные отклики. И Реммер теперь ясно узнал уже, что это Баратов, Вера и дядя Иван спешат к нему на помощь.

Первые десять минут перекидывались отрывочными фразами, расспрашивая друг о друге.

— Вы получили, значит, мое письмо? — спросил Реммер.

— Получили,— ответила Вера,— но кто еще с тобой? Я сразу поняла, что ты сам писать не можешь, и потом... почему он не повидал нас лично?

— Кто он? — спросил, ничего не понимая, Реммер.

— Тот, с кем ты пересылал.

— Я положил в флягу,— начал было Реммер, но замолчал и стал прислушиваться.

— Он, должно быть, не в полной памяти,— шепнул Вере Баратов.— Тише...

Вдали опять послышались шаги.

— Это Штольц,— предупредил Реммер.— Их много, человек двенадцать, надо бежать.

— Ты можешь идти?

— Могу, но мне нужно за кого-нибудь держаться.

Однако Реммер быстро идти не мог, между тем позади послышался шум, и рассерженно недоумевающий голос Штольца кричал:

— Что за дьявол, его опять нет! Он опять куда-то исчез. Где караульщик?

Блеснул свет от большого электрического фонаря, похожего на прожектор, и нащупываемые яркой полосой света беглецы упали за камень.

— Придется отстреливаться,— шепнул Вере Баратов.

И, примостившись за камнем, они положили удобней винтовки.

Подпустив к себе на близкое расстояние всю партию, Баратов, Вера и дядя Иван дали внезапный залп по преследователям.

Огорошенные такой неожиданной встречей, те с криком бросились обратно и попрятались за камнями и за уступами.

Штольц ничего не понимал. Штольц был взбешен. Но луч прожектора, впившись в угол, объяснил ему все.

— Их только четверо! — крикнул он. — Кроме того, из них один раненый, а другая женщина.

В это время из глубины пещеры подошла другая партия людей Штольца, тащившая за собой инструменты. И через минуту бешеная стрельба взбудоражила многовековой покой темных сводов. Выстрелы блестели, как молнии. На секунду блестящие сланцевые своды рассыпались миллионами отблесков, потом становилось опять темно.

— Плохо, — сказал Баратов. — Плохо, Вера. Они возьмут сейчас нас живьем. Мы расстреляем все патроны, и тогда наступит конец.

— Надо стрелять меньше. Мы пройдем тем входом, откуда мы вошли, — ответила Вера.

— С ним не пройдешь, там круто больно, — шепотом добавил дядя Иван и с внезапно набравшейся вдруг откуда-то храбростью бабахнул из своего допотопного ружья.

— Бегите, — сказал, расслышав последние слова, Реммер. — Бегите одни, зачем из-за меня всем пропадать.

Но Вера категорически запротестовала, запротестовал Баратов, и даже робкий обыкновенно дядя Иван и тот сказал:

— Да нет уж, когда такое дело, так пропадать всем вместе.

Нападающие, умолкшие было на несколько минут, открыли вдруг бешеный огонь. Прожектор потух, и все четверо побледнели, потому что поняли, что сейчас вся масса кинется в темноте вперед.

Но вдруг случилось что-то совершенно неожиданное, непонятное ни той, ни другой стороне. Высоко на стене засверкал какой-то огонек, и тусклый свет обрисовал контуры огромного отверстия. Над головами у обороняющихся своды пещеры дрогнули от могучего загрохотавшего взрыва, и в самой гуще нападающих сверкнуло огромное пламя, точно там разорвался тяжелый артиллерийский снаряд.

Все были так ошеломлены случившимся, что оцепенели в первую минуту. Потом оставшиеся в живых люди из партии Штольца с воем бросились назад к выходу.

Долго еще металось эхо по закоулкам таинственной пещеры, долго осыпались камни со стен, наконец что-то затрещало, заохало, и тяжелый пласт земли наглухо закрыл вход.

— Никого нет, все ушли,— сказала Вера, и голос ее был до странности спокоен и безучастен ко всему.

— Тише, кто-то есть,— сжимая ей руку, ответил Баратов.

Невдалеке послышался голос Штольца, он звал кого-то из инженеров и отчаянно ругался.

— Штольц еще цел, слышишь?—сказал Баратов.— До тех пор, пока он цел, мы не можем быть спокойны. Он не знает, вероятно, что мы еще тут, и у него нет теперь прожектора. Надо подобраться к нему в темноте и захватить его. Я это сделаю.

Он взял у Веры маузер, оставил свою винтовку и пополз. Он полз недолго, потому что услышал рядом какие-то голоса. Вдруг за поворотом он увидел дымный свет от факела, потом с силой отброшенный факел полетел в сторону. Ему слышно было, как, схватившись, отчаянно боролись двое. Потом борьба прекратилась, и стало тихо. Подождав немного, Баратов пополз дальше. Потом встал. И не выпуская из руки маузера, ощупывая левой рукой стену, пошел вперед. Но идти ему пришлось недолго. Нога его наткнулась на что-то мягкое, он пощупал — внизу лежал человек. Тогда он зажег фонарик, навел его на лицо лежащего и отступил в ужасе.

Перед ним лежал Штольц. Лицо его посинело, глаза выкатились, а на шее виднелись следы чьих-то сильных пальцев. Он был задушен.

Вернувшись, Баратов рассказал обо всем товарищам.

— Тут кто-то да есть. Теперь это ясно. Я и раньше подозревал. Помнишь, Виктор, когда мы с тобой слыхали кавалерийский сигнал. Скажи... Но я не понимаю, ты с кем передавал записку.

— Ни с кем,— упрямо повторил Реммер.— Я запечатал ее в флягу и бросил в воду.

— Нет,— покачивая головой, вставя свое слово, сказал Иван.— Нет, эдакой записки мы не получали, а только иду это я, значит, ночью, вдруг слышу, за мной кто-то хрустит. Ясное дело, я испугался и припустил. А кто-то как сиганет за мной. «Чего,— говорит,— дурак, бежишь, передавай вот эту записку, да пусть скорей приходят». Ну, я, конечно, и опомниться не успел, и человека мне из-за темноты не

видно, а он шасть — и нет его. Гляжу, а у меня в руке записка лежит.

— Не знаю,— усталым голосом ответил Реммер,— не знаю, я и сам ничего не понимаю, откуда взялась веревка, по которой я дополз, как я очутился в середине пещеры...

Он не договорил.

И все разом насторожились и подняли вверх головы. Вверху в стене опять мелькнул огонь, показалось пламя дымного факела, высунулась чья-то рука, и потом длинная веревочная лестница спустилась вниз. Пораженные всем этим четверо друзей молчали.

Факел исчез; рука скрылась, и снова наступила тишина.

— Слушай, как бурлит вода. Что это с потоком делается?

Действительно, рядом происходило что-то странное, должно быть, обвалившийся от взрыва обломок скалы завалил наглухо выход подземной речки, и вода стихийно, с шумом начала заливать пещеру.

— Опять кто-то! — крикнул Реммер.— Надо скорей наверх, иначе мы утонем.

Баратов бросился к веревочной лестнице и первым полез вверх, не задумываясь над тем, к кому и куда он попадет. Добрался, потом за ним Вера; потом внизу дядя Иван обмотал веревкой Реммера, его подняли, потом сбросили лестницу дяде Ивану, и он забрался тоже.

Батарейки электрического фонаря ослабли, но они зажгли пару просмоленных головешек, валявшихся на полу, и осторожно пошли вперед.

Прошли несколько саженей узким коридором, завернули и остановились.

Перед ними был высокий грот, посреди горел костер, и, приткнувшись в каменные щели стен, дымно чадили два факела.

И при тусклом освещении друзья увидели стены, увешанные винтовками, шашками и пулеметными лентами, ветхое красное знамя с желтыми буквами и посреди грота старое ржавое орудие.

А слева на лежанке из сухих листьев лежал, откинув голову, заросший волосами седой старый человек.

Подошли к нему. Он посмотрел на них тусклым, умирающим взглядом, и только теперь они заметили, что кровь широко разлилась по его груди, по листве и по камням.

Вера отвернула рубашку и вскрикнула. Каким-то огромным осколком у лежащего был вырван кусок с правой стороны груди.

— Смотри, это вот чем,— проговорил Баратов, поднимая металлический осколок.— Это кусок от замка орудия, оно разорвалось при выстреле. Это он выстрелил из трехдюймовки, но она уже старая и ржавая.

Кровавой пеной покрылись седые усы умирающего, он посмотрел на них безумными, ничего не воспринимающими глазами, потом как бы искорка просвета мелькнула по его зрачкам, и он произнес тихо:

— Товарищи?

— Да, да, товарищи,— успокаивая его, ответила Вера.

Слабая счастливая улыбка показалась на его губах.

— Товарищи...— повторил он.— Я тоже... Тоже товарищ...

Он закинул голову назад, впал в полузабытье, потом рассмеялся, закашлялся и потянул руку влево, но обессиленная рука упала. И все увидели, что он тянулся к медному кавалерийскому сигнальному рожку.

Баратов поднял рожок, на нем был красный лоскут, на котором с трудом еще можно было разобрать вышитые слова: «Смерть бандам генерала Гайды».

Под подушкой умирающего полусумасшедшего человека нашли толстую исписанную тетрадь. На первой странице ее была нарисована кривобокая пятиконечная звезда[1], а дальше выведено: «Дневник славного партизана Семена Егорова обо всем, что и как было».

Долго в эту ночь при тусклом свете факелов и костра разбирали товарищи корявые строчки, и в эту ночь тайна горы была разгадана.

«В 1919 далеком году бродили по северу отряды генерала Гайды, того самого, над которым вечное проклятие всех трудящихся Урала. Хотя он и сдох давно, но черная память о нем у стариков и до сих пор жива. В 1919 огневом году оторвался от главных сил отряд под командой товарища

[1] Описание тетради партизана удивительно напоминает внешний вид тетрадей самого Гайдара двадцатых годов.

Чугунова, и, очутившись в дебрях глухих лесов, поклялся Чугунов, а также и все революционные бойцы в ненависти к генералу Гайде и прочим контрреволюционерам и решили бить нещадно партизанским способом всех белогвардейцев и дожидаться, пока будет Советская власть либо самим конец не придет. И на том порешивши, начали рыть землянки в лесу партизаны, чтобы можно было где после боев, а также от холода и дождя головы приткнуть. А в это время готовилась уже им контрреволюционная измена со стороны адъютанта товарища Кречета, который впоследствии оказался не только не товарищем, а просто наемным агентом, к тому же и бывшим офицером.

И вот однажды вызвался этот адъютант, которому от всех было доверие, выехать за сорок верст в деревню к мужикам, чтобы наладить там с ними связь как в смысле доставки продуктов, так и в смысле разведки и всего прочего. А я в ту пору был славным революционным сигналистом при отряде и подавал сигналы: «зорю», в поход, а также и все прочие, которые по уставу положены. И сказал мне адъютант Кречет: «Ты поедешь со мной тоже». И оседлал тогда я своего коня под названием «Колчак», и дунул я «Колчака» нагайкой, и понеслись мы вместе для означенной цели.

А при приезде в деревню вижу я, что там солдаты стоят, и говорю об этом адъютанту, но он сказал: «Это ничего, мы проберемся внутрь к ним, потому что я знаю ихний пропуск». И, восхищенный таким геройским поступком, согласился я с ним на это дело тоже, то есть пропуск он сказал, и мы поехали. И приехали мы с ним прямо в белогвардейский штаб, и взошел он спокойно на крыльцо, поздоровался за руку с золотопогонными офицерами, а также сказал мне рассмеявшись: «Ты не будь дураком и понимай, что к чему делается. Останешься здесь при мне на службе, и будет тебе за это награда и унтер-офицерское отличие».

На это я вознегодовал коренным образом и сказал ему: «Это есть подлая измена интересам трудящихся, и на этакое дело я вовсе не согласен». Причем тут же хотел его кончить. Тогда вместо этого связали мне руки и били нагайками нещадно, в том числе и он сам больше всех. А потом сказали: «Будет тебе за этакие слова расстрел». И бросили в чулан. А в чулане я лежу и слышу, как разговаривают они промеж себя и спешно под окнами отряд собирается, чтобы сделать, значит, нападение на то место, где стоит

наш беспечный партизанский отряд. И услыхав такое дело, выломал я собственными руками доску из-под пола, пробрался под полом под крыльцо, а из-под крыльца убежал ночью и бежал все сорок верст без передышки, весь изорвавшись в кровь об ночные сучья, но все же прибежал вперед и, взявши в руки свой неизменный сигнальный рожок, затрубил тревогу. И когда понеслись со всех сторон партизаны, спросил меня сердито товарищ Чугунов: «В чем дело, сигналист, и по какому поводу подаешь ты сигнал-тревогу?», то ответил я ему на это: «Измена».

И только мы собрались, как со всех сторон обложили нас белогвардейские банды. И стали мы с боем отступать и так отступали три дня и три ночи, и все с боем, пока наконец не забрались оставшиеся из нас двенадцати человек живых при одном орудии в такую чащу, что бросили нас преследовать белые.

И стали промеж собой говорить тогда бойцы: «Жить нам тут без провианта нельзя, а потому надо нам поодиночке пробираться к людям. А лошади у нас из-под орудий сдохли, и мясо их разрезали на куски и поделили между собой, а потом распрощались друг с другом, и пошел каждый в свою сторону. И только я один по причине ранения в ноге остался и сказал, что подожду идти либо день, либо два, пока не заживет. А на второй день встретился я с заблудившим белобандитом, и саданул он пулей мне в бок, на что я, не растерявшись, ответил ему тем же. И когда повалились мы оба, то посмотрели друг на друга и решили, что теперь квиты. И так мы с этим белобандитом провалялись на земле неделю, питаясь кониной и сухарями из его мешка, а после чего, выздоровевши, наткнулись нечаянно на дикую пещеру, в которую и перешли жить ввиду наступивших холодов. И однажды он, обследуя эту пещеру, открыл в ней реку с золотоносным песком и, когда я был в сонном состоянии, ударил меня в голову тяжелым поленом и с тех пор куда-то скрылся.

Имя ему было Сергей, по фамилии Кошкин, а какой губернии и уезда, не знаю».

— Теперь все понятно,— сказал Баратов, прочитав эти записки.— От удара он, очевидно, сошел с ума и с тех пор остался жить здесь.

— Не все,— перебила его Вера,— почему он назвал нас товарищами, а Штольца задушил?

При упоминании этой фамилии умирающий вздрогнул, поднял голову и сказал хриплым, надломленным голосом:

— Задушил... задушил... за нагайки, за измену и за все...

— Он узнал его. Ясно, что у Штольца фамилия была не настоящая,— шепотом добавила Вера и, посмотрев на Реммера, сказала:— Теперь ты знаешь все... Больше даже, чем нужно.

— Да,— ответил Реммер,— больше даже, чем нужно, и про Штольца и про проделки концессионеров, про все...Теперь, когда мы вернемся... буря будет не маленькая...

— Всю эту банду с мистером Пфуллем выметут прочь к себе. Они сорвались на этот раз.

Старый партизан умер, когда рассвело. Умер, крепко прижимая к груди сигнальный рожок, один из тех, которые давно-давно когда-то протрубили смерть и генералу Гайде и всем прочим генералам белых банд.

И только теперь, днем, товарищи увидели настоящий широкий выход из пещеры, обращенный в сторону, совершенно противоположную той, с которой его искали.

А лучи, широким потоком ворвавшись в проход, ласково падали на седую голову умершего человека и перебегали светлыми пятнами по старому, пыльному знамени, много лет стоявшему над изголовьем старого красноармейца[1].

(1926—1927)

---

[1] В облике старого красноармейца отразились черты реального героя гражданской войны в Сибири партизана Федора Гуляева, прозванного «красным Сусаниным». Как раз в те дни, когда Гайдар заканчивал повесть «Тайна горы», Гуляев гостил в Перми. Одет он был в старую буденновскую форму, выступал в клубах, встречался с пионерами. Газета «Звезда» напечатала два портрета знаменитого партизана и очерк о нем (см.: Красный Сусанин — партизан Гуляев.— Звезда, 1926, 26 сентября).

ВСАДНИКИ НЕПРИСТУПНЫХ ГОР

Повесть[1]

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Вот уже восемь лет, как я рыскаю по территории бывшей Российской империи. У меня нет цели тщательно исследовать каждый закоулок и всесторонне изучить всю страну. У меня просто — привычка. Нигде я не сплю так крепко, как на жесткой полке качающегося вагона, и никогда я не бываю так спокоен, как у распахнутого окна вагонной площадки, окна, в которое врывается свежий ночной ветер, бешеный стук колес, да чугунный рев дышащего огнем и искрами паровоза.

И когда случается мне попасть в домашнюю спокойную обстановку, я, вернувшийся из очередного путешествия, по обыкновению, измотанный, изорванный и уставший, наслаждаюсь мягким покоем комнатной тишины, валяюсь, не снимая сапог, по диванам, по кроватям и, окутавшись похожим на ладан синим дымом трубочного табака, клянусь себе мысленно, что эта поездка была последнею, что пора остановиться, привести все пережитое в систему и на серо-зеленом ландшафте спокойно-ленивой реки Камы дать отдохнуть глазам от яркого блеска лучей солнечной долины Мцхета или от желтых песков пустыни Кара-Кум, от роскошной зелени пальмовых парков Черноморского побережья, от смены лиц и, главное, от смены впечатлений.

[1] Приключенческая повесть отразила впечатления от путешествия Гайдара по Средней Азии и Кавказу весной 1926 года. Отрывки из повести публиковались в пермской газете «Звезда» (с 5 по 18 декабря 1926 года) под первоначальным названием «Рыцари неприступных гор». Целиком повесть издана в 1927 году в Ленинградском отделении издательства «Молодая гвардия». С тех пор не переиздавалась. Для настоящего сборника в основу положен текст ленинградского издания.

Но проходит неделя-другая, и окрашенные облака потухающего горизонта, как караван верблюдов, отправляющихся через пески в далекую Хиву, начинают снова звенеть монотонными медными бубенцами. Паровозный гудок, доносящийся из-за далеких васильковых полей, чаще и чаще напоминает мне о том, что семафоры открыты. А старуха-жизнь, поднимая в морщинистых крепких руках зеленый флаг — зеленую ширь бескрайних полей, подает сигнал о том, что на предоставленном мне участке путь свободен.

И тогда оканчивается сонный покой размеренной по часам жизни и спокойное тиканье поставленного на восемь утра будильника.

Пусть только не подумает кто-либо, что мне скучно и некуда девать себя и что я, подобно маятнику, шатаюсь взад и вперед только для того, чтобы в монотонном укачивании одурманить не знающую, что ей надо, голову.

Все это — глупости. Я знаю, что мне надо. Мне 23 года, и объем моей груди равен девяносто шести сантиметрам, и я легко выжимаю левой рукой двухпудовую гирю.

Мне хочется до того времени, когда у меня в первый раз появится насморк или какая-нибудь другая болезнь, обрекающая человека на необходимость ложиться ровно в девять, предварительно приняв порошок аспирина,— пока не наступит этот период, как можно больше перевертеться, перекрутиться в водовороте с тем, чтобы на зеленый бархатный берег выбросило меня порядком уже измученным, усталым, но гордым от сознания своей силы и от сознания того, что я успел разглядеть и узнать больше, чем за это же время увидели и узнали другие.

А потому я и тороплюсь. И потому, когда мне было 15 лет, я командовал уже 4-й ротой бригады курсантов, охваченной кольцом змеиной петлюровщины. В 16 лет — батальоном. В 17 лет — пятьдесят восьмым особым полком, а в 20 лет — в первый раз попал в психиатрическую лечебницу.

* * *

Весною я окончил книгу[1]. Два обстоятельства наталкивали меня на мысль уехать куда-либо. Во-первых, от работы устала голова, во-вторых, вопреки присущему всем из-

[1] Речь идет о повести «Жизнь ни во что (Лбовщина)», которой открывается настоящий сборник.

дательствам скопидомству деньги на этот раз заплатили без всякой канители и все сразу.

Я решил уехать за границу. Две недели для практики я изъяснялся со всеми, вплоть до редакционной курьерши, на некоем языке, имеющем, вероятно, весьма смутное сходство с языком обитателей Франции. И на третью неделю я получил в визе отказ.

И вместе с путеводителем по Парижу я вышвырнул из головы досаду за неожиданную задержку.

— Рита! — сказал я девушке, которую любил.— Мы поедем с тобой в Среднюю Азию. Там есть города Ташкент, Самарканд, а также розовый урюк, серые ишаки и всякая такая прочая экзотика. Мы поедем туда послезавтра ночью со скорым, и мы возьмем с собой Кольку.

— Понятно,— сказала она, подумав немного,— понятно, что послезавтра, что в Азию, но непонятно, зачем брать с собой Кольку.

— Рита,— ответил я резонно.— Во-первых, Колька любит тебя, во-вторых, он хороший парень, а в-третьих, когда через три недели у нас не будет ни копейки денег, то ты не станешь скучать, пока один из нас будет гоняться за едой либо за деньгами на еду.

Рита засмеялась в ответ, и, пока она смеялась, я подумал, что ее зубы вполне пригодны для того, чтобы разгрызть сухой початок кукурузы, если бы в том случилась нужда.

Она помолчала, потом положила мне руку на плечо и сказала:

— Хорошо. Но пусть только он на все время пути выкинет из головы фантазии о смысле жизни и прочих туманных вещах. Иначе мне все-таки будет скучно.

— Рита,— ответил я твердо,— на все время пути он выкинет из головы вышеозначенные мысли, а также не будет декламировать тебе стихи Есенина и прочих современных поэтов. Он будет собирать дрова для костра и варить кашу. А я возьму на себя все остальное.

— А я что?

— А ты ничего. Ты будешь зачислена «в резерв Красной Армии и Флота» до тех пор, пока обстоятельства не потребуют твоей посильной помощи.

Рита положила мне вторую руку на второе плечо и пристально посмотрела мне в глаза.

Я не знаю, что это у нее за привычка заглядывать в чужие окна!

— В Узбекистане женщины ходят с закрытыми лицами. Там цветут уже сады. В дымных чайханах перевитые тюрбанами узбеки курят чилим и поют восточные песни. Кроме того, там есть могила Тамерлана. Все это, должно быть, очень поэтично,— восторженно говорил мне Николай, закрывая страницы энциклопедического словаря.

Но словарь был ветхий, древний, а я отвык верить всему, что написано с твердыми знаками и через «ять», хотя бы это был учебник арифметики, ибо дважды и трижды за последние годы сломался мир. И я ответил ему:

— Могила Тамерлана, вероятно, так и осталась могилою, но в Самарканде уже есть женотдел, который срывает чадру, комсомол, который не признает великого праздника ураза-байрам, а потом, вероятно, нет ни одного места на территории СССР, где бы в ущерб национальным песням не распевались «Кирпичики».

Николай нахмурился, хотя не знаю, что может он иметь против женотдела и революционных песен. Он наш — красный до подошвы, и в девятнадцатом, будучи с ним в дозоре, мы бросили однажды полную недоеденную миску галушек, потому что пора было идти сообщать о результатах разведки своим.

Мартовской вьюжной ночью хлопьями бил снег в дрожащие стекла мчащегося вагона. Самару проезжали в полночь. Был буран, и морозный ветер швырялся льдинками в лицо, когда я и Рита вышли на перрон вокзала.

Было почти пусто. Ежась от холода, прятал в воротник красную фуражку дежурный по станции, да вокзальный сторож держал руку наготове у веревки звонка.

— Мне не верится,— сказала Рита.

— Во что?

— В то, что там, куда мы едем, тепло и солнце. Здесь так холодно.

— А там так тепло. Идем в вагон.

Николай стоял у окна, чертил что-то пальцем по стеклу.

— Ты о чем? — спросил я, дергая его за рукав.

— Буран, вьюга. Не может быть, чтобы там цвели уже розы!

— Вы оба об одном и том же. Я не знаю ничего про розы, но что там уж зелень — это ясно.

— Я люблю цветы,— сказал Николай и осторожно взял Риту за руку.

— Я тоже,— ответила ему она и еще осторожней отняла руку.

— А ты? — И она посмотрела на меня.— Что ты любишь?

Я ответил ей:

— Я люблю свою шашку, которую снял с убитого польского улана, и люблю тебя.

— Кого больше? — спросила она, улыбаясь.

И я ответил:

— Не знаю.

А она сказала:

— Неправда! Ты должен знать.— И, нахмурившись, села у окна, в которое мягко бились пересыпанные снежными цветами черные волосы зимней ночи.

Поезд догонял весну с каждой новой сотней верст. У Оренбурга была слякоть. У Кзыл-Орды было сухо. Возле Ташкента степи были зелены. А Самарканд, перепутанный лабиринтами глиняных стен, плавал в розовых лепестках уже отцветающего урюка.

Сначала мы жили в гостинице, потом перебрались в чайхану. Днем бродили по узеньким слепым улицам странного восточного города. Возвращались к вечеру утомленные, с головой, переполненной впечатлениями, с лицами, ноющими от загара, и с глазами, засыпанными острою пылью солнечных лучей.

Тогда владелец чайханы расстилал красный ковер на больших подмостках, на которых днем узбеки, сомкнувшись кольцом, медленно пьют жидкий кок-чай, передавая чашку по кругу, едят лепешки, густо пересыпанные конопляным семенем, и под монотонные звуки двухструнной домбры-дютора поют тягучие, непонятные песни.

Как-то раз мы бродили по старому городу и пришли куда-то к развалинам одной из древних башен. Было тихо и пусто. Издалека доносился рев ишаков и визг верблюдов да постукивание уличных кузнецов возле крытого базара.

Мы с Николаем сели на большой белый камень и закурили, а Рита легла на траву и, подставив солнцу лицо, зажмурилась.

— Мне нравится этот город,— сказал Николай.— Я много лет мечтал увидеть такой город, но до сих пор видел только на картинках и в кино. Здесь ничего еще не изломано; все продолжает спать и видеть красивые сны.

— Неправда,— ответил я, бросая окурок.— Ты фантазируешь. Из европейской части города уже добирается до тюбетеечных лавок полуразвалившегося базара узкоколейка. Возле коробочных лавок, в которых курят чилим сонные торговцы, я видел уже вывески магазинов госторга, а поперек улицы возле союза Кошчи протянут красный плакат.

Николай с досадой отшвырнул окурок и ответил:

— Все это я знаю, и все это я вижу сам. Но к глиняным стенам плохо липнет красный плакат, и кажется он несвоевременным, заброшенным сюда еще из далекого будущего, и уж во всяком случае, не отражающим сегодняшнего дня. Вчера я был на могиле великого Тамерлана. Там у каменного входа седобородые старики с утра до ночи играют в древние шахматы, а над тяжелой могильной плитой склонились синее знамя и конский хвост. Это красиво, по крайней мере потому, что здесь нет фальши, какая была бы, если бы туда поставили, взамен синего, красный флаг.

— Ты глуп,— ответил я ему спокойно.— У хромого Тамерлана есть только прошлое, и следы от его железной пяты день за днем стираются жизнью с лица земли. Его синее знамя давно выцвело, а конский хвост съеден молью, и у старого шейха-привратника есть, вероятно, сын-комсомолец, который, может быть, тайком еще, но ест уже лепешки до захода солнца в великий пост Рамазана и лучше знает биографию Буденного, бравшего в девятнадцатом Воронеж, чем историю Тамерлана, пятьсот лет тому назад громившего Азию.

— Нет, нет, неправда!— горячо возразил Николай.— Ты как думаешь, Рита?

Она повернула к нему голову и ответила коротко:

— В этом я, пожалуй, с тобой согласна. Я тоже люблю красивое...

Я улыбнулся.

— Ты, очевидно, ослепла от солнца, Рита, потому что...

Но в это время из-за поворота голубой тенью вышла закутанная в паранджу старая сгорбленная женщина. Увидев нас, она остановилась и гневно забормотала что-то, указывая пальцем на проломанный в стене каменный выход. Но мы, конечно, ничего не поняли.

— Гайдар,— сказал мне Николай, смущенно поднимаясь.— Может быть, тут нельзя... Может, это священный камень какой-то, а мы уселись на него и раскуриваем?

Мы встали и пошли. Попадали в тупики, шли узенькими улочками, по которым только-только могли разойтись двое, наконец, вышли на широкую окраину. Слева был небольшой обрыв, справа — холм, на котором сидели старики. Мы пошли по левой стороне, но вдруг с горы раздались крики и вой. Мы обернулись.

Старики, повскакав с мест, кричали нам что-то, размахивали руками и посохами.

— Гайдар,— сказал Николай, останавливаясь.— Может быть, тут нельзя, может быть, тут священное место какое?

— Глупости! — ответил я резко.— Какое тут священное место, когда кругом лошадиный навоз навален!..

Я не договорил, потому что Рита вскрикнула и испуганно отскочила назад, потом послышался треск, и Николай провалился по пояс в какую-то темную дыру. Мы еле успели вытащить его за руки, и, когда он выбрался, я заглянул вниз и понял все.

Мы давно уже свернули с дороги и шли по гнилой, засыпанной землей крыше караван-сарая. Внизу стояли верблюды, а вход в караван-сарай был со стороны обрыва.

Мы выбрались назад и, напутствуемые взглядами молчаливо рассевшихся опять и успокоившихся стариков, прошли дальше. Зашли опять в пустую и кривую улочку и вдруг за поворотом лицом к лицу столкнулись с молоденькой узбечкой. Она быстро накинула на лицо черную чадру, но не совсем, а наполовину; потом остановилась, посмотрела на нас из-под чадры и совершенно неожиданно откинула ее снова.

— Русский? — гортанным, резким голосом спросила она.

И когда я ответил утвердительно, засмеялась и сказала:

— Русский хорош, сарт плох.

Мы пошли рядом. Она почти ничего не знала по-русски, но все-таки мы разговаривали.

— И как они живут! — сказал мне Николай.— Замкнутые, оторванные от всего, запертые в стены дома. Все-таки ка-

кой дикий и неприступный еще Восток! Интересно узнать, чем она живет, чем интересуется...

— Погоди,— перебил я его.— Послушай, девушка, ты слыхала когда-нибудь про Ленина?

Она удивленно посмотрела на меня, ничего не понимая, а Николай пожал плечами.

— Про Ленина...— повторил я.

Вдруг счастливая улыбка заиграла на ее лице, и, довольная тем, что поняла меня, она ответила горячо:

— Лельнин, Лельнин знаю!..— Она закивала головой, но не нашла подходящего русского слова и продолжала смеяться.

Потом насторожилась, кошкой отпрыгнула в сторону, глухо накинула чадру и, низко склонив голову, пошла вдоль стены мелкой торопливой походкой. У нее был, очевидно, хороший слух, потому что секунду спустя из-за поворота вышел тысячелетний мулла и, опершись на посох, он долго молча смотрел то на нас, то на голубую тень узбечки; вероятно, пытался что-то угадать, вероятно, угадывал, но молчал и тусклыми стеклянными глазами смотрел на двух чужеземцев и на европейскую девушку со смеющимся открытым лицом.

У Николая косые монгольские глаза, меленькая черная бородка и подвижное смуглое лицо. Он худой, жилистый и цепкий. Он на четыре года старше меня, но это ничего не значит. Он пишет стихи, которые никому не показывает, грезит девятнадцатым годом и из партии автоматически выбыл в двадцать втором.

И в качестве мотивировки к этому отходу написал хорошую поэму, полную скорби и боли за «погибающую» революцию. Таким образом, исполнив свой гражданский «долг», он умыл руки, отошел в сторону, чтобы с горечью наблюдать за надвигающейся, по его мнению, гибелью всего того, что он искренно любил и чем он жил до сих пор.

Но это бесцельное наблюдение скоро надоело ему. Погибель, несмотря на все его предчувствия, не приходила, и он вторично воспринял революцию, оставаясь, однако, при глубоком убеждении, что настанет время, настанут огневые годы, когда ценою крови придется исправлять ошибку, совершенную в двадцать первом проклятом году.

Он любит кабак и, когда выпьет, непременно стучит кулаком по столу и требует, чтобы музыканты играли революционно Буденновский марш: «О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные мы смело и гордо»... и т. д. Но так как марш этот по большей части не входит в репертуар увеселительных заведений, то он мирится на любимом цыганском романсе: «Эх, все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло».

Во время музыкального исполнения он пристукивает в такт ногой, расплескивает пиво и, что еще хуже, делает неоднократные попытки разорвать ворот рубахи. Но ввиду категорического протеста товарищей это ему удается не всегда, однако все пуговицы с ворота он все-таки ухитряется оборвать. Он душа-парень, хороший товарищ и недурной журналист.

И это все о нем.

Впрочем, еще: он любит Риту, любит давно и крепко. Еще с тех пор, когда Рита звенела напропалую бубном и разметывала по плечам волосы, исполняя цыганский танец Брамса — номер, вызывающий бешеные хлопки подвыпивших людей.

Я знаю, что про себя он зовет ее «девушкой из кабака», и это название ему страшно нравится, потому что оно... романтично.

Мы шли по полю, засыпанному обломками заплесневелого кирпича. Под ногами в земле лежали кости погребенных когда-то тридцати тысяч солдат Тамерлана. Поле было серое, сухое, то и дело попадались отверстия провалившихся могил, и серые каменные мыши при шорохе наших шагов бесшумно прятались в пыльные норы. Мы были вдвоем. Я и Рита. Николай исчез куда-то еще с раннего утра.

— Гайдар,— спросила меня Рита,— за что ты любишь меня?

Я остановился и удивленными глазами посмотрел на нее. Я не понял этого вопроса. Но Рита упрямо взяла меня за руку и настойчиво повторила вопрос.

— Сядем на камень,— предложил я.— Правда, здесь слишком жжет, но тени все равно нигде нет. Садись сюда, отдохни и не предлагай мне глупых вопросов.

Рита села, но не рядом со мной, а напротив. Резким ударом бамбуковой трости она сшибла колючий цветок у моих ног.

— Я не хочу, чтобы ты со мной так разговаривал. Я тебя спрашиваю, и ты должен отвечать.

— Рита! Есть вопросы, на которые трудно отвечать и которые к тому же не нужны и бесполезны.

— Я совсем не знаю, что тебе от меня надо? Когда со мной говорит Николай, я вижу, почему я ему нравлюсь, а когда молчишь ты, я ничего не вижу.

— А зачем тебе?

Рита откинула голову назад и, не жмурясь от солнца, посмотрела мне в лицо.

— Затем, чтобы сделать так, чтобы ты любил меня дольше.

— Хорошо,— ответил я.— Хорошо. Я подумаю и скажу тебе потом. А сейчас пойдем и заберемся на верхушку старой мечети, и оттуда нам будут видны сады всего Самарканда. Там обвалились каменные ступени лестницы, и ни с одной девушкой, кроме тебя, я не рискнул бы забраться туда.

Солнечные лучи мигом разгладили морщинки меж темных бровей Риты, и, оттолкнувшись рукой от моего плеча, скрывая улыбку, она прыгнула на соседний каменный утес.

Из песчаных пустынь с пересыпанных сахарным снегом горных вершин дул ветер. Он с яростью разласкавшегося щенка разматывал красный шарф Риты и теребил ее короткую серую юбку, забрасывая чуть-чуть выше колен. Но Рита... лишь смеется, захлебываясь слегка от ветра:

— Мы пойдем дальше и не будем сегодня расспрашивать стариков.

Я соглашаюсь. История тридцати тысяч истлевших скелетов мне сейчас менее нужна, чем одна теплая улыбка Риты.

И мы, смеясь, лезем на мечеть. На крутых изгибах темно и прохладно. Я чувствую, как Рита впереди меня останавливается, задерживаясь на минуту, и потом голова моя попадает в петлю ее гибких рук.

— Милый! Как хорошо, и какой чудный город Самарканд!..

А внизу под серыми плитами, под желтой землей, в многовековом покое спит в ржавчине неразглаженных морщин железный Тимур.

Деньги были на исходе. Но нас это мало огорчало, мы давно знали, что рано или поздно, а придется остаться без них. Решили взять билеты до Бухары, и там будь что будет.

В лепестках осыпающегося урюка, зелени распускающихся садов качался потухающий диск вечернего солнца. Напоследок мы сидели на балконе, пропитанном пряным запахом душного вечера, и мирно болтали. Было спокойно и тепло. Впереди была дорога — длинная, загадочная, как дымка снеговых гор, поблескивающих белыми вершинами, как горизонты за желтым морем сыпучих песков, как и всякая другая, еще не пройденная и непережитая дорога.

— Черта с два! — сказал Николай, захлопывая записную книгу. — Разве меня заманишь теперь в Россию? Что такое Россия? Разве там есть что-нибудь подобное?.. — И он неопределенно помахал рукой вокруг себя. — Все одно и то же, да одно и то же. Надоело, опротивело и вообще... Ты посмотри, посмотри только... Вон внизу старый шейх сидит у ворот, и борода у него свесилась до земли. Он напоминает мне колдуна из «Тысячи и одной ночи». Знаешь, как это там... ну, где Али-Ахмет...

— У хозяина сдачи взял? — перебил я его.

— Взял... Я сегодня легенду одну слышал. Старик рассказывал. Интересная. Хочешь, расскажу?

— Нет. Ты переврешь непременно и потом от себя половину прибавишь

— Ерунда! — обиделся он. — Хочешь, Рита, я тебе расскажу?

Он уселся рядом с ней и, очевидно, подражая монотонному голосу рассказчика, начал говорить. Рита слушала вначале внимательно, но потом он увлек ее и убаюкал сказкой.

— Жил какой-то князь и любил одну красавицу. А красавица любила другого. После целого ряда ухищрений с целью склонить неприступную девушку он убивает ее возлюбленного. Тогда умирает с тоски и красавица, наказывая перед смертью похоронить ее рядом с любимым человеком. Ее желание исполняют. Но гордый князь убивает себя и назло приказывает похоронить себя между ними, и тогда... Выросли над крайними могилами две белые розы и, склоняя нежные стебли, ласково тянулись друг к другу. Но через несколько дней вырос посреди них дикий красный

шиповник и... Так и после смерти его преступная любовь разъединила их. А кто прав, кто виноват — да рассудит в судный день великий Аллах...

Когда Николай кончил рассказывать, глаза его блестели, а рука крепко сжимала руку Риты.

— Нет теперь такой любви,— не то насмешливо, не то с горечью, медленно и лениво ответила Рита.

— Есть... Есть, Рита! — горячо возразил он.— Есть люди, которые способны...— Но он оборвал и замолчал.

— Уж не на свои ли способности ты намекаешь? — дружески похлопывая его по плечу, сказал я, вставая.— Пойдемте спать, завтра подниматься рано.

Николай вышел. Рита осталась.

— Погоди,— сказала она, потянув меня за рукав.— Сядь со мной, посиди немного.

Я сел. Она молчала.

— Ты недавно обещал сказать мне, за что ты любишь меня. Скажи!..

Я был поражен. Я думал, что это был минутный каприз, и забыл про него; я совсем не готовился к ответу, а потому и сказал наугад:

— За что? Какая ты чудачка, Рита! За то, что ты молода, за то, что ты хорошо бегаешь на лыжах, за то, что любишь меня, за твои смеющиеся глаза и за строгие черточки бровей и, наконец, потому, что надо же кого-нибудь любить.

— Кого-нибудь! Значит, тебе все равно?

— Почему же все равно?

— Значит, если бы ты не встретил меня, то все равно любил бы сейчас кого-нибудь?

— Возможно...

Рита замолчала, потянулась рукой к цветам, и я услышал, как хрустнула в темноте обломанная веточка урюка.

— Послушай,— сказала она,— а ведь так нехорошо как-то выходит. Как будто у животных. Пришла пора — значит, хочешь не хочешь, а люби. По-твоему так выходит!

— Рита,— ответил я, вставая,— по-моему выходит, что за последние дни ты странно подозрительна и нервна. Я не знаю, отчего это. Может быть, тебе нездоровится, а может быть, ты беременна?

Она вспыхнула. Снова захрустела разломанная на куски

веточка. Рита встала и стряхнула с подола накрошенные прутья.

— Ты говоришь глупости! Ты всегда и во всем найдешь гадость. Ты в душе черствый и сухой человек!

Тогда я посадил ее к себе на колени и не отпускал до тех пор, пока она не убедилась, что я не так черств и сух, как это ей казалось.

В пути, в темном вагоне четвертого класса кто-то украл у нас чемодан с вещами.

Обнаружил эту пропажу Николай. Проснувшись ночью, он пошарил по верхней полке, выругался несколько раз, потом растолкал меня:

— Вставай, вставай же! Где наш чемодан? Его нет!

— Украли, что ли?—сквозь сон спросил я, приподнимаясь на локоть.—Печально. Давай закурим.

Закурили.

— Скотство какое! Есть же такие проходимцы. Если бы я заметил, я бы разбил сукину сыну всю морду. Надо проводнику сказать. Крадет свечи, подлец, и темно в вагоне... Да чего же ты молчишь?

— А чего говорить без толку,—сонным голосом ответил я.—Дай огня.

Проснулась Рита. Выругала нас обоих идиотами, потом заявила, что она видит интересный сон, и, чтобы ей не мешали, укрылась одеялом, и повернулась на другой бок.

Слух о пропавшем чемодане обошел все углы вагона. Люди просыпались, испуганно бросались к своим вещам и, обнаружив их на месте, вздыхали облегченно.

— У кого украли?—спрашивал в темноте кто-то.

— Вон у этих, на средней полке.

— Ну что ж они?

— Ничего, лежат и курют.

— Симуляцию устраивают,— авторитетно заявил чей-то бас.—Как так можно, чтобы у них вещи пропали, а они курют!

Вагон оживился. Пришел проводник со свечами, начались рассказы очевидцев, потерпевших и сомневающихся. Разговоров должно было хватить на всю ночь. Отдельные лица пробовали выразить нам сочувствие и соболезнование. Рита крепко спала и улыбалась чему-то во сне. Возму-

щенный Николай вступил в пререкания с проводником, обвиняя того в стяжательстве и корыстолюбии, а я вышел на площадку вагона.

Снова закурил и высунулся в окно.

Огромный диск луны висел над пустыней японским фонарем. Песчаные холмы, убегающие к далеким горизонтам, были пересыпаны голубой лунной пылью, чахлый кустарник в каменном безветрии замер и не гнулся.

Раздуваемая ветром мчащихся вагонов, папироса истлела и искурилась в полминуты. Позади послышался кашель, я обернулся и только сейчас заметил, что на площадке я не один. Предо мной стоял человек в плаще и в одной из тех широких дырявых шляп, какие часто носят пастухи южных губерний. Сначала он показался мне молодым. Но, приглядевшись, я заметил, что его плохо выбритое лицо покрыто глубокими морщинами и дышит он часто и не ровно.

— Разрешите, молодой человек, папиросу? — вежливо, но вместе с тем требовательно проговорил он.

Я дал. Он закурил и откашлялся.

— Слышал я, что случилось с вами несчастье. Конечно, подло. Но обратите внимание на то, что теперь покражи на дорогах, да и не только на дорогах, а и везде, стали обычным явлением. Народ потерял всякое представление о законе, о нравственности, о чести и порядочности.

Он откашлялся, высморкался в огромный платок и продолжал:

— Да и что с народа спрашивать, если сами стоящие у власти подали в свое время пример, узаконив грабеж и насилие?

Я насторожился.

— Да, да, — с внезапной резкостью опять продолжал он. — Все разломали, натравили массы: бери, мол, грабь. А теперь видите, к чему привели... Тигр, попробовавший крови, яблоками питаться не станет! Так и тут. Грабить чужого больше нечего. Все разграблено, так теперь друг на друга зубы точат. Было ли раньше воровство? Не отрицаю. Но тогда воровал кто? Вор, профессионал, а теперь — самый спокойный человек нет-нет да и подумает: а нельзя ли мне моего соседа нагреть? Да, да... Вы не перебивайте, молодой человек, я старше вас! И не смотрите подозрительно, я не боюсь. Я привык уже. Меня в свое время таскали и в ЧК, и в ГПУ, и я прямо говорю: ненавижу, но бессилен. Контрреволюционер, но ничего не могу. Стар и слаб. А был бы

молод, сделал бы все, что можно, в защиту порядка и чести... Князь Оссовецкий,— меняя голос, отрекомендовался он.— И заметьте, не бывший, как это теперь пишут многие прохвосты, пристроившиеся на службу, а настоящий. Каким родился, таким и умру. Я и сам мог бы, но не хочу. Я старый коннозаводчик, специалист. Меня приглашали в ваш Наркомзем, но я не пошел — там сидят дворовые моего деда, и я сказал: нет, я беден, но я горд.

Приступ кашля, охвативший его, был так силен, что он согнулся, и его дырявая шляпа закачалась, зияя прорехами. Потом он молча повернулся и, не глядя на меня, уставился в окно.

Над пустыней начиналась песчаная буря. И ветер, вздыбливая пески, выл на луну, как дворовая собака воет протяжно на чью-то смерть.

Я вернулся в вагон. Николай спал, опустив нечаянно руку на плечо Риты. На всякий случай руку Николая с плеча Риты я убрал. Я лег рядом и, засыпая, представил себе заросший мхом замок, опускающийся мост, оборванные цепи и у ворот привратника в железных рыцарских доспехах, на которых ржавчины больше, чем металла. Стоит он и гордо сторожит вход в развалины, не подозревая того, что никто не собирается нападать на них, ибо никому, кроме его самого, старая плесень не нужна, не дорога и никчемна.

В Бухаре мы познакомились случайно с Махмудом Мурадзиновым, и он пригласил нас к себе к обеду. Махмуд был торговец шелками и коврами. Он был приветлив, хитер и пронырлив. По его косым, блестящим глазам никогда нельзя было понять, говорит ли он искренне или лжет.

У Махмуда все наполовину. Он набросил цветной халат и ходил по базару в каком-то старомодном сюртуке, но чалмы с головы не снял. Дома у него наряду с разостланными на полу коврами, стояли стулья. Но стола не было, и потому стулья казались бессмысленными и неоправданными. Его жены и дочь выходили к обеду, но разговаривать с нами не смели.

Говорил он по-русски хорошо, хотя и не особенно быстро:

— Садитесь, садитесь, пожалуйста. Гассан, давай стулья.

Гассан — детина лет двадцати — выдвинул стулья на середину комнаты. Мы сели, но почувствовали себя крайне неудобно, ибо похожи были на пациентов, усевшихся для докторского осмотра. Рита запротестовала первою и, убравшись со стула, уселась на ковер. Я тоже. И только Николай, считавший почему-то, что, отказавшись от столь любезно предложенных хозяином стульев, он обидит его, долго еще дураком сидел в одиночестве посреди комнаты.

— Рассказывайте, пожалуйста,— то и дело просил нас хозяин.— Сейчас женщины окончат готовить обед. Рассказывайте, будьте так любезны!

Я, собственно говоря, не знал, о чем рассказывать. Начал о Москве,— он слушал внимательно. Вопросов он не задавал, и потому крайне трудно было угадать, что его больше всего интересует. Я заговорил о политике Советской власти в области национальных вопросов, надеясь вызвать его на беседу. Но он молчал и слушал, одобрительно покачивая головой. Тогда наконец я решил козырнуть, задев его за больное место всех купцов, и заговорил о налогах.

Но Махмуд все слушал и одобрительно покачивал головой, как бы в одинаковой степени одобряя все мероприятия и в области национальной, и в области налоговой политики, и вообще во всем.

Меня выручила Рита.

— Скажите, пожалуйста, сколько у вас жен? — бесцеремонно спросила она.

Махмуд изобразил на своем сухом лице приятную улыбку и ответил, чуть наклонив голову:

— Две. Они сейчас придут.

— А почему так мало? — спросила Рита.

— Больше не нужно. Дорого стоят, да и зачем мне больше? У вас сколько мужей есть? — в свою очередь хитро спросил он.

— Один,— ответила Рита, слегка покраснев.— Конечно, один, Махмуд.

— Зачем так мало? — вежливо спросил он и еще хитрее улыбнулся.— У вас теперь, говорят, даже такой закон вышел, что можно сколько хочешь жен и сколько хочешь мужей.

Рита стала с ним спорить, доказывая, что такого глупого закона нет. Он делал вид, что соглашается, но, по-видимому, верил ей мало.

Между тем Николай, не отрывая глаз, молча посматривал на соседнюю комнату, отделенную широкими занавесками. Занавески иногда чуть-чуть колыхались, и за ними слышался сдержанный шепот. Потом они распахнулись, и разом в комнату вошли три женщины. Они были без паранджи и без чадры, но, очевидно, еще только недавно расстались с ними, потому что головы держали чуть-чуть склоненными и глаза опущенными вниз.

Стали обедать. Ели какой-то суп, в котором бараньего жира было больше, чем всего остального, потом подали плов — рис с бараниной, с кусочками моркови и изюмом.

Николай не сводил глаз с дочери Махмуда — Фатимы. Она почти ничего не ела и за все время ни разу не посмотрела ни на кого из нас, кроме Риты. За Ритой она наблюдала пристально, всматриваясь в каждую черточку лица и каждый жест, как бы стараясь запомнить его.

Николай подталкивал меня локтем, восхищаясь смуглым лицом девушки, но мне оно не особенно нравилось, и я старался больше насчет плова.

Кончив обедать, мы встали, поблагодарили и пожали руку хозяина. Николай подошел к девушке и, поклонившись, протянул ей руку тоже. Она вскинула на него испуганные глаза, отступила на шаг и вопросительно посмотрела на отца. Тот был, по-видимому, недоволен ее порывистостью; он резко сказал ей что-то по-своему! Тогда она покорно подошла и сама подала руку Николаю. Вышло как-то неловко.

После обеда вино немного развязало язык Махмуду.

— Скажите, пожалуйста,— подумав, спросил он,— какая республика самая главная в России?

— То есть в Союзе,— поправил его я.— Главных нет. Все одинаковые и на равных правах.

Ответ пришелся, по-видимому, по вкусу, он прищелкнул языком и сказал:

— Я же так тоже думаю, что на равных.

В это время Рита в углу расспрашивала о чем-то Фатиму. Та стояла перед ней, как провинившаяся, и что-то отвечала шепотом. Но Махмуду это, очевидно, не особенно понравилось. Он опять сказал ей что-то и, улыбнувшись, пояснил нам:

— Простите, пожалуйста, она выйдет по хозяйству на минутку.

Но девушка больше так и не вернулась. Потом мы распрощались и ушли.

В красной чайхане нам сказал узбек заведующий:
— Вы были уже у него? Он всегда зовет к себе людей, которые из Москвы, и расспрашивает, расспрашивает. Он очень умен. Он бывший курбаш и командовал басмачами. Он улыбается, но он хитрый, очень хитрый. Он ведет большую работу по разложению басмачества. Потому что видит, как возрождается наш край... Он почти забросил торговлю и читает по складам политграмоту. Но ему трудно сразу переломать себя во всем, потому что он уже стар.

— О чем ты говорила с его дочерью? — спросил я вечером Риту.

— Почти что ни о чем. Я не успела. Я спросила только ее, как ей нравится больше: в чадре или без чадры?

— А она?

— Она ответила, что в чадре, потому что без чадры страшно.

По энциклопедическому словарю выходило, что есть город Асхабад, что значит в переводе на русский язык «Сад любви». Живут там текинцы и туркмены и управляет ими генерал-губернатор.

Но соврал бессовестно старый, затрепанный словарь! Никакого такого Асхабада[1] и нет вовсе, а есть Полторацк — в память расстрелянного комиссара. Никакого генерал-губернаторства нет, а есть Туркменская Советская Республика. А что касается садов, так, правда, в Полторацке их много. Но ни в одном из них никакой любви мы не видели, потому что на этот счет за садами строго смотрят поставленные милиционеры.

В Асхабад мы приехали с двумя рублями денег, небольшим непроданным еще чемоданом и большим неукраденным еще одеялом. Вещи сдали на хранение, благо за эту услугу денег вперед не берут, а сами отправились в город.

Я рассчитывал зайти в редакцию, дать пару очерков, фельетонов или рассказов, в общем, все равно что — только бы заплатили несколько рублей[2]. Но в редакции я наткнул-

---

[1] Ныне город Ашхабад — столица Туркменской ССР.

[2] Действительно, весной 1926 года в Ашхабаде в газете «Туркменская искра» Аркадий Гайдар напечатал ряд фельетонов и заметок. В частности, удалось разыскать такие публикации: «Рецепты богатства» (26 апреля), «Глиняные горшки» (29 апреля), «Похвальная предусмотрительность» (9 мая).

ся на запертую дверь, возле которой щелкающая семечки сторожиха объяснила мне, что сегодня начался мусульманский праздник ураза-байрам и никого в редакции нет и не будет три дня подряд.

«Здравствуйте! Начинается!» — подумал я.

Приближался вечер, а ночевать было негде. Мы случайно наткнулись на проломанную каменную стену; пробрались в отверстие. За стеной — глухой сад. В глубине сада какие-то развалины. Мы выбрали закоулок поглуше — комнату без пола и с крышей, до половины снесенной прочь. Натаскали охапку мягкой душистой травы, завалили вход в наше логово какими-то чугунными скамейками, укрылись плащами и легли спать.

— Рита! — спросил Николай, дотрагиваясь до ее теплой руки.— Тебе не страшно?

— Нет,— ответила Рита,— мне не страшно, мне хорошо.

— Рита! — спросил я, укутывая ее крепче полой плаща.— Тебе не холодно?

— Нет,— ответила Рита,— мне не холодно, мне хорошо.— И рассмеялась.

— Ты чего?

— Так. Теперь мы совсем бесприютные и беспризорные. Я никогда еще не ночевала в развалинах. Но я ночевала однажды на крыше вагона, потому что в вагоне ночью лезли ко мне солдаты.

— Кто? Красные?

— Да.

— Неправда. Красные не могли лезть, ты выдумываешь,— возмутился Николай.

— Могли, сколько угодно,— сказал я.— Поверь мне, я был больше тебя там и знаю лучше тебя.

Но он не хочет сдаваться и вставляет напоследок:

— Если это правда, что они лезли к беззащитной женщине, то это были, очевидно, отборные негодяи и бывшие дезертиры, которых вовремя позабыли расстрелять.

Суждения Николая отличаются красочностью и категоричностью, а его система делать выводы всегда ставит меня в тупик, и я говорю:

— Смотри проще.

— Гайдар! — шепчет мне на ухо возмущенная Рита.— И ты тоже раньше смотрел проще?

И я отвечаю:

— Да, смотрел.

Но Рита прижимается ко мне и горячо шепчет:

— Ты врешь, ты непременно врешь. Я не верю, чтобы ты был такой.

И кладет мне голову на свое любимое место — на правую сторону моей груди.

Николай лежит молча. Ему что-то не спится, и он окликает меня.

— Ну?

— Знаешь, что? По-моему, ты все-таки... все-таки... очень беспринципный человек!

— Может быть. А ты?

— Я-то? — Он смеется. — У меня есть основные положения, которым я не изменяю никогда. В этом отношении я — рыцарь.

— Например?

— Ну, мало ли что... Например, ты... что бы вокруг тебя, да и вообще, ни делалось скверного, всему и всегда ты находишь оправдание. Это нечестно, по-моему.

— Не оправдания, а объяснения, — закрывая глаза, поправляю я.

Минута, другая. Засыпаем. В просвете сломанной крыши пробивается зеленый луч и падает на синие волосы Риты. Рита улыбается. Рита спит. Рите снится сон, которого я не вижу...

Проснулись мы рано. Стояло яркое солнечное утро. От промытой росой травы поднимался теплый ароматный пар. Было тихо в заброшенном саду. Где-то невдалеке журчала вода: в углу сада находился фонтанный бассейн, заросший мхом.

Умывшись из бассейна светлой, холодной водой, мы выбрались через пролом на обсаженную деревьями улицу и пошли бродить по незнакомому городу. Зашли на базар, купили чурек — круглую пышную лепешку фунта на два с половиной, купили колбасы и направились в грязную базарную чайхану, одну из тех, в которых целый чайник жидкого зеленого напитка подают за семь копеек. И пока старый текинец возился возле огромного пятиведерного самовара, вытирая полой своего халата предназначенные для

нас чашки, Николай достал нож и крупными ломтями нарезал колбасу.

Старик тащил уже нам поднос с посудой и чайником, но, не дойдя до стола, внезапно остановился, едва не выронил посуду и, перекривив осунувшееся лицо, закричал нам:

— Эйэ, ялдаш, нельзя!.. Э-э, нельзя!..— А сам указывал на наш стол.

И мы сразу же поняли, что это аппетитные ломти колбасы привели почтенного старца в столь яростное негодование.

— Эх, мы!—сказал я Николаю, поспешно упрятывая колбасу в карман.—И как это мы не сообразили раньше?

Старик сунул нам прибор на стол и ушел, вспоминая имя Аллаха и отплевываясь.

Но мы все-таки перехитрили его. Мы сидели в пустом темном углу, и я под столом передавал Рите и Николаю куски. Ребята заталкивали их в середину хлебного мякиша и потом, чуть не давясь от смеха, принимались есть набитый запретной начинкой чурек.

Пошли за город. За городом—холмы, на холмах—народ. Праздник, гулянье...

Узбеки Самарканда по большей части низкорослы и полны. Одеты они в засаленные ватные халаты с рукавами, на целую четверть спускающимися ниже пальцев. На головах тюрбаны, на ногах туфли. Здесь же туркмены носят халаты тонкие, красные, туго перетянутые узенькими поясами; на головах огромные черные папахи, густо свисающие кудрявой овечьей шерстью.

Я взял одну из таких папах и ужаснулся. По-моему, она весила никак не меньше трех-четырех фунтов.

Видели и здешних женщин. Опять-таки ничего похожего на Узбекистан. Лица монгольского типа—открытые, на голове словно круглая камилавка, на камилавку натянут рукав яркого цветного халата; другой рукав без толку мотается по спине. На руках медные браслеты, длиной от кисти до локтя; груди в медных блестящих полушариях, как у мифических амазонок; по лбу тянутся золотые монеты, спускающиеся по обеим сторонам лица; на ногах деревянная обувь, разрисованная металлическими гвоздями; высокие, выше московских, каблуки. Проходили мимо армянки в накидках и персиянки в черных шелковых покрывалах, похожие на строгих католических монахинь.

Мы забрались на холмы. Внизу была долина, а невдалеке начиналась цепь гор. На горах были видны белые пятна нерастаявшего снега. Там за вершинами, в нескольких километрах отсюда, чужая сторона, чужой край — Персия!

Спустились в сухую песчаную лощину. Было интересно идти по извивающемуся и завивающемуся руслу высохшего ручья, ибо из-за отвесных кручин обрывов ничего, кроме палящего солнца,— будь оно проклято! — не было видно и нельзя было определить, куда выйдешь.

— Смотри! — крикнула Рита, отскакивая.— Смотри, змея!

Мы остановились. Поперек дороги, извиваясь черной лентой, ползла полутороаршинная гадюка. Николай поднял большой камень и швырнул в нее, но промахнулся, и змея, засверкав стальной чешуей, шмыгнула вперед. Но Николай и Рита пришли в неописуемый азарт: на берегу, поднимая камни, они неслись за ускользающей змеей до тех пор, пока в голову ей не попал тяжелый булыжник; она остановилась, закорчилась и зашипела. Долго еще они швыряли в нее камни, и, только когда она совсем перестала шевелиться, подошли поближе.

— Я возьму ее в руки,— сказала Рита.

— Гадость всякую! — возмутился Николай.

— Ничего не гадость. Смотри, мы, кажется, всю ее разбили огромными кирпичинами, а на ней ни одной кровинки, ни царапины! Она вся — как из стали.— Рита потрогала змею тросточкой, потом хотела прикоснуться пальцем, но не решилась.

— Смотри-ка, а ведь она еще жива!

— Не может быть! — возразил Николай.— Я напоследок бросил ей на башку десятифунтовую глыбу.

Но змея была жива. Мы сели на уступ и закурили. Змея пошевелилась, потом медленно, точно просыпаясь от глубокого сна, изогнулась и тихонько, как больной, шатающийся от слабости, поползла дальше.

Николай и Рита посмотрели друг на друга, но ни одного камня, ни одного куска глины вдогонку ей не бросили. Тогда я встал и одним рывком острого охотничьего ножа отсек гадюке голову.

Крик негодования и бешенства сорвался с уст Риты.

— Как ты смел! — крикнула она мне.— Кто тебе позволил?..

— Мы здесь будем отдыхать на лужайке, и я не хочу, чтобы рядом с нами ползала змея, обозленная тем, что ее

не добили до смерти. И потом... чего это вы с Николаем не кипятились, когда сами три минуты назад добивали ее камнями?

— Да, но она выжила все-таки! Она страшно цеплялась за жизнь, и можно было бы оставить,— чуть-чуть смущенно заступился за Риту Николай.— Ты знаешь, существовал обычай, что преступнику, сорвавшемуся с петли, даровали жизнь.

— Глупый обычай,— ответил я.— Или не надо начинать, или, если уж есть за что, то пусть он сорвется десять раз, а на одиннадцатый все-таки должен быть повешен. При чем здесь случай и при чем здесь романтика?

Спали опять там же. Ночью разбудил внезапный шум. Где-то близко разговаривали. И мы решили, что это какие-нибудь бездомные бродяги ищут ночлега.

— Пусть идут. И им места хватит,— сказал я.— А кроме того, вход в нашу берлогу завален, и вряд ли они в темноте полезут сюда.

Мы уже стали было задремывать снова, но вдруг в темноте развалин мелькнул свет электрического фонаря.

— Это не бездомные, это милицейский обход,— шепнул я.— Давайте молчать, может быть, они не заметят.

— Нет никого,— громко сказал кто-то.— А там нечего и смотреть, там все завалено садовыми скамейками.

— Давай, полезай все-таки.

Кто-то полез, но плохо наваленные скамьи с грохотом полетели вниз. Послышались громкие ругательства. Потом снова вспыхнул огонек фонарика, и, прорвавшись в образовавшийся проход, узенький желтый луч нащупал нас.

— Ага,— послышался торжествующе-злорадный голос.— Трое даже и одна баба. Демченко, сюда!

В темноте щелкнул повертываемый барабан нагана. Я чувствовал, что рука Риты чуть-чуть дрожит и что Колька собирается открыть бешеную словесную атаку.

— Спокойней и ни слова. Вы все испортите. Разговариваю только я.

— Давай, давай, не канителься. Выходи!— послышалось категорическое приказание.— А если кто бежать, враз пулю.

Нам посветили. Мы выбрались и, нащупываемые светом фонарика, остановились, не видя никого.

— Вы что здесь делали?—спросил старший обхода.

— Спали,—спокойно ответил я.—Куда теперь нужно идти?

— Что это за место нашли для спанья? Марш в отделение![1]

Я улыбнулся. Я умышленно не вступал в пререкания, ибо знал, что через двадцать—тридцать минут нас отпустят. Старший обхода был чуть-чуть смущен тем, что мы были спокойны, и даже насмешливо посматривали на него. Он сразу сбавил тон и сказал уже вежливей:

— Идите за нами, сейчас разберемся.

Но тут случилось то, чего я больше всего опасался. Один из агентов навел на лицо Риты свет и сказал своему товарищу, усмехаясь:

— Проститутка, да еще какая... Фью!—И прежде, чем я успел что-либо предпринять, Николай, сорвавшись с места, со всего размаха ударил по лицу говорившего. Фонарь упал к ногам и потух. Я бросился к Рите. Николаю крепко скрутили руки. Я плюнул с досады и молча позволил закрутить себе. Рите руки не связывали. И под конвоем четырех настороженных человек, опустивших наганы к земле, мы тронулись по темным улицам.

— Сволочи, меня кто-то в драке по губам саданул, и идет кровь,—сплевывая, сказал Николай.

— Ей-богу, мало тебе,—пробормотал я откровенно.— И на кой черт это твое ненужное рыцарское заступничество? Кто тебя просил о нем?

— Сумасшедший ты какой-то!—прошептала ему Рита.—Ну, что от меня убавилось, когда они назвали меня?.. Чудак, право!

И она достала платок и осторожно вытерла его запекшиеся губы.

В отделении милиции мы пробыли до утра. Утром нас допрашивал старший милиционер. Потребовал предъявить документы и был весьма озадачен, когда прочитал в моих,

[1] В одном из писем, отправленном А. Гайдаром из Ашхабада в Пермь весной 1926 года, рассказывалось и о таком происшествии: «Нас приняли за шпионов и вели под конвоем в милицию».

что «предъявитель сего есть действительно собственный корреспондент газеты «Звезда», специальный корреспондент газеты «Смычка» и т. д.[1].

Он почесал голову и сказал, недоумевая:

— Так вы, значит, вроде как рабкор. Скажите, пожалуйста, как же это вам не стыдно по таким местам ночевать?

— Видите ли, товарищ,— объяснил ему я,— наше такое дело. И ночевали мы там потому, что это нужно было для впечатлений. В гостинице что? В гостинице все одно и то же. А тут можно наткнуться на что-нибудь интересное.

Он недоверчиво посмотрел на меня, потом покачал головой:

— Это, значит, чтобы описывать все, надо по чужим садам ночевать? Да чего же там интересного-то?

— Как чего? Мало ли чего! Ну, вот, например, вчерашний обход. Ведь это же тема для целого рассказа!

— Гм,— откашлялся он. И, нахмурив брови, обмакнул перо в чернильницу.— И это вы всегда таким образом эту самую тему ищете?

— Всегда! — с азартом ответил я.— Мы спим на вокзалах, бываем в грязных чайханах, ездим в трюме пароходов и шатаемся по разным глухим закоулкам.

Он посмотрел еще раз на меня и, по-видимому, убежденный горячностью моих доводов, сказал с сожалением:

— Так то ж собачья эта у вас служба! А я думаю, как возьму газеты, и откуда это они все описывают? — Но тут он хитро сощурил глаза и, мотнув головою на Николая, сидящего с Ритой поодаль, спросил меня:

— А это он что, тоже для темы милиционера вчера... съездил?

Я объяснил тогда, как было дело, причем, снизив голос, соврал, что этот человек — известный поэт, то есть пишет стихи, и что он уж от роду такой — чуть тронутый. Что его абсолютно нельзя раздражать, ибо тогда он будет бросаться на людей до тех пор, пока его не увезут в психиатрическую лечебницу.

Милиционер молча выслушал, потом опять почесал рукой затылок и сказал авторитетно:

---

[1] Редакции уральских газет: в пермской «Звезде» Гайдар тогда работал, а в усольской «Смычке» иногда сотрудничал.

— Да, конечно, уж если поэт... Это все такой народ.— И он махнул рукой.—Это я читал в газете — один повесился в Москве недавно.

— Конечно, повесился,— подтвердил я.— Да что там один, они дюжинами скоро вешаться будут, потому что народ все неуравновешенный, разве только один Маяковский... Вы про Маяковского слыхали, товарищ?

— Про какого?

— Про Маяковского, говорю.

— Нет,— сказал он, подумав.— Как будто знакомая фамилия, а точно сказать не могу.

Мне понравился этот спокойный, флегматичный милиционер. Нас скоро отпустили, но на Николая составили все-таки протокол и взяли с него обязательство уплатить 25 рублей штрафа по приезде на место постоянного жительства.

Жили мы в этом городе, как птицы небесные. Днем до одури бродили, валялись на солнце, по крутым холмам возле города. Иногда днем я или Николай уходили в редакцию, писали очерки, фельетоны, брали трехрублевые авансы в счет гонорара, а гонорар самый мы оставляли для покупки билетов на дальнейший путь.

Ночевать мы ухитрялись так: станция там маленькая, не узловая. Последний поезд уходит в десять вечера, после чего со станции выметают всю публику, а потом впускают человек двадцать — тридцать, тех, кто в целях экономии доехал сюда бесплацкартным товаро-пассажирским поездом, чтобы уже здесь сесть на проходящий дальше плацкартный.

Тогда я отправлялся к агенту, показывал корреспондентское удостоверение и говорил, что в городе свободных номеров нет, а ехать нам дальше только завтра. Агент давал записку на одну ночь. Агенты дежурили посменно. Их было семь человек, и семь раз, семь ночей я получал разрешение; но на восьмой раз я увидел дежурившего в первую ночь...

В маленьком полутемном вокзальном помещении мы и встретились тогда с человеком, которого прозвали «третий год».

Дело было так. Мы лежали на каменном полу возле стола и собирались засыпать, когда вдруг чей-то огромный ды-

рявый башмак очутился на кончике скамейки над моей головой и надо мной мелькнуло черное, заросшее лохматой щетиной лицо человека, бесцеремонно забравшегося спать на стол.

— Эй, эй, дядя, пошел со стола! — закричал сонный красноармеец железнодорожной охраны. — И откуда ты взялся здесь?

Но ввиду того, что человек не обращал никакого внимания на окрик, красноармеец подошел к нам и, не имея возможности добраться до стола, снял винтовку и легонько потолкал прикладом развалившегося незнакомца. Тот приподнял голову и сказал негодующе:

— Прошу не прерывать отдых уставшего человека.

— Дай-ка документы!

Человек порылся, вынул засаленную бумагу и подал.

— Какого года рождения? — удивленно протянул красноармеец, прочитав бумагу.

— 1903-го, — ответил тот. — Там, кажется, написано, товарищ.

— Третьего года! Ну и ну! — покачал головой охранник. — Да тебе, милый, меньше трех десятков никак дать нельзя! Ну и дядя! — И, возвращая документы, он спросил уже с любопытством. — Да ты хоть какой губернии будешь?

— Прошу не задавать мне вопросов, не относящихся к исполнению вами прямых ваших обязанностей! — гордо ответил тот и, спокойно повернувшись, улегся спать.

С того раза мы встречались здесь с ним каждый вечер. Мы познакомились.

— Некопаров, — отрекомендовался он нам. — Артист вообще, но в данную минуту вследствие людской малопорядочности принужден был силою обстоятельств поступить на презренную службу в качестве счетовода при железнодорожном управлении.

Он был в рваных огромных ботинках, в затрепанных донельзя брюках, предательски расползающихся на коленках, в старой, замасленной пижаме, а на его огромной всклоченной голове лихо сидела чуть державшаяся на затылке панама.

Костюм его был замечателен еще тем, что не имел ни одной пуговицы даже там, где им больше всего быть полагается, и все у него держалось на целой системе обрывков бечевки и мочалы и на булавках. Говорил он густым моду-

лирующим голосом, авторитетно, спокойно и чуть-чуть витиевато.

В шесть часов утра являлись носильщики с метлами, кричали, бесцеремонно дергали за ноги особенно крепко разоспавшихся. В клубах поднятой с пола пыли раздавался тогда кашель и зевки выпроваживаемых на улицу людей.

Мы вышли на крыльцо вокзала. Идти было рано — ни одна харчевня еще не была открыта. Солнце еще только-только начинало подниматься над зелеными шапками тополей, и было прохладно.

— Холодно,— вздрагивая, проговорил наш новый знакомый.— Костюм у меня с дефектами и плохо греет. Игра судьбы. Был в революцию упродкомиссаром, потом после нэпа — агентом по наблюдению за сбором орехов возле Афонского монастыря, был наконец последнее время артистом, и сейчас артист в душе. И представьте, играл Несчастливцева в труппе Сарокомышева! Сколько городов объездили, и всюду — успех! Попали в Баку. Но этого проходимца Сарокомышева посадили за что-то, и труппа распалась. Встретился я тогда с одним порядочным человеком. Разговорились. Так, я говорю ему, и так. «Батенька! — говорит он мне.— Да вы ведь и есть тот самый человек, которого я, может, три года ищу. Поедемте в Ташкент! Там у меня труппа почти готовая. Ждут не дождутся. Видите, телеграмму за телеграммой шлют!» Показал две. Там, действительно, коротко и ясно: «Приезжай. Ждать больше нельзя». Ну, натурально, купили мы с ним билеты, переехали Каспий, доехали досюда, он и говорит: «Надо остановку дня на три сделать. Тут актриса одна живет, мы с собой ее прихватим». Ну, остановились. Живем день в гостинице, живем другой. Что же ты, говорю я ему, меня с актрисой никак не познакомишь? «Нельзя,— отвечает он мне,— потерпи немного. Она женщина гордая и не любит, чтоб к ней без дела шлялись». А я про себя думаю: врешь ты, что гордая, а вероятно, ты с ней шашни-машни завел и потому, при моей видной наружности, познакомить меня с ней боишься. И только это просыпаюсь я на третий день и смотрю: бог ты мой! А где же мои брюки, а также и все прочие принадлежности туалета?

— Так и исчез? — задыхаясь от смеха, спросила Рита.

— Так и исчез!

— Заявляли?

— Нет. То есть, я хотел, но предпочел во избежании всяких осложнений, умолчать.

— Каких же осложнений? — спросил я. Но он пропустил мимо ушей этот вопрос и продолжал:

— Стучу я тогда в стенку. Приходит ко мне какая-то морда, а я говорю: позовите мне хозяина гостиницы. Так и так, — говорю я хозяину, — выйти мне не в чем по причине совершившегося хищения, будьте настолько человеколюбивы, войдите в положение! «А мне-то какое дело до вашего положения? — отвечает он. — Вы лучше скажите, кто мне за номер теперь платить будет, да, кроме того, за самовар, да сорок копеек за прописку?» — Ясно, говорю я, что никто! А, кроме того, не найдется ли у вас каких-нибудь поношенных брюк? — Он и слушать ничего не хотел, но тогда я, будучи доведен событиями до отчаяния, заявил ему: хорошо, в таком случае я без оных, в натуральном виде, выйду сейчас в вашу столовую, вследствии чего получится колоссальный скандал, так как я видел через дверь, что туда сейчас прошла приезжая дама с дочкою, из тринадцатого номера, а кроме того, там за буфетом сидит ваша престарелая тетка — женщина почтенная и положительная.

Тогда он разразился ругательствами, ушел и, вернувшись, принес мне это отрепье. Я ужаснулся, но выбора не было.

— Что же вы теперь думаете делать?

— Костюм... Прежде всего, как только первая получка, так сразу же костюм. А иначе в таком виде со мной разговаривать никто не хочет. А потом женюсь.

— Что-о?

— Женюсь, говорю. В этом городе вдов очень много. Специально сюда за этим ездят. Все бывшие офицерские жены, а мужья у них в эмиграции. Тут в два счета можно. Меня наша курьерша обещала познакомить с одной. Домик, говорит, у нее свой, палисадник с цветами и пианино. Костюм только надо. Ведь не явишься же свататься в таком виде? — И он огорченно пожал плечами.

— Чаю бы недурно стакан, — сказала Рита, вставая. — Буфет в третьем классе открылся уже.

Мы поднялись и позвали его с собой.

— С удовольствием бы, — ответил он, галантно раскланиваясь. — Однако предупреждаю: временно нищ, как церковная крыса, и не имею ни сантима, но, если позволите...

С Ритой он был вежлив до крайности, держал себя с достоинством, как настоящий джентльмен, хотя правой рукой то и дело незаметно поддергивал штаны.

Впоследствии, когда нас безнадежно выперли с вокзала, он оказал нам неоценимую услугу: на запасных путях он разыскал где-то старый товарный вагон, в котором ночевали обыкновенно дежурные смазчики, подвыпившие стрелочники и случайно приехавшие железнодорожные рабочие.

Он устроился сначала там сам, потом похлопотал и за нас перед тамошними обитателями, и мы тоже въехали туда.

Однажды вечером все замызганные обитатели дырявого вагона дружными хлопками и поощрительными криками приветствовали возвращение Некопарова.

Он был одет в новенькие брюки в полоску, в рубаху «апаш», на ногах его были желтые ботинки «джимми» с узкими, длинными носками. Вся щетина была снята, волосы зачесаны назад, и вид у него был гордый и самодовольный.

— Кончено! — авторитетно изрек он.— Больше влачить жалкое существование не намерен. Отныне начинается эра новой жизни. Ну-с, как вы меня находите? — И он подошел к нам.

— Вы великолепны! — сказал ему я.— Ваш успех у вдовы гарантирован, и вы смело можете начинать атаку.

Некопаров вынул пачку папирос «Ява, I-й сорт, б» и предложил закурить; потом он извлек из кармана апельсин и преподнес его Рите. Очевидно, он был доволен тем, что в свою очередь может сделать приятное нам.

Весь вечер он услаждал слух обитателей вагона ариями из «Сильвы». У него был не сильный, но приятный баритон.

Подвыпивший деповский слесарь, проживающий здесь по той причине, что его уже третий день за пропитую получку не пускала домой жена, расчувствовался совсем, достал из кармана полбутылки и на глазах у всех единолично выпил прямо из горлышка «за здоровье и счастье уважаемого товарища — артиста Некопарова».

А Некопаров произнес ответную речь, в которой благодарил всех присутствующих за оказанный ему радостный

прием. Потом кто-то внес дельное предложение, что недурно было бы для такого радостного события выпить вскладчину. Предложение было принято. И Некопаров, как виновник торжества, выложил два целковых, а остальные — кто полтинник, кто двугривенный. В общем, набрали. Послали Петьку-беспризорного за четвертью водки, за ситным и за студнем. Не за тем студнем, который вокзальные торговки грязными лапами продают по гривеннику за фунт, а за тем, который в кооперативном киоске отвешивают в бумагу по тридцати копеек за кило.

И такая это была веселая ночь! Уж не стоит и говорить, что Некопаров в единственном числе изобразил весь первый акт пьесы Островского «Лес»! Или что чумазый Петька-беспризорный, настукивая обглоданными костями, как кастаньетами, пел ростовское «Яблочко»! Взялась под конец откуда-то гармония. И Некопаров, пошатываясь, встал и сказал:

— Прошу внимания, уважаемые граждане! По счастливому совпадению обстоятельств в нашем темном и неприглядном убежище, посреди грубых и малокультурных, но вместе с тем и очень милых людей...

— Посреди раклов,— поправил кто-то.

— Вот именно, посреди людей, волею судьбы опустившихся до грязного пола пропахшего нефтью вагона, оказалась женщина из другого, неизвестного мира, мира искусств и красоты! И я беру на себя смелость от имени всех здесь собравшихся просить ее принять участие в нашем скромном празднике.

Он подошел к Рите и, вежливо поклонившись, подал ей руку. Гармонист дунул «танго». И Некопаров, гордясь своей дамой, выступил в середину молча расступившегося круга.

Было полутемно в закопченном, тусклом вагоне. В углу яростно трещало пламя в раскаленной докрасна железной печке, и по загорелым, обросшим щетиной лицам бегали красные пятна и черные тени, а в глазах, жадно всматривающихся в изгибы мрачного танца, вспыхивали желтые огоньки.

— Танец...— раздумчиво, пьяным голосом проговорил выгнанный женою слесарь.— Это танец...

— Чего танец?

— Так... Эх, есть и живут же люди! — с оттенком зависти сказал он.

Но никто не понял, про что это, собственно, он говорит.

Потом Рита, под прихлопывания и присвистывания, танцевала с Петькой-беспризорным «русскую». К вагону подошел охранник и, постучав прикладом в дверь, закричал, чтобы не шумели. Но охранника дружным хором послали подальше, и он ушел, ругаясь.

Однако под конец перепились здорово: перед тем, как лечь спать, в вагон понатащили каких-то баб, потом потушили огни и возились с бабами по темным углам до рассвета.

Город начинал надоедать. Город — скучный, сонный. Как-то развернул я газету и рассмеялся: там было извещение о том, что «созывается особая междуведомственная комиссия по урегулированию уличного движения». Что же тут регулировать? Разве что редко-редко придется остановить пару-другую нагруженных саксаулом ишаков и пропустить десяток навьюченных верблюдов, отправляющихся в пески Мервского оазиса.

Через три дня мы на заработанные деньги взяли билеты до Красноводска. Заходили прощаться в вагон. Некопаров был грустен.

— Черт его знает! — говорил он. — Получил жалованье, купил костюм, а до следующей получки еще десять дней. Жрать нечего. Следовательно, придется завтра продать ботинки.

Думаю, что к моменту получки он был опять в своем замечательном облачении.

Слева — горы, справа — пески. Слева — зеленые, орошенные горными ручьями луга, справа — пустыня. Слева — кибитки, как коричневые грибы, справа — ветви саксаула, как издохшие змеи, иссушенные солнцем. Потом пошла голая, растресканная глина. Под раскаленным солнцем, точно пятна экземы, проступал белый налет соли.

— Тебе жарко, Рита?

— Жарко, Гайдар! Даже на площадке не лучше. Пыль и ветер. Я жду все — приедем к морю, будем купаться. Смотри в окно, вон туда. Ну, что это за жизнь?

Я посмотрел. На ровной, изъеденной солью глине, окруженная чахоточными клочьями серых трав, одиноко стояла рваная кибитка. Возле нее сидела ободранная собака да, поджав под себя ноги, медленно прожевывал жвачку облезший, точно ошпаренный кипятком, верблюд; не поворачивая головы, он уставился равнодушно в прошлое тысячилетий, в мертвую стену бесконечной цепи персидских гор.

Вот уже две недели, как мы с Николаем работаем грузчиками в Красноводске. Две долгих недели таскаем мешки с солью и сушеной рыбой, бочонки с прогорклым маслом и тюки колючего прессованного сена.

Возвращаемся домой — в крохотную комнатушку на окраине города, возле подошвы унылой горы, и там Рита кормит нас похлебкой и кашей. Две недели подряд похлебка из рыбы и каша из пшенной крупы. Зарабатываем мы с Николаем по рубль двадцать в день, и нам нужно во что бы то ни стало сколотить денег, чтобы переехать море, ибо больше от Красноводска никуда пути нет.

«Проклятый богом», «каторжная ссылка», «тюремная казарма» — это далеко еще не все эпитеты, прилагаемые населением к Красноводску. Город приткнулся к азиатскому берегу Каспийского моря, моря, у берегов которого жирной нефти больше, чем воды. Вокруг города мертвая пустыня — ни одного дерева, ни одной зеленой полянки. Квадратные, казарменного типа дома; пыль, въедающаяся в горло, да постоянный блеск желтого от пыли, горячего беспощадного солнца.

«Скорее бы уехать! Только скорее бы дальше! — мечтали мы. — Там, за морем, Кавказ, мягкая зелень, там отдых, там покой, все там. А здесь только каторжная работа и раскаленная пустыня, да липкая, жирная от нефти пыль».

Вечером, когда становилось чуть прохладней, мы раскидывали плащи по песку двора, варили ужин, делились впечатлениями и болтали.

— А ну, сколько нам надо еще денег?

— Еще десять. Значит, неделя работы с вычетом на еду.

— Ух, скорей бы! Каждый день, когда отсюда уходит пароход, я не нахожу себе места! Я бы сошла с ума, если бы меня заставили здесь жить. Ну, чем здесь можно жить?

— Живут, Рита, живут и не сходят с ума. Рождаются, женятся, влюбляются — все честь честью.

Рита вспомнила что-то и засмеялась.

— Знаешь, я была на базаре сегодня. Ко мне подошел грек. Так, довольно интеллигентное лицо. Он торгует фруктами. В общем, мы разговорились. Проводил он меня до самого дома. Но хитрый, все звал к себе в гости. Все намекал на то, что я ему нравлюсь и все такое. Потом я зашла к нему в лавку и попросила его взвесить мне фунт компота. Смотрю, он свесил не фунт, а два и, кроме того, наложил полный кулек яблок. Я спрашиваю его: сколько? А он засмеялся и говорит: «Для всех рубль, а для вас ничего». Я взяла все, сказала: «спасибо» — и ушла.

— Взяла? — с негодованием переспросил Николай. — Ты с ума сошла, что ли?

— Вот еще, что за глупости! Конечно, взяла. Кто его за язык тянул предлагать? Ему рубль что? А для нас, глядишь, на один день раньше уедем.

Однако Николай нахмурился и замолчал. И молчал до тех пор, пока она не шепнула ему тихонько что-то на ухо.

Перед тем, как лечь спать, Рита подошла ко мне и обняла за шею.

— Отчего ты какой-то странный?

— Чем странный, Рита?

— Так. — Потом помолчала и внезапно добавила: — А все-таки, все-таки я очень люблю тебя.

— Почему же «все-таки», Рита?

Она смутилась, пойманная на слове:

— Зачем ты придираешься? Милый, не надо! Скажи лучше, что ты думаешь?

И я ответил:

— Думаю о том, что завтра должен прийти пароход «Карл Маркс» с грузом, и у нас будет очень много работы.

— И больше ни о чем? Ну, поговори со мной, спроси меня о чем-нибудь?

Я видел, что ей хочется вызвать меня на разговор, я чувствовал, что я спрошу ее о том, о чем собираюсь спросить уже давно. И потому я ответил сдержанно:

— Спрашивать дорогу у человека, который сам стоит на перепутье, бесполезно. И я ни о чем не спрошу тебя, Рита, но когда ты захочешь сказать мне что-либо, скажи сама.

Она задумалась, ушла. Я остался один. Сидел, курил папиросу за папиросой, слушал, как шуршит осыпающийся

со скалы песок да перекатываются гальки по отлогому берегу.

Вошел в комнату. Рита уже спала. Долго молча любовался дымкою опущенных ресниц. Смотрел на знакомые черточки смуглого лица, потом укутал ей ноги сползшим краем одеяла и поцеловал ее в лоб — осторожно, осторожно, чтобы не услышала.

В тот день работа кипела у нас вовсю. Бочонки перекатывались, как кегельные шары, мешки с солью чуть не бегом таскали мы по гнущимся подмосткам, и клубы белой пыли один за другим взметывались над сбрасываемыми пятипудовиками муки.

Мы работали в трюме, помогая матросам закреплять груз на крюк стального троса подъемного крана. Мы обливались потом, мокрая грудь казалась клейкой от мучной пыли, но отдыхать было некогда.

— Майна,— отчаянным голосом кричал трюмовой матрос,— майна помалу... Стоп... Вира.

Железные цепи крана скрипели, шипел выбивающийся пар, стопудовые пачки груза то и дело взлетали наверх.

— Я не могу больше! — пересохшими губами пробормотал, подходя ко мне, Николай.— У меня все горло забито грязью и глаза засыпаны мукой.

— Ничего, держись,— облизывая языком губы, отвечал я.— Крепись, Колька, еще день-два.

— Полундра! — крикнул разгневанно трюмовой.— Долой с просвета!

И Николай еле успел отскочить, потому что сверху тяжело грохнулась спущенная пачка плохо прилаженных мешков; один из них, сорвавшись, ударил сухим жестким краем Николая по руке.

— Эх, ты!.. Мать твою бог любил! — зло выругался матрос.— Не суй башку под кран!

Через несколько минут Николай, сославшись на боль в зашибленном локте, ушел домой.

Мы работали еще около двух часов. Матрос то и дело крыл меня крепкой руганью то в виде предостережений, то в виде поощрения, то просто так. Работал я как наводчик-артиллерист в пороховом дыму. Ворочал мешки, бросался к ящикам, сдергивал войлочные тюки. Все это надо

было быстро приладить на разложенные на полу цепи, и тотчас же все летело из трюма вверх, в квадрат желтого, сожженного неба...

— Баста! — охрипшим голосом сказал матрос, надевая на крюк последнюю партию груза.— Поднажали сегодня. Давай, браток, наверх курить!

Пошатываясь от усталости, выбрались на палубу, сели на скамейку, закурили. Тело клейкое, горячее, ныло и зудело. Но не хотелось ни умываться, ни спускаться по сходням на берег. Хотелось сидеть молча, курить и не двигаться. И только когда заревела сирена корабля, спустился и лениво пошел домой.

Сирена заревела еще раз, послышался лязг цепей, крики команды, клокотание бурлящей воды и, сверкая огнями, пароход медленно поплыл дальше, к берегам Персии.

Рита и Николай сидели у костра. Они не заметили, что я подходил к ним. Николай говорил:

— Все равно... Рано или поздно... Ты, Рита, чуткая, восприимчивая, а он сух и черств.

— Не всегда,— помолчав, ответила Рита,— иногда он бывает другим. Ты знаешь, Николай, что мне нравится в нем? Он сильнее многих и сильнее тебя. Не знаю, как тебе объяснить, но мне кажется, что без него нам сейчас было бы намного труднее.

— При чем тут сила? Просто он больше обтрепан. Что это ему, в первый раз, что ли? Привычка, и все тут!

Я подошел. Они оборвали разговор. Рита принесла мне умыться.

Холодная вода подействовала успокаивающе на голову, и я спросил:

— Обедали?

— Нет еще. Мы ждали тебя.

— Вот еще, к чему было ожидать? Вы голодны, должно быть, как собаки!

Перед тем как лечь спать, Рита неожиданно попросила:

— Гайдар, ты знаешь сказки. Расскажи мне!

— Нет, Рита, я не знаю сказок. Я знал, когда был еще совсем маленьким, но с тех пор я позабыл.

— А почему же он знает, почему он не позабыл? Он же старше тебя! Чего ты улыбаешься? Скажи, пожалуйста, что

это у тебя за манера всегда как-то снисходительно, точно о маленьком, говорить о Николае? Он тоже это замечает. Он только не знает, как сделать, чтобы этого не было.

— Подрасти немного. Больше тут ничего не поделаешь, Рита. Откуда у тебя эти цветы?

— Это он достал. Знаешь, он сегодня зашиб себе руку и, несмотря на это, залез вон на ту вершину. Там бьет ключ, и около него растет немного травы. Туда очень трудно забратся. Почему ты никогда не достанешь мне цветов?

Я ответил ей:

— У меня мало времени для цветов.

На следующий день была получка. Завтра уезжать. Чувствовали себя по-праздничному. Пошли купаться. Рита была весела, плавала по волнам русалкой, брызгалась и кричала, чтобы мы не смели ловить ее. Однако на Николая нашла какая-то дурь. Невзирая на предупреждение Риты, он подплыл к ней. И то ли потому, что я плавал в это время далеко, а ей стало неловко наедине с Николаем, то ли потому, что ее рассердила подчеркнутая его фамильярность, но только она крикнула что-то резкое, заставившее его побледнеть и остановиться. Несколько сильных взмахов — и Рита уплыла прочь, за поворот, к тому месту, где она раздевалась.

Оделись, Николай был хмур и не говорил ни слова.

— Надо идти покупать билеты на завтра. Кто пойдет?

— Я,— ответил он резко.

По-видимому, ему тяжело было оставаться с нами.

— Ступай.— Я достал деньги и передал ему.— Мы будем, вероятно, дома.

Он ушел. Мы долго еще грелись и сохли на солнце. Рита выдумала новое занятие — швырять гальки в море. Она сердилась, что у нее получается не больше двух кругов, тогда как у меня — три и четыре. Когда пущенный ею камень случайно взметнулся над водою пять раз, она захлопала в ладоши, объявила себя победительницей и заявила, что швырять больше не хочет, а хочет взбираться на гору.

Долго в этот вечер мы лазали с ней, смеялись, говорили и к дому подходили усталые, довольные, крепко сжимая друг другу руки.

Николая, однако, еще не было.

«Вероятно, он приходил уже, не застал нас и пошел разыскивать»,— решили мы.

Однако прошел час, другой, а он все не возвращался. Мы забеспокоились.

Николай вернулся в двенадцать часов ночи. Он не стоял на ногах, был абсолютно пьян, выругал меня сволочью, заявил Рите, что любит ее до безумия, потом обозвал... проституткой и, покачнувшись, грохнулся на пол. Долго он что-то бормотал и наконец уснул.

Рита молчала, уткнувшись головой в подушку, и я видел, что вот-вот она готова разрыдаться.

В карманах Николая я нашел двадцать семь копеек; билетов не было, и все остальное было пропито, очевидно, в кабаке с грузчиками.

Утро было тяжелое. Николай долго молчал, очевидно, только теперь начиная сознавать, что он наделал.

— Я подлец,— глухо сказал он,— и самое лучшее было бы броситься мне с горы вниз башкой.

— Глупости,— спокойно оборвал я.— Ерунда... С кем не бывает. Ну, случилось... Ну, ничего не поделаешь. Я сегодня пойду в конторку и скажу, чтобы нас зачислили на погрузку опять. Поработаем снова. Беда какая!

Днем Николай лежал. У него после вчерашнего болела голова. А я опять таскал мешки, бочонки с прогорклым маслом и свертки мокрых, невыделанных кож.

Когда я вернулся, Риты не было дома.

— Как ты себя чувствуешь, Николай? Где Рита?

— Голова прошла, но чувствую себя скверно. А Риты нет. Она ушла куда-то, когда я еще спал.

Вернулась Рита часа через два. Села, не заходя в комнату, на камень во дворе, и только случайно я увидел ее.

— Рита,— спросил я, кладя ей руку на плечо.— Что с тобой, детка?

Она вздрогнула, молча стиснула мне руку... Я тихо гладил ей голову, ничего не спрашивая, потом почувствовал, что на ладонь мне упала крупная теплая слеза.

— Что с тобой? О чем ты? — И я притянул ее к себе. Но вместо ответа она уткнулась мне головой в плечо и разрыдалась.

— Так,— проговорила она через несколько минут.— Так, надоело. Проклятый город, пески... Скорей, скорей надо отсюда!

— Хорошо,— сказал я твердо.— Мы будем работать на погрузке по шестнадцать часов, но мы сделаем так, что пробудем здесь не больше десяти дней.

Однако вышло все несколько иначе. На другой день, когда я вернулся, Николай хмуро передал мне деньги.

— Где ты достал? — удивленно спросил я.

— Все равно,— ответил он, не глядя мне в глаза.— Это все равно где!

И вечером огромная старая калоша — ржавый корабль «Марат» — отчалила вместе с нами от желтых берегов, от глиняных скал «каторжного» города.

Кавказ встретил нас приветливо. За три дня в Баку мы заработали почти столько же, сколько за две недели работы в Красноводске.

Мы поселились в плохоньком номере какого-то полупроститутского притона. Были мы обтрепаны, истерты, и у шпаны, заполнявшей соседние пивные, сошли за своих. Рита в представлении героев финок и кокаина была нашей шмарой, и к ней не приставали... Обедали мы в грязных, разбросанных кругом базара харчевнях. В них за двугривенный можно было получить «хаши» — кушанье, к которому Рита и Николай долго не смели притрагиваться, но потом привыкли.

«Хаши» — блюдо кавказского пролетария. Это выполосканная, разрезанная на мелкие кусочки вареная требуха, преимущественно желудок и баранья голова. Наворотят требухи полную чашку, потом туда наливается жидкая горчица и все это густо пересыпается крупной солью с толченым чесноком.

В этих харчевнях всегда людно. Там и безработные, и грузчики, и лица без определенной профессии, те, которые околачиваются около чужих чемоданов по пристаням и вокзалам. Шныряют услужливые личности в толстых пальто, во внутренних карманах которых всегда найдутся бутылки с крепким самогоном.

Гривенник в руку — и незаметно, непостижимым образом наполняется чайный стакан, потом быстро опрокиды-

вается в горло покупателя, и снова толстое пальто застегнуто,— и дальше, к соседнему столу.

В дверях покажется иногда милиционер, окинет пытливым взглядом сидящих, безнадежно покачает головою и уйдет: пьяные не валяются, драки нет, явных бандитов не видно, в общем, сидите, мол, сидите, голубчики, до поры до времени.

И вот в одной из таких харчевен я случайно встретился с Яшкой Сергуниным — с милым по прошлому, по дружбе огневых лет Яшкой.

Хрипел граммофон, как издыхающая от сапа лошадь. Густые клубы пахнущего чесноком и самогоном пара поднимались над тарелками. Яшка сидел за крайним столиком и, вопреки предостережениям хозяина-грека, доставал открыто из кармана полбутылки, отпивал прямо из горлышка и принимался снова за еду.

Долго я всматривался в одутловатое, посиневшее лицо, глядел на мешки под ввалившимися глазами и узнавал Яшку, и не мог узнать его. Только когда повернулся он правой стороной к свету, когда увидел широкую полосу сабельного шрама поперек шеи, я встал и подошел к нему, хлопнул его по плечу и крикнул радостно:

— Яшка Сергунин... Милый друг! Узнаешь меня?

Он, не расслышав вопроса, враждебно поднял на меня тусклые, отравленные кокаином и водкой глаза, хотел выругаться, а может быть, и ударить, но остановился, смотрел с полминуты пристально, напрягая, по-видимому, всю свою память. Потом ударил кулаком по столу, перекривил губы и крикнул:

— Сдохнуть мне, если это не ты, Гайдар!

— Это я, Яшка. Идиот ты этакий! Сволочь ты... Милый друг, сколько лет мы с тобой не виделись? Ведь еще с тех пор...

— Да,— ответил он.— Верно. С тех пор... С тех самых пор.

Он замолчал, нахмурился, вынул бутылку, отпил из горлышка и повторил:

— Да, с тех самых пор.

Но было вложено в эти слова что-то такое, что заставило меня насторожиться. Боль, словно капля крови, выступившая из надорванной старой раны, и враждебность ко мне, как к камню, из-за которого надорвалась эта рана...

— Ты помнишь? — сказал я ему.

Но он оборвал меня сразу.

— Оставь! Мало ли что было. На вот, пей, если хочешь,— и добавил с издевкой:— Выпей за упокой.

— За упокой чего?

— Всего!— грубо ответил он. Потом еще горячей и резче:— Да, всего, всего, что было!

— А было хорошо,— опять начал я.— Помнишь Киев, помнишь Белгородку? Помнишь, как мы с тобой все варили и никак не могли доварить гуся? Так и съели полусырым! А все из-за Зеленого.

— Из-за Ангела,— хмуро поправил он.

— Нет, из-за Зеленого. Ты забыл, Яшка. Это было под Тирасполем. А нашу бригаду? А Сорокина? А помнишь, как ты выручал меня, когда эта чертова ведьма — петлюровка меня в чулане заперла?

— Помню. Все помню!— ответил он. И бледная тень хорошей, прежней Яшкиной улыбки легла на отупевшее лицо.— Разве это все... Разве это все забудешь, Гайдар! Э-э-эх!— точно стон сорвалось у него последнее восклицание. Губы перекосились, и хрипло, бешено он бросил мне:— Оставь, тебе сказано!.. Не к чему все это. Оставь, сволочь!

Окутался клубами махорочного дыма, допил до конца свой стакан самогона, и растаяла навсегда призрачная тень Яшкиной улыбки.

— Зачем ты в Баку? Так шляешься или по ширме лазишь?

— Нет.

— Ты что, ты, может, в партии еще?

— А что?

— Так. Подлец на подлеце верхом сидит. Бюрократы все...

— Неужели же все?

Он промолчал.

— Я на киче был. Вышел, работу хотел — нету. Тут тысячи безработных возле порта шляются. Пошел к Ваське. Помнишь Ваську, он у нас комиссаром второго батальона был? Тут теперь. В Совнаркоме здешнем работает. Два часа в приемной его дожидался. Так-таки в кабинет и не пустил, а сам зато вышел. «Извини,— говорит,— занят был. Сам знаешь. А насчет работы — ничего не могу. Тут безработица, сотни человек за день приходят. А ты к тому же не член союза». Я чуть не захлебнулся. Два часа держать, а потом: «ничего не могу!» Сволочь, говорю ему, я хоть и не член

союза, так ты знаешь же меня, кто я и какой я! Передернуло его. Народ в приемной, а я такое завернул. «Уходи,— говорит,— ничего не могу. И осторожней выражайся — это тебе не штаб дивизии в девятнадцатом». А! — говорю я ему.— Не штаб дивизии, подлец ты этакий! Как развернулся да хряснул его по роже!

— Ну?

— Сидел три месяца. А мне наплевать, хоть три года. Теперь мне на все вообще наплевать. Мы свое отжили.

— Кто мы?

— Мы,— ответил он упрямо.— Те, которые ненавидели... ничего не знали, ни на что не смотрели, вперед не заглядывали и дрались, как дьяволы, а теперь никому и ни зачем...

— Яшка! Да ведь ты теперь даже не красный!

— Нет! — с ненавистью ответил он.— Задушил бы всех подряд — и красных, и белых, и синих, и зеленых!

Замолчал. Пошарил рукой в бездонных рваных карманах, вытащил опять полбутылки.

Я встал. Тяжело было.

И я еще раз посмотрел на Яшку, того самого, чья койка стояла рядом с моей, чья голова была горячей моей! Яшку — курсанта, Яшку — талантливого пулеметчика, лучшего друга огневых лет! Вспомнил, как под Киевом, с надрубленной головой, он корчился в агонии и улыбался. И еще тяжелей стало от боли за то, что он не умер тогда с гордой улыбкой, с крепко зажатым в руке замком, выхваченным из короба попавшего к петлюровцам пулемета...

Мечется Кура, стиснутая плитами каменных берегов, бьет мутными волнами о каменные стены древних построек Тифлиса. Ворочает камни, дымится пеною, бьет о скалы и злится старая ведьма — Кура.

В Тифлисе огней ночью больше, чем звезд в августе.

Тифлисская ночь — как сова: трепыхается, кричит в темноте, хохочет, будоражит и не дает спать...

А у нас — все одно и то же: вокзалы, каменные плиты холодного пола, сон как после порции хлороформа,— и толчок в спину.

— Э-эй, вставайте, граждане, документы!

В Тифлисе агенты дорожной ЧК затянуты узенькими ремешками в рюмочку. Маузер с серебряной пластинкой,

шпоры с польским звоном, сапоги в звездных блестках, и лицо — всегда только что от парикмахера.

— Вставай и выметайся с вокзала, товарищ! Кто ты? Даю документы — не смотрит.

— Дай другой. Покажи, что это у тебя за толстая бумага в записной книжке вложена?

— Это... это договор.

— Что такое за договор?

— Плюньте, товарищ агент! Ничего опасного: договор — это еще не заговор. Просто написал книгу, продал ее и заключил договор.

Усмешка:

— А, так, значит, ты книжный торговец! Нет, нельзя на вокзале. Выметайтесь!

На небе звезды, под звездами — земля. На земле в углу, за вокзалом, сваленная куча бревен. Сели.

Черной, зловещей тенью плывет милиционер. Прошел раз, прошел два, остановился. И не сказал даже ни слова, а просто махнул рукой, что означает: «А ну-ка, выметайтесь, нельзя здесь сидеть, не полагается».

Ушли. Но поймите, товарищ милиционер! В асфальте сырого тротуара, в бревнах для постройки не будет ямы оттого, что на них отдохнут трое уставших бродяг.

Полосатые, как костюмы каторжников, версты показали нам, что первая сотня пройдена. Далеко позади Тифлис, далеко солнечная долина древнего Мцхета, позади каменная крепость развалившегося Анаури. А дорога все вьется, кружит, забирает в горы, и снежные вершины Гудаурского перевала все ближе и ближе.

Мы идем пешком по Грузии. Идем пятый день, ночуем в горах у костра. Пьем дешевую, но холодную и вкусную ключевую воду, варим баранью похлебку, кипятим дымный чай и идем дальше.

— Гайдар! — сказала мне наконец обожженная солнцем и оборванная Рита.— Скажи, зачем все это? Зачем ты выдумал эту дорогу? Я не хочу больше ни Грузии, ни Кавказа, ни развалённых башен. Я устала и хочу домой!

Николай раздраженно вторил:

— Было бы гораздо проще сесть на поезд в Тифлисе, доехать до Сталинграда, а оттуда — домой. Ты измучишь ее,

и вообще заставлять женщину лазать по этим чертовым горам — глупо.

Я рассердился:

— Еще проще и умнее спать на мягкой полке вагона первого класса или сидеть дома. Не так ли? Посмотри, Рита, видишь впереди белый коготь снежной горы? В спину жжет солнце, а оттуда дует холодный снежный ветер!

Но Николай продолжал бормотать:

— Чего хорошего нашел? Сумасшествие! Это кончится тем, что она схватит воспаление легких. Ты играешь ее здоровьем!

Так всегда: чем нежнее, чем заботливей становится он, тем холоднее и сдержанней я...

Когда Рите понравился какой-то цветок, Николай едва не сломал себе голову, взбираясь на отвесную скалу. Сорвал и принес ей. А в этот же вечер, возвращаясь с куском бараньего мяса, купленным в домишке, до которого, если дважды подряд добраться, то на третий сдохнешь, я увидел, что Николай у костра целует Риту в губы. «Очевидно, за цветок»,— подумал я и, усмехнувшись, посмотрел на свои руки, но в руках у меня цветка не было, а был только ломоть мяса на ужин...

Вечером в этот день встречный отряд конной милиции предупредил нас, что где-то близко рыщут всадники из банды Чалакаева — горного стервятника, неуловимого и отъявленного контрреволюционера.

Ночью мне не спалось. Все время чудился шорох внизу, чей-то шепот и лошадиное фырканье. Я спустился вниз к ручью и, осторожно раздвинув кусты, увидел при лунном свете пятерых всадников.

Встревоженный, я быстро полез обратно предупредить спящих товарищей и затушить угли костра. На бегу я налетел на какого-то человека, который со всего размаха ударил меня в плечо. В темноте мы схватились мертвой, цепкой хваткой. Я был, очевидно, сильней, потому что повалил человека и душил его за горло, наступив коленом на откинутую руку, сжимавшую кинжал.

Человек не мог размахнуться и, направив клинок к моему правому бедру, медленно вдавливал мне острие в тело. И клинок входил все глубже и глубже. Окаменев, стиснув зубы, я продолжал зажимать ему горло, пока он не захрипел. Наконец от подсунул под мою грудь свою левую руку

и попробовал перехватить в нее клинок. Если бы ему это удалось, я погиб бы наверняка.

Я отпустил горло и скрутил ему руку; клинок, звякнув, упал куда-то на камни, а мы, сжимая друг друга, начали перекатываться по земле. Я видел, что он пытается вытащить из кобуры револьвер. «Хорошо,— мелькнула у меня счастливая мысль,— пусть вытаскивает». Я быстро отпустил его руки. Пока он расстегивал кнопку кобуры, я поднял тяжелый камень и со всего размаха ударил его по голове. Он вскрикнул, рванулся: хрястнули сломанные кусты, и, не выпуская друг друга, мы оба полетели вниз.

Когда я очнулся, незнакомец лежал подо мной и не дышал. Он разбился о камни. Я разжал пальцы. Скорее наверх, скорей к Рите. Встал, шагнул, но тотчас же зашатался и сел.

«Хорошо,— подумал я,— хорошо, а все-таки я подыму тревогу, и они успеют скрыться». Вынув из-за пояса убитого наган, я нажал собачку и дважды бабахнул в воздух.

Горное эхо загрохотало по ущелью громовыми перекатами. И не успели еще утихнуть запутавшиеся в уступах скал отголоски выстрелов, как далеко справа послышались тревожные крики.

Они бросятся сейчас сюда, вся ватага, должно быть. А я не могу бежать! У меня кружится от удара голова. Но тотчас же я вспомнил Риту. Риту, которую нужно было спасти во что бы то ни стало! Усевшись на камни, я усмехнулся и, подняв черный горячий наган, начал садить в звезды выстрел за выстрелом.

Минут через пять раздался лошадиный топот. Я отполз на два шага к берегу, под которым клокотали волны сумасшедшей Арагвы. Всадники переговаривались о чем-то по-грузински, но я понял только два, самые нужные мне слова: «Они убежали!»

Больше ничего мне и не надо было. В следующую же секунду конь одного из всадников захрапел, споткнувшись о труп моего противника. Остановились, соскочили с седел. Посыпались крики и ругательства. Потом зажглась спичка. И ярко вспыхнула зажженная кем-то бумага.

Но прежде чем глаза бандитов успели разглядеть что-либо, я, закрыв глаза, бросился вниз, в черные волны бешеной Арагвы.

Сколько времени швыряли и ломали меня гребни Арагвы, сказать трудно. Помню только: захлестывало горло, ударяло в спину концом какого-то обломка дерева...

Помню, что у поворота швырнуло к берегу на камень и тотчас же потащило назад. Инстинктивно ухватившись за острый выступ, я напряг остатки сил и держался до тех пор, пока торопящаяся Арагва не разжала пальцев и, злобно плюнув мне в лицо холодной пеной, не умчалась дальше.

Выбрался на берег, хотел сесть, но, испугавшись, как бы налетевший с разбега партизанский отряд волн не смыл меня снова, сделал еще несколько шагов и упал.

Так прошла ночь. Утром поднялся разбитый, измученный, голова была тяжела, а в виски стучали молоточки мерно и ровно: тук-тук, тук-тук.

Я вздрогнул. Я не люблю и боюсь этого стука — это стучит темнота. Часто после такого постукивания в голову врывались сумерки, и тогда предметы теряли свои очертания, а краски и оттенки сливались в одно, и нога ступала наугад.

Тогда доктор I Московской психиатрической Моисей Абрамович укоризненно покачивал головой над койкой распределительной палаты и говорил ласково:

— Ай-ай, батенька, опять к нам. Ну, ничего. Два-три дня, и все поправится.

Потом, когда выписывали, жал мне руку и предупреждал:

— Ну, пожалуйста... образ жизни самый регулярный. Травма, истеропсихо... и т. д. Пожалуйста, чтобы больше не попадать[1].

И на руки выдавалась справка о том, что «во столько-то часов был доставлен в лечебницу в сумеречном состоянии».

[1] В письмах двадцатых годов А. Гайдар не раз упоминает об этой больнице и враче Моисее Абрамовиче, у которого лечился от травматического невроза — результата контузии в годы гражданской войны. Именно из-за этого диагноза писатель и был уволен из командного состава Красной Армии. В двадцать лет он стал запасным командиром полка, тогда как его сверстники лишь год спустя подлежали призыву на воинскую службу.

И почти всегда перед этим загадочным состоянием молоточки в виски: тук-тук...

«Рита! — вспомнил я и улыбнулся. — Скорей! Где она? Конечно, ожидает меня в том селении, которое было впереди по нашей дороге».

Сразу взялись откуда-то силы, перестало сжимать виски, и я зашагал вперед.

Шел весь день. Уставая, садился передохнуть, прикладывал к голове вымоченный в холодной ключевой воде платок... Вставал и шел опять.

Поздним вечером добрался до поселка. Зашел в один дом и спросил: не видали ли тут двух русских прохожих? Говорят: нет...

Зашел в другой. Тут мне объяснили, что не только видали, а могут даже показать, где они сейчас остановились. Мальчишка-грузин вызвался проводить.

«Рита вот сейчас обрадуется! Они, вероятно, измучились за меня. Думают бог знает что».

Мы остановились. Я отворил калитку, вошел во двор домика. Старик хозяин поздоровался и повел меня в дом.

— А где наши? — крикнул я, не видя никого.

— Кто? Девушка с человеком? Они ушли еще утром.

— Ушли! — и я молча сел на скамейку.

— Они ушли и оставили письмо.

— Мне?

— Да, должно быть. Девушка сказала: «Если после нас тут пройдет человек, русский, белокурые волосы, одет так же, как этот, то передайте ему, пожалуйста, это письмо».

Я распечатал. Письмо — полное ненависти и презрения.

«Ты эгоист. Ты черств и сух, как никто, и думаешь только о себе. Вместо того, чтобы остаться с нами, ты при первых же выстрелах предпочел бросить нас, чтобы самому, не связанному ничем, прятаться и скрываться. В сегодняшнюю ночь я разгадала тебя. Николай ранен в руку, но все-таки не оставил меня. Твоя дорога отняла у меня много здоровья и нервов. Странствуй лучше один. Счастливого пути.

Рита».

Внизу приписка Николая.

«Я никак не ожидал от тебя этого. Это нечестно!»

— Нечестно, — пересохшими губами прошептал я. — А это честно — умышленно подтасовывать все? Даже если бы

Рита, которая знает меня меньше, могла допустить, разве ты... не должен был доказать, что это ложь, что этого не может быть? Это честно?

Молоточки застучали с удвоенной силой. Хозяин торопливо налил в глиняную чашку воды и подал мне. Я протянул руку, ту самую, которой душил ночью бандита,— рука была бледна и дрожала.

— Смотри, кровь!—испуганно сказал мальчик отцу.

Я сидел молча. Зубы начинали выбивать дробь. Становилось холодно.

Белым лоскутом мне перевязали раненое бедро.

Тук-тук-тук.

«Травма,—мелькнула у меня мысль.—Опять Моисей Абрамович».

Я долго смотрел на хозяина, потом сказал ему:

— Это пройдет. Позвоните по телефону 1-43-62 и передайте, что я опять болен.

Дальше обрывки.

Помню: проходил день, наступала ночь, потом как будто наоборот.

Помню, у изголовья подолгу сидел старик, успокаивал меня и рассказывал. Рассказывал он что-то странное: о какой-то горной, дикой стране, замкнутой и неприступной.

— Откуда это?

— Это? Это из страны рыцарей.

— Разве и сейчас есть рыцари?

— Да, и сейчас.

— А где?

— Там,—он мотнул головой по направлению к ущелью.—Надо идти много-много дней в горы. Но с этой стороны туда никто не ходит. Никто даже настоящих троп отсюда не знает. Кроме того, эти люди не любят, когда к ним приходят чужие.

— Кто они?

— Они... хевсуры.

Доставали какие-то бумаги у меня из карманов. Писали куда-то письма.

Однажды под вечер я проснулся. То есть я и не спал вовсе, но впечатление было такое, будто проснулся.

«Рита!—вспомнил я с ужасом.—Рита! Что ты делаешь?»

В доме было пусто. Порывисто встал, схватил какой-то мешок, сунул в него несколько чуреков. Снял со стены свой охотничий нож.

«Надо торопиться! — подумал я. — Надо скорей спешить, скорей объяснить все!»

Я выскочил из дома и незаметно вышел из селения. В сумерках быстро зашагал по дороге. Прошел с версту и вдруг опомнился.

«А куда я, собственно, иду? К Рите? Объяснять? А зачем? Стоит ли? Да и поздно уже, пожалуй, объяснять. Не стоит. Но куда же тогда? Если идти вперед некуда, то обратно нельзя. Но не стоять же посреди дороги!»

Я оглянулся.

В сумеречной торжественной тишине под заоблачной вышиной торчал хищный коготь снежной птицы — вершина далекой мрачной горы. Внизу — черное ущелье, внизу леса.

«Там — та горная страна, — подумал я. — Впрочем, все равно!»

Не раздумывая, не рассуждая, я свернул с дороги и быстро зашагал в открытую пасть загадочного ущелья.

Мне трудно сейчас сказать, сколько дней — четыре или шесть — я шел вперед.

Кажется, лазал, как лунатик, по головокружительным карнизам, натыкался на перерезающие путь скалы, возвращался обратно, загибал вправо, завертывал влево, кружил — и, наконец, потерял всякое представление о том, куда иду и откуда начал путь.

Кажется, ночи были прохладные. Ночами свистели разбойные ветры, ревели потоки, и выли по ночам не то волки, не то совы, да шумели листья дикого звериного леса.

Скоро наступил голод. Я лазал по деревьям. Доставал яйца каких-то черно-синих птиц. Поймал однажды в норе зверька, похожего на суслика, зажарил и съел.

И чем дальше забирался я, тем глуше, молчаливей и враждебней смыкалось кольцо гор, тем беспощаднее давили голову каменные громады уродливых скал. Не было ни малейшего признака человеческого жилья, дикой казалась сама мысль, что здесь может жить человек.

Только один раз была встреча. В тревожном шорохе дрожащего кустарника я столкнулся лицом к лицу со старым облезлым медведем. Он поднялся из логова, пристально посмотрел на меня, помотал головой и, лениво повернувшись, спокойно пошел прочь.

Эти дни голова у меня была горяча, ибо в ней, как в глиняном сосуде, в котором бродит виноградное вино, бродили без толку, бились о стены черепной коробки неокрепшие еще и несложившиеся мысли. Потом все перебродило, улеглось, страшная усталость начала сковывать тело. И однажды, взобравшись на поросший мхом каменистый холм, я уснул тяжелым, крепким сном. Тем самым сном, которым заканчивается припадок, сном, во время которого проходят сумерки и настает серый, но настоящий день.

Проснулся я от укола в спину. Повернулся, открыл глаза:

— Что это? Наяву или опять галлюцинация?

Прямо надо мною, возле двух коней, стояли два спешившихся всадника — два средневековых рыцаря. Один из них, с тонким ястребиным лицом, пересеченным шрамами, трогал меня кончиком острого копья.

Лица обоих незнакомцев выражали изумление и любопытство.

Я хотел подняться, но острие копья не позволило мне. Человек сказал что-то своему товарищу, потом поднял надо мной это узкое металлическое острие.

Меня поразило выражение лица этого человека. С таким выражением мальчишка стоит в лесу над прикорнувшей ящерицей и думает: разбить ей голову камнем или не стоит? Собственно, не к чему разбивать, а можно все-таки и разбить!..

Но другой ответил ему что-то и покачал головой.

— Камарджоба! Амханако! — по-грузински сказал я из-под копья.

Очевидно, первый понял, потому что чуть усмехнулся и, опустив копье, показал мне жестом, чтобы я встал.

Я поднялся, но тотчас же упал снова, сваленный ударом древка копья. И первый настороженно крикнул что-то, указывая на мой охотничий нож.

Я снял нож с пояса и протянул им.

Тут случилось нечто неожиданное. При виде хорошего клинка, оправленного в вороненые ножны, оба рванулись к нему.

Первый успел выхватить у меня нож раньше. Но другой с гортанным криком схватился за рукоятку своей кривой, тяжелой шашки. Первый отскочил и повторил его движение. Я думал, что вот-вот они схватятся и начнут рубить друг друга.

Но первый сказал что-то, второй согласился: они опустили руки, взяли копья и стали рядом. Первый размахнулся и изо всей силы бросил копье; оно со свистом пролетело мимо меня и оцарапало кору толстого дерева. Второй засмеялся и тоже метнул копье; оно, глухо стукнувшись, вошло в ствол того же дерева и осталось торчать там. Тогда первый нахмурился и молча протянул второму мой нож, потом подошел ко мне, приказывая знаками сесть верхом на его лошадь. Я сел. Он взял веревку и под брюхом лошади связал мне ноги. Потом оба вскочили в седла и, ударив нагайкой коней, понеслись вперед.

Лошади их были как змеи. Другая давно разбилась бы сама или разбила всадника о стволы дерева. А эти уверенно и спокойно извивались меж деревьев и мчались посреди чащи быстрой рысью.

Невольная дрожь пробежала по телу, когда мы узеньким полутороаршинным карнизом поехали над черной, бездонной пропастью. А когда за десятком поворотов кони остановились прямо перед башенками, обнесенными каменной стеной, перед небольшим, но настоящим замком, была уже ночь.

Заскрипели отворяющиеся ворота. Мы въехали во двор. Всадники соскочили. Нас окружило несколько человек. Кто-то развязал мне ноги и взамен этого скрутил руки. Кто-то взял за плечи и повел по узкому, сырому, заплесневелому коридору. Еще раз скрипнула дверь, и меня толкнули вниз. Пролетев несколько ступенек, я сел на пол. Дверь захлопнулась.

Я оглянулся: подвал — четыре шага на четыре. В маленькое, узенькое отверстие окна видны лошадиные ноги да краешек медной блестящей луны.

Прошло не менее часов четырех-пяти. Сверху доносились веселые крики, шум, монотонная музыка. Иногда топот, точно там плясали. Я продолжал лежать на полу. Крепко перевязанные руки затекли; пробовал было зубами

ослабить ремни — ничего не вышло. Стало еще, пожалуй, хуже, потому что намокшие от слюны ремешки набухли и еще крепче стиснули кисти рук.

Наконец раздался гулкий шум шагов, заскрипела дверь: за мной пришли. Я встал и в сопровождении конвоира, вооруженного только кинжалом, зажатым в правой руке, пошел туда, куда он подталкивал меня.

Распахнулась новая дверь, и я остановился у порога.

За большим длинным столом сидело человек пятнадцать хевсуров. На столе — прямо наваленные на доски — лежали кучами куски нарезанного вареного мяса; кругом стояли глиняные кувшины и роговые кубки с вином.

Хевсуры были без кольчуг, в мягких рубахах из бараньей кожи. Почти у каждого на боку болталась шашка, а за поясом один, а то и два кинжала. Здесь же, у стены, висела, очевидно, только что содранная, сырая шкура огромного медведя.

Один из хевсуров, в котором я узнал захватившего меня в плен (это был Улла, старший сын хозяина замка), занимался тем, что дразнил кончиком сабли прижавшегося к углу и злобно щелкавшего зубами дикого медвежонка. Когда я вошел, Улла бросил свое занятие, и все повернули головы в мою сторону. Он подошел ко мне и взмахнул ножом — я закрыл глаза. Но он только перерезал ремни, стягивавшие мне руки. Потом вложил кинжал в ножны и, взяв нагайку, спросил меня что-то на своем непонятном языке.

Я развел руками, показывая, что не могу ответить. Но он не поверил и со всего размаха вытянул меня нагайкой по плечу и по груди.

Я стиснул зубы. Он снова спросил, я снова покачал головой. Он жиганул меня нагайкой еще раз и опять произнес ту же самую фразу.

Во всех его вопросах повторялось слово «осетин».

— Нет, не осетин,— наугад ответил я.— Я русский.

Улла отложил нагайку, и между собравшимися поднялся спор. Кто-то сдернул с меня шапку и указал на мои белокурые волосы. Потом, очевидно, все пришли к одному и тому же выводу, и я несколько раз разобрал слово:

— Русский... русский...

И я понял, что быть русским в данную минуту лучше, нежели быть осетином.

Улла подошел к столу. Потом ему пришла в голову дикая мысль: он налил огромный рог крепкого вина и подал мне. Я был голоден, как собака, и знал, что если выпью все, то свалюсь с ног. Я отрицательно покачал головой. Улла снова взял нагайку. Тогда я протянул за кубком руку и, не отрываясь, выпил его до дна. Крики одобрения послышались со стороны сидящих за столом.

Улла налил второй раз. Больше я не мог выпить ни глотка. Он сунул мне рог в руку, но рука дрогнула, я выронил кубок, и разлитое вино потекло по полу.

Лицо оскорбленного Уллы перекосилось, и он, вероятно, избил бы меня до полусмерти, если бы из-за стола не встал один из хевсуров и не сказал ему что-то. Улла, ругаясь, сел на скамью и налил себе вина.

Хевсур, заступившийся за меня, был еще молод. Ему не было и двадцати пяти лет. Он был тонок, гибок и строен, а на боку у него болталась высеченная серебром кривая шашка, за которую — как мне потом сказали — было заплачено тремя быками и пятью пудами масла. Он протянул мне огромный жирный кусок мяса.

— Русский? — спросил он вполголоса.

— Да, — ответил я.

Он не сказал больше ничего. По-видимому, не столько потому, что у него не было слов, сколько потому, что Улла подозрительно, исподлобья смотрел на нас.

Из соседней комнаты вошла с вязанкой хвороста сгорбленная, жилистая старуха и бросила охапку на угли печи, похожей на камин. Улла указал ей на меня и крикнул мне, очевидно, приказывая следовать за ней.

Я пошел. Старуха сердито посматривала на меня. По темным коридорам мы спустились вниз и очутились на кухне. На земляном полу горел костер. Над костром урчал кипящий варевом большой медный котел. Старуха притащила мешок с зернами, бросила его в темный угол, зашамкали и подвела меня к тяжелым каменным жерновам, прилаженным в углу.

Я понял. Сел на землю и начал крутить огромные грубые камни, перемалывая зерно в муку.

Несколько раз на кухню забегал то один, то другой хевсуренок, с любопытством смотрел на меня, но тотчас же исчезал, выпроваживаемый сердитыми окриками старой ведьмы. Голова у меня кружилась от выпитого вина, вертеть камни я устал, но кончить не решался, потому что тю-

ремщица то и дело поглядывала на меня далеко не дружелюбно. Через некоторое время она вышла в одну из трех дверей; тогда в комнату осторожно, крадучись, вошла девушка. Она не заметила меня, и я перестал вертеть камни, наблюдая за ней из темного угла.

Девушка, во-видимому, кого-то дожидалась и чего-то боялась. Она быстро подскочила к той двери, из которой ушла старуха, и заперла дверь на засов. Сверху по лестнице послышались шаги, и вошел хевсур, тот самый, который заступился за меня.

— Рум! — радостно крикнула девушка и подбежала к нему. Но тотчас же омрачилась и стала быстро-быстро говорить, указывая пальцем наверх, откуда доносились пьяные голоса.

Я видел, как его узкие блестящие глаза загорелись, лицо нахмурилось, и он ласково ответил что-то, успокаивая ее. И в то же время я узнал, что полученное сообщение взволновало его, потому что он то и дело крепко стискивал рукоятку своей чеканной шашки. Вдруг девушка отскочила от него, потому что в запертую дверь постучали. Он скрылся на темной лестнице, ведущей наверх. Хевсурка хотела было выскользнуть в дверь, выводившую направо, в темный коридор, но из коридора донесся отдаленный звук шагов. Тогда она метнулась в угол, где, притаившись, сидел я, и хотела выпрыгнуть в узкое, распахнутое над самой землей окно. Неожиданно столкнувшись со мной, она испуганно бросилась назад, не зная, что ей теперь делать.

Я поднялся и махнул рукой, показывая, чтобы она поторопилась скрыться через окошко; она выпрыгнула как раз в ту минуту, когда в комнату вошел Улла. Старуха продолжала, ругаясь, стучать в дверь. Улла отпер засов и внимательно осмотрел все углы: он кого-то искал. Вошедшая старуха залопотала, кивая то на меня, то на дверь. Очевидно, обвиняла меня в том, что я якобы задвинул засов.

Но Улла был, по-видимому, другого на этот счет мнения. Он подошел ко мне. Поднял меня за плечи и спросил о чем-то.

Без труда я догадался, что он хочет узнать, кто запер дверь. Я притворился беспросветно пьяным. Тогда он пришел в ярость, избил меня нагайкой и ушел, ругаясь.

Я свалился в темный угол, вздрагивая от боли и бессильной злобы. Старуха ушла опять. Я лежал молча, голодный,

избитый, измученный, одинокий и без надежды на чью-либо помощь.

Вдруг что-то упало из окна на пол: я насторожился, потом подполз и поднял. Это были лепешка и кусок белого сыра.

Но я не успел разглядеть ничего, кроме руки, просунувшей все это в узкое отверстие каменного окна.

Мусульманская пословица говорит: «Целуй ту руку, кисть которой ты не в силах свернуть». Это изречение как нельзя лучше подходило ко мне. Я был рабом Уллы. Я исполнял беспрекословно все его приказания: чистил и седлал его коня, сдирал шкуры с убитых на охоте джейранов, разводил костры и помогал старухе варить обед. Я старался угодить Улле и ненавидел его: я готов был перерезать ему горло, если бы представился удобный случай. Может быть, поэтому он никогда не доверял мне ни кинжала, ни шашки, ни винтовки.

За малейший проступок он беспощадно стегал меня нагайкой. Он ненавидел меня тоже, и если я оставался жив, то только потому, что я был ему нужен. А для чего — я узнал это много позже.

Улла был старшим сыном старого Горга — главы большого рода хевсуров. Улла был силен, хищен и властолюбив. Он занимал замок своего отца, в то время как большинство хевсуров жило в землянках, похожих на звериные норы. Горг был уже дряхл, и Улла, прикрываясь его именем и поддержкой, безнаказанно хозяйничал здесь, в самом окраинном и далеком углу Хевсуретии. Часто он с отрядом всадников скрывался на несколько дней для того, чтобы дикими тропами спуститься вниз, напасть внезапно на осетинский поселок, угнать скот и пограбить. Возвращаясь с добычей, он созывал хевсуров своего племени, и в покоях каменного замка начинались пиры, попойки и увеселения. Он никогда — да и все хевсуры также — не расставался с оружием. Его боялись, а многие ненавидели. Кроме того, была у него старая вражда, глубокая и непримиримая, но к кому именно — долго я понять не мог.

Иногда с юга приезжали к Улле какие-то всадники; тогда Улла становился дик и мрачен. Целые ночи напролет шли горячие споры. И на время приезда этих всадников

я беспощадно изгонялся не только из комнат, но часто даже и со двора. Но что это были за таинственные враги, из-за чего вообще шла вражда, я не понимал, тем более что еще плохо понимал язык хевсуров.

Была ночь. Я возвращался из соседнего леса с полным ведром диких яблок, из которых варился потом сладкий, тягучий мед. Я заблудился, но знал, что замок остался недалеко, вправо от меня, и потому уселся передохнуть у края тропы. Прошло не более десяти минут до того, как я услышал чьи-то крадущиеся, торопливые шаги. Спрятавшись за кусты, я увидел, что по тропинке идет закутавшаяся в покрывало женщина.

«Нора, сестра Уллы! И куда это она так поздно?»

В качестве раба я был любопытен: поставил ведро и тихонько пошел за ней. Шагов через сто она остановилась перед дверью старой, полуразвалившейся землянки, оглянулась и вошла туда. Через минуту по щелям завешанного обрывками кожи окна пролился тусклый свет.

Я хотел было пробраться ближе, но мне почудилось, что еще кто-то крадется в темноте; тогда я вернулся к оставленному ведру и скоро на этот раз нашел дорогу в замок. Старухи не было дома, сверху доносились тяжелые шаги Уллы.

«Улла шагает,— подумал я,— значит, Улла сердит».

Потом он спустился по лесенке и приказал мне оседлать коня.

Выбежав, чтобы исполнить приказание, я увидел, что во дворе стояли уже чьи-то три чужих лошади. Едва я успел затянуть подпругу, как во двор торопливо вошла старуха. Улла был еще дома, внизу. Она закрыла за собой дверь. Я подкрался к окну.

— Ну? — осведомился Улла нетерпеливо.

— Она там. Я видела, как она дошла до того места.

— А он?

— А его нет. Она ждет его. Только смотри, он осторожен. Надо тихо пробраться: верхом нельзя.

— А ты не врешь? — подозрительно спросил Улла.

Старуха отчаянно замотала головой; потом посмотрела на ведро с яблоками и, вздыхая, заметила:

— А этот здесь. Ох-хо-хо, плохой человек, хитрый человек! Его убить надо, Улла! Он все смотрит, все слушает.— И, повернув голову, она уставилась прямо на темную дыру, к которой я приник. Я спрятал голову между камней и затаил дыхание.

— Нет. Не твое дело!— отрезал Улла.— Он мне будет нужен.— И ушел к себе наверх.

«Ах ты, старая ведьма! — подумал я.— Ну, погоди же ты у меня!»

И вместо того, чтобы зарыться в листву, наваленную возле лошадиного стойла, да залечь спать, я прокрался за ворота и пустился бежать к землянке, чтобы успеть предупредить Нору о грозящей опасности.

По дороге, у самой почти землянки, я попал в руки двоих дозорных.

— Куда? — крикнул один, хватая меня за горло.

Я прохрипел:

— Берегитесь! Старуха проследила Нору, и Улла ползет сюда.

По-видимому, это сообщение сильно встревожило их, потому что один тотчас же засвистел пересвистами птицы колаюн. Тотчас же из землянки, сжимая рукоять своей кривой шашки, выскочил Рум, а за ним Нора.

— Бежим в замок! — сказала мне Нора.— Туда есть другая дорога. Я проберусь тихонько к себе в комнату и запрусь на засов. До утра я не впущу его. А утром вернется отец, и бить меня при отце он не посмеет.

— Беги, Нора,— сказал ей Рум.— А я спрячусь по-своему. Если что-нибудь будет нужно, сейчас же передай через него.— Он указал на меня.— Беги, Нора, ждать придется недолго.

Нора схватила меня за руку и потащила за собой. У Норы кошачьи глаза, а слух — как у летучей мыши. Мы вышли к другой стороне зáмка. Наверху было темно, и только слабый свет на сучьях росшего во дворе дерева показывал, что внизу еще не спит старуха.

Мы подкрались к воротам, но... И ворота и калитка оказались заперты изнутри. Старуха была хитрей, чем мы предполагали.

— Что теперь делать?

— Погоди,— ответил я, подумав, и потащил Нору в сторону, к ручью. Там лежала огромная полугнилая колода, наполненная водой. Еще три дня тому назад я положил вы-

мачивать в эту воду длинный, крепкий аркан, которым притягивают к столбу молодых, еще не объезженных коней. Я нашел его, вынул из воды и принялся неудачно забрасывать на один из зубцов каменной стены. Нора выхватила аркан из моих рук, свернула его кольцом, сама изогнулась, выпрямилась — и ремни легонько свистнули в темноте: петля прочно охватила выступ. Тогда, упираясь ногами в трещины стен, я забрался на трехсаженную высоту, снял петлю и закрепил ее за свой пояс; внизу Нора проделала то же с концом ремня. Потом я спустился по другую сторону стены и разжал руки.

Я был по крайней мере пуда на полтора тяжелей Норы, и ременный аркан свободно поднял ее к зубцам как раз в то время, когда мои ноги почувствовали под собой земляную крышу лошадиного стойла. Теперь ей оставалось спускаться вниз. Она хотела спрыгнуть, но вовремя сообразила, что стук от прыжка может привлечь внимание старухи. Я стал ближе к стене, показывая знаком, чтобы девушка бросилась мне на руки; она отрицательно покачала головой.

— Прыгай, Нора, не то старуха выйдет или Улла успеет вернуться.

Она была легка и упруга, как гибкая гуттаперчевая кукла, и едва упала мне на руки, как с силой оттолкнулась от меня, боясь, чтобы я не удержал ее хотя бы на мгновение.

— Нора,— взволнованно прошептал я, свертывая аркан,— теперь проберись наверх, а когда вернется Улла, выйди сама и, если он будет спрашивать, скажи ему прямо, что старуха врет. Потом, погоди, скажи мне, за что Улла ненавидит Рума и почему он не хочет, чтобы Рум взял тебя в жены?

Но она ничего не ответила и убежала прочь.

Едва я зарылся в листву на обычный свой ночлег, как ворота загремели от властного стука. Я подбежал, откликаясь на зов Уллы, потом громко закричал старухе, чтобы она тащила ключ.

Старуха впустила Уллу с его товарищами и тотчас же снова заперла ворота на замок.

— Воды! — крикнул он.

Я бросился за ведром. Лицо Уллы было в крови и через лоб тянулся неглубокий, но длинный шрам.

— Сестра не вернулась? — спросил он у старухи.

— Нет, не вернулась, Улла! Я закрыла за тобой ворота и открыла только тебе. Она убежала с ним, Улла!

— Да, убежала,— хмуро ответил он.— Мы нарвались на засаду, и кто-то рубанул меня шашкой по лбу, но я отомщу им... Они скоро будут знать, что значит связываться с Уллой!

Он ушел наверх.

Через несколько минут раздался яростный крик. Снова послышались тяжелые шаги Уллы, спускавшегося книзу. В руке он держал уже неизменную нагайку.

— Старуха! — спросил он, медленно подходя к ней.— Были ворота все время заперты?

— Были, Улла,— в страхе пятясь к стенке, ответила она.

— Был ключ все время у тебя?

— У меня, Улла.

— И никто без меня не мог войти сюда?

— Никто не мог, и никто не приходил.

Тогда Улла взмахнул нагайкой и стал стегать старуху по спине. Старуха взвыла отчаянно. Продолжая хлестать, он приговаривал:

— Ты наврала мне, старая колдунья. Ты тоже с ними заодно. Ты знала, что там нет никого, кроме засады. Ты нарочно наврала мне, чтобы меня там убили.

Не знаю, долго ли продолжал бы он хлестать старуху, если бы не послышался со стороны дороги топот двух-трех десятков коней.

— Отец приехал! — крикнул Улла и вышел во двор.

Я бросился зажигать факел.

Во двор въехала целая орава всадников. Впереди красовался на коне старый седой Горга, хозяин замка и отец Уллы.

Факел задрожал у меня в руках, и я суеверно попятился назад от вида ожившей средневековой картины: хевсуры были суровы, усталы и бледны; рукоятки сабель бренчали о кольца железных сетчатых кольчуг. У многих рыцарей были узкие, длинные щиты, а младший сын Горга держал длинную, тонкую пику с насаженной на острие срубленной головой.

Рядом с лошадьми стоял с перевязанными сзади руками длинноволосый пленник.

Пленника бросили в тот же подвал, в который был когда-то брошен и я. Когда хозяева и гости скрылись, я подполз по земле к окну подвала.

— Кто ты? — окликнул я по-хевсурски.

— Грузин,— ответил пленник,— а ты?

— Я русский.

К моей величайшей радости он спросил меня тогда по-русски:

— Зачем ты здесь, и что ты здесь делаешь?

Коротко я объяснил ему...

— А ты, зачем ты сюда попал, и почему они связали тебя?

— Они убьют меня скоро,— ответил он.— Нас много, мы пришли в центральную Хевсуретию снизу, мы подговаривали здешних хевсуров свергнуть своих родоначальников и установить здесь тоже Советскую власть. Многие согласились, особенно там, ниже. Но большинство, а главное, почти все родовые вожди остались враждебны. Улла один из самых страшных врагов всякой власти, кроме собственной. Но есть и другие. В вашем краю живет глава небольшого, но храброго рода, он наш, и он готовит восстание.

— Его имя? — спросил я, приникая к решетке.

Пленник замолчал. Но, поколебавшись, ответил мне:

— Его имя Рум. Помоги ему, если когда-нибудь сможешь.

— Хорошо,— ответил я и пополз назад, потому что мне почудились шаги. Я окончательно зарылся в листву и слушал, как плеиника ведут наверх.

Утром я вскочил на ноги, протер глаза и вдруг остановился, судорожно сжимая каменный выступ стены: по обеим сторонам ворот были крепко прилажены два копья с насаженными на острия человечьими головами, и на одном из остриев я узнал голову ночного пленника.

Комната Уллы прилегала к одной из трех каменных башенок замка. Эта-то башенка давно привлекала мое внимание: две другие были открыты, а у этой всегда заперта на тяжелые железные замки окованная железом дверь.

Я не видел, чтобы этот замок когда-нибудь отпирался. Но однажды ночью в узких продолговатых бойницах забрезжил слабый свет. Очевидно, у Уллы прямо из комнаты вел ход в башню. Но что делал там Улла поздней ночью, понять я не мог. Кроме того, от моего взгляда не скрылись еще другие странности: так, каждое утро и каждый вечер старуха накладывала в глиняную плошку вареного мяса,

отрезала ломоть лепешки и тащила все это в половину, занимаемую Уллой. Сначала я объяснял это просто прожорливостью Уллы. Но заметив, что то же самое она проделала дважды в его отсутствие, я заподозрил тайну.

Как-то раз ночью, когда я уже спал, закопавшись в листву, кто-то тихонько затеребил мое плечо. Это была Нора.

— Тише,— сказала она шепотом,— тише. Улла дома. Скажи, ты не умеешь лечить?

— Нет,— ответил я, ничего не понимая.

— Старуха сказала Улле, что ты ночью пробовал забраться по кирпичам к окнам башни, чтобы заглянуть туда. В ту башню Улла никого не пускает, и никто, кроме него и старухи, не знает, что там такое. И Улла хочет убить тебя. Я слышала их разговор. Она спросила: «Зачем ты его держишь, Улла?» А он ответил: «Я скоро убью его, старуха. Я узнаю только, умеет он лечить болезни или нет. Многие русские умеют. И если нет, то я убью его сразу, а если да, то потом».

— Он разве болен, Нора?

— Нет, он здоров, как бык, и я не знаю, зачем ты ему. Ты скажи, что умеешь, потом беги отсюда прочь!

— Но куда, Нора? Я не знаю, куда. Я давно убежал бы: я запутаюсь, меня поймают, и тогда все равно убьют.

— Потом,— шепнула она, насторожившись,— потом скажу,— и черною тенью метнулась прочь.

Два дня я ходил настороженный, взволнованный, готовый каждую минуту броситься наугад в горы и в леса.

Два дня Улла ни о чем не спрашивал меня. В замок то и дело приезжали всадники, о чем-то совещались, к чему-то готовились. Норы не было видно, меня же не выпускали никуда.

Как-то под конец вечера, когда я пошел за хворостом, сваленным в глухом, заросшем травой углу по ту сторону замка, я почувствовал, что в спину мне легонько ударился камешек. Я обернулся, посмотрел наверх и увидел в узеньком окошке лицо Норы. Она делала мне рукой какие-то знаки. Я подошел, но не мог разобрать ее слов, а громко говорить было нельзя.

Я понял одно: Нору заперли, и она хочет сказать мне что-то важное.

К ночи, когда старуха потащила наверх миску с рубленым мясом, я пробрался снова под окно Норы.

— Слушай. Улла силой выдает меня замуж. Завтра ночью кто-то приедет с запада через Джайранью тропу и увезет меня отсюда совсем. Проберись к Руму, скажи ему. Я не хочу. Пусть он делает, что надо, пусть нападет на замок и увезет меня. Сейчас здесь еще мало всадников, а когда они приедут — будет уже поздно.

Как пробраться к Руму, когда меня не выпускают за ворота? Замок Рума далеко — верст за двадцать пять. Если бежать туда, то бежать уж совсем. Не успел я еще принять окончательное решение, как меня позвал Улла. Он долго внимательно смотрел на меня, осведомился о своем коне, осведомился о порванной уздечке. Потом, как бы невзначай, спросил, умею ли я лечить людей.

— Да,— ответил я прямо,— да, Улла, я умею лечить людей, я знаю, какой напиток готовить от всяких болезней.

Улла помолчал, подумал, потом сказал:

— Сделай мне напиток от такой болезни, когда все тело начинает портиться и на нем язвы.

Я ответил:

— От этой болезни, Улла, напитка не делают, а делают мазь. Для этого мне нужно набрать трав в лесу.

— Хорошо. Ступай и собирай травы, но если ты не вернешься к завтрашнему вечеру, если ты попробуешь убежать, то первый хевсур, которому ты попадешься на глаза, сдерет с тебя кожу, ибо я так приказываю.

И едва забрезжил рассвет, как я с корзиной в руках вышел в лес. Сначала нарочно шел на запад, потом, когда замок скрылся из виду, круто повернул на юг.

Часа через три пути я устал и присел отдохнуть. Ко мне подошел старый, вооруженный пастух.

— Что ты делаешь и куда идешь? — подозрительно спросил он.

— Я собираю лечебные травы для Уллы, сына старого Горга,— ответил я.— Дай мне напиться воды, добрый человек.

Мы сели и разговорились.

— Улла силен? — спросил я.— Почему Уллу все боятся?

— Улла силен и хитер. Никто так не бросает копье, как бросает его Улла, и никто столько раз не причинит кровь железным кольцом, как храбрый Улла. Когда будет осенний праздник, ты увидишь сам. А когда внизу была боль-

шая война и на царской дороге воевали русские с русскими и русские с грузинами и грузины с армянами, когда все воевали друг с другом, тогда Улла с отрядом славных хевсуров спустился с гор вниз и много медных патронов и ружей привез в замок. И с тех пор он стал командовать и приказывать всем. Он жесток и дик, но никто не смеет сделать ему что-нибудь напротив.

— А давно это?

— Я сказал: шесть зим тому назад. Тогда внизу была большая война, я не знаю из-за чего, но я слышал, что люди убили своих начальников и убили своего царя. Из-за этого и началась война.

— И никого нет, кто смог бы победить Уллу?

Старик нахмурился.

— Нет, здесь никто не сможет. Есть один: он дерется на саблях и мечет копье не хуже Уллы. Он тоже во время большой войны спускался вниз, но он не привез с собой ни ружей, ни медных патронов; он привез с собой только смуту да раздор. Он тоже силен и ловок, но он молод еще, и не устоять ему против Уллы.

— Кто он?

— Рум,— ответил старик,— Рум, к которому по ночам ездят всадники, затеявшие недоброе.

Я встал, попрощался и быстро пошел дальше.

— Рум! — сказал я,— Нору сегодня ночью увезут тайком далеко-далеко. Улла отдал ее в жены человеку, который сегодня ночью приедет через Джайранью тропу.

— Нору? Утром?

— Да, утром. Ее глаза заплаканы. Она тоскует о тебе и ждет, чтобы ты сегодня ночью напал на замок и увез ее с собой.

— Хорошо,— крикнул он.— Я нападу сегодня ночью на замок Уллы.

Потом, отойдя от меня, он долго молчал.

— Нет,— сказал он минуту спустя,— я не нападу сегодня на замок. Нельзя. Еще не настала пора начинать открытую войну с Уллой. Еще нельзя! Но все равно. Нору никто не увезет завтра из замка!

— Рум! — сказал я, подходя ближе.— Я знаю, что ты готовишь восстание.

Он вздрогнул и тигровым прыжком бросился ко мне.

— Что ты сказал?.. Кто сказал тебе?

И я ответил:

— Мне сказал это человек, голова которого торчит сейчас на пике у ворот замка. Он поверил мне, и ты можешь верить мне тоже.

Рум опустил руку с кинжалом.

— Шпионов у Уллы так много...— как бы объясняя свою вспыльчивость, тихо проговорил он.

Мы стояли на мшистом холме. Позади, врезаясь в небо, торчали вершины скалистых гор.

— Рум,— спросил я,— чего ты хочешь и чего добиваешься?

— Жизни,— помолчав, сказал он.— Мы мертвый народ. Мы живем в каменных норах, тысячу лет все там же и все так же! Я был внизу, я видел, что там работают, живут свободно, спокойно. Я видел там такое, чему здесь даже не верит мне никто. Что у нас есть? Полусырое мясо, сухие лепешки, конь, шашка и всегда, всегда одно и то же. Улла говорит, что зато мы свободны, зато нас никто еще не покорил. Это не так! Нас просто позабыли, и мы, забившиеся сюда, в горную глушь, мы, маленькое племя, просто никому не нужны! Надо все менять, надо перерезать горло всем главарям, таким, как Улла, потому что они мешают жить! Все равно по-старому не живут. Старики говорят, что первого человека, который принес в горы винтовку, разорвали на куски, когда он выстрелил. А сейчас? А сейчас за винтовку отдают двух быков. Старики говорят, что когда-то один хитрый грузин принес в горы маленькие куски блестящего зеркала и менял их на масло у женщин. Тогда всем женщинам, у которых нашли зеркала, обваривали кипятком лица, чтобы они не думали о своей красоте, а грузину набили рот осколками битых стекол и зашили губы кожаным шнуром! А теперь всякая девушка старается достать зеркало, и у самого Уллы висит большой кусок на стене. Все равно, раз старое уходит, надо, чтобы оно скорей ушло.

Облокотившись рукой на шашку, он насторожил слух и уставился в небо. Я ясно слышал, как откуда-то издалека доносится едва уловимое, но знакомое жужжание. Я прикрыл глаза ладонью и тоже взглянул туда, куда, окаменев, уставился Рум. И увидел в синеве осеннего неба, над лесами, над громадами неприступных гор летящий с севера на юг аэроплан...

Долго смотрели мы, как исчезал он за облаками, склонившимися на грудь могучих гор. Молчали. Я думал: «Дикая горная страна Хевсуретия, в которую так трудно пробраться и из которой еще труднее выбраться,— только маленькое пятнышко под взором быстролетных всадников воздуха».

Рум сказал:

— Эту железную птицу тоже сделали люди снизу. Я всегда смотрю на нее, когда она пролетает по небу. Я отдал бы свою серебряную шашку, коня и свой замок за то, чтобы у меня была своя железная птица.

— Зачем тебе, Рум?

— Так,— ответил он уклончиво.— Так. По-моему, тот, у кого есть эта птица, знает все, что только можно узнать во всем мире.

Оставить меня у себя в замке Рум не мог.

— Ты слышал уже, что я говорил. Мне нельзя сейчас открыто ссориться с Уллой. Потерпи еще немного, подожди до осеннего праздника.

Я успел вернуться домой к ночи. По пути нарвал без разбора всяких трав. Весь замок был освещен, и много коней стояло во дворе. С минуты на минуту ожидали приезда жениха. Улла веселился: много было приготовлено вина для гостей, много наварено жирной баранины и нажарено на вертеле сочных ломтей вкусного кабаньего мяса.

Жених опаздывал. Гостей начинал разбирать голод. Улла то и дело посылал то одного, то другого за ворота, чтобы узнать, не слышно ли топота.

— Едут!— крикнули наконец.

— Ге! Хорошо. Эй, старуха! Одета ли Нора? Пусть сейчас выйдет встречать гостей.

Нора вышла. Ее заплаканные глаза блестели, и она чуть дрожала. Она видела, что помощь не пришла, что ждать помощи поздно уже... Заскрипели ворота. Улла выбежал встречать, и вдруг я услышал бешеные крики, проклятия и жалобный вой старухи... Я выбежал с факелом во двор.

Человек десять всадников, спрыгнув с седел, осторожно принимали на руки чье-то безжизненное тело. Всадники были окровавлены, многие изранены. До замка доехала только половина; вторая половина нарвалась на засаду в узком проходе Джайраньей тропы.

Нору увели.

Холодная злоба охватила Уллу.

— Я знаю, кто это! Я знаю, чьи это проделки! — говорил он, шагая из угла в угол.

И так же, как давеча Рум, помолчав добавил:

— Но сейчас нельзя, сейчас еще рано. Мы подождем до осеннего праздника и тогда рассчитаемся за все.

— Улла,— обратилась к нему старуха вкрадчиво.— А откуда Рум мог узнать, что мы ждем гостей с Джайраньей тропы?

Улла подошел ко мне и крепко стиснул мне горло.

— Ты где был?

— Я рвал травы в лесу недалеко от замка, благородный Улла,— с трудом ответил я.— Я нарвал много хороших лечебных трав.

Пальцы разжались, и я полетел в угол. Улла стал совещаться о чем-то с всадниками.

«И тот до осеннего праздника, и этот тоже! Ну и будет праздник!» — подумал я.

На следующий день я достал дегтя, растолок в ступе несколько диких яблок, сварил в котле все травы, смешал их в одну массу, сложил в глиняный горшок и понес «лекарство» Улле. Я вошел к нему в комнату. По-видимому, он только что вышел. В углу я заметил маленькую, окованную железом дверку и осторожно подергал ее: дверка была заперта. Я приник ухом и ясно услышал, как за ней несколько раз лязгнула о камни железная цепь. Я выскочил назад, сел у порога нижнего этажа, подождал, пока вернулся со двора Улла, и протянул горшок с мазью. Он взял и не сказал ни слова.

«Кто бренчит в угловой башне цепями?»

Долго ломал я голову. Может быть, там просто медведь? Нет, не медведь! Это не медведю старуха носит каждое утро вареное мясо и куски овечьего сыра... Пленник... раб Уллы. Но это не похоже на Уллу. Улла давно убил бы его и выставил голову над воротами замка. Почему-то он бережет его, для него он спрашивал лекарство. Почему к этой комнате не допускает он никого, даже своих друзей?

Долго я соображал, но ничего сообразить не мог.

Приблизился большой осенний праздник. В замке шли приготовления. Вернувшиеся с горных пастбищ стада баранов еле волочили гнущиеся от тяжести курдючного жира ноги. Крепкие вина были приготовлены из прелых диких яблок. Лошадей перестали кормить жирными травами и держали на сухом сене, чтобы были легче. И хевсуры, разбившись кучками, с утра до вечера тренировались в метании копий, в борьбе, в схватках на саблях. И не важно, что то у одного, то у другого после дружеской схватки окрашивались кровью кожаные рубахи — хевсур крови не боится!

Опять позвал меня Улла, показал старую, затрепанную картинку и спросил:

— Знаешь ты, что это такое?

— Это пулемет, Улла. Это такое ружье, которое может стрелять тысячу раз, пока ты успеешь выпустить две обоймы.

— А ты видел такое ружье?

— Видел ли, Улла? Я не только видел, я и сам много раз стрелял из такого ружья!

— А ты можешь построить такое ружье?

Я вспомнил случай, когда, сознайся я в неумении лечить, сам обрек бы себя на смерть, и ответил твердо:

— Могу, Улла. Но только для этого мне нужно много времени и вещей.

— Хорошо,— усмехнулся он и вышел.

А я подумал: «Спроси ты меня сейчас, могу ли я построить боевой аэроплан, я, вероятно, тоже ответил бы, что могу, потому что кому охота подыхать, когда осенний праздник уже близко!»

Но перехитрил меня на этот раз Улла, и дорого обошлась бы мне моя ложь.

Со всех сторон к замку Уллы съезжались хевсуры. Старики говорили, что давным-давно не было такого людного праздника. Дикие леса оживились криками; по полянам горели костры. Многие гости ночевали под открытым небом — жарили, варили, пили привезенные с собой вина. Рум с отрядом всадников приехал поздно вечером. Улла пригласил его к себе в замок, и Рум, отобрав с собой десяток наиболее преданных ему хевсуров, въехал во двор.

Пили много. Столы были уставлены кувшинами с молодым вином и пестрыми закусками. Я заметил, что Рум только прикладывал рог к губам, делая вид, что пьет, а сам зорко смотрел за всем, что делалось вокруг. Смотреть было за чем. Становилось весело, подозрительно весело! Улла то и дело вставал, выходил, что-то кому-то приказывал...

Раз, воспользовавшись тем, что Улла вышел, Рум сам направился в коридор. В коридоре он столкнулся с Норой.

— Нора,— шепотом проговорил он,— завтра под вечер мы нападаем. К этому времени подъедет отряд друга моего, Алимбека.— И еще тише добавил:— В ущелье возле Черной скалы тебя будет ждать свободная лошадь и три всадника. Во время схватки беги туда — они будут ждать тебя до тех пор, пока ты не прибежишь или пока я не прикажу им уйти.

Он вернулся обратно. Он так и не узнал, что Улла, нарочно выпустивший Нору, чутко вслушивался в разговор, приникнув ухом к окну.

Улла снова вышел к гостям; лицо его было озабочено. Он досадовал, что взрыв шума из соседней комнаты помешал ему расслышать последние слова Рума, обращенные к Норе.

Он налил и поднял полный рог вина. Все замолчали.

— Пью за силу и мощь вольной Хевсуретии и за погибель всех ее изменников и предателей!— при этом Улла вызывающе посмотрел на Рума.

Рум вздрогнул и ухватился рукой за рукоять шашки, но пересилил себя и промолчал; к кубку он не притронулся.

Улла снова злобно посмотрел на него.

— Пей!— сказал он.

— Нет,— ответил Рум,— мне не нравится твой тост, Улла.

— Скажи свой,— вызывающе предложил тот.

Рум встал и тоже налил кубок.

— Пью за счастье Хевсуретии и за дружбу с людьми из долин, сбросившими своих властелинов и призывающими нас сделать то же самое!

Криками одобрения и негодования покрылись его слова. Улла с потемневшим лицом вырвал у Рума рог и выплеснул вино на землю.

Все повскакали с мест, и схватка, казалось, была неизбежна.

Но Улла вдруг остыл. В его расчеты не входило начинать сейчас, ибо он готовил более верный удар. Рум тоже

вспомнил, что отряд Алимбека прибудет только завтра к вечеру.

В дело вмешались старики и вынесли решение: Улла должен драться с Румом на саблях, один на один, завтра, после окончания борьбы и конских состязаний.

Оба наклонили головы в знак согласия. Рум встал, за ним встала его охрана, и через несколько минут их кони затопали, удаляясь из замка.

Зеленая долина перед замком еще с утра начала наполняться конными и пешими хевсурами. Наконец праздник начался.

Впереди на траве расселись огромным кругом старики — законодатели, судьи и блюстители вековых традиций. Их обступило плотное кольцо зрителей и участников.

Вышли в середину круга двое. Гул смолк. Старики подали им два железных кольца с тремя железными шипами на каждом. Кольца эти надеваются на большой палец правой руки. Один из стариков хлопнул в ладоши.

Противники были без кольчуг в мягких кожаных рубашках. Оба чуть-чуть склонили головы и, защищая приподнятой левой рукой лица, стали, крадучись, подходить друг к другу. Сошлись близко. Один стремительно прыгнул вперед. Он взмахнул правой рукой, чтобы ударить противника кольцом по лицу. Но тот вовремя закрылся рукавом и в свою очередь взмахнул рукой.

Широкая красная царапина протянулась по щеке противника.

— Первая кровь! — закричали зрители.

Через несколько минут по той же щеке протянулась вторая полоса. Зрители заволновались, но тут раненый, воспользовавшись промахом противника, наскочил на него так внезапно, что тот не успел поднять руку, и сразу три кровавых полосы заалели на его лице.

— Го-го-го! Хорошо! Давай еще!

Через несколько минут оба лица были целиком окровавлены, а бараньи рубахи окрашены тонкими струйками стекающей крови.

Схватка окончилась.

Тогда старики сосчитали, сколько царапин у каждого из бойцов: у первого — четыре, у второго — шесть. Первый выиграл две царапины — двух быков своего противника.

Пары выходили и выходили без конца.

Глаза зрителей разгорались все ярче, руки все чаще тянулись к кинжалам.

Потом пошли конские состязания.

Кучка всадников, человек тридцать, еще давно умчалась куда-то. Но вот они внезапно для меня показались на вершине горы, обращенной к нам обрывистым скатом.

— Что они будут делать? — спросил я. — Зачем они туда забрались?

— Они будут спускаться вниз, и кто первый спустится, тот выиграет.

Я ахнул: каменный скат был настолько крут и гладок, что оттуда и ползком не спустишься, а тут еще на конях!

От нас всадники казались черными точками. Снизу дали сигнальный выстрел, и черные точки поползли по скату. Это была дьявольски рискованная игра. С одной стороны, нужно стараться спуститься первым, с другой — всякая попытка чуть подогнать лошадь может окончиться тем, что и всадник и конь полетят через голову вниз.

В ясном воздухе видно было, как лошади взвиваются, садятся на круп и цепляются за каждый уступ, за каждую впадинку...

Минут через двадцать небольшая часть всадников уже опередила других; через пятьдесят впереди шли только трое. Наконец до подошвы горы им осталось совсем немного — несколько сажен. Тогда один из них захотел рискнуть и пустить лошадь прямо вниз. Другой понял его и решил сделать то же самое. Третий побоялся.

Оба коня вдруг прыгнули вперед; сдержать их было уже поздно.

Тотчас же первый конь упал на передние ноги, а всадник, перелетев через голову, грохнулся о землю и покатился вместе со своим конем вниз.

Конь второго со всего размаха врезался ногами в щебень, почти у самого подножия горы, и в следующую секунду огромным прыжком достиг мягкой зеленой лужайки под скатом.

Бешеными криками, почти воем, приветствовала толпа победителя.

Наступил небольшой перерыв перед битвой Уллы с Румом.

Улла, торопясь, подскакал к замку, исчез там, потом вышел с одним из главарей своей шайки. Большой отряд хевсуров скрылся с поляны.

Я понял замысел Уллы. Пробрался к Руму, который нетерпеливо, с минуты на минуту, ожидал помощи, и сказал ему:

— Беда, Рум. Улла, очевидно, узнал все. Смотри, здесь мало осталось его людей: он отослал всех навстречу отряду Алимбека.

Тяжелый удар сшиб меня с ног. Это Улла, заметив, что я переговариваюсь с Румом, наехал на нас сбоку и ударил меня древком копья.

Рум выхватил шашку, не дожидаясь сигнала стариков. Улла тоже. Но Улла не хотел драться один на один. Он рубанул один раз с коня по спешившемуся Руму, и, когда клинок его шашки лязгнул о клинок Рума, он ударил коня нагайкой, и вся масса его всадников ринулась за ним прочь к замку.

Рум тоже вскочил на коня. Медлить было нельзя: с обеих сторон загрохотали первые одиночные выстрелы.

Всадники Рума, сомкнувшись колоннами, понеслись во весь опор на замок, у ворот которого остановился Улла со своими. Казалось, что разъяренная лавина поднятых шашек сметет сейчас Уллу с его небольшим отрядом и разгромит в прах весь замок.

Но тут случилось то, чего никогда еще здесь не случалось, то, чего никто не ожидал и не мог ожидать: угловая башенка молчаливого замка загрохотала вдруг гибельным треском сотен выстрелов.

«Пулемет,— сообразил я, бросаясь на землю.— У Уллы в башне пулемет».

И повалились шеренгами, десятками скошенные всадники. Испуганно шарахнулись непривычные к грохоту дикие кони, дрогнули под гибельным огнем и бросились назад остатки людей Рума.

Тотчас же ястребом кинулся за ними сам Улла.

Рум был ранен. Улла налетел на него и ударил копьем. Но кольчуга Рума, не стерпевшая пулеметной пули, выдержала удар тяжелого копья. Рум пошатнулся и рубанул Уллу поперек лица; верен, но слаб был удар отяжелевшей

руки Рума... В следующую секунду он упал с головой, надрубленной всадником, налетевшим сзади...

Я лежал связанным в угловой башенке. Недалеко от меня, прикованный цепью к стене, сидел на соломе осетин-пулеметчик, пленник Уллы.

И я понял теперь, кому носила старуха обед, кто бренчал цепями; я узнал тайну каменной башни.

Осетин умирал. Все тело его было изъедено и сожжено экземой. Он выглядел скелетом с глубоко ввалившимися глазами и бескровным ртом.

Я пробовал спросить его о чем-то. Пулеметчик открыл рот, и я увидел черный обрубок языка.

Потом вошел Улла и сказал мне:

— Этот к завтрему дню издохнет, и тебя нужно бы убить, потому что ты предатель, но мне некем будет заменить его. Ты говорил мне, что знаешь хорошо пулемет, и завтра я прикую тебя на его место.

Он перекосил свое изуродованное шашкой Рума лицо, пнул каждого из нас ногой и ушел, оставив меня додумывать мысль о том, что любому путнику приходит пора заканчивать свой путь. И я попросил пленного осетина:

— Тебе все равно умирать. Вложи патрон в пулемет, наведи его на меня и выстрели мне в голову.

Он посмотрел на меня и, соглашаясь, мотнул головой.

Настала ночь. Он протянул руку к коробу пулемета, но тотчас же боязливо приник к соломе, потому что в соседней комнате зашуршали легкие шаги. Скрипнула дверь.

Вошла Нора. В руках ее был кинжал, и я заметил, что с него по капле стекает на каменные плиты пола кровь.

Глаза Норы блуждали по углам и ярко блестели. Она подошла ко мне, перерезала веревки и сказала:

— Иди за мной, все ключи у меня.

Мы прошли через комнату Уллы. Я попал ногой в какую-то лужу. Спустились вниз. Осторожно прокрались мимо спящих вповалку хевсуров.

В тускло освещенном коридоре я бросил нечаянный взгляд на пол и увидел, что от моих подметок на полу остаются красные следы.

Весь двор был забит заснувшими. Едва не ступая на головы спящих, мы пробрались к воротам. Нора отперла маленькую калитку и закрыла ее на ключ снаружи.

Если бы даже сейчас спохватились, то броситься за нами из замка было бы не так-то легко.

Долго бежали мы извивающимися тропами. Прыгали с камня на камень. Несколько раз я падал, но, не чувствуя боли, поднимался и бежал за Норой дальше.

Наконец выбрались к ущелью Черной скалы. И тут при лунном свете я разглядел спокойные силуэты трех всадников, дожидавшихся нас. Мы остановились передохнуть. Нора подошла к одному и тихо сказала что-то, указывая на меня.

По узенькой тропе над черной пропастью мы пошли дальше. Всадники далеко сзади вели коней в поводу.

— Нора,— сказал я,— если Улла спохватился нас, то уже отряжена погоня.

— Нет,— и она вынула из складок платья кинжал,— больше не спохватится.

И я понял тогда, что кровь на моих подошвах была кровью Уллы. Скоро девушка остановилась и взяла меня за руку.

— Скажи,— попросила она тихо,— старики говорят, что когда человек погибнет, то после смерти он улетает в далекую страну звезд. Скажи, когда я умру, я встречу там Рума?

И, так как здесь был не диспут о загробной жизни, не стоило обрушиваться на мистику и нематериалистическое понимание процессов. Я твердо солгал ей:

— Да, встретитесь.

На этом месте тропинка была настолько узка, что двоим нельзя было идти рядом. Я пошел вперед и, поглядев на небо, усыпанное звездами, вспомнил Рума с его мечтой иметь «железную птицу», чтобы знать и видеть все, что только можно узнать в этом мире. И я подумал, улыбнувшись: «Рум! Не только тебе, но и мне нужна птица, которая научила бы меня видеть и понимать все. Но еще до сих пор я не встретил ее ни в голубом небе, ни в зеленых лугах. И если даже я и встретил ее случайно, то еще не узнал ее...»

Я вздрогнул от шороха осыпающихся камней. Я обернулся и увидел, что на узенькой тропинке над пропастью не было никого, кроме меня. Нора, тоскующая о Руме, исчезла в темной пустоте пропасти...

Далекий сон — страна умирающих рыцарей, страна железных кольчуг и каменных замков — этот сон уплыл прочь.



И доктор Владикавказской нервной клиники, не Моисей Абрамович пожимал мне руку и говорил:

— Ну, смотрите, больше никаких потрясений. Травма. Истеропсихо... Образ жизни — самый регулярный. Больше пейте молока, и чтобы никаких Хевсуретий.

Я вышел на улицу. Легкое солнце... Мягкой улыбкой расплывалась золотистая осень. Я жадно хлебнул глоток свежего воздуха и улыбнулся сам.

— Хорошо жить!

«Рита...» — вспомнил опять. Но на этот раз это имя вызвало только смутные очертания, тень, неясную и призрачную. Я позабыл лицо Риты...

Девять суток плыл пароход по Волге от Сталинграда вверх.

Девять суток я выздоравливал час за часом. И когда на десятые заревела сирена у пристани, где кончался мой путь, когда замелькали знакомые дома, прибрежные бульвары и улицы, я смешался с веселой, бодрой толпой и сошел на давно покинутый мною берег...

* * *

И вот я, вернувшийся из очередного путешествия по обыкновению ободранным и усталым, валяюсь теперь, не снимая сапог, по кроватям, по диванам и, окутавшись голубым, как ладан, дымом трубочного табака, думаю о том, что пора отдохнуть, привести все в систему.

Рита замужем за Николаем. Они официально зарегистрировались в загсе, и она носит его фамилию.

Вчера, когда заканчивал один из очерков для очередного номера моей газеты, Рита неожиданно вошла в комнату.

— Гайдар! — крикнула она, подходя ко мне и протягивая руку.— Ты вернулся?

— К кому, Рита?

— Сюда... К себе,— ответила она, чуть запнувшись.— Гайдар! Ты не сердишься на нас? Я теперь знаю все... Нам писали из грузинского поселка, как было дело. Но мы же не знали. Мы были сердиты на тебя за ту ночь! Ты прости нас.

— Прощаю охотно, тем более что это мне ничего не стоит. Как живешь, Рита?

— Ничего,— ответила она, чуть опуская голову.— Живу... Вообще...

Она помолчала, хотела что-то сказать, но не сказала. Подняла матовые глаза и, посмотрев мне в лицо, спросила:

— А ты?

Я не знаю, что это у нее за манера заглядывать в чужие окна... Но на этот раз шторы моих окон были наглухо спущены, и я ответил ей:

— Я жаден, Рита, и хватаю все, что могу и сколько могу. Чем больше, тем лучше. И на этот раз я вернулся с богатой и дорогой добычей.

— С какой?

— С опытом, закалкой и образами встречных людей. Я помню их всех: бывшего князя, бывшего артиста, бывшего курсанта. И каждый из них умирал по-своему. Помню бывшего басмача, бывшего рыцаря Рума, бывшую дикарку-узбечку, которая знала «Лельнина». И каждый из них рождался по-своему...

(1926—1927)

РЕВВОЕНСОВЕТ

Повесть[1]

I

Кругом было тихо и пусто. Раньше иногда здесь подымался дымок, когда к празднику мужики варили тайком самогонку, но теперь мужики уже перестали прятаться и производство самогонки перенесли прямо в деревню. Раньше сюда забегали ребятишки затем, чтобы побегать, погоняться друг за другом, попрятаться в изломах осевших, полуразрушенных кирпичных сараев.

Здесь было хорошо. Когда-то немцы, захватившие Украину, свозили сюда для чего-то сено и солому. Но немцев скоро прогнали красные, красных — гайдамаки, гайдамаков — петлюровцы, петлюровцев — еще кто-то, и осталось сено, наваленное огромными почерневшими копнами.

Но с тех пор, как атаман Криволоб, тот самый, у которого желто-голубая лента тянулась через папаху, расстрелял здесь четверых москалей и одного еврея, пропала почему-то у ребятишек всякая охота лазить и прятаться посреди заманчивых лабиринтов, и остались одинокими полусгнившие сараи — черные, пустые пятна.

[1] В настоящем издании повесть печатается с наиболее полного пермского варианта, опубликованного в газете «Звезда» в 1926 году (с 11 по 28 апреля), пятнадцатью подвалами. Издание предназначалось для взрослого читателя, а название, согласно издательскому договору, как «Реввоенсовет». Лишь в результате редакторских сокращений и переделок «РВС» стала рассказом. Печаталась повесть в Перми с черновика, впоследствии утраченного. Таким образом, уральская публикация повести как бы заменяет собою текст рукописного оригинала, дает реальное представление об уровне литературного мастерства молодого Гайдара.

Только Димка до сих пор еще забегал сюда часто, потому что здесь как-то особенно тепло грело солнце, приятно пахла горько-сладкая полынь, да спокойно жужжали мохнатые шмели по ярко-красным головкам широко раскинувшихся лопухов.

А убитые? Так их ведь давно уже и нет — мужики свалили их в общую яму и забросали землей. А старый нищий Авдей, тот самый, которого боятся Топ и прочие маленькие ребятишки, смастерил из двух палок прочный крест и поставил его тихонько над их могилой. Никто не видел, а Димка видел. Видел, но не сказал никому, потому что об этом попросил его старик.

— Не говори только, милай... серчать будут, а как же без креста?.. Как скотина... нехорошо... тоже люди были, милай...

Димка не сказал, но удивился: во-первых, если хорошие люди, то зачем же их убили, а во-вторых, он сам слышал, как Никифор-староста говорил:

— Туда им, собакам, и дорога...

— По злобе, милай... по злобе,— прошамкал, одевая сумку, старик.— А Никифор, сынок, так и должен был сказать... так и должен... Потому мужик он обстоятельный...

И ушел Авдей. А Димка долго думал и никак не мог понять, за что «по злобе» и почему «обстоятельный» Никифор должен был называть убитых собаками, а побирушка-старик — хорошими людьми?

И не понял все-таки Димка, как это убитые одни, а правды над ними две?

В укромном углу Димка остановился и внимательно осмотрелся вокруг. Не заметив ничего подозрительного, он порылся в соломе и извлек оттуда две обоймы патронов, шомпол и заржавленный австрийский штык без ножен.

Сначала Димка изображал разведчика, то есть ползал на коленях, а в критические минуты, когда имел основание предполагать, что неприятель близок, ложился на живот и продвигался с величайшей осторожностью, высматривая подробно расположение противника. По счастливой случайности или еще почему-либо, но только сегодня ему всегда отчаянно везло, он ухитрялся безнаказанно подползать

вплотную к воображаемым вражьим постам и, преследуемый градом выстрелов из ружей и пулеметов, а иногда даже залпами батарей, возвращался в свой стан невредимым.

Потом, сообразуясь с результатами разведки, высылал в дело конницу и с визгом врубался в самую гущу репейников и чертополоха, которые геройски умирали, но даже под столь бурным натиском не обращались в бегство.

Димка ценит мужество, когда бы оно ни проявлялось, потому он забирает остатки в плен...

Подавши команду «строиться» и «стоять смирно», он обращается к захваченным с гневной речью:

— А, каиновы дети, продажные души! Против кого идете? Против своего брата рабочего и крестьянина... Генералы вам нужны да адмиралы!..

Или:

— Коммунию захотели, стервецы, свободы вам нужно, против законной власти хотите...

Это в зависимости от того, представителя какой армии изображал он в данном случае, так как для разнообразия командовал то одной, то другой по очереди...

Дальше здравый смысл и обычай тогдашней войны предписывали лучше одеть своих солдат за счет военнопленных, а потому Димка, условно обозначавший массу войск, облачался в широкие листья лопухов и победоносно шествовал домой.

Он так заигрался сегодня, что спохватился только тогда, когда зазвякали колокольчики возвращающегося стада.

«Елки-палки! — подумал огорошенный Димка. — Вот теперь мать задаст трепку... а то, пожалуй, еще и жрать не даст».

И, спрятав свое оружие, он стремительно и вприпрыжку пустился домой, раздумывая на бегу: «Что бы это такое получше соврать матери?»

Но, к величайшему своему удивлению, нагоняя он не получил и врать ему не пришлось.

Мать почти не обратила на него внимания, несмотря на то, что Димка чуть не столкнулся с ней у крыльца во дворе. Бабка звенела ключами, вынимая зачем-то старый пиджак и штаны из чулана, а Топ старательно копал щепкой ямку в куче глины.

Кто-то тихонько дернул сзади Димку за штанину.

Он обернулся — и увидел печально посматривающего мохнатого Шмеля.

— Ты что, дурак? — ласково спросил Димка и увидел вдруг, что у Шмеля здорово чем-то рассечена верхняя губа...

— Мам... Кто это? — вспыхнув, спросил Димка.

— Ах, отстань! — досадливо ответила та, отвертываясь. — Что я, присматривалась, что ли?

Но по тому, как мать быстро поняла, о чем он спрашивает, Димка почувствовал, что она говорила неправду.

— Это дядя сапогом дернул, — пояснил, оторвавшись, Топ.

— Какой еще дядя?

— Дядя, серый... он у нас в хате сидит.

— Чтобы он сдох, — с сердцем проговорил Димка, отворив дверь в избу.

На кровати валялся здоровенный детина. Рядом на лавке лежала казенная серая шинель.

— Головень! — присмотревшись, удивленно воскликнул Димка. — Ты откуда?

— Оттуда, — последовал короткий ответ.

— А ты зачем Шмеля ударил?

— Какого еще Шмеля?

— Собаку мою...

— Пусть не гавкает... А то я ей и вовсе башку сверну.

— Чтоб тебе самому кто-нибудь свернул! — сердито ответил Димка и шмыгнул поспешно за печку, потому что рука Головня потянулась к валявшемуся тяжелому сапогу.

Димка никак не мог понять, откуда взялся Головень. Совсем еще недавно забрали его красные в солдаты, а теперь он уже опять дома. Не может быть, чтобы служба у них была такая короткая.

За ужином он не вытерпел и спросил:

— Ты в отпуск приехал?

— В отпуск.

— Вот что! — отметил удовлетворенно Димка. — Надолго?

— Надолго.

— Ты врешь, Головень! — убежденно возразил Димка.— Ни у красных, ни у белых, ни у зеленых надолго сейчас не отпускают, потому что война. Ты дезертир, наверно?..

В следующую же секунду Димка получил здоровый удар по шее, так что едва не ткнулся головой о стол.

— Зачем ребенка бьешь? — вспыхнула на Головня Димкина мать.— Нашел с кем связываться.

Головень покраснел, его большая круглая голова с оттопыренными ушами, за которую он и получил в деревне кличку, закачалась насмешливо, и он ответил грубо:

— Помалкивайте-ка лучше... питерское отродье. Дождетесь вы, что я вас назад повыгоню...

Мать как-то сразу съежилась, осела и выругала глотающего слезы Димку:

— А ты не суйся, идол, куда не надо... а то еще и не так попадет...

После ужина Димка забился к себе в темные сени и улегся на груду сена за ящиком, укрывшись материной поддевкой. Он долго лежал, не засыпая.

Потом к нему пробрался Шмель и, положив голову на плечо возле шеи, взвизгнул тихонько...

— Что, брат, досталось сегодня,— проговорил сочувственно Димка,— не любит нас с тобой никто... Ни Димку, ни Шмельку... Да...— И он вздохнул огорченно.

Уже совсем засыпая, он почувствовал, как кто-то подошел к его постели.

— Димушка, ты не спишь?

— Нет еще, мам...

Мать помолчала немного, потом проговорила уже значительно мягче, чем днем:

— И чего ты суешься куда не надо? Знаешь ведь, какой он аспид... Все сегодня выгнать грозился.

— Уедем, мам, в Питер, к батьке.

— Господи, да я бы хоть сейчас... Да разве проедешь теперь, сынок. Ведь вокруг вон что делается...

— В Питере, мам, какие?

— Кто их знает. Говорят, что красные. А может, и врут. Разве теперь разберешь...

Димка согласился, что разобрать действительно трудно, потому что уж на что волостное село близко, а и то не поймешь, чье оно теперь. Говорили, что Козолуп его на

днях занимал, а что за Козолуп, и какого он был цвета, неизвестно — зеленый, должно быть.

И он спросил у задумавшейся матери:

— Мам, а Козолуп зеленый?

— А пропади они все вместе взятые! — с сердцем ответила та.— Вот еще послал господь наказание. То все были люди как люди, а теперь поди-ка.

И она спросила у Димки, только что вспомнив:

— Слушай-ка, ты богу-то перед сном молишься?..

— Молюсь, молюсь,— поторопился он, натягивая поддевку на голову, испугавшись, как бы мать не вздумала расспрашивать дальше.

Так оно и выходит.

— Ой, врешь,— недоверчиво говорит мать.— А ну-ка, прочитай «Ангелу хранителю»...

Димке хочется спать. Димка боится, как бы мать не узнала, что он опять спит со Шмелем, кроме того, он никак не может вспомнить первого слова.

И Димка отвечает сердито:

— Не буду, чего без толку-то...

— Как без толку, дурак?..— вспыхнула озадаченная мать.

Но Димка и сам видит, что сболтнул лишнее, и отвечает искренне и плаксивым голосом:

— И что это, право... днем сама ругалась, бабка по башке стукнула, Головень по шеям... Ляжешь спать, и тут никакого покоя.

В голосе его чувствуется неподдельная нотка обиды, и смущенная мать оставляет его одного...

В сенцах темно, сквозь распахнутую дверь виднеются густо пересыпанное звездами темное небо и краешек светлого месяца.

Димка зарывается глубже, приготавливаясь видеть продолжение интересного, недосмотренного вчера сна, и, засыпая, он чувствует, как приятно греет шею и дышит прикорнувший к нему верный Шмель.

Высоко в синем небе плывут облака, широко по полям играет желтыми хлебами теплый ветер. Лазурно спокоен летний день. Неспокойны только люди. Где-то за темным

лесом протрещали раскатистые пулеметы, где-то за краем горизонта перекликнулись глухо орудия, и куда-то промчался через деревеньку легкий кавалерийский отряд.

— Мам, с кем это?

— Отстань!

Отстал Димка, пробежал тихонько к поскотине, взобрался на одну из жердей невысокой изгороди и долго смотрел вслед исчезающим всадникам.

— Вот где жисть-то!..

— Вырасту, тоже в солдаты пойду,— охваченный воинственным задором и ерзая молодцевато по забору, решил Марьин Федька.

— Справа... по три м-а-арш!..

— А к кому, к белым либо красным?..

— Нет,— отрицательно махнул головой Федька,— в кавалерию.

— Дурак ты,— презрительно выругался Димка...

И пустился объяснять неправильность такого подхода к вопросу. Потому что кавалерия тоже разная бывает.

Федька слушал, хлопая глазами, но, кажется, не особенно понял, потому что спросил под конец:

— А везде ли кавалерия на лошадях?

И когда получил ответ, что везде, то проговорил, успокоившись:

— Ну, тогда все равно, хоть в какую...

Головень ходил злой, как черт. Каждый раз, когда через деревеньку проходил красный отряд, он убирался из избы до тех пор, пока отряд не скрывался из глаз. И Димка решил окончательно, что Головень дезертир.

Сегодня бабка послала Димку отнести Головню на сеновал ломоть хлеба и кусок сала. Димка шмыгнул на задний двор и вместо того, чтобы забираться по лестнице, пробрался с другого конца, через выломанную доску возле курятника.

Подползая к укромному логову, он заметил, что Головень что-то мастерит, сидя к нему спиной.

«Винтовка!— удивился Димка, приглядевшись.— Вот так штука!.. Зачем она ему?»

Головень тщательно протер затвор, заткнул канал ствола тряпкой и запрятал винтовку под край крыши в сено.

Подождав с минуту, Димка присвистнул. Ему было видно, как Головень сразу вздрогнул и обернулся с испуганным, тревожным выражением лица.

— Ты что, собака, тут лазишь! — крикнул он, разглядев Димку. И пытливо окинул взглядом, как бы желая угадать: видел что-либо сейчас Димка или нет?

— Бабка прислала,— равнодушно ответил Димка, подавая узелок. И добавил обиженно: — Хлеба с салом. А ты чего еще ругаешься?

Успокоившийся Головень послал его к черту, а так как, по мнению Димки, худшего черта, чем Головень, быть не могло, то он поспешно шмыгнул вниз по лесенке.

Весь остаток вечера и весь следующий день Димку разбирало острое любопытство посмотреть, что за винтовку принес с собой Головень,— русскую или немецкую, или еще какую? А может, там у него есть наган? При этой мысли у Димки даже дух захватило, потому что к наганам и ко всем носящим наганы он проникался невольным уважением.

И Димка вспомнил, как однажды Яшка Федотов повстречал к ночи священника отца Перламутрия, возвращавшегося из села после свадьбы, и попросил у него одолжить один из свиных окороков. Но батя пришел в величайшее изумление от такой странной просьбы и, сказав Яшке что-то душеспасительное, собрался было ехать дальше. Тогда Яшка-вор сделал попытку овладеть окороком помимо всякого разрешения.

— А, яко тать в нощи на мя дерзаешь! — рассвирепев, взвопил отец Перламутрий. И будучи не обделен от господа дородством и силою, собирался хватить неразумного и заблудшего человека дрючком по голове. Но тут в темноте тихонько — щелк! В следующую же минуту отец Перламутрий, нахлестывая конягу, катил во весь дух, а Яшка-вор с окороком хохотал на дороге. Впоследствии он клялся и божился, что, кроме захлопывающейся медной табакерки, у него ничего не было.

Такова была сила и выразительность металлического нагановского языка в то время.

Неудивительно после этого, что с первой же минуты Димка почувствовал сильное и непреодолимое желание побывать на сеновале.

Как раз к тому времени утихло все кругом. Прогнали красные из волостного села Козолупа и ушли дальше на какой-то фронт. Тихо и безлюдно стало снова в глухой деревеньке, и Головень стал свободно покидать сеновал и исчезать где-то подолгу. И вот как-то под вечер, когда лягушиными песнями запевал порозовевший пруд, когда гибкие ласточки заскользили по воздуху, играя, и когда беспокойно зажужжала мошкара, танцуя кучками, заметив, что Головня дома нет, Димка пробрался на задний двор, твердо намереваясь проникнуть на сеновал. Дверка была заперта на замок, но у Димки был свой ход через курятник.

Громко скрипнула отодвигаемая доска, предательски заклокотали потревоженные куры, и, испугавшись произведенного шума, Димка быстро юркнул наверх. На сеновале было полутемно, душно и тихо. Он пробрался в самый конец за поворотом и принялся шарить по сену под крышей.

Через несколько минут тщательного поиска рука его наткнулась на что-то твердое.

«Винтовка,— решил Димка. И подумал с опаской: — Вытащить или нет?..»

Но кругом было спокойно, даже со двора не доносилось никакого шума. Он осторожно потянул за приклад и скоро вытащил всю. Пошарил рукой еще — нашел патронташ с блестящими обоймами. Нагана не нашел.

Винтовка была русская. Димка долго вертел ее, осторожно ощупывая и рассматривая.

«А что, если открыть затвор?» — мелькнула у него мысль.

Сам он никогда не открывал, но видел часто, как это делают солдаты. Тихонько потянул рукоятку вверх — подается, потом отодвинул ее осторожно на себя до отказа.

— Умно! — горделиво оценил Димка. Но тут же заметил под затвором желтоватый, вынырнувший откуда-то патрон.

«Ну, к черту,— подумал Димка,— закрою-ка я обратно».— И он стал толкать рукоятку вперед.

Теперь она пошла уже значительно туже, и, к своему величайшему ужасу, Димка заметил, что желтый патрон движется прямо в канал ствола.

Он остановился в нерешительности и отодвинул даже от себя винтовку: «И куда лезет, черт?»

Однако надо было торопиться. С большой осторожностью закрыв затвор, стал потихоньку толкать винтовку на место. Он затолкал ее почти что всю, как вдруг до его слуха донесся какой-то шум, как будто кто-то лязгнул ключом по замку и негромко кашлянул.

«Головень!» — в страхе подумал оцепеневший Димка.

Дверь скрипнула, распахнулась, и прямо перед ним показалось удивленное и рассерженное лицо Головня.

— Что ты, собака, здесь делаешь? — спросил, не отходя от двери, тот.

— Ничего! — побледнел от испуга Димка. — Я спал...— И незаметно ногой двинул предательски выглядывающий в сене приклад. В ту же минуту, точно тяжелый и внезапный удар по голове, грохнул глухой, но сильный выстрел.

Димка чуть не сшиб Головня с лестницы, бросился прямо сверху на землю и, преследуемый по пятам, пустился через огород, ничего не соображая и не различая.

Перескочив через плетень возле дороги, он оступился в канаву и здорово грохнулся, но, невзирая на боль, вскочил снова и сейчас же почувствовал, что настигнувший его рассвирепевший Головень крепко впился пальцами в рубаху.

«Пропал! — подумал Димка. — Ни мамки, никого — убьет теперь».— И, получив сильный удар, от которого черная полоса поползла в глазах, он упал на землю и съежился, приготовившись получить еще и еще. Но ни другого, ни третьего не последовало. Отчего-то застучала дорога ударами, почему-то разжалась рука Головня, и кто-то крикнул гневно и повелительно:

— Не сметь!

Открыв глаза, Димка увидел сначала лошадиные ноги... Целый забор лошадиных ног.

Кто-то сильными руками поднял его за плечи и поставил на землю. Только теперь Димка рассмотрел окружавших его кавалеристов и всадника в черном костюме с красной звездой на груди, перед которым растерянно стоял Головень.

— Не сметь! — повторил незнакомец. И, взглянув на заплаканное лицо Димки, добавил мягко: — Не плачь, мальчуган, и не бойся. Больше он не тронет ни сейчас, ни после,— и кивнул головой одному из сопровождающих.

Отряд рысью помчался вперед.

Остался один и спросил строго у Головня:

— Ты кто такой?

— Здешний,— хмуро ответил Головень.

— Почему не в армии?

— Год не вышел.

— Фамилия? — коротко спросил тот.— На обратном пути проверим.

И ударил шпорами кавалерист,— прыгнула лошадь с места в галоп,— и легко умчался вперед.

Убежал с ругательством и Головень, а на дороге остался один недоумевающий и не опомнившийся еще как следует Димка.

Посмотрел он назад — нет никого.

Посмотрел по сторонам — нет Головня.

Посмотрел вперед и увидел, как чернеет точкой и мчится, исчезая у закатистого горизонта, черный незнакомец и его отряд.

II

Высохли на глазах слезы, утихла понемногу боль в спине. Но домой Димка идти еще не решался,— подумал, что нужно обождать до ночи, когда Головень ляжет спать.

Потихоньку направился к речке. Темная и спокойная у берегов под кустами, вода на середине отсвечивала розовым блеском, играла тихими всплесками, перекатываясь через мелкое, каменистое дно.

На том берегу, возле опушки Никольского леса, заблестел тускло огонек костра. Почему-то он показался Димке очень далеким и заманчиво-загадочным. «Кто бы это? — подумал он.— Пастухи разве?.. А может, и бандиты... ужин варят... картошку с салом или еще что такое...»

Ему здорово захотелось есть. И Димка пожалел искренне, что он не бандит.

В сумерках огонек разгорался ярче и ярче, приветливо мигая издалека Димке. И еще глубже хмурился, темнел в сумерках беспокойный Никольский лес.

Спускаясь по тропке, Димка вдруг остановился, услышав что-то интересное. За поворотом, у берега, кто-то пел высоким искусно переливающимся альтом, как-то странно, хотя и красиво разбивая по слогам слова:

Та-ваа-рищи, та-ва-рищи,—
Сказал он им в ответ,—
Да здра-вству-ит Россия!
Да здра-вству-ит Совет...

«А, чтоб тебе!—с невольным восхищением подумал Димка.— Вот наяривает!» — И бегом пустился вниз.

На берегу он увидел невысокого худенького мальчугана, валявшегося возле брошенной на траву небольшой сумки. Заслышав шаги, тот повернулся, оборвал песню и посмотрел с опаской на направляющегося к нему Димку:

— Ты чего?

— Ничего... Так!

— А!—протянул вполне удовлетворенный мальчуган.— Драться не будешь?

— Чего?

— Драться, говорю, а то смотри, я даром что маленький, а так отошью!

Димка, больше чем кто-либо не имевший никакого желания драться, поспешил в этом уверить мальчугана и спросил его в свою очередь:

— Это ты пел?

— Я.

— А ты кто?

— Я — Жиган,— горделиво ответил тот.— Жиган из города, прозвище у меня такое.

Димка с размаху бросился на траву и, заметив, как тот испуганно отодвинулся сразу, ответил, усмехаясь:

— Барахло ты, а не Жиган, разве такие жиганы[1] бывают? А вот поёшь ты здорово...

[1] Устаревшее ныне слово «жиган» означало в то время «вор, налетчик». Но это ничего общего не имело с кличкой Жиган. Гайдар использовал его в повести как один из многих элементов иронии.

Жиган хотел было сначала обидеться, но последняя фраза весьма польстила ему, и он самодовольно стал рассказывать Димке:

— Я, брат, всякие знаю. На станциях, по эшелонам завсегда пел. Все равно хуть красным, хуть петлюровцам, хуть кому... Если товарищам, скажем, тогда «Алеша-ша» или «Лазарет». Белым, так тут надо другое: «Раньше были денежки, были и бумажки», «Погибла Россия», ну, а потом «Яблочко». Его, конешно, на обе стороны можно, слова только переставлять нужно...

С минуту посидели молча.

— А ты зачем сюда пришел? — спросил с любопытством Димка.

— Крестная у меня тут, бабка Онуфриха, — такая стерва, ешь ее пес. Я пришел, думал отожраться малость, хоть с месяц. Куды там, насилу-насилу в дом-то пустила. «Чтобы, говорит, через неделю и духу твово тут не было. Какой ты мне, к черту, крестник!..»

И Жиган вздохнул искренне.

Димку с матерью и Топом Головень тоже все время грозился выгнать из дома, а потому он невольно почувствовал некоторую внутреннюю связь между собой и Жиганом и спросил участливо:

— А потом ты куда?

— Куда-нибудь, где лучше.

— А где?

— Кабы знал, тогда что... найтить надо.

Стало совсем темно, что-то плеснуло в воде негромко, и затихла речка снова.

— Рыба, — проговорил Жиган.

— Лягва, — отозвался Димка, — рыбы ни черта не осталось. В прошлый месяц солдаты всю бомбами поглушили. Во-о-о какие выплывали!.. У нас тогда двое щуку жарили... Вкусная!

Воспоминание о еде заставило обоих вспомнить о своих пустых желудках. Поднялись и пошли тропкой к огородам. У плетня остановились.

— Приходи завтра к утру на речку, Жиган, — предложил Димка.

— Приду.

— Раков по норьям ловить будем...

— Не врешь?..

— Ей-богу, право!

Весьма довольный Димка перескочил через плетень. Тихонько пробрался на темный двор, где заметил сидящую на крыльце мать. Он подошел к ней и, осторожно дернув за рукав, сказал серьезно:

— Ты, мам, не ругайся. Я нарочно долго не шел, потому Головень меня здорово избил...

— Мало тебе еще,— ответила она, оборачиваясь.

Но Димка слышал все — слова обиды, и горечь, и участливое сожаление, но только не гнев...

— Мам,— заглянул он ей в глаза,— я жрать хочу как собака, и неужто ты мне ничего не оставила?..

Пришел как-то к заброшенным сараям Димка печальный-печальный.

— Убежим, Жиган! — предложил он после некоторого молчания.— Закатимся куда-нибудь отсюда подальше...

Жиган посмотрел на него удивленно и спросил недоверчиво.

— Тебя мать пустит?

— Ты дурак, Жиган! Когда убегают, тогда никого не спрашивают... Головень злой, как аспид... Из-за меня мамку гонит и Топа тоже...

— Какого Топа?

— Братишку меньшого... Топает он чудно, когда ходит, ну вот и прозвали... Да и так надоело дома.

— Убежим,— охваченный этой мыслью, оживленно заговорил Жиган.— Мне, брат, что не бежать? Хоть сейчас... По эшелонам собирать будем.

— Как собирать?

— А так, спою я что-нибудь, потом скажу: «Всем товарищам нижайшее почтенье, чтобы были вам не фронты, а одно наслаждение, получать хлеба по два фунта, табаку по три осьмушки, не попадаться на дороге ни пулемету, ни пушке». Тут, как зачнут смеяться, снять сей же момент шапку и сказать: «Граждане, будьте добры, оплатите детские труды»...

Димка удивился легкости и уверенности, с какой Жиган выбрасывал эти фразы, но самый способ существования ему

не особенно понравился, и он высказал пожелание, что гораздо лучше бы вступить добровольцами в какой-нибудь отряд, организовать собственный, уйти в бандиты, в партизаны и вообще сделать что-нибудь такое... более современное. Жиган особенно не возражал, и даже наоборот, когда в течение дальнейшего разговора Димка благосклонно отозвался о красных, потому что они за революцию, он вспомнил, что служил раньше у красных.

Димка посмотрел на него уже с некоторым удивлением и сказал, что ничего и у зеленых, потому что гусей они жрут много. Дополнительно тут же выяснилось, что Жиган бывал и у зеленых, и получал регулярно свою порцию: по полгуся в день. Это заставило Димку проникнуться к нему невольным уважением, и он добавил, что все-таки лучше всего, пожалуй, у коричневых...

Но едва и тут начало что-то выясняться, как Димка обругал Жигана хвастуном и треплом, ибо всякому было хорошо известно, что коричневый — один из тех немногих цветов, под которым не было отрядов ни у революции, ни у контрреволюции, и ни у тех, кто между ними.

План побега разрабатывали долго и тщательно. Предложение Жигана утечь сейчас же, не заходя даже домой, было решительно отвергнуто.

— Перво-наперво жратвы надо хоть для начала захватить,— заявил Димка,— а то что же ты? Как из дома выйдешь, так сразу и по соседям? А потом спичек надо... хоть сколько-нибудь.

— Котелок бы хорошо... В нем всякую вещь мастерить можно. Картошки в поле натырил, вот тебе и обед!

Димка вспомнил, что Головень принес с собой хороший медный котелок. Его еще бабка начищала золой и, когда он заблестел, как праздничный самовар, спрятала в чулан.

— Свистнуть можно...

— Заперто... а ключ сроду с собой носит.

— Ничего! — уверенно проговорил Жиган.— Из-под всякого запора можно при случае. Повадка только нужна.

Решено было теперь же начать запасать понемногу провизию. И прятать по вечерам в солому у кирпичных сараев.

— Зачем у сараев? — неохотно спросил Жиган.— Можно еще куда-нибудь. А то рядом с мертвыми!

— А что тебе мертвые?

— Ничего, а все же... Знаешь историю про кузнеца Егора и про Парфена Косого?.. Нет. Ну так помалкивай. А я, как со спекулянтами ехал, под лавкой сидел и до самой точки все слышал. А была такая история. Показал мельник Парфен на Егора да еще на двоих, что они с партизанами путались... Повели их немцы вечером, да к ночи и постреляли, и пошли себе дальше, потому в одеже ихней не нуждались,— обмундировка на самих была справная... А Парфен сидит дома и думает: пошто мануфактуре пропадать, ежели что не очень испоганено, пригодиться по хозяйству может. Ждали, ждали дома бабы — не идет Парфен... А самим пойти — боязно... Под утро пошли с мужиками, смотрят — лежат двое совсем раздетые, белье рядом, в узелках. А над кузнецом Парфен, наклонившись, пиджак, видно, расстегивал. Да так и сдох... потому тот ему в шею лапами, как клещами, впился, да так и не разжал... до смерти...

Рассказ, по-видимому, произвел сильное впечатление, потому что Димка подобрал салазками ноги, свесившиеся над водою речки, и обернулся назад для чего-то...

— А может, он живой еще тогда был? — высказал предположение Димка, немного подумав.

— Это всяко понимать можно... только навряд... После немцев не оживешь, пуля у них тяжелая...

Однако на следующее же утро Димка настоял все-таки на своем предложении. Когда солнце так ласково пригревало поросшие полынью бугорки, когда воробьи так беспечно чирикали, вылетая из-под соломы крыш, растаяли все страхи, навеянные вечерним рассказом. Кроме того, они вспомнили, что раздевать они никого не собираются, что было все это давным-давно, чуть ли не с год тому назад,— заросли даже могилы густыми клочьями бурьяна.

И в этот день Димка впервые притащил к условленному месту небольшой ломоть сала, а Жиган — тщательно завернутые в бумажку три серные спички.

— Нельзя помногу,— объяснил он.— У Онуфрихи всего две коробки, так надо, чтоб незаметно...

И тогда побег был предрешен окончательно.

А везде беспокойно бурлила жизнь. Недалеко проходил большой фронт, еще ближе — несколько второстепенных, поменьше. Кругом по селам гонялись то банды за красно-

армейцами, то красноармейцы за бандами и дрались меж собой.

Крепок атаман Козолуп. У него морщина поперек упрямого лба залегла изломом, и глаза из-под седоватых бровей смотрят тяжело. Второй год нет на него ничьей управы. Первая по силе была у него ватага, первою среди мелких других и осталась.

Хитер, как черт, атаман Левка. У него и конь смеется, оскаливая белые зубы так же, как он сам, и прыгает с места в галоп, изгибаясь, как кошка. Жох-атаман! Но с тех пор, когда отбился он из-под начала Козолупа, с тех пор, когда переманил от того всех гайдуков и забубенных прощелыг, которые помоложе,— сначала глухая, а потом и открытая вражда пошла меж атаманами.

Написал Козолуп приказ поселянам: «Не давать Левке ни сала для людей, ни сена для коней, ни хат для ночлегов».

Засмеялся Левка. Написал приказ, чтобы не гулять девкам с козолуповцами, не стряпать бабам для них хлеба и не слушать мужикам приказов Козолупа.

Прочитали красные оба приказа. Написали третий: «Считать Козолупа и Левку вне закона». И все. А много им расписывать было некогда, потому что здорово гнулся у них главный фронт.

И пошло тут что-то такое, чего и не разберешь. На что уж старый дед Захарий, который на трех войнах был и всякое, что только возможно, видел. Так и тот, сидя на крыльце возле собаки, которой пьяный петлюровец шашкой ухо отрубил, говорил с печальным удивлением:

— О це ж времечко, о то да!

Приезжали сегодня в деревеньку зеленые, человек двадцать. Заходили двое и в Димкину хату, гоготали весело с Головнем о чем-то, пили чашками мутный и терпкий самогон. Димка смотрел из-за печки с любопытством. И в окошке видно было ему, как сидел верхом на соломенной крыше наблюдатель и смотрел не в поле, а на улицу, покрикивая Пелагеевой Маньке:

— Иди сюда, иди сюда, гарнусенька... А, не идешь, сукина дочь, вот я до тебя слизу...

Но не слез, однако, потому что из-за ворот вышел другой, должно, старший, и крикнул сердито:

— О, то я ж тебе слизу, бабник...— И, заметив испуганную Маньку, сказал успокаивающе:

— Та не бойся же, кралечка, идем до дому...— И тихонько пхнул ее пальцем в грудь.

Когда они ушли, Димка, которому давно хотелось узнать вкус самогонки, подошел к столу и из бутылки налил несколько недопитых капель...

— Димка, а мне?— плаксиво заканючил наблюдавший Топ.— А мне?..

— Оставлю, оставлю!— И Димка опрокинул чашку в рот.

В следующую же секунду, отчаянно отплевываясь и разбив чашку, он вылетел на глазах у удивленного Топа из двери.

Возле сараев он застал взволнованного чем-то Жигана.

— Ты что так долго? А я, брат, штуку знаю...

— Какую?— заинтересовался Димка.

— У нас возле хаты яму вырыли длинную поперек дороги.

— Зачем?

— А черт их знает зачем. Может, окоп?

— Нет, мелкая больно. Должно, чтоб не ездил никто...

— Как же можно не ездить?— с сомнением покачал головой Димка.— Тут, брат, штука... И зеленые чего-то торчат, и ямы какие-то роют. Уж не затевают ли чего?

Подумали немного, но ничего не угадали все-таки.

Потом пошли осматривать свои запасы, спрятанные в соломе у проломанной стены осевшего темного сарая. Их было еще немного: два небольших куска сала, краюха сухого хлеба и с десяток спичек. Димка прибавил туда еще тройку и, к великому разочарованию умильно помахивающего хвостом Шмеля, уложил все снова обратно.

В тот вечер солнце огромным красноватым кругом повисло над горизонтом у Надеждинских полей и заходило понемногу, не торопясь, точно любуясь широким покоем отдыхающей земли.

Далеко в Ольховке, приткнувшейся к опушке Никольского леса, ударил несколько раз колокол. Но не тревожным набатом, как часто, а так просто, мягко-мягко... И ко-

гда густые дрожащие звуки мимо соломенных крыш белых хаток дошли до единственного уха старого деда Захария, подивился он немного давно не слыханному спокойному звону. Перекрестившись неторопливо, дед крепко сел на свое покосившееся крылечко. А когда сел, то подумал: «Какой же это завтра праздник будет?» Да так и не решил, потому что престольный в Ольховке уже был, а Спасу — еще рано. И спросил Захарий, постучавши палкой в окошко, у выглянувшей оттуда старушки:

— Горпина, а Горпина, чи завтра у нас воскресенье будет?

— Что ты, старый! — недовольно ответила перепачканная в муке Горпина. — Иде ж после середы воскресенье бувае?

— О то ж и я так думаю...

И покачал головой дед Захарий, что не напрасно ли он крест на лоб наложил и не худой ли это какой звон.

Набежал ветерок наскоком, чуть колыхнул седую бороду, и увидел дед, как высунулись чего-то любопытные бабы из окошек, выкатились ребятишки из-за ворот, и донесся с поля какой-то протяжный и странный звук, как будто бы заревел бык либо корова в стаде, только резче и дольше:

— У-о-уу-ууу...

А потом вдруг как хрястнуло по воздуху, как забухали подле поскотины выстрелы.

Захлопнулись разом окошки, исчезли с улиц ребятишки. Хотел встать скорей до дому старик, да не слушались ноги. И опомнился он только тогда, когда закричала сердито с крыльца Горпина:

— Иди же, старый дурак, до дому! Чего расселся, чи не бачишь, що воно зачинается!

А у Димки колотилось сердце такими же, как выстрелы, нервными перебоями, и хотелось ему бежать посмотреть на улицу, узнать, что там такое. И было страшно, потому что побледнела мать сильно... и сказала как-то не своим, тихим голосом:

— Ложись... ложись на пол, Димушка.

И уложивши их с Топом возле стола, добавила со страхом:

— Господи, хоть бы из пушек не зачали!

У Топа глаза сделались большие-большие, и он застыл на полу, положив голову возле ножки стола. Но лежать так ему было неудобно, и он захныкал:

— Я не хочу лежать на полу... я к бабке на печку.

— Лежи, лежи! — ответила мать. — А то вот придет гайдамак... он тебя...

Что-то особенно здорово грохнуло, так что звякнули стекла у окошек, и показалось Димке, что дрогнул пол... «Бомбы бросают!» — подумал он... Мимо темных окон с топотом, криками пронеслось несколько человек. Потом все стихло.

Прошло еще с полчаса... Кто-то застучал в сенцах и выругался, наткнувшись в темноте на пустые ведра. Распахнулась дверь, и, к своему великому удивлению, Димка увидел Головня, снимающего с руки винтовку. Он был чем-то сильно раздосадован, потому что, выпив залпом целый ковш воды, толкнул ружье в угол и сказал с сильной досадой:

— Ах, чтоб ему!..

Утром встретились ребята рано-рано.

— Жиган, — спросил Димка с нетерпением, — ты не знаешь, отчего вчера... С кем это?..

У Жигана юркие глаза блеснули самодовольно, и, сжимая в кулаки худенькие длинные руки, он ответил важно:

— О, брат, было у нас вчера дело...

— Ты не ври только! — сразу же оборвал его Димка. — Ведь я видел, что ты тоже домой припустился, когда стрелять зачали.

Жиган немного обиделся и добавил недовольно:

— А ты почем знаешь? Может, я огородами опять вернулся.

Димка сильно усомнился и в этом, но перебивать не стал.

— Машина вчера из города ехала, в Ольховке ей починка была. А зеленые засаду устроили, на то и яму поперек дороги вырыли... Как она оправилась и выехала, ольховский дьякон Гаврила в колокол: бум!.. — сигнал, значит...

— Ну?

— Ну, вот и ну... Подъехала к ямам, тут по ней и начали пулями садить. Она было назад хотела, глядь — а поскотину запер уже кто-то...

— И поймали кого?

— Нет. Оттуда такую стрельбу подняли, никак не подойти... Потом уж, как видят, что конец делу,— врассыпную... Постреляли только всех. А один убег. Бомбу бросил рядышком с Онуфрихиной хатой, у ней аж стекла все полопались... По нем из ружей кроют, за ним гонятся, а он ширк через плетень, через огород, да так и утек.

— И не нашли?

— Нету... За речку, должно, убег...

— А машина?

— Машина и сейчас тут, только негодная совсем, потому как один в нее гранатой запустил. Всю искорежило. Я уж бегал... Федька Марьин допреж меня еще поспел. Гудок стырил, здоровый — нажмешь резину, а он как завоет...

Весь день только и было разговоров о вчерашнем происшествии. Зеленые еще ночью ускакали, и вновь осталась без власти маленькая украинская деревушка.

Собирались мужики кучами и говорили промеж себя с опаской:

— О, не пройдет уж это нам даром, ей-богу.

— Придут другий раз красные, побачут, що самопер возле наших хат стоит... А, скажут, такие-сякие, це ж вы наробили... Поспаляют зраз хаты...

Наконец порешили за лучшее убитых закопать поглубже в яму. Никифор Егоров, он же председатель при красных, он же староста при белых, нарядил пару волов и велел отвезти остатки машины и бросить где-либо подальше от деревеньки, посредь дороги.

А Федькин отец, изловив сынишку, всыпал ему здорово и отобрал сигнальный гудок, посмотрел с любопытством на мягкий резиновый шар, на блестящую трубку и подумал: «Не может ли эта штука пригодиться по хозяйству?» Но все-таки использовать ее не решился, побоялся, как бы не попасть из-за этого к ответу, и, не без сожаления, забросил гудок далеко, в самую середину реки.

У Димки с Жиганом приготовления к побегу подходили к концу. Оставалось теперь самое главное — спереть котелок. Это сделать было бы очень трудно, если бы Жиган не догадался предложить выудить его через узенькое окошко, выходящее в огород, при помощи длинной палки с насаженным на нее гвоздем. На следующий же день, после обеда, палка с крюком была готова и запрятана между грядок с огурцами.

На сегодня пока дела больше не было. Но Димке не сиделось на месте, и, когда Жиган отправился обедать, он решил отправиться со Шмелем к сараю. Перескочил легко Димка через плетень, нырнул Шмель в знакомую ему дыру, и через несколько минут они уже подходили к своему укромному логову.

Завалился было сразу на солому и, опрокинувшись на спину, начал баловаться с яростно атакующим его голову Шмелем. Но встретился невзначай с чьим-то взглядом и привстал, немного удивленный. Ему показалось, что снопы у стенки немного сдвинуты и расположены как-то не совсем так, как вчера. «Неужели из ребят тоже кто-нибудь здесь лазил? — мелькнуло сразу подозрение.— Ах, черти!..»

Он подошел ближе, чтобы проверить, не открыл ли кто-нибудь спрятанную провизию. Пошарил рукой под крышей — нет, тут!..

Стал вытаскивать все. Выудил два куска сала, ковригу хлеба, спички и сунул руку за куском вареного мяса. Пошарил тут, пошарил там — нету.

«Ах, ты, стерва! — подумал он, начиная догадываться.— Это не иначе, как Жиган сожрал... Если из ребят кто, так те бы все сразу».

Он запрятал все обратно и, сильно рассерженный, стал поджидать.

Вскоре показался и Жиган. Он только что пообедал и был в самом хорошем расположении духа. Подходил неторопливо, засунув пальцы в рот и насвистывая.

— Ты мясо сожрал? — без обиняков насел Димка, уставив на него исподлобья недоверчивый взгляд.

— Жрал! — ответил тот, вспоминая об этом, видно, с большим удовольствием.— Вкусно...

— Вкусно! — наступал на него рассерженный Димка.— А тебе кто позволил? А где такой уговор был? А что на до-

рогу останется? Я тебя вот тресну по башке, так ты будешь знать...

Совершенно не ожидая такого нападения, Жиган опешил:

— Так это же я дома, за обедом... Онуфриха кусок из щей вынула, боль-шой...

— А отсюда кто спер?

— Я не знаю,— опешил Жиган, остановившись на месте и замотав усиленно головой.

— Побожись...

— Ей-богу! Вот чтоб мне провалиться, чтоб сдохнуть сей же секунд, ежели брал.

Но потому, что Жиган не провалился и не сдох «сей же секунд», и кроме того, он отрицал с необыкновенной горячностью возведенное на него обвинение, Димка подумал в виде исключения на этот раз, что Жиган не врет. А так как кусок мяса не мог сам себя съесть, то нужно же было отыскать виновника. И глаза Димки скользнули куда-то вниз и остановились испытующе и строго.

— Шмель,— позвал он, протягивая руку к валяющейся хворостине.— А ну, поди сюда, сукин сын, поди сюда, дрянь ты эдакая!

Но Шмель ужасно не любил, когда с ним разговаривали таким тоном. Он бросил теребить жгут из соломы, опустил хвост и сразу же направился в другой конец сарая.

— Он сожрал,— с негодованием заявил Жиган.— Чтоб ему лопнуть было. И кусок-то какой здоровый...

Перепрятали все теперь повыше, заложили обломком доски и привалили кирпичом.

Потом лежали долго, рисуя заманчивые картины будущей жизни.

— В лесу ночевать возле костра хорошо...

— Темно ночью только,— с некоторым сожалением заметил Жиган.

— А что темно? У нас ружья будут...

— А если поубивают... Я, брат, не люблю, чтобы убивали...

— И я тоже,— откровенно сознался Димка.— А то что, в яме, вон как эти.— И он мотнул головой в сторону покривившегося креста, чуть-чуть вырисовывающегося из-за густых сумерек.

При этом напоминании Жиган съежился и почувствовал, что в вечернем воздухе стало вдруг как бы прохладней. Но, желая показаться молодцом, он ответил равнодушно:

— Да, брат... А у нас была один раз штука...

И оборвался, потому что Шмель, давно улегшийся в ногах у Димки, поднял голову и, насторожившись, заворчал предостерегающе и сердито.

— Ты что? Что ты, Шмелек?..— спросил его Димка и погладил по голове. Тот замолчал и положил голову между лап.

— Крысу чует,— почему-то шепотом заговорил Жиган и, притворно зевнув, сплюнул: — Домой надо идти, Димка.

— Сейчас пойдем. А какая у вас была штука?

Но Жигану было уже не до штуки, да кроме того то, что он собрался соврать, вылетело у него из головы.

— Ну, пойдем,— согласился Димка. Ему и самому сильно захотелось удрать вдруг подальше отсюда.

Встали... Шмель поднялся, но не пошел сразу за ними, а остановился возле соломы, тревожно заворчал снова, как будто его дразнил кто-то в темноте...

— Крысу чует! — сказал теперь Димка.

— Крысу? — каким-то подавленным голосом повторил Жиган.— А только чего это раньше он их не чуял?

И добавил негромко.

— Холодно что-то... Давай, Димка, пойдем скорее домой...

— А большевик, что убег, где-либо подле деревни недалеко,— встретил Жиган на следующий день Димку.

— Откуда ты знаешь?

— Так, думаю. У старой Горпины рубашка дедова в тот день с плетня пропала, а меня Онуфриха сегодня за солью к ней послала — в долг чтоб полчашки... Я в сенцах слышу — ругается шибко Горпина, и не сунулся сразу, потому, думаю, не даст еще со злости. Слушаю, а она и говорит: «И бросил какой-то паскуда под жерди, пес ее знае, чи собак резал. Я побачила, а вона ж прорвана, хиба трошки, а то вся как есть»... А дед Захарий слушал-слушал, а потом и говорит: «О, Горпина...»

Жиган многозначительно посмотрел на вслушивающегося внимательно Димку и, только когда тот нетерпеливо занукал, начал снова:

— А дед Захарий и говорит: «О, Горпина! Да ты сховай язык покрепче. Здается мне, що не собак тут резали»... Тут я вошел в хату, а на лавке рубашка, и от нее рукав оторван вовсе, и нету его, а по всей-то ей пятна от крови большие... И как вошел я, села на нее сей же секунд Горпина и говорит: «А подай ему, дед, с полчашки»,— а сама так и не встала. Мне што, когда я все равно видел.

— Ну, а причем же тут большевик? — начал было Димка.

— Чудной ты!.. Да это не иначе, как его одежа... А далеко убежать он не мог, потому как раненый. Значит, тут где-либо.

Замолчали оба, переваривая в головах такую захватывающую новость. У Димки глаза прищурились, уставившись неподвижно в одну точку, а у Жигана заблестели и забегали юрко по сторонам.

И сказал Димка, подумав:

— Вот что, Жиган, молчи лучше и ты. Много и так поубивали у нас красных возле деревни, и все поодиночке.

И пообещал Жиган молчать...

Сегодня вечером должны были окончательно закончиться сборы — завтра на рассвете нужно пуститься в путь.

Весь день провел Димка как в лихорадке, разбил нечаянно блюдечко, наступил на хвост Шмелю и в довершение всего чуть не сбил с ног бабку, вышибив у нее из рук крынку с молоком, за что получил от Головня хорошую оплеуху. Но не опечалился на этот раз особенно, а только подумал с досадой: «Кабы за раз настукать, сколько меня ж все это время, так, кажись, не только сам Головень, а бык сдох бы. Дезертир чертов... Мало что дезертир, бандит еще. Откуда он с винтовкой в тот день вернулся?»

А время шло час за часом. Прошел полдень, обед, наступал вечер. Было решено пробраться в огород и, спрятавшись за бузиной, густо разросшейся в углу, выжидать наиболее благоприятный момент для похищения котелка. Димка и раньше прятался там часто, но то бывало как-то просто и неинтересно... А сегодня даже дух захватывало.

Засели они рановато, и долго еще через двор проходил то один, то другой. Наконец прошел в хату Головень, позвали Топа.

На крыльцо вышла мать и, оглядевшись по сторонам, закричала:

— Димка, Дим-ка!.. Где ты, паршивец, делся?

«Ужинать!» — догадался Димка, но откликнуться, конечно, даже и не подумал.

Мать постояла на крыльце еще немного, потом выругалась и ушла. На дворе стало темно. Подождали минут пять...

— Идем, Жиган!

Крадучись, вышли, или, вернее, выползли.

Возле деревянной стенки чулана остановились.

До окошка было довольно высоко. Димка встал, упершись рукой в колено, а Жиган, как более гибкий, забрался к нему на спину и осторожно стал просовывать палку с гвоздем в окошко.

В чулане темно, он никак не мог зацепить крючком котелок, так что Димка изругался даже.

— Скорей ты, черт! Что у меня спина, забор, что ли?

— Темно больно,— шепотом ответил Жиган и, с трудом зацепив поблескивающий котелок, потащил его к себе.— Есть! — соскочил с Димкиной спины Жиган.

— Жиган! — удивился Димка, заметив у него в руке еще что-то.— А где ты колбасу взял?

— Тут висела рядышком... Бежим скорей!

И они проворно юркнули в сторону... Возле огорода Димка вспомнил, что впопыхах они оставили палку с крюком прислоненной к чулану, и решил вернуться, чтобы захватить ее с собой. Быстро пробравшись обратно, он схватил ее и хотел бежать, как вдруг увидел просунутую в дыру плетня голову Топа, любопытно смотревшего на него.

Димка, с палкой в одной руке и с колбасой в другой, так растерялся в первую секунду, что пришел в себя только тогда, когда Топ спросил его серьезно:

— Ты зачем колбасу стащил?

— Это... Это не стащил. Топ... Это надо,— поспешно ответил, подходя к нему, Димка.— Это воробушков кормить... Ты любишь, Топ, воробушков?.. Чирик-чирик!.. Ты не гово-

ри только. Не скажешь? Я тебе гвоздь завтра дам, здоровый...

— Воробушков? — так же серьезно переспросил Топ.

— Да-да! Вот ей-богу!.. У них нет... Бе-едные!

— И гвоздь дашь?

— И гвоздь дам... Ты не скажешь, Топ? А то не дам гвоздя и со Шмелькой играть не дам.

И, получив обещание Топа молчать, но все-таки про себя сильно сомневаясь в этом, Димка помчался к Жигану.

Сумерки наступали торопливо и, когда ребята добежали до сарая, чтобы спрятать котелок и злополучную колбасу, стало почти темно.

— Прячь скорее...

— Давай! — Жиган полез вверх, на солому, и скользнул под крышу. — Димка, тут темно, — тревожно слышалось через переборку. — Я не найду ничего.

— А, дурной, врешь ты, что не найдешь! Боишься, видно? — бросил Димка и полез в дыру тоже... В потемках он нащупал руку Жигана и, к своему удивлению, заметил, что она сильно и нервно дрожит.

— Ты чего? — И Димка почувствовал, как невольный страх начинает передаваться и ему...

— Там кто-то... — начал было Жиган шепотом, выбивая зубами дрожь. — Кто-то...

Но не договорил, а только крепко ухватил Димку за руку. И Димка ясно услыхал доносившийся из темной глубины сарая тяжелый, сдавленный стон...

В следующую же секунду, с криком скатившись вниз, не различая ни ям, ни тропок, оба в ужасе неслись прочь от сарая.

III

В эту ночь Димка долго не мог заснуть. Положил с собой рядом Шмеля, закутался крепко в поддевку и все же каждый раз испуганно открывал глаза при малейшем стуке. Проснулся он рано, и потому ли, что было светло, потому ли, что за ночь он успел оправиться от первоначального испуга, но только теперь в его голове на-

чали складываться всевозможные более или менее цельные предположения.

«Крысы? — вспоминал он. — Мясо, снопы... А что если?..» — вдруг мелькнула у него какая-то мысль.

Он быстро оделся и помчался прямо к сараям. Вот и снопы, вот и щель. Простояв с минуту в нерешительности, Димка быстро вскарабкался на солому и юркнул в дыру.

Солнечные лучи, пробиваясь сквозь многочисленные щели, светлыми полосками прорезали полутьму длинного сарая. Подпорки передней части, там, где должны были находиться ворота, обвалились — и крыша осела, наглухо завалив вход.

«Где-то тут!» — Димка пополз вперед. Он завернул за одну из куч слежавшейся соломы и остановился... В углу, распластавшись на соломе, лежал человек, а впереди него — бессильно зажатый в вытянутой руке темный наган.

Шорох заставил человека поднять глаза. Он крепко стал сжимать наган, по-видимому, собираясь выстрелить. Но, то ли изменили ему силы, то ли что-нибудь другое, только, всмотревшись воспаленными мутными глазами в Димку, он разжал пальцы, выпустил револьвер и проговорил хрипло, с трудом ворочая языком:

— Пить...

Димка сделал шаг вперед и чуть не крикнул от удивления: прямо перед ним лежал черный незнакомец. Пропал весь страх, все сомнения, осталось только чувство острой жалости к человеку, когда-то так участливо заступившемуся за него.

Димка схватил котелок, помчался за водой на речку. Возвращаясь бегом, он наткнулся на Федьку Марьиного, помогавшего матери тащить корзину мокрого белья. Однако он успел все-таки почти что под самым носом у того завернуть в кусты. Ему было видно, как удивленный Федька замедлил шаг и поворотил голову в его сторону. И если бы мать, заметившая, как сразу потяжелела корзина, не крикнула сердито: «Та неси же, дьяволенок, чего ты завихлялся, паршивец!» — то, должно быть, тот не утерпел бы проверить, кто это шмыгнул в сторону и спрятался в кустах столь поспешно.

В сарае Димка увидел, что незнакомец лежит, закрыв глаза, и шевелит губами слегка, точно разговаривая

с кем-то во сне. Димка тронул его за плечо, и, когда тот, открыв глаза, увидел перед собой стоящего с котелком мальчугана, нечто вроде слабой улыбки мелькнуло по его пересохшим и истрескавшимся губам. И он с жадностью, отрывисто дыша, потянул тепловатую воду. Напившись, опять опустил голову на солому и пролежал молча минут пять. Потом приподнялся опять и спросил у Димки, уже немного яснее и внятней:

— Красные далеко?

— Далеко,— ответил Димка.— Не слыхать вовсе что-то.

— А в городе?

— Петлюровцы... Головень вчерась говорил.

Раненый поник головой. Потом снова заговорил негромко:

— Мальчик, ты никому не скажешь?

И было в этом вопросе столько скрытой тревоги, столько безнадежной просьбы, что вспыхнул разом Димка и горячо принялся уверять, что он не скажет никому.

— Жигану разве только.

— Это с которым вы бежать собирались?

— Да,— удивленный смутился Димка.— Вот и он, кажется.

Прислушались. У сараев засвистел соловей переливисто, щелкнул, рассыпавшись пересвистами. Потом крикнул тихонько:

— Эгей...

Это Жиган, не боящийся ничего солнечным утром, разыскивал и дивился, куда это пропал его товарищ.

Отодвинув снопы и высунув из дыры голову, Димка, боясь крикнуть, запустил в Жигана камешком. И когда тот, как ужаленный, обернулся назад, он позвал его знаком к себе.

— Ты чего?— рванулся недовольный Жиган, почесывая рукой спину.

— Тише! Лезь сюда. Надо...

— Так ты крикнул бы, а то на-ко... Камнем! Ты б кирпичом еще запустил...

Взяв с Жигана самую страшную клятву и, помимо всего прочего, пообещав поколотить его в случае нарушения слова, Димка посвятил его в свою тайну.

Спустились оба вниз. Видя перед незнакомцем черный револьвер, Жиган остановился, оробев. Но тот открыл глаза и спросил негромко:

— Ну что, мальчуганы?

— Это вот Жиган! — не зная, собственно, к чему, ответил Димка и толкнул того легонько вперед.

Незнакомец ничего не сказал и только чуть-чуть наклонил голову.

Из своих запасов Димка притащил ломоть хлеба и вчерашнюю колбасу.

Раненый был голоден, но ел мало и все больше пил воду. Помимо того, что пуля зеленых прохватила ему ногу, он почти три дня не имел ни глотка воды и был сильно измучен.

Жиган и Димка сидели почти все время молча, так как, кроме нескольких отрывистых фраз, незнакомец пока не сказал ничего. Глаза у него заблестели теперь лихорадочно и ярко.

— Мальчуганы! — окликнул он уже совсем ясно. И по голосу теперь Димка еще раз узнал в нем незнакомца, крикнувшего гневно на Головня.— Мальчуганы, вы славные ребятишки... Я часто слушал, как вы разговаривали,— но если вы проболтаетесь, то меня убьют... Только-то и всего...

— Не должны бы,— неуверенно вставил Жиган.

— Как, дурак, не должны бы? — вспыхнул Димка.— Ты говори: нет — и все... Да вы его не слушайте,— чуть не со слезами в голосе обратился он к раненому.— У него, ей-богу, дурость вроде как в башку заходит. Вот провалиться мне, все обещал только, а то и взаправду вздую.

Жиган, который и в самом деле не имел никакой задней мысли, сообразил, что сболтнул что-то несуразное, и ответил извиняющимся тоном:

— Да я, Дим, и сам... что не должны бы, значит... ни в коем случае...

И Димка увидел, как незнакомец улыбнулся второй раз.

— Хорошо, хорошо,— я верю, только вы теперь не убегайте из дому, ребятишки.

И Димке, которому перед тем важным, что было теперь перед ним, побег показался таким далеким и ненужным, что он ответил твердо за двоих:

— Нет, мы не побежим...

За обедом Топ сидел-сидел, да и выпалил:

— Димка, давай гвоздь, а то я мамке скажу, что ты колбасу воробушкам таскал.

Димка чуть не подавился картошкой и громко зашумел табуреткой. К счастью, мать вынимала в это время из печки похлебку, а бабка была туговата на ухо, а Головень еще только входил в хату. И Димка шепнул Топу, толкая его ногой:

— Вот дай пообедаю... у меня уже припасен, хороший...

«Чтоб тебе неладно было!—подумал он, вставая из-за стола.—Вот дернуло за язык». И так как никакого гвоздя у него не было, то он остановился на дворе, раздумывая, откуда бы раздобыть. После некоторых поисков и долгих усилий в сарае из стены он выдернул здоровый железный гвоздь и отнес его Топу.

— Большой больно,—остался недовольным Топ, внимательно рассмотрев толстый, неуклюжий гвоздь.

— Что большой? Вот оно и хорошо, Топ. А что маленький, заколотил, ну и все, а тут долго сидеть можно: тук-тук!.. Хороший гвоздь!

Вечером Жиган стянул у Онуфрихи небольшой кусок чистого холста для повязки раненому...

— Ёду где-нибудь достать надо...

— Какой-такой ёд?..

— Желтый, жгучий... как задерет, взвоешь прямо, а потом сразу затянет. У нас, как стояли солдаты, мне мамка на руку налила...

Из своих запасов Димка захватил кусок сала поздоровей и направился на другой конец села к попадье. Вместо нее дома он застал отца Перламутрия, который в одном подряснике и без сапог лежал на кушетке. Он был, по-видимому, в самом хорошем расположении духа. Напротив него на стене висела картина, где какой-то седовласый старец с необыкновенно морщинистым лицом сидел, упершись локтем на стол, а перед ним шли облака или что-то вроде облаков, из-за которых выглядывали женские лица неимоверной красоты, кубки с выпирающим, как мыльная пена, вином и бал, или, вернее, уголок бала... В бешеной мазурке проходила пара, он—ловкий, с шеей, поднятой до пределов возможного, а она—легкая, розовая, как мечта, с длинным шлейфом и талией, необыкновенно грациозной и изо-

гнутой. Под этой картиной была подпись: «Воспоминания о минувших юностных днях».

Вошел Димка нерешительно, завернутый кусок сала держа за спиной.

— Здравствуйте, батюшка.

Отец Перламутрий вздохнул, перевел с картины взгляд на Димку и спросил, не поднимаясь:

— Ты что, чадо? К матушке либо ко мне...

— К матушке...

— Гм, ну, а поелику она пока в отлучке, я за нее....

— Мамка прислала, пойди, говорит не даст ли попадья, матушка то есть, ёду малость, и пузырек вот прислала... ма-хонький.

— Пузырек? Гм...—с сомнением кашлянул отец Перламутрий и окинул Димку внимательным взглядом.

— Пузырек... А ты что, хлопец, руки назад держишь....

— Сала тут кусок. Говорит, если нальет матушка, отдай ей в благодарность...

— Если нальет, говоришь...

— Ей-богу, так и сказала.

— О-хо-хо,—вздохнул отец Перламутрий, приподнимаясь.—Нет, чтобы просто прислать, а то вот: «если нальет».—И он вздохнул с сокрушением.—Ну, давай, что ли, сало-то. Да оно старое!

— Так нового не кололи же еще, батюшка!

— Знаю я, что не кололи. Можно бы пожирней, хоть и старое. Пузырек где? Что это мать тебе целую четверть не дала? Разве возможно полный?

— Да в ём, батюшка, два наперстка всего. Куды меньше?

Отец Перламутрий постоял в нерешительности, потом добавил:

— Ты скажи-ка, пусть лучше мать сама придет, я ей прямо и смажу, а наливать к чему же?

Но Димка отчаянно замотал головой.

— Нет, вы, батюшка, наливайте, а то мамка наказывала: «Как если не будет давать, бери, Димка, сало и тащи назад».

— А ты скажи ей: «Дарствующий да не печется о даре своем, ибо будет тогда пред лицом всевышнего дар сей всуе». Запомнишь?

— Запомню!.. А вы все-таки наливайте, батюшка.

Отец Перламутрий надел туфли на босую ногу — причем Димка подивился их необычайным размерам — и, прихватив с собой на всякий случай сало, ушел с пузырьком в другую комнату.

Через несколько минут он вышел, подал Димке пузырек.

— Ну вот, только от доброты своей. А у вас куры несутся, хлопец?

«От доброты меньше полпузырька налил»,— обиделся Димка, а на повторенный вопрос о курах, выходя из двери, ответил сердито:

— У нас, батюшка, кур нету, один петух только...

Отец Перламутрий удивился здорово и хотел еще что-то спросить у Димки, но того уже и след простыл. Тогда он запахнул покрепче подрясник, так как увидел некоторую неприличность в своем туалете, и, улегшись на диван и откашлявшись, взял одну ноту, потом другую погуще, а потом прочел основательно первый стих «На реках вавилонских». Полюбовавшись благозвучностью своего голоса, хотел было отец Перламутрий продолжать дальше, но в это время из-за двери выглянула красная повязанная голова только что вернувшейся из бани матушки и проговорила сердито:

— Отец, тут и так после угара, ты бы как-нибудь уж не очень громогласно...

Прошло два дня. Раненому стало лучше, пуля в ноге прохватила только мякоть, и потому, обильно смазываемая йодом, опухоль начинала немного опадать. Конечно, ни о каком побеге еще и не могло быть речи. Между тем обстановка начинала складываться совершенно неблагоприятно.

О красных не было и слуху, два раза в деревню приезжали Левкины ребята, и мальчуганам приходилось быть начеку.

Как только было возможно, они с величайшей осторожностью пробирались к сараям и подолгу проводили время с незнакомцем. Он часто и много болтал с ребятишками, рассказывал и даже шутил. Только иногда, особенно когда заходила речь о фронтах, глубокая складка залегала у него

через лоб, он замолкал, долго думал о чем-то и потом спрашивал, точно что-то припоминая:

— Ну что, мальчуганы, не слыхали, как дела там?

«Там» — это на фронте. Но слухи в деревне ходили разноречивые, одни говорили так, другие этак, и ничего толком разобрать было нельзя. И хмурился и нервничал тогда раненый, и видно было, что больше ежеминутной опасности, больше, чем страх за свою участь, тяготили его незнание, бездействие и неопределенность.

— Димка,— спросил вдруг он сегодня,— не можете ли вы достать мне лошадь?

— Зачем? — удивился тот.— Ведь у тебя ноги болят.

— Ничего, верхом бы я смог...

Но Димка покачал головой и ответил, раздумывая:

— Нет, и не потому, а все равно нельзя... Попадешь беспременно... замучают тогда.

Оба мальчугана, несмотря на большую опасность быть раскрытыми, все больше и больше проникались мыслью во что бы то ни стало сохранить в целости раненого. Особенно Димка... Как-то раз, оставив дома плачущую мать, пришел он к сараям печальный.

— Ты чего? — участливо встретил его незнакомец.

— Так Головень все... мамка плачет. Уехать бы к батьке в Питер, да никак...

— Почему никак?

— Не проедешь: пропуски разные, да бумаги, где их выхлопочешь? А без них нельзя.

И он замолчал снова.

Подумал немного незнакомец и потом сказал:

— Если бы были красные, я бы тебе достал, Димка.

— Ты?! — удивился тот, потом, поколебавшись немного, спросил то, что давно его занимало: — А ты кто? Я знаю: ты пулеметный начальник, потому тот раз возле тебя был солдат с «Льюисом»[1].

[1] С чем именно был солдат, в «Звезде» не говорится. Видимо, это слово, означающее марку иностранного пулемета, сократили из-за трудно читаемого черновика. Гайдара в редакции тогда не было: он путешествовал по югу страны. Но название пулемета, теперь взятое из последующих публикаций «РВС», важно для правильного понимания сцены.

Улыбнулся незнакомец, ничего не ответил, а только кивнул головой так, что можно понять — и да и нет. Но после этого Димке еще сильней захотелось, чтобы скорей пришли красные.

Между тем неприятностей у Димки набиралось все больше и больше. Безжалостно шантажирующий его Топ чуть ли не в пятый раз требовал по гвоздю и, несмотря на то, что Димка с помощью Жигана аккуратно ему доставлял их, все-таки проболтался матери. Потом в кармане штанов его мать нашла остатки махорки, которую Димка таскал для раненого у Головня. Выругавшись, мать оставила его под сильным подозрением в том, что он курит. И наконец Головень спросил как-то странно:

— Ты чего это все пропадаешь где-то, стерва?

Но самое худшее надвинулось только сегодня. По случаю какого-то праздника за добродетельным даянием завернул в хату отец Перламутрий. Между разговором он вставил вдруг, обращаясь к матери:

— А сало все-таки старое, даже некоторая прогорклость наблюдалась и, кроме того, упитанности несоответствующей. Не одобряю. Ты бы хоть за лекарство десяток яиц дополнительно, право...

— За какое еще лекарство?

Димка заерзал беспокойно на стуле и съежился под устремленным на него взглядом.

— Ты зачем это, тебе кто велел? — насела на него мать и в то же время побледнела сама, потому что в хату вошел Головень.

— Я, мам, собачке,— неуверенно попробовал он вывернуться.— Шмелику, ссадина у него была, здоровая...

Все замолчали. Против обыкновения Головень не разразился градом ругательств, а только, двинувшись на скамейку, сказал ядовито:

— Сегодня я твою суку пристрелю беспременно.— И потом добавил, уставившись тяжело на Димку:— А к тому же ты все-таки врешь, что для собаки.— И не сказал больше ничего, не избил даже...

— Возможно ли для всякой твари сей драгоценный медикамент употреблять! — с негодованием вставил отец Перламутрий.— А поелику солгал, повинен есть дважды: на земле и на небесах.

При этом он поднял многозначительно большой палец, перевел взгляд с земляного пола на потолок. И, убедившись в том, что слова его произвели должное впечатление, вздохнул горестно, печалясь о людском неблагоразумии, и добавил, обращаясь к матери:

— Так я, значит, на десяточек рассчитываю все-таки...

Отправляясь к сараям, Димка нечаянно обернулся и заметил, что Головень пристально смотрит ему вослед. Он нарочно свернул к речке.

Вечером беспокойный Жиган встретил Димку встревоженный.

— Димка, а говорят все-таки на деревне...

— Чего?

— Про нашего. Тут, мол, он, где-либо недалече, потому книжку его нашел возле Горпининого забора Алексашка, спер, а она кровяная и в ней листков много, он для игры, конечно, а батька увидел да и рассказал. Я сам один листок видел, белый, а на ем в углу буквы «РВС», потом палочки, вроде как на часах, а потом...

Димке даже в голову что-то шибануло.

— Жиган,— остановил он шепотом почему-то, хотя кругом никого не было,— надо тово... ты не ходи туда прямо... лучше обходи с берега, кабы не заметили.

Предупредили раненого.

— Что же,— сказал он,— что же, Димка... будьте только осторожней. А если не поможет, ничего не поделаешь, не хотелось, правда, за революцию пропадать так нелепо.

— А если лепо?

— Такого слова нет, Димка,— улыбнулся он,— а если не задаром, тогда можно.

— И песня такая есть,— вставил Жиган,— кабы можно было, я спел бы, хорошая песня... Вот повели казаки коммуниста, а он им объяснил у стенки: мы, говорит, знаем, по какой причине боремся, и знаем, за что умираем... Только ежели так рассказывать — не выходит... Вот как солдаты на фронт уезжали, так эту песню пели. Уж на что железнодорожные, и то рты разевали... так тебя и забирает.

Возвращались домой поодиночке. Димка ушел немного раньше и добросовестно от сараев направился к речке, чтобы другой дорогой подойти к дому.

Жиган же со свойственной ему беспечностью позабыл об уговорах, захватил у раненого флягу, чтобы утром набрать воды, и направился ближайшим путем, мимо ям, через огород. Замечтавшись о чем-то, он засвистел потихоньку. Потом оборвал свист, когда послышалось ему, как что-то хрустнуло возле кустов.

— Стой, дьявол! — крикнул на него кто-то.— Стой, собака!

Жиган испуганно шарахнулся, бросившись в сторону, взметнулся на какой-то плетень и почувствовал, что кто-то в темноте крепко ухватил его за штаны. Отчаянным усилием от толкнул назад ногой, попал кому-то в лицо. Перевалившись через плетень на грядку с капустой, выпустив флягу из рук, он кинулся бежать.

Димка же вернулся домой и, ничего не подозревая, сразу же завалился спать. Не прошло и десяти минут, как в сени с ругательствами ввалился Головень, и Димка услышал, как он закричал на мать:

— Пусть твой дьяволенок и не ворочается, сейчас ногой меня по лицу съездил, сукин сын!

— Когда съездил? — со страхом спросила та.— Что ты?

— Когда? Сейчас только.

— Что ты? Да он спит давно...

— Значит, прибег! — только уж не закричал, а заревел Головень.— Каблуком по лицу прямо.— И он распахнул двери в сенцы.

— Что ты, что ты! — испуганно заговорила мать.— Каким каблуком? Да у него с весны обуви-то нет. Он же босый! Кто ему ботинки покупал?.. Ты спятил, что ли? — дрожащим голосом говорила мать, загораживая ему дорогу.

Но Головень и сам сообразил, что ботинок у Димки не было вовсе, потому он остановился озадаченный, выругался и вошел в избу.

— Гм,— усевшись на лавку, бросил Головень на стол найденную флягу.— Ошибка, видно... Но какая же стерва и где скрывает его? Книжка и фляга... Подохнуть мне на этом месте, если это не его и если я не найду этого комиссара.— Потом добавил, усмехаясь: — А суку-то я все-таки убил...

— Кого убил?! — переспросила не оправившаяся от испуга мать.

— Собаку. Бабахнул ей в голову, вот и все.

Димка, уткнувшись лицом в полушубок, зарывшись глубоко в сено, задергался всем телом и плакал беззвучно, но горько-горько...

Утихло все. Ушел на сеновал Головень. К Димке подошла мать и, заметив, что он еще всхлипывает, сказала ему, желая успокоить:

— Ну, будет, Димушка! Стоит о собаке-то.

Но при этом новом напоминании перед глазами Димки снова еще яснее и ярче встал образ ласкового, помахивающего хвостом Шмеля, и он еще с большей силой молча затрясся и еще крепче втиснул голову в намокшую от слез подушку.

— Эх, ты! — проговорил Димка. — Эх! — И не сказал больше ничего. Но почувствовал Жиган в словах его такую горечь, такую обиду, что смутился окончательно.

— Разве ж я знал, Димка!

— Знал? А что я говорил — не ходи той дорогой, долго ли кругом пробечь. А теперь что? Вон Головень седло налаживает, ехать куда-то хочет. А куда? Не иначе, как к Левке или еще к кому. Даешь, мол, обыск!

Незнакомец — тот молча посмотрел на Жигана, был в его взгляде легкий укор, и сказал он мягко:

— Осторожней надо. Хорошие вы, ребята, только зелены еще очень.

И все. Больше ничего не добавил, не рассердился на него, как будто не его из-за Жигановой ошибки будет искать и наверняка найдет банда.

Жиган стоял молча, но глаза его не бегали, как всегда, по земле, ему нечем было оправдаться, да и не хотелось что-то. И он ответил хмуро и не на вопрос:

— А красные в городе.

И вспыхнуло сразу лицо у незнакомца, и он приподнялся на обе руки, так что блеснула ярко под пробивающимся солнечным лучом красная звездочка в серебристом венке на его груди, и мелькнула какая-то мысль или надежда у него в глазах.

— А ты не врешь? — со свойственной ему недоверчивостью спросил Димка.

— Нет, нищий Авдей пришел вчерась еще оттуда. Много, говорит, и всё больше на конях. — Потом он поднял глаза и сказал все тем же виноватым и негромким голосом: — Я попробовал бы, может, поспею, проберусь еще как-нибудь.

И удивился Димка, который только что хотел предложить для этого себя. Удивился незнакомец, заметив серьезно остановившиеся на нем большие и темные глаза мальчугана. И больше всего удивился откуда-то внезапно набравшийся решимости сам Жиган.

— Тогда скорей! — Торопливо вырвал незнакомец листок из книжки и написал карандашом несколько строк. И пока он писал, увидел Димка в левом углу белого листочка те же три большие буквы «РВС», потом палочки, как на часах. Сложил записку, на ней адрес: «Начальнику красного отряда», и два креста поставил.

— Вот, — подал ее Жигану, — вот, ставлю аллюр два креста. Торопись только. С этим значком каждый солдат, — хоть ночью, хоть когда, — сразу же отдаст начальнику. Может быть, проберешься как-нибудь вовремя. Спрячь только ее подальше... Да не попадись с нею, Жиган...

— Ты, брат, тово, не подкачай, — добавил Димка. — Или не берись лучше, дай я.

Но у Жигана уже снова забегали глаза, и, запихивая бумажку в башмак, он ответил с ноткой вернувшегося бахвальства:

— Знаю сам... Что мне, впервой, что ли?

И, выскочив из щели, он огляделся по сторонам и, не заметив никого, пустился наперерез дороге.

Солнце стояло еще высоко над Никольским лесом, когда выбежал на дорогу Жиган и когда мимо Жигана по той же дороге рысью промчался куда-то Головень.

Недалеко от опушки леса Жиган догнал подводы, нагруженные мукой и салом. На телегах сидело пять человек с винтовками, кто такие — он не угадал, но решил, что, наверно, зеленые какой-нибудь шайки, возвращающиеся из фуражировки. Подводы ехали потихоньку, а Жигану надо было торопиться, и поэтому он свернул в сторону, обогнал

их кустами и пошел дальше не по дороге, а краем леса. Попадались полянки, заросшие высокими желтыми цветами. В тени начинала жужжать надоедливая мошкара. Проглядывали ягоды дикой малины. На ходу он оборвал одну, другую, но не остановился ни на минуту.

«Верст пять, пожалуй, отмахал! — подумал он. — Хорошо бы дальше так же без задержки. Скверно только по сучьям, выйду-ка на дорогу...»

Прошел сотни две шагов еще, завернул за поворот и, зажмурившись, остановился даже — прямо навстречу в глаза брызгали густые красноватые лучи заходящего солнца.

С верхушки высокого клена по-вечернему звонко пересвистнула какая-то пташка, и что-то затрепыхалось в листве кустов.

— Эй! — послышался вдруг откуда-то негромкий окрик.

Обернулся Жиган испуганно и не увидел никого.

— Эй, хлопец, поди сюда!

И только сейчас он разглядел за небольшим стогом сена двух человек с винтовками: в стороне за деревьями стояли их верховые лошади.

Подошел.

— Откуда ты идешь?.. Куда?

— Оттуда... — И он, махнув рукой, запнулся, придумывая дальше. — С хутора я. Корова убегла... Может, повстречали где? Рыжая, и рог у ей один спилен. Ей-богу, как провалилась, а без ее — хоть не ворочайся.

— Не видали... Телка тут бродила какая-то, так ее еще в утро сожрали, а коровы нет, не было. А тебе не повстречались подводы какие?

— Едут там какие-то, сейчас, должно, будут.

По-видимому, это сообщение крайне заинтересовало спрашивающих, потому что вскочили они оба разом и бросились к коням.

— Забирайся! — скомандовал один Жигану, подводя лошадь. — Садись мне за спину.

— Мне домой надо, корову надо... — жалобно заводил Жиган. — Куда я поеду?

— Забирайся, когда тебе говорят, — крикнул тот снова. — Тут недалече отпустим, а то ты сболтнешь еще и тем тоже...

Тщетно уверял Жиган, что у него корова и что он ничего не сболтнет подводчикам,— ничего не подействовало. Совершенно неожиданно для себя Жиган уже сидел верхом за спиной одного. Поехали легкой рысью. В другое время это доставило бы ему только большое удовольствие, но сейчас совсем нет, особенно когда из разговоров он понял, что едут они к отряду Левки, дожидающемуся кого-то на пути.

«А ну, как Головень там? — мелькнула вдруг мысль.— Да узнает сейчас, что тогда?» И, почти не раздумывая, под впечатлением обуявшего ужаса он слетел кубарем с лошади и бросился к деревьям.

— Куда, стервец? — круто остановив лошадь, сорвал винтовку и вскинул к плечу один...

Может быть, и не успел бы добежать до деревьев Жиган, если бы другой не схватил за руку товарища и не крикнул сердито:

— Стой, стой, дурень!.. Не стреляй, пес тебя возьми, все дело испортишь.

Не вбежал, а врезался в гущу леса Жиган, напролом через чащу, через кусты, глубже, глубже. И только когда очутился он посреди сплошной заросли осинника и сообразил, что никак не смогут проникнуть сюда всадники, остановился на минуту перевести дух.

Потом пошел шагом.

«Левка! — решил он.— Не иначе, как к нему Головень.— И сразу же сжалось сердце при этой мысли.— Хоть бы как-нибудь до темноты, ночью-то не найдут все равно. А утром бы красные. Скорей надо, а тут, на-ко, без дороги...»

Вдруг грохнул выстрел, другой... и пошло!

«С обозниками»,— догадался Жиган.— Через несколько минут лес поредел, и под ногами у него оказалась другая, параллельная той дорога. Жиган вздохнул облегченно и бегом бросился по ней дальше. Не прошло и полчаса, как рысью навстречу ему вылетел торопящийся куда-то большой конный отряд... И не успел он как следует опомниться, как очутился со всех сторон окруженный всадниками.

— Эй, хлопец,— окрикнул Жигана один из всадников, грузный и с большими седоватыми усами,— тебя куда дьявол несет?

— С хутора я,— начал было опять Жиган,— бык у меня убежал, черный и пятна на нем белые.

— Врешь,— оборвал его тот,— тут и хутора никакого вовсе нет.

Жиган испугался еще больше и совсем чуть не присел на дорогу, когда увидел среди всадников Головня. Но тот был занят тем, что подтягивал подпругу плохонького седла, и не обратил на встретившегося мальчишку никакого внимания.

А Жиган заговорил заплетающимся от страха языком:

— Да не тут... а как зачали стрелять, напугался я и убег.

— Слышали? — вставил первый, многозначительно показывая на остальных.— Я же говорил, что где-то стреляли.

— Ей-богу, стреляли, на Никольской дороге,— заговорил быстро, начиная догадываться в чем дело, Жиган.— Там Козолупу мужики продукт везли, а Левкины ребята на них напали.

— Как напали?! — гневно вспыхнул первый.— Как они смели, сукины дети!

— Ей-богу, напали, сам слышал... Чтоб, говорят, сдохнуть Козолупу, жирно с него — и так обжирается, старый черт, бабий паскудник.

И еще сильнее вздулись от гнева морщины на лице бандита.

— Слышали?! — заревел зеленый.— Это я ожирел, это я бабник!

— И бабник,— подтвердил Жиган, у которого при виде впечатления, какое производят его слова, язык заработал как мельница.— Если, говорят, сунется на нас, мы ему намнем... Мне что, конечно, это все ихние разговоры.

Прикрываясь несуществующим разговором, Жиган смог бы выпалить еще не один десяток слов, обидных для достоинства Козолупа, но тот и так был взбешен до крайности и, помимо того, не испытывал никакого удовольствия слушать при всем отряде нелестные Левкины эпитеты. А потому рявкнул грозно:

— По коням, живо!

— А с ним что делать? — указал один на Жигана.

— А всыпь ему нагайкой раз-другой, чтобы не мог больше такие паскудные слова слушать.

Отряд умчался в одну сторону, а Жиган, получивший плетью ни за что ни про что, поспешно помчался в другую, радуясь тому, что легко отделался.

«Ей-богу,— думал он на бегу,— ей-богу, сейчас схватятся, а солнце закатилось уже. Глядишь, пока разберутся, и темно будет».

Нависли сумерки. Высыпали звезды, вечер быстро сменился на ночь, а Жиган все бежал, бежал, тяжело дыша, и только изредка останавливался на минуту перевести дух. Один раз, заслышав мерное бульканье, отыскал в темноте ручей, с жадностью хлебнул несколько глотков холодной воды. Один раз шарахнулся испуганно, наткнувшись на сиротливо приткнувшийся придорожный крест. И понемногу отчаяние начинало овладевать Жиганом: «Бежишь, бежишь, а все конца нет, может быть, сбился давно, узнать или спросить бы у кого...»

Но не у кого было спрашивать. Не попадались навстречу ни хохлы с ленивыми волами, возвращающиеся с работ, ни ребята с конями из ночного, ни запоздалый прохожий из города. Пуста и молчалива темная дорога, только соловей вовсю насвистывал, щелкая, и рокотал среди деревьев, только он один не боялся и смеялся переливчато над ночными страхами притаившейся земли.

И вот, в то время, когда измученный Жиган совсем потерял уже всякую надежду выйти хоть куда-нибудь, дорога разделилась надвое.

«Еще новое! По какой же теперь?» — остановился он в нерешительности.

«Га-га-га»,— послышалось вдруг откуда-то негромкое клокотание гусей. Едва не подскочил от радости Жиган и только сейчас заметил за кустами небольшой хутор.

Завыла отчаянно собака, точно к дому приближался не мальчуган, а по меньшей мере медведь, захрюкали встревоженные свиньи. Жиган застучал в дверь:

— Эй! Эй! Отворите!

Сначала молчали, потом в хате послышался кашель, возня и чей-то бабий голос:

— Господи, кого еще несет?

— Отворите! — стучался Жиган.

Но не такое было время, чтобы в полночь отворять всякому. И чей-то хриплый бас спросил:

— Кто там?

— Откройте же, это я, Жиган...

Нельзя сказать, что это сообщение подействовало успокаивающе на обитателей хутора, потому что тот же голос ответил:

— Какой еще, к черту, жиган? Вот я тебе из берданки пальну через дверь!

Жиган откатился сразу в сторону и, сообразив об опасности, завопил просительно:

— Не жиган! Не жиган, то прозвище такое — Васькой зовут... Я же еще малый, мне дорогу узнать, какая в город ведет...

Очевидно раздумывая, помолчал немного кто-то за дверью.

— Иди тогда к окошку, оттуда покажу, а открыть... нет. Мало что маленький, может, за тобой здоровый битюг сидит...

Окошко открылось, и дорогу Жигану показали.

— А далеко тут?

— Нет, с версту будет, тут, за опушкой.

— Только-то!

И, окрыленный надеждой, Жиган снова пустился бежать...

На кривых улочках его сразу же остановил патруль. Показали, где помещается штаб.

Сонный красноармеец спросил недовольно:

— Какую еще записку! Приходи утром.— Однако, рассмотрев поставленные крестики «спешно аллюр», добавил:— Ну, давай сюда... Эй, там где дежурный?

Дежурный посмотрел на Жигана, взял бумажку, развернул и, увидев в правом углу три буквы, сразу придвинул к себе огонь.

Едва только прочитал записку, сейчас же надавил клапан телефона и вызвал кого-то.

Через несколько минут вошел командир, тоже прочитал записку и забегал торопливо и волнуясь по комнате.

— Не может быть... прочитайте... он, конечно, он, его рука и его почерк. Кто привез?!

И только сейчас взоры всех обратились на притихшего в углу Жигана.

— Какой он из себя?

— Черный такой, в сапогах. Звезда у него прилеплена, а из нее вроде как флажок.

— Ну да, да, орден!

— Только,— добавил Жиган,— живей бы, если можно. Рассвет скоро. А то Левка и Козолуп искать его будут. Убьют тогда.

И что тут поднялось только! Не забегали, а сорвались все сразу, зазвонили телефоны, затопали кони. И среди всей этой суматохи разобрал утомленный Жиган несколько раз повторявшееся слово «РВС».

Потом затрубила быстро-быстро труба, и от топота задрожали даже стекла.

— Где?— порывисто распахнув дверь, спросил высокий, вооруженный маузером и шашкой командир.— Это ты, мальчуган?.. Васильченко, с собой его, на коня, живо.

Не успел Жиган опомниться, как кто-то схватил, поднял его и усадил на лошадь.

И снова заиграла труба.

— Скорей!— повелительно крикнул кто-то с крыльца.

— Даешь!— дружно ответили десятки голосов с коней.

И сразу сорвавшись с места, как бешеный, врезался в темноту конный отряд.

А в это же время незнакомец и Димка с тревогой ожидали чего-то и чутко прислушивались к тому, что делается в деревне.

— Уходи лучше, сиди дома, Димушка,— несколько раз предлагал незнакомец,— смотри, попадешься и ты вместе со мной.

Но на Димку точно упрямство какое нашло.

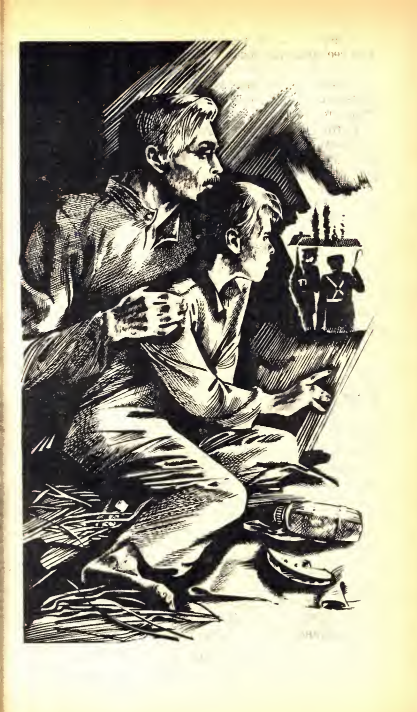
— Нет,— категорически мотал он головой,— нет, не пойду.

Он выбрался из угла, разворочал еще больше солому возле стенки и, тщательно забросав снопами небольшое входное отверстие, с трудом протискался обратно.

Сидели молча: было не до разговоров. Один раз только спросил Димка, и то как-то нерешительно:

— А ты вправду, если что, пропуска достанешь до батьки? Я мамке сказал недавно: уедем, говорю, может, в Питер скоро, так она подивилась было, а потом ругать зачала, что ты, говорит, язык, Димка, понапрасну чешешь.

— Достану, достану, только бы...



Но Димка и сам знает, какое большое и страшное это «только бы», и потому он притих у соломы, о чем-то молча и напряженно раздумывая.

Наступал вечер. В пустом обвалившемся сарае каждый угол резче и резче поглядывал темной пустотой и, тускло отсвечивая, расплывались в ней незаметно лучи угасающего солнца.

— Слушай! — Димка задрожал даже от волнения.

— Слышу, не бай,— и незнакомец крепко сжал его за руку,— но кто это?

За деревней, в поле, захлопали выстрелы, частые, неровные... И ветер, сожравши на пути остроту и резкость звуков, донес их сюда беззвучными хлопками игрушечных пушек.

— Может, красные?..— вспыхнул надеждой Димка.

— Нет, нет, Димка, рано еще.

Выстрелы смолкли. Прошло еще полчаса, топот и крик, наполнившие деревеньку, донесли до сарая тревожную весть, что кто-то уже здесь, рядом. Голоса то приближались, то удалялись — и вот послышались совсем близко-близко...

— И по погребам? И по клуням? — переспросил чей-то резкий голос.

— Везде! — подтвердил другой.— Только, сдается мне, что скорей где-нибудь здесь.

«Головень!» — узнал Димка, а незнакомец протянул куда-то руку, и чуть-чуть блеснул в темноте темный, холодновато-спокойный наган.

— Темно, пес возьми, разве теперь возможно.

— Темно! — откликнулся кто-то.

— Тут и шею себе сломишь. Я полез было в один сарай, а на меня, мать их, доска сверху, чуть не в башку.

— Темно,— и снова Димка узнал Головня,— а место такое подходящее. Не поставить ли вокруг с пяток ребят до рассвета?

И замерли снова скрывающиеся, стараясь дышать потихоньку в солому, потому что близко то и дело проходили оставшиеся дозорные.

Чуть-чуть отлегло. Пробудилась смутная надежда.

Сквозь одну из щелей видно было, как вспыхивал недалеко костер, мигая светлым, колеблющимся огоньком.

Почти что к самой заваленной двери подошла лошадь и нехотя пожевала, похрустывая, солому.

Рассвет не приходил долго... Задрожали наконец на горизонте зарницы, помутнели звезды, виднеющиеся через выломанную дверь, и начало понемногу бледнеть небо.

Скоро обыск. Не успел или не попал вовсе Жиган?..

— Димка,—шепотом проговорил незнакомец,—скоро будут искать. Я не хочу ни за что, чтобы и ты был здесь. В той стороне, где обвалились ворота, есть небольшая щелка. Ты маленький и пролезешь, ползи туда.

— А ты?

— А я тут... Под кирпичами, ты знаешь где, я спрятал сумку, печать и записку про тебя, отдай, когда придут красные. Ну, полезай скорей!

Незнакомец крепко, как большому, пожал в темноте Димкину руку и тихонько толкнул его.

А у Димки жгучие слезы подступили вдруг к горлу, и было ему страшно, и было ему жалко как никогда оставлять одного незнакомца. И, закусив губу, глотая слезы и еле сдерживаясь, чтобы вслух, по-детски, не расплакаться, он пополз, спотыкаясь о разбросанные остатки кирпичей.

— Тара-та-тах! — прорезало вдруг воздух. — Тиу-у, тиу-у...— взвизгнуло бешено по сараю.

И крики, и топот, и зазвеневшее эхо от разряженных обойм «Льюисов»—все это так мгновенно врезалось, разбило предрассветную тишину и вместе с ней и долгое ожидание, и напряженность нервов. Димка не заметил и сам, как очутился он опять возле незнакомца. Не будучи более в состоянии сдерживаться, заплакал вслух громко-громко.

— Чего ты, глупый?—радостно вскрикнул незнакомец.

— Да ведь это же они, ей-богу, они,—ответил Димка, улыбаясь, не переставая плакать.

И еще не смолкли выстрелы за деревьями, еще кричали где-то и что-то по улицам, как снова затопали лошади возле сарая.

— Здесь... здесь!—закричал знакомый такой голос.— Куда вы?..

Отлетели снопы в сторону, ворвался свет в щель, и кто-то спросил тревожно и торопливо:

— Вы здесь, товарищ Сергеев?

— Да, да, мы здесь...

И народу кругом сколько взялось откуда-то — командиры, красноармейцы, фельдшер с сумкой, и все улыбались, говорили и кричали что-то совсем невозможное.

— Димка! — захлебываясь от радости, тараторил Жиган.— Я успел... Назад на коне летел... И сейчас с зелеными тоже схватился... в самую гущу... Как рубанул одного по башке, сразу свалился!..

— Ты врешь, Жиган!..— оборвал его Димка.— Ей-богу, врешь...— А сам смеялся сквозь не высохшие еще слезы.

...В этот день на деревне бы митинг. С бревен, наваленных возле старостиного дома, говорил мужикам речь незнакомец.

Пришло народу много-много: и старики, и бабы, и, конечно, чуть ли не все ребятишки. С любопытством всматривались, охали, ахали и дивились, как это сумел он, скрываясь под сараями...

Мужики слушали внимательно, потому что говорил он про землю, про помещиков, про мир и про все такое.

И решили все, что хорошо большевик говорит, а главное, про самую сущность, и вздыхали мужики, раздумывая, что скажет,— когда уйдет большевик,— Левка, либо кто придет еще, кроме Левки... И вздыхая, приговаривали:

— Ох, когда ж то наступило б скорей...

— Хиба ж можно, щоб ось такое на земле робилось.

И когда, кончив речь, Сергеев велел поднять руки, кто за Советскую власть, то все подняли разом. И не то чтобы Косаврюк босой, или Григоренко погорелый, или разная там мелкота однолошадная, а все как есть, даже Никита-лавочник, даже Митрофан-староста и даже сам Яков-мельник.

Подивился по простоте душевной такому единодушию старый дед Захарий и сказал своей старухе радостно:

— А побачь, Горпина, уси как исть на одном порешили, о то ж доброе делают.

— О, старый, як дети дурные ты. Сдается мне, що не руки, а кулаки некоторые поднимали. Где такое видать, щоб Никита либо Яков за красных были?..

А Димка тем временем вьюном вертелся всюду. И все какие ни на есть ребятишки дивились на него здорово. И целыми ватагами отправлялись высматривать, где прятался

беглец, так что к вечеру, как после стада коров, намята и утоптана была солома возле логова.

Должно быть, большим начальником был недавний пленник, потому что слушались его и красноармейцы и командиры здорово, и написал Димке всякие бумаги и на каждую бумагу печать поставил, чтобы не было ни ему, ни матери, ни Топу никакой задержки.

А Жиган среди бойцов чертом ходил и песни такие заворачивал — только ну! И хохотали над ним красноармейцы и дивились на его глотку здорово.

— Жиган, а ты теперь куда?

— Я, брат, фьи-ить! Даешь по станциям, по эшелонам. Эх, я новую песню петь хорошо у них научился:

Ночь прошла в полевом лазарети,
День весенний и яркий настал.
И при солнечном, теплом рассвети
Маладой командир умирал...[1]

Хорошая песня! Как я спел раз — гляжу: у старой Горпины слезы катятся. «Чего ты,— говорю,— бабка?» — «Та умирал же!» — «Так, бабка, это ж в песне»... Помолчала, а потом и говорит: «А разве мало взаправду?» Вот в эшелонах только которые из товарищей не доверяют. «Катись,— говорят,— колбасой, может, это шарамыжник или шарлатан какой, стыришь що чего...» Кабы и мне какую-нибудь бумагу!

И как раз проходил тут политрук Чумаченко.

— А давайте,— говорит,— ребята, напишем ему взаправду бумажку.

— Напишем, напишем,— подхватили голоса...

И написали ему, что есть он, Жиган, не шантрапа и не шарлатан, а элемент, на факте доказавший свою революционность. Оказывать ему, Жигану, всяческое содействие в пении советских песен по всем станциям, поездам и эшелонам. Точка.

И подписывалось много ребят под этой бумагой — целые пол-листа, даже рябой Пантюшкин, тот, который еще

[1] Этого куплета песни Жигана в «Звезде» нет, хотя по логике сцены он необходим. Восстановлен по современному каноническому тексту «РВС».

только на прошлой неделе при эскадроне ликвидацию неграмотности устраивал, вычертил всю фамилию до буквы. А потом пошли к комиссару, чтобы дал печать. Прочитал он.

— Нельзя,— говорит,— такие документы не выдаются.

— Как же нельзя? Что от ей, убудет ли? Что же, даром старался малый... Пришпандорьте, пожалуйста.

Улыбнулся еще раз комиссар, посмотрел на Жигана.

— Этот самый?

— Самый.

— Ну, уж в виде исключения...— тиснул по бумаге, сразу на ней : «РСФСР», серп и молот.

И такой это вечер был, что давно не помнили поселяне. И чего там говорить, что звезды, как начищенные кирпичом, блестели, или как ветерок играл нежно с расцветающей гречихой... А что на улицах делалось! Высыпали как есть все за ворота... Гоготали красноармейцы, вторили им дивчата звонко, а лекпом Придорожный, завалившись на смолистые бревна перед обступившей его кучкою, наяривал искусно на двухрядке и распевал басом:

— Ты прощай, село родное...

И вдруг раздался в толпе женский плач, горький-горький. Обернулись все, смущенные и рассмеялись. Это Севрюков представлял, как плачут провожающие рекрутов бабы.

— А, чтоб тебе, да тебе и в самом деле юбку надеть!— проговорил кто-то и прибавил к этому еще что-то такое занозистое, что хохотом залились окружающие.

А многие с дивчатами бродили парами и шептались о чем-то потихоньку в тени возле Федорова плетня. С Пелагеевой Манькой Кравченко о чем-то договаривался горячо, постукивая шпорами, и дергал тихонько за рукав и звал ее куда-то.

А Маруська смеялась и только мотала головой...

А отец Перламутрий, высматривая из окошка, заметил все это и пришел в величайшее негодование, а когда увидал, что они и вовсе скрылись где-то за калиткой, отвернулся даже, не будучи в силах взирать на такое беззаконие, и, отвернувшись, подумал с некоторым удивлением: «А ведьма-то... к ней не пошел, а то на, смотри-ка».— И он вздохнул огорченно, припоминая что-то.

А ночь спускалась тихо-тихо, зажглись огоньками разбросанные домики. Уходили до дому старики и старухи. Но долго еще по залитым лунным светом уличкам, по полянкам шумела, смеялась и шепталась молодежь. Долго наигрывал на гармони искусник лекпом, а с ее переливчатыми песнями спорили переливчатыми посвистами соловьи из соседней прохладной рощи.

Утром на другой день незнакомец уезжал из деревеньки с частью отряда. Жиган и Димка провожали их до поскотины. На лугу, возле покосившейся загородки, товарищ Сергеев остановился. Остановился за ним и весь отряд. И перед всем отрядом подозвал он к себе ребятишек, крепко пожал им руки, прощаясь.

— Может быть, когда-нибудь я тебя увижу в Питере,— сказал он Димке.— А тебя...— Он посмотрел на Жигана и запнулся.

— Может, где-нибудь,— неуверенно ответил Жиган.

...У забравшихся на перекладину мальчуганов чуть трепал волосы ветер. Долго они смотрели, как исчезал понемногу отряд, и был Димка доволен, что все так хорошо устроилось, и было ему немножко жаль, что так скоро все кончилось...

— В Питер теперь, тоже интересно...

Жиган не ответил ничего. Ветер чуть-чуть шевелил волосами его лохматой головы, худенькие руки крепко держались за перекладину, а большие глубокие глаза внимательно уставились в даль перед собой...

На дороге чуть заметной точкой виднелся еще отряд, вот он взметнулся на горку возле Никольского оврага, скрылся и исчез за ним. Улеглось облачко пыли, поднятое копытами над гребнем холма. Проглянуло сквозь него поле под гречихой, и на нем — уже ничего.

(1926)

НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ

Повесть[1]

I

Из травы выглянула курчавая белокурая голова, два ярко-синих глаза, и послышался сердитый шепот:

— Валька... Валька... да заползай же ты, идол, справа! Заползай сзаду, а то он у-ч-ует.

Густые лопухи зашевелились, и по их колыхавшимся верхушкам можно было догадаться, что кто-то осторожно ползет по земле.

Вдруг белокурая голова охотника опять вынырнула из травы. Свистнула пущенная стрела и, глухо стукнувшись о доски гнилого забора, упала.

Большой, жирный кот испуганно рванулся на крышу покривившейся бани и стремительно исчез в окне чердака.

— Ду-урак... Эх, ты! — негодуя, проговорил охотник поднимающемуся с земли товарищу. — Я же тебе говорил — заползай. Там бы сзаду как удобно, а теперь на-ко, выкуси... Когда его опять уследишь.

— Заползал бы сам, Яшка. Там крапива, я и то два раза обжегся.

— «Крапива»! Когда на охоте, то тут не до крапивы. Тебе бы еще половик подостлать.

— А раз она жжется!

— Так ты перетерпи. Почему же я-то терплю... Хочешь, я сейчас голой рукой ее сорву и не сморгну даже? Вру, думаешь?

Яшка вытер влажную руку, выдернул большой крапивный куст и, неестественно широко выпучив глаза, спросил, торжествуя:

— Ну что, сморгнул? Эх ты, нюня.

---

[1] Повесть впервые опубликована в 1929 году в издательстве «Молодая гвардия» в Москве. При жизни автора не переиздавалась. Здесь повесть печатается по тексту четырехтомного Собрания сочинений А. П. Гайдара (М., 1981).

— Я не нюня вовсе,— обиженно ответил Валька.— Я тоже могу, только не хочу.

— А ты захоти... Ну-ка, слабо́ захотеть?

Веснушчатое курносое лицо Вальки покраснело; не принять вызова он теперь не мог.

Он подошел к крапиве, заколебался было, но, почувствовав на себе насмешливый взгляд товарища, рывком выдернул большую, старую крапивину. Губы его задрожали, глаза заслезились; однако, силясь вызвать улыбку, он сказал, немного заикаясь:

— И я тоже не сморгнул.

— Верно! — по-честному согласился Яшка.— Раз не сморгнул, значит, не сморгнул. Только я все-таки посередке хватал, а ты под корешок, а под корешком у ей жало слабже. Ну, да и то ладно! Знаешь что? Пойдем давай во двор, там девчонки играют, а мы им сполох устроим.

— А мать дома?

— Нет. Она на станцию молоко продавать пошла. Никого дома нету.

Во дворе возле забора домовитые и стрекотливые, как сороки, две девочки накрыли сломанный стул и табурет старым одеялом и, высунувшись из своего шалаша, приветливо зазывали двух других девчонок:

— Заходите, пожалуйста, в гости! У нас сегодня пироги с вареньем. Заходите, пожалуйста!

Но едва только гости чинно направились на зов, как хозяйки шалаша испуганно переглянулись:

— Мальчишки идут!

Яшка и Валька приближались медленно, спокойно, ничем не выдавая на этот раз своих истинных намерений.

— Играете? — спросил Яшка.

— У-ухо-дите! Чего вы лезете? Мы к вам не лезем,— плаксиво сказала Нюрка, Яшкина сестренка.

— Отчего же нам уходить? — еще мягче спросил Яшка.— Мы посмотрим да и пойдем дальше. Это что у вас такое? — И он ткнул пальцем в одеяло.

— Это наш дом,— ответила Нюрка, несколько озадаченная таким необычно мирным подходом.

— До-ом? А разве дома́ из одеялов строят? Дома строят из бревен или из кирпича. Вы бы потаскали кирпичей с «Графского» и построили крепкий, а этот чуть толкнешь — он и рассыплется.

И Яшка потрогал ногою табуретку, чем вызвал немалую панику у обитателей шалаша.

— Ну, ладно. А где же у вас пирог?

— Вот тут,— тревожно следя за каждым движением Яшки, ответила Нюрка.

— Вот дуры-то! Все у них не по-людски. Дом из одеяла, а пироги из глины. А ну-ка, съешь один пирог, ну-ка кусни. А... не хочешь? Людей такой дрянью угощаешь, а сама не хочешь... Валька, давай мы все ихние пироги им в рот запихаем. Сами напекли, пускай и жрут.

— Я-а-а-шка!—безнадежно-тоскливо в один голос затянули девчонки.— Я-а-шка... у-уходи, ху-ли-и-га-ан.

— А... вы еще ругаться! Валька, в атаку на это бандитское гнездо!

Только-только угроза разгрома и расправы вплотную нависла над мирными обитателями шалаша, как вдруг Яшка почувствовал, что кто-то крепко взял его сзади за вихор.

Девчонки, точно по команде, перестали выть. Яшка обернулся и увидал Валькины пятки, исчезающие за забором, да рассерженное лицо матери, вернувшейся с вокзала.

— Марш домой!—крикнула мать, давая ему шлепка.— Ишь, разбойник, и игры-то у него разбойные... Смотри-ка, какой Петлюра выискался! Вот погоди, придет отец—он тебе покажет, как атаманствовать!

II

Отец у Яшки старый—уже пятьдесят четыре года стукнуло. Служит он сторожем в совете, а раньше садовником у графа был.

В революцию граф с семьей убежал. Усадьбу старинную мужики сгоряча разграбили. Невдомек было, видно, что усадьба-то пригодиться может. В суматохе кто-то то ли нарочно, то ли нечаянно запалил ее. И выгорело у каменной усадьбы все деревянное нутро. Одни только стены сейчас торчат, да и те во многих местах пообвалились. А от оранжерей и помину не осталось. Стекла в гражданскую войну от орудийной канонады полопались, а дерево сгнило.

Раньше хоть мимо дорога была, но с тех пор как построили новый мост через Зеленую речку, совсем усадьба в стороне осталась. И стоит она на опушке, над оврагом, как надмогильный памятник старому режиму.

Отец Яшки, Нефедыч, вернулся сегодня вовсе добрым, потому что получка была. А в получку каждый человек, конечно, добрый, и потому, когда мать начала жаловаться на Яшку, что нет с ним сладу, отец ответил примирительно:

— Ничего, осенью в школу опять пойдет, тогда за ученьем дурь из головы вылетит.

— До осени-то еще долго. Он и вовсе избалуется. Тебе-то что, а у меня он на глазах.

Яшка сидел молча, уткнув голову в тарелку, и не оправдывался.

Это отмалчивание еще больше рассердило мать, и она, бухая на стол горшок с кашей и свининой, продолжала:

— Этак из мальчишки добра не выйдет. Тоже пошли деточки... Я сегодня с вокзала иду, смотрю — в стоге сена, возле тропки, что-то ворочается. Уж не наш ли поросюк забежал?.. Подошла, глянула, да так и обмерла. Высовывается оттуда рожа, че-ерная, ло-охматая, вся как есть в саже. Во рту цигарка, а в руке рогуля с резиной, а в резине камушек. Мальчишка лет тринадцати, а страшенный — сил нету. Я назад, а он как засвищет, да этак засвищет, что аж в ушах зазвенело.

При этих словах Яшка насторожился, а Нефедыч аккуратно сложил газету и сказал:

— В совете у нас про это самое разговор был. Говорят, объявился у нас в местечке какой-то беспризорный. И зачем его к нам занесло — уму непостижимо. Местечко у нас маленькое, стороннее, от главной линии только ветка. У нас рассуждали — что не изловить ли его? Так опять — куда ты его денешь? В суд — нельзя, пока за ним проступков никаких не замечено. Беспризорного дома у нас нет, а в город отправлять — возня. Секретарь говорил, что, должно быть, беспризорный и сам скоро убежит, потому что у нас ему неинтересно: ни публики на вокзале, ни толпы на улице — кошелек спереть из кармана и то не у кого.

Яшка, ошеломленный услышанным, забыл про кашу и прилип к табуретке. Потом, сообразив, что, вероятно, он пока является единственным обладателем подслушанного сообщения, заерзал, бросил недоеденную тарелку и, невзирая на грозный окрик матери, понесся на двор, срочно поделиться с Валькой важной новостью.

Он бросился к забору Валькиного сада и чуть не лбом столкнулся с перелезающим навстречу Валькой.

— А я, брат, чего знаю! — сказал, переводя дух, Яшка.

— Нет, ты слушай лучше, что я знаю.

— Про что ты можешь знать! Ты знаешь про неинтересное, а я про интересное.

— Нет уж, я-то про самое интересное знаю.

— Знаю я, про какое интересное ты знаешь. Наверное,

про то, кто нашу ныретку на проток перекинул? Так это что, а я вот знаю!

— Ничего ты не знаешь. А ну давай об заклад биться: если ты знаешь интересней, я тебе две стрелы с напайками дам, а если я интересней, то ты мне... ножик.

— Ишь ты какой ловкий!.. Ножик-то почти новый, у него только одно лезвие сломано, а от второго еще больше полполовины осталось... Хочешь, я тебе патрон дам?

— На что он мне? У меня своих три.

— Так у тебя же пустые, а я нестреляный дам; его ежели в лесу в костер бросить, так он как ухнет.

— Ну ладно. Чур—так! Говори. А то ты увидишь, что моя берет, и скажешь, что про это же самое знаешь, чтобы не отдавать.

— Так тогда как же?

Оба мальчугана постояли, задумавшись, потом Яшка прищелкнул языком и сказал:

— А вот как! Нá тебе гвоздь и нацарапай им на заборе про что у тебя, а потом в другом месте нацарапаю я, тут уже будет без обмана.

Оба долго пыхтели, вычеркивая кособокие буквы.

Через минуту оба хохотали.

— Да у нас про одно и то же. Только у меня написано «про беспризорного», а у тебя «про беспризорного налетчика». Почему же, однако, он налетчик?

— А уж обязательно налетчик,— снижая голос, ответил Валька.— Они все такие — у них в кармане либо финский нож, либо гиря на ремне. А то чем же они питаться станут!

— А может, попросят где,— сомневаясь в словах товарища, сказал Яшка,— либо яблок по садам накрадут, вот и жрут.

— Ну уж и «попросят»! Скажешь тоже... Да кто же этаким страшенным подаст? Нет уж, ты поверь мне, что налетчик. Симка Петухов его сегодня повстречал. Симка говорит, что как выскочит тот из ямы возле кирпичных сараев и кричит: «Выкладывай все, что есть», а сам махает гирей; а гиря тяжелая — десять фунтов.

— Ну уж и десять?

— Ей-богу, десять. Симка еле утек. Он бы, говорит, вступил с ним в сражение, да был без оружия, палки — и той под рукой не было.

— А может, он врет, Симка-то? Что с него грабить? Я сам видел в окно, как он мимо пробежал. На нем одни штаны только до колен, а рубахи и той не было.

Последний довод смутил несколько Вальку, но, не желая сдаваться, он ответил уклончиво:

— Уж не знаю чего, а только налетчики всегда этакими словами разговор начинают, это у них уже такая привычка.

— Валька! — сказал, немного подумав, Яшка.— А как же теперь... мальчишки? Поди-ка, все струхнут.

— Обязательно струхнут. Чуть вечер, поди, и за ворота выйти побоятся.

— А ты?

— Я-то...— Валька горделиво усмехнулся.— Я что! Я и сам... я вот сегодня ножик перочинный отточу да на бечевке под рубахой к поясу привяжу. Так и буду ходить, как черкес. Пусть только попробует сунуться!

— А я налобок[1] возьму, которым в ямки играют. Он крепкий, дубовый. Приходи завтра пораньше утром под окошко и крикни меня. Да только не ори, как вчера, во всю глотку, так, что мать даже с постели вскочила — думала, говорит, что пожар или сполох[2] какой.

— Не... я тихонько.

— Валька...— спросил Яшка, перед тем как уйти.— А отчего они черные такие?.. Как мать говорит, хуже черта.

— Оттого, что они под мостами либо в котлах ночуют.

— А зачем же в котлах? — еще больше удивился Яшка.— Какой же есть интерес в котле ночевать?

— Какой? — Валька задумался.— А такой, что ежели ты его в постель положишь, то он и глаз закрыть не может, а обязательно чтобы в котле. Это уж у них такая природа.

III

В последующую неделю были немалые толки и пересуды среди мальчишек местечка. Беспризорный этот, по-видимому, и на самом деле оказался настоящим разбойником.

Например, в ночь с субботы на воскресенье оказался целиком очищенным от яблок сад тетки Пелагеи. В поповском доме неизвестно откуда залетевшим камнем вдребезги разбито стекло. А что еще хуже — пропал у Сычихи ко-

---

[1] Палка с шишкой на конце.

[2] Переполох *(укр.)*.

зел. То есть были обысканы все закоулки, все пустыри, а козла нет и нет...

Яшка все понимал. Ну, яблоки, скажем, про запас. В стекло камнем — просто для озорства. Ну, а козел на что? Ни шкуры с него, ни мяса не жрут.

— Жру-у-ут! — с увлечением подтверждал Валька.— Простые люди не жрут, а они все как есть жрут. Такая уж у них природа.

— Что ты мне забубнил,— рассердился Яшка,— природа да природа! По-твоему, может, и сырье жрут.

— И сырье и всякое! — еще с большим азартом принялся уверять Валька.— Мне Симка рассказывал, что когда был он в городе — такое видел! Идет торговка с корзиной, а беспризорные налетели... раз... раз, и не осталось от нее ничего.

— От торговки-то?

— Да не от торговки, а от корзины, с калачами там или с пирогами.

— Так ведь это пирог — пирог, он вкусный, а то козел — тьфу!

Валька оглянулся, подошел к товарищу поближе и сказал таинственным шепотом:

— Яшка! А Степка-то за нами выслеживает. Честное слово. Я пошел к «Графскому». Вдруг как ровно дернуло меня обернуться. Я присмотрелся. Гляжу, Степкина голова из-за кустов торчит и пристально этак за мной выглядывает. Я нарочно взял да и свернул логом к пустырю, а оттуда домой.

— Ну-у! — И у Яшки даже голос осекся от волнения.— А может, он просто нечаянно?

— Ну нет, не нечаянно. Этак прямо смотрит и смотрит. А я гляжу — рядом куст колыхнулся... должно быть, там еще кто-нибудь из ихней партии сидел.

— Так ты, значит, там не был?

— Нет!

— А как же он там, голодный?

— Ничего, ему хлеба в прошлый раз много принесли и воды тоже. Жив будет до завтра. А завтра пойдем либо рано утром, либо к вечеру попозже, когда от мальчишек незаметней. Ух, как осторожно надо действовать, а то на-

кроют! Нас двое, а их четверо. Кабы нам хоть кого третьего к себе придружить.

— Кого придружить? Ты его сегодня придружи, а он назавтра все ихним и выболтает. А тогда что? Тогда убьют его непременно.

— Убьют обязательно.

Возвращаясь домой, Яшка за огородами натолкнулся на своего закоренелого врага, Степку.

Встреча была неожиданная для обоих. Но противники заметили один другого еще издалека, и поэтому, не роняя своего достоинства, свернуть в сторону было невозможно.

Сблизившись на три шага, враги остановились и молча, внимательно осмотрели один другого. У Степки была палка — следовательно, преимущества были на его стороне. Осмотревшись, Степка презрительно и мастерски сплюнул на траву. Яшка не менее презрительно засвистел.

— Ты чего свистишь?

— А ты чего расплевался?

— Я вот тебе свистну! Вы зачем на нашего кота со стрелами охотитесь?

— А пусть в чужой сад не лезет. Когда наш Волк к вам во двор забег, вы зачем в него кирпичами кидали?

— А вы куда Волка девали? Вы врете, что его отравил кто-то. Вы сами его куда-то спрятали, потому что мы на него в суд за задушенных кур подали. Только вы нас не проведете... Погодите, мы до вас скоро докопаемся!

— Четверо-то на двоих, нашлись!

— Эх, и трусы! «Четверо»! Ваську тоже сосчитали, когда ему только девять лет.

— Что же, что девять. Он вон какой толстый, как боров... да и все-то вы свиньи.

Последнее замечание показалось настолько оскорбительным, что Степка схватил с земли глиняный ком и со всего размаху запустил его в Яшку.

И если кровавому поединку не суждено было совершиться, и если Яшка не пал на поле битвы от руки лучше вооруженного врага, то только потому, что этот последний вдруг дико вскрикнул и без оглядки бросился бежать.

Предполагая, что тот струсил, Яшка издал воинственный клич — и хотел было преследовать неприятеля, как вдруг услышал позади себя негромкий смех.

Он обернулся и тотчас же понял действительную причину поспешного исчезновения Степки.

Возле куста бузины стоял одетый в лохмотья черный невысокий мальчуган, в котором Яшка без труда угадал грозу всех мальчишек местечка, героя последних событий — беспризорного налетчика.

IV

И тотчас же Яшка понял, что он погиб окончательно и бесповоротно. Он хотел бежать, но ноги не слушались его. Он хотел закричать, но понял, что это бесполезно, потому что вокруг никого не было. Тогда, решившись отчаянно защищаться, он стал в оборонительную позу.

Мальчуган в лохмотьях продолжал смеяться, и этот смех сбил еще больше с толку Яшку.

— Ты чего? — спросил он, с трудом ворочая языком.

— Ничего,— отвечал тот.— Что это вы, как петухи,— друг на друга налетели?

Мальчуган раздвинул кусты и очутился рядом с Яшкой.

«Сейчас гирю вынет»,— с ужасом подумал тот и сделал шаг назад.

Однако, вместо того чтобы напасть на Яшку, беспризорный бухнулся на траву и, хлопая рукой по земле, сказал:

— Чего же ты столбом встал. Садись.

Яшка сел. Беспризорный засунул руку в карман и, к величайшему изумлению Яшки, вынул оттуда маленького живого воробья и поднес его ко рту.

— Сожрешь? — негодуя, воскликнул Яшка.

Беспризорный вопросительно поднял на Яшку маленькие ярко-зеленые глаза, подышал теплом на воробьенка и ответил:

— Разве ж воробьев жрут? Воробьев не жрут и галок тоже не жрут. Голубь — тут другой разговор. Голубя ежели в угольях спечь — вку-усно! Я их из рогатки бью.

Он сунул воробья за пазуху рваной бабьей кацавейки и, протягивая Яшке недокуренную цигарку, предложил:

— Нá, докури.

Машинально Яшка взял окурок и, не зная, куда его девать, спросил несмело:

— А козла ты зачем съел?

— Кого?

— Козла... Сычинного. У нас ребята говорят, что ты его упер на жратву.

Беспризорный хлопнул себя руками по бокам и звонко расхохотался. И пока он хохотал, оцепенение начало сходить с Яшки, и беспризорный представился ему в совершенно другом свете. Яшка рассмеялся и сам, потом подскочил и затряс кистью руки, потому что догоревший окурок больно ожег ему пальцы.

Успокоившись, подвинулись друг к другу ближе.

— Тебя как звать? — спросил беспризорный.

— Меня Яшкой. А тебя?

— А меня Дергачом.

— Почему же Дергачом?

— А почему тебя Яшкой?

— Вот еще скажешь тоже. Яков — такой святой был, и именины справляют. А такого святого, чтобы... Дергач, не должно бы быть...

— А мне и наплевать, что не должно.

— И мне,— немного подумав, признался Яшка.— Только ежели при матери этак скажешь, так она за ухо. Отец, тот ничего, он и сам страсть как святых не любит — якобы дармоеды все. А мать — у-уу! Про что другое, а про это и не заикнись. Я один раз масла из лампадки отлил — Волку лапу зашибленную смазать, так что было-то...

— Били? — участливо спросил Дергач.

— Нет! Только за волосы оттрепали да в чулан заперли.— И задорно он добавил: — А зато я, пока в чулане сидел, назло со всех крынок сливки спил... А ты, Дергач, зачем к нам пришел? — перескочил вдруг Яшка.

— Значит, нужно было,— ответил тот и глубоко вздохнул.

Этот тяжелый, горький вздох, за которым, казалось,

спрятано было что-то большое, невысказанное, почему-то точно теплом обдал Яшку.

— Давай дружиться, Дергач? — неожиданно для самого себя искренне предложил Яшка. — Я тебя с Валькой сведу — с моим товарищем. Хороший... только врет много. А потом... — Тут Яшка поколебался. — Потом мы тебе интере-есную вещь скажем. И как весело будет жить, Дергач.

Дергач ничего не ответил. Он лежал, подставив лицо отблескам багрового, угасающего горизонта. И Яшке показалось, что Дергач чем-то не по-детски глубоко опечален.

Однако, заметив на себе пристальный взгляд Яшки, Дергач быстро повернулся и сказал, вставая:

— Достань завтра у отца махорки... и принеси сюда, а то у меня вся повышла... Я буду ждать здесь же об эту пору.

И, не прощаясь, он раздвинул кусты и исчез, оставив Яшку размышлять о странной встрече и странном новом товарище.

V

Дома тихо. Потрескивают угли в самоваре. Яшка строгает деревянную дощечку. Нефедыч углубился в чтение. Из-за развернутого листа газеты виден его красный лоб, отсыревший после пятого стакана чая. Нюрка мастерит кукольную шляпу. Мать возится на кухне.

— Не пойму, — слышится ее голос. — Никак не пойму, куда девались из сеней полчугуна вчерашнего борща. Чугун на месте, а борща нет. Анка! Ты поросюку не выливала?

— Нет, мам!

— Ну так, должно быть, этот идол опрокинул.

«Этот идол», то есть Яшка, сидит и пыхтит, обглаживая дощечку, и делает вид, что разговор его не касается.

— Тебе, что ли, говорят? Ты опрокинул? — сердито повторяет мать.

Яшка, нехотя и не отрываясь от работы, отвечает:

— Кабы я, мам, опрокинул, так все бы на полу было, а раз пол сухой, значит, и не опрокидывал.

— А пес вас разберет! — еще больше раздражается мать. — Тот не брал, этот не опрокидывал, что же он, вы-

сох, что ли? Отец! Да брось ты свою газету! Кто же, выходит, взял-то?

Нефедыч не торопясь складывает газету и, очевидно расслышав только конец фразы, отвечает невпопад:

— Действительно... И кто бы мог подумать. Опять они взяли, да как ловко, что и не подкопаешься.

— Да кто они-то? Кому же это прокислый суп понадобился?

— Да не суп... какой суп? — растерянно оглядываясь и с досадой отвечает Нефедыч.— Я говорю, консерваторы опять власть взяли.

Убедившись в том, что ни от кого толку не добьешься, мать плюнула и принялась греметь посудой. А Нефедыч, почувствовавший желание поговорить, продолжал:

— И казалось бы, что отошло их время. Ан нет, вывертываются еще. Скажем, вон, например, наш граф. Имение у него посожгли, сам где-то по заграницам шатается. А все, поди-ка, мечтает, как бы старое вернуть. Да еще бы и не мечтать! Возьмем хотя бы имение — чем там ему не жизнь была? Картинка — что снутри, то и снаружи. Одни оранжереи чего стоили. И чего там только не было — и орхидеи, и тюльпаны, и розы, и земляника к рождеству... Пальма даже была огромная, больше двух сажен. Специально с Кавказа, из-под Батума, выписали. Я говорю ему: «Ваше сиятельство, куда же мы этакую махину денем — это всю оранжерею ломать придется!» А он отвечает: «Ничего, ты ее прямо в грунт посади, а каждый год к холодам возле нее специальную постройку из стекла делай, а к весне опять разбирать будем». Ну и разбирали. Красивая пальма была. Мне тогда за уход граф двадцать пять целковых подарил... как раз в мае.

— Вот еще спятил, старый. Да разве же у нас свадьба в мае была? Свадьбу как раз после троицы сыграли.

— Уж не знаю, после троицы или после чего, а только в мае мы тогда как раз левкои высаживали.

— Что ты мне говоришь! — раздражаясь внезапно, как и всегда, говорит мать.— Посмотри в метрики, за божницей лежат.

— Мне смотреть нечего. Я и так помню. Еще тогда старший барчук только что из кадетского корпуса на каникулы

приехал и фотограф снимал его под пальмой. У меня и сейчас где-то карточка эта сохранилась... Яшка, я показывал тебе эту карточку?

— Сто раз видел,— отвечает Яшка.

Мать, негодуя, всплескивает руками и лезет за метриками за божницу.

Она долго не может найти нужную ей бумагу. За это время пыл ее несколько остывает, ибо, прикинув в уме, она начинает припоминать, что троица в том году, когда была свадьба, как будто бы и в самом деле была ранняя и приходилась на май. Но тут ее внимание отвлекает другое обстоятельство.

— Анка!— слышится опять ее голос.— Ты не убирала из-за божницы венчальные свечи?

— Нет, мам!

— Отец! Уж ты, конечно, не трогал свечей?

— Двадцать пять лет не трогал,— покорно подтверждает Нефедыч.— Как раз со дня самой свадьбы не трогал.

— А я их на прошлой неделе еще видела. Куда же они девались? Наверно, опять Яшка куда-нибудь засунул.

Яшка, поскольку вопрос не обращен прямо к нему, продолжает молча сопеть над доской.

— Яшка! Ты, паршивец этакий, должно быть, извел свечи?

Яшка кончает работу, кладет нож на стол и отвечает серьезно, но в то же время чуть лукаво посматривая на мать:

— У нас, мам, по наказу Ленина электричество провели, так что мне при нем и без ваших свечей светло.

— Так куда же они делись-то? Вот еще чудные дела! Борща никто не выливал, свечей никто не брал, а ничего на месте нету. Что ты тут с ними будешь делать!

VI

Ранним утром, когда еще в доме все спали, из окошка высунулись белокурые вихры Яшки. Увидав Вальку, нетерпеливо ждавшего возле забора, Яшка спрыгнул на влажную траву, и оба мальчугана исчезли в малин-

нике. Через минуту они вынырнули оттуда, причем Яшка осторожно нес большой глиняный горшок, завязанный в грязную тряпицу.

Выбравшись за огороды, ребята быстро помчались по тропке, ведущей мимо кустов и оврагов к развалинам «Графского».

По пути Яшка рассказывал про вчерашнюю встречу:

— И вовсе он без гири, а в кармане у него воробей... и козлов они не жрут, а все это мальчишки со страха брешут. А сегодня мы вдвоем к нему пойдем. Ежели он с нами сдружится, он нас от Степкиной компании застоит. Он сильный, и ему все нипочем. А потом, он ежели и вздует кого, то на него некому пожаловаться, а на нас чуть что — и к матери.

— А почему он беспризорный? Так, для своего интереса или домашних никого у него нет?

— Не знаю уж! Не спрашивал еще, только вряд ли, чтобы для интереса: у беспризорных-то ведь жизнь тяжелая. Я вот вырасту, выучусь, на завод пойду или еще куда служить, а он куда пойдет? Некуда ему вовсе будет идти.

Роща встретила мальчуганов утренним шумом, задорным гомоном пересвистывающихся птиц и теплым парным запахом высыхающей травы.

Вот и развалины — молчаливые, величественные. В провалах темных окон пустота. Старые стены пахнут плесенью. У главного входа навалена огромная куча щебня от рухнувшей колонны. Кое-где по изгрызенным ветрами и дождями карнизам пробивались поросли молодого кустарника.

Нырнув в трещину каменной ограды и пробравшись через чащу бурьяна и полыни, доходившей им до плеч, ребята остановились перед сплошной завесой буйно разросшегося одичалого плюща. Посторонний глаз не разглядел бы здесь никакого прохода, но ребята быстро и уверенно взобрались на полусгнивший ствол сваленной липы, раздвинули листву, и перед ними открылось отверстие окна, выходящего из узкой, похожей на колодец комнаты без крыши.

Поднявшись по лесенке, они очутились уже в большой комнате второго этажа, из окон которой можно было

видеть кусок Зеленой речки и тропку, ведущую в местечко.

Отсюда они попали на балкон, прямо перешли на крышу, дальше через слуховое окно вниз. Здесь было совсем темно, потому что комната эта раньше служила, очевидно, кладовой, и железные ставни с заржавленными засовами крепко запирали окна.

Яшка где-то пошарил рукою. Достал огарок позолоченной венчальной свечи с бантом и зажег его.

В углу показалась железная дверца. Добравшись до нее, Валька дернул за скобу.

Ржавые петли горько заплакали, заскрипели, и ребята очутились в большом полуподвале с узенькими окнами, выходящими на поверхность заплывшего водорослями пруда.

И тотчас же в приветствие мальчуганам раздался из угла веселый, задорный визг.

— Волк, Волчоночек, Волчонок! — закричали ребята, бросаясь к привязанной за ошейник собаке.— Соскучился... проголодался. Гляди-ка, весь, как есть до корки, хлеб съел, и воды в корытце нисколечко.

Волк, повизгивая, помахивал хвостом, пока его развязывали. Потом запрыгал возле горшка, ухитрился лизнуть Яшкину щеку и чуть не сшиб с ног Вальку, упершись ему лапами в спину.

— Да погоди же ты, дурень... дай горшок-то развязать... Ну, на́ — лопай.

Собака стремительно запустила морду в прокислый борщ и с жадностью принялась лакать.

Подвал был сухой и просторный. В углу лежала большая охапка завядшей травы.

Здесь находилось тайное убежище ребятишек, спрятавших сюда преступного душителя чужих кур — собаку Волка.

Поджидая, пока Волк насытится, ребята завалились на охапку травы и принялись обсуждать положение.

— Еду трудно доставать,— сказал Яшка.— Ух, как трудно! Мать и то вчера борща хватилась. А Волк-то все растет... Гляди-ка, он уже почти все слопал. Ну где на него напасешься!

— У меня тоже,— уныло поддакнул Валька.— Мать увидала один раз, как я корки тащу, давай ругаться. Только не догадалась она — зачем. Думала, что кривому развозчику на пареные груши менять. Что же теперь делать? А на волю выпустить еще нельзя?

— Нет, пока еще нельзя. Скоро суд будет насчет Степкиных кур. Мамку вызывают, а меня в свидетели.

— В тюрьму могут засадить?

— Ну, уж в тюрьму! Деньги, скажут, за кур давайте. А где ж их возьмешь, денег-то. И на что только им деньги, они и так богатые, на базаре-то вон какая лавка.

Волк подошел, облизываясь, и лег рядом, положив большую ушастую голову на Яшкины колени.

Полежали молча.

— Яшка,— спросил Валька,— и зачем, по-твоему, этакий домина?

— Какой?

— Да огромный. Его ежели весь обойти... ну, скажем, в каждую комнату хотя заглянуть, и то полдня надо. А для чего графам такие дома были? Ведь тут раньше штук сто комнат было?

— Ну, не сто, а что шестьдесят — так это и мой батька говорил. У графов каждая комната для особого. В одной спят, в другой едят, третья для гостей, в четвертой для танцев.

— И для всего по отдельной?

— Для всего. Они не могут так жить, чтобы, например, комната и кухня. Мне батька говорил, что у них для рыб и то отдельная комната была. Напускают в этакий огромный чан рыб, а потом сидят и удочками ловят.

— Эх, ты! И больших вылавливают?

— Каких напускают, таких и вылавливают, хоть по пуду.

Валька сладостно зажмурился, представляя себе вытаскиваемого пудового карася, потом спросил:

— А видел ты когда-нибудь, Яшка, живых графов?

— Нет,— сознался Яшка.— Мне всего три года было, как их всех начисто извели. А на карточке видел. У батьки есть. На ней пальма — дерево такое, а возле нее графенок стоит, так постарше меня, и в погонах, как белые, кадетом называется. А хлюпкий такой. Ежели такому кто дал бы по загривку, то и в штаны навалил бы.

— А кто бы дал?

— Да ну хоть я.

— Ты...— Тут Валька с уважением посмотрел на Яшку.— Ты вон какой здоровый. А если я дал бы, тогда навалил бы?

— Ты...— Яшка, в свою очередь, окинул взглядом щуплую фигурку своего товарища, подумал и ответил: — Все равно навалил бы. Батька говорит, что никогда графам насупротив простого народа не устоять.

— А какой на пальме фрукт растет? Вкусный?

— Не ел. Должно быть, уж вкусный, ежели уж на пальме. Это ведь тебе не яблоня, она тыщу рублей стоит.

Валька зажмурился, облизывая губы:

— Вот бы укусить, Яшка! Хоть мале-енечко... а то этак всю жизнь проживешь и не укусишь ни разу.

— Я укушу. Я вырасту, в комсомольцы запишусь, а оттуда в матросы. А матросы по разным странам ездят и всё видят, и всякие с ними приключения бывают. Ты любишь, Валька, приключения?

— Люблю. Только чтобы живым оставаться, а то бывают приключения, от которых и помереть можно.

— А я всякие люблю. Я страсть как героев люблю! Вон безрукий Панфил-буденновец орден имеет. Как станет про прошлое рассказывать, аж дух захватывает.

— А как, Яшка, героем сделаться?

— Панфил говорит, что для этого нужно гнать нещадно белых и не отступаться перед ними.

— А ежели красных гнать?

— А ежели красных, так, значит, ты сам белый, и я вот тебя как тресну по котелку, тогда не будешь трепаться.

Валька испуганно замигал глазами:

— Так я же нарочно. Разве же я за белых? Спроси хоть у Мишки-пионера.

— Мне в школьном отряде не больно понравилось,— сказал немного погодя Яшка.— Вот в других[1] отрядах хоть на лето в лагеря уходят, в лес. А в школьном девчонок

[1] Первые пионерские отряды создавались не только при школах, но и при заводах, фабриках, разных учреждениях.

больше. И всё стихи там учат, про школу да про ученье. Я походил, походил да и перестал. Какие же могут быть летом стихи! Летом рыбу ловить надо, или змея пускать, или гулять подальше.

— А меня в школьный отряд вовсе не приняли. Сережка Кучников нажаловался на меня, будто бы я у Семенихи груши пообтряс. Ябеда такой выискался, а сам когда в прошлом году нечаянно у Гавриловых снежком окно разбил, то и не сознался, а на Шурку подумали,— его мать и выдрала. Тоже этак разве хорошо делать?

— Ничего! Вот к зиме лесопилка опять заработает, в тамошний отряд и запишемся. Там веселые ребята. Там ежели и подерутся иногда, то ничего. Ну подрались — помирились. Разве без этого мальчишкам можно? А в школьном отряде — чуть что — сразу обсу-ужда-ают!

Яшка сердито плюнул и поднялся:

— Идти надо. Ты посиди еще, а я наверх — Волку за водой сбегаю.

Вернулся Яшка минут через десять. Лицо его было озабоченно.

— Гляди-ка,— сказал он, протягивая ладонь.

— Ну, чего глядеть-то? Окурок...

— А как он в верхнюю комнату попал?

— Так, может, это давнишний,— неуверенно предположил Валька.— Может, это еще от старого режима остался.

— Ну нет, не от старого. Вон на нем написано «2-я госфабрика».

— Тогда, значит, это Степкины ребята поверху уже шныряли. Я знаю, у них Сережка Смирнов тайком курит.

— Конечно, они,— согласился Яшка. Но тут он посмотрел на окурок, по которому золотом было вытиснено «Высший сорт», покачал головою и сказал: — А только с чего бы это Сережка Смирнов закурил вдруг такие дорогие папиросы?

Мальчуганы посмотрели, недоумевая, друг на друга. Потом крепко привязали Волка, наказали ему молчать. И, быстро выбравшись, побежали домой.

VII

Дергач затянулся дымом цигарки, свернутой из махорки, принесенной Яшкой, и, тыкая пальцем на Вальку, спросил:

— Так это он тебе набрехал, что я козла съел? Скажет тоже! Козел-то еще и сейчас в овраге лежит — ногу он себе сломал. Я ему еще клок травы сунул, чтобы не издох с голоду.

— Дергач,— спросил после некоторого колебания Яшка,— а где ты живешь?

Дергач усмехнулся:

— Сам при себе живу. Где на ночь приткнусь, там наутро и проснусь.

— А у тебя родные есть?

— Есть, да далеко лезть.

Яшка, сбитый с толку такой манерой отвечать, сказал укоризненно:

— И зачем ты, Дергач, огрызаешься! Мы ведь тебе не допрос делаем, а ежели спрашиваю я, то по дружбе.

Дергач все еще недоверчиво посмотрел исподлобья на ребят и ответил уклончиво:

— А кто вас знает, по дружбе ли или еще почему. Я как-то в Ростове под мостом жил. Подсел ко мне какой-то хлюст. Этакий же, как и я, рвань рванью. Колбасой угостил, папироску дал. Ну, то да се, и начал про мою жизнь расспрашивать. Я ему сдуру возьми да и расскажи. И как от отца с матерью в голодные годы потерялся, и какой я губернии, какой местности, чем живу. Даже про случай, как мясную лавку обокрали, и то рассказал. Дня этак через три подходит ко мне сам Хрящ да как хлоп по шее! А сам газету мне в лицо тычет. «Ты, говорит, чего это язык распустил?!» А я грамоту знаю. Посмотрел я в газету и ахнул. Мать честная! Все до слова, что я говорил, в газете напечатано — и кличка, и имя, и откуда родом, и, главное, про мясную лавку. Здорово тогда избил меня за это Хрящ.

— Мы не напечатаем в газету,— испуганно отталкивая от себя такое обвинение, заговорил Валька.— Мы даже ни строки не напечатаем. Я даже не видел никогда, как это печатают, и он не видел тоже.

Дергач лежал на спине и о чем-то думал. Так, по крайней мере, решил Яшка, потому что, когда человек лежит, уставившись глазами в звездное небо, он не может, чтобы не думать.

— Дергач,— спросил неожиданно Яшка,— а кто он тебе?

— Какой «он»?

— Хрящ.

При упоминании этого имени Дергач весь как-то дернулся, быстро повернулся и спросил, недоумевая и озлобленно:

— Какой еще Хрящ?

— Да ты же сам только что про него говорил.

— А-а... разве говорил?— опять повертываясь на спину, рассеянно проговорил Дергач.— Так... человек один... У-ух, и человек!— Тут Дергач приподнялся, облокотившись на локти, лицо его перекосилось, и, отшвыривая окурок, он добавил едко:— У-ух, и негодяй... ух, и бандит!

— Настоящий?— широко раскрывая удивленно-любопытные глаза, спросил Валька и добавил с нескрываемым сожалением:— А я вот ничего не видел — ни графа живого, ни бандита настоящего.

Дергач презрительно пожал плечами:

— А я и графа видел.

— Живого?

— Конечно, не дохлого.

Валька, как и всегда в моменты возбуждения, зажмурил глаза и, проникшись невольным уважением к оборванцу, сказал с плохо скрываемой завистью:

— И счастливый же ты, Дергач, что все видел.

Дергач посмотрел на Вальку удивленно, пожалуй даже сердито:

— Ух, кабы тебе этакое счастье, завыл бы ты тогда, как перед волком корова! Нет, уж не приведись никому этакого счастья... Эх, кабы мне...— Тут Дергач махнул рукою и замолчал.

И опять Яшке показалось, что на душе у Дергача есть какое-то большое, невысказанное горе. И не зная, собственно, к чему, он положил руку на плечо Дергачу и сказал:

— Ничего, Дергач! Может быть, как-нибудь все и обойдется.

Дергач отшатнулся было, но, встретившись глазами с серьезно-дружеским взглядом мальчугана, склонил слегка голову и ответил как-то приглушенно:

— Хорошо бы, если все обошлось, да только не знаю.

И с этого вечера между Яшкой и Дергачом протянулась нить необъяснимо крепкой дружбы.

VIII

Идея Дергача была прямо-таки гениальна. Посвященный в тайну мальчуганов и их затруднения с доставкой продовольствия Волку, он быстро нашел выход.

На рассвете можно было видеть Яшку и Вальку в саду, возле старой бани. Они торопливо выносили оттуда большой чугунный котел, в котором мать разводила обыкновенно щелок для стирки белья.

То обстоятельство, что котел этот ребята потащили не через двор, а перевалили его прямо через забор к огородам, показывало, что все это делается без ведома домашних.

Выбравшись на тропинку, мальчуганы подхватили котел за ручки и поспешно скрылись в кустах.

Если бы проследить их дальнейший путь, то можно бы было видеть их пробегающими мимо мусорной свалки и исчезающими в провале глубокого пустынного оврага. Здесь было тихо и безветренно, только жужжанье неуклюжих шмелей да неумолкаемый рокот веселых кузнечиков заполняли утреннюю тишину.

Ребята остановились передохнуть.

— Ну и ловко же мы справились! Надо ведь было этакую махину вытащить. А к вечеру мы опять обратно стащим, и все будет шито-крыто.

— Вечером-то труднее будет, Яшка, народу больше.

— Ничего, справимся как-нибудь! Ну, пойдем.

Они свернули в одно из бесчисленных ответвлений русла оврага и вскоре увидали дымок костра и Дергача, деловито хозяйничавшего возле огня.

Дергач держал в руке нож и пучком сырой травы обтирал окровавленное лезвие. Рядом лежала только что содранная козлиная шкура и разрезанная на части туша.

— А я уж думал, что вы не придете,— сказал приблизившимся ребятам Дергач.— Смотрите-ка, как я мясо разделал. Тут теперь Волку на неделю хватит. Надо проварить только покрепче да соли больше бухнуть, чтобы не испортилось. Ну, давайте за работу, живо!

Дергач распоряжался умело и уверенно. Валька был командирован собрать хворост. Яшка камнем вбивал стойки для котла, а сам Дергач обчищал от сучьев перекладину.

— Ребята!—возбужденно говорил Валька, бросая на землю огромную кучу хвороста.— А внизу ящериц сколько! Огромные есть, давайте потом наловим.

— Можно потом наловить, а сейчас давай подбрасывай, распаливай огонь.

Пламя, яростно пожирая сухую листву подброшенных веток, высоко взметнулось и полыхнуло теплом на лица мальчуганов, и без того раскрасневшиеся.

В котел, наполненный водою из соседнего ручья, наклали куски мяса и высыпали чуть не целый фунт соли.

— Так... готово теперь. С нее Волк так разжиреет, что скоро с теленка станет.

Завалились все на траву. Солнце высушило уже росу. Пахло мятой, полынью и медом.

Лежали сначала молча. Высоко в небе звенели беспечные, счастливые жаворонки, да где-то далеко в стороне мычало выгнанное на луга стадо.

— Валька!—лениво сказал, не поворачивая головы, Яшка.— Я нашел карточку-то... Ну, какую! С пальмой, которую я тебе показать обещал.

— А ну дай.

Валька приподнялся, рассматривая выцветшую фотографию, и лицо его приняло несколько разочарованное выражение.

— Ну уж! Этакую пальму-то я в трактире видал через окошко, только не знал, что пальмой называется. А граф-то так себе, какой-то вертлявый, только нос вперед крюком выдался да подбородок четырехугольный.

— Это у них в семье все такие. Батька говорил, что у всего ихнего рода этакие носы, как у ястребов, так уж по наследству пошло.

— А ну дай, я посмотрю! — отозвался Дергач, гревшийся на солнце.

Он поднес фотографическую карточку к глазам и в ту же секунду слегка вскрикнул и быстро перевернулся.

— Змей! — испуганно вскакивая, взвизгнул Валька.

Яшка подпрыгнул тоже.

Но Дергач не шевельнулся, схватил фотографию обеими руками и жадно впился в нее глазами.

— Где змей? Чего ты врешь, дурак? — рассердился на Вальку Яшка.— Я вот тебе дам затрещину, чтобы знал, как спугивать.

Валька виновато заморгал глазами:

— Так разве же это я! Это же Дергач... чего он как ужаленный вертанулся.

Яшка с удивлением посмотрел на Дергача. Лицо того было взволновано, и глаза блестели.

— Кто это? — спросил Дергач, показывая на карточку.

— Это... это граф здешний... то есть сын графов. Их в революцию разгромили. А где Волка-то мы прячем — это их-няя усадьба была.

— Вон оно что! — пробормотал Дергач, засовывая карточку в карман. И, отвечая на Яшкин вопросительный взгляд, добавил: — Потом отдам!.. А ну-ка, чего мы заканителились! Огонь чуть не погас. Давай хворосту.

Долго — почти весь день возились в овраге ребятишки. Собирали сучья, играли в колышек, поймали внизу четырех ящериц и завязали их занятно в тряпицу.

Только что окончили варить козлятину, как Валька, разыскавший поверху дикую малину, кубарем скатился вниз.

— Ребята,— прошептал он взволнованно,— по тропке из леса Степка, Мишка и Петька идут... должно быть, за грибами ходили. Вот бы накрыть их!

— Нет,— ответил Яшка, перебарывая в себе желание отколотить своих заклятых врагов.— Ежели мы вдвоем выскочим, то они набьют нас, потому что их больше. А ежели с Дергачом, тогда они узнают и всем расскажут, что мы с ним заодно.

— Дай я один пойду,— задорно предложил Дергач, и, схватив палку, он, как ящерица, начал пробираться наверх.

Валька и Яшка забрались к краю оврага и, чуть высунув головы, приготовились наблюдать, а на крайний случай, уже невзирая ни на что, прийти на помощь товарищу.

Дергач остановился за кустом у тропки и стал караулить. Едва Степкина компания приблизилась, Дергач вышел и, чуть расставив ноги, загородил им дорогу.

Столь неожиданное появление опасного противника заставило остолбенеть мальчишек. Но, сообразив тотчас же, что их трое, а он один, они решили защищаться.

— Бросай корзину! — крикнул Дергач вызывающе.

Вместо ответа Степка поставил корзину и наклонился за камнем; остальные двое сделали то же.

— А, так вы вот как! — рассерженно крикнул Дергач, и, оглушительно засвистев, он бросился с поднятой палкой на врагов.

— Кровь! — в ужасе крикнул вдруг кто-то, разглядев красные руки Дергача.

И, вероятно, предположив, что страшный Дергач только что совершил кровавую расправу над каким-либо путником, все трое, не дожидаясь, пока и их постигнет та же участь, в панике бросились бежать, преследуемые издевательским свистом Дергача.

— Видал,— восхищенно завопил Валька,— как он один на троих! Ой! Ой! Как хорошо, Яшка, что мы сдружились с Дергачом! — И Валька вне себя от восторга принялся кататься по траве.

Дергач спустился к костру, молча бросил захваченную корзину и опять лег.

— Как это ты их здорово! — сказал Яшка, подсаживаясь рядом.

Дергач слегка улыбнулся, махнул рукой, как бы говоря, что не стоит о таком пустяке разговаривать, и опять, вынув фотографию, принялся ее рассматривать. Яшка высыпал грибы на траву, а старую корзинку кинул в огонь.

— Зачем ты?

— Нельзя же с ихней корзиной домой возвращаться, узнать могут. А грибы мы потом ссыпем в опростанный котел и домой стащим, а там в свои лукошки пересыпем. А если матери станут ругаться: где пропадали? — мы ска-

жем, что за грибами ходили. Грибы-то во какие... белые, березовиков вовсе мало.

Совсем уже вечерело, когда Дергач, нанизав куски мяса на бечеву, отправился снести продовольствие в «Графское», а ребята, подхватив котел, потащились к дому.

Они благополучно миновали тропку, никого не встретили на огородах и уже в саду столкнулись с поливавшей грядки Яшкиной матерью.

— Это вы что же, идолы, делаете? Это вас куда с котлом носило? — грозно приближаясь, спросила она.

Валька, как и всегда в таких случаях, стремительно дал ходу, а Яшка так оторопел, что только и нашелся ответить:

— Мы, мам, за грибами... мы, смотри, каких белых...

— Это с котлом-то за грибами? — остолбенела мать.— Да ты чего врешь-то!

Получив затрещину, Яшка взвыл не столько от боли, сколько по обычаю, и улепетнул во двор.

Мать подошла к котлу, заглянула в него и, увидав большую груду грибов, пришла в еще большее недоумение:

— Батюшки вы мои! Да что же это такое? Я думала, он врет, что за грибами... а он на самом деле...— И она беспомощно развела руками.— А только... только где же это видано, чтобы по лесу с двухпудовым котлом за грибами ходили... Да уж они, не дай бог, не сошли ли и на самом деле с ума?

IX

В этот вечер Яшку из дома больше не выпустили. Валька покрутился было возле его окна, посвистел. Но оттуда вдруг выглянуло рассерженное лицо Яшкиной матери и послышался ее суровый голос:

— Я вот тебе посвищу! Я тебе посвищу, поросенок этакий! Я вот тебе сейчас ведро с помоями на голову выплесну!

Валька шаром откатился подальше и решил, что Яшку заперли либо засадили за арифметику и придется одному бежать ныретку перекидывать.



Он захватил с собою «кошку», то есть якорь из гвоздей, подвешенный к тонкой бечеве, и понесся к речке.

Солнце уже скрылось. Над почерневшей рекою раскинулись облачка теплого пара. Валька спустился к старой искореженной раките, раскинувшейся возле поросшего осокой берега, взял конец бечевы в левую руку, правой раскачал «кошку» и, наметив место, быстро выбросил ее вперед.

Вода булькнула. Испуганно бултыхнулись с берега встревоженные лягушки. Валька потянул конец бечевы — бечева не натягивалась.

— Не зацепило! — догадался он и перебросил «кошку» чуть правее.

— Ага... теперь есть!

Сердце его затрепетало, как птица, запутавшаяся ночью в кустах, когда неуклюжие прутья ныретки показались над поверхностью воды.

— Эх, кабы щука... либо налим фунта на три.

Он выхватил ныретку, поднял ее к глазам и, не обращая внимания на струйки воды, стекавшие ему на штаны, принялся рассматривать улов:

— Две плотвы... три ерша, три сайги и два рака.

Валька вздохнул разочарованно, нанизал рыбешек на кукан. Раков выбросил в реку, ныретку перекинул на другое место и, свернув «кошку», выбрался наверх.

Была уже ночь. Красной дугою выглядывал из-за леса край огромной луны. И, озаренные ее слабым сиянием, развалины графской усадьбы казались теперь снова величественным, крепко спящим замком.

Но что это? Валька подпрыгнул, точно зацепил ногой за корягу, и выронил кукан. Одно из окон спящего замка озарилось изнутри слабым светом.

«Что за штука? — подумал Валька. — Кто это там?.. Ага! Да это, конечно, Дергач зажег свечу. Но чего он там бродит? Как он, дурак, понять не может, что отсюда могут увидать мальчишки и заинтересоваться!»

Валька наклонился, отыскивая оброненный кукан. Когда он поднял голову, то света в окошке уже не было.

И на Вальку напало сомнение, что не лунный ли отблеск на случайно сохранившемся осколке стекла принял он за огонь.

«Надо будет завтра спросить Дергача,— решил он.— Ежели он не зажигал огня, то, значит, мне показалось».

С утра Яшку нарядили в новые штаны, праздничную рубаху, и из сундука мать достала пахнущий нафталином картуз.

— Мам... а картуз-то зачем? — запротестовал было Яшка.— Сейчас не осень и не зима, и так жарко.

— Помалкивай! — оборвала его мать.— Хочешь, чтобы судья посмотрел на тебя и сказал бы: у, какой хулиган, весь растрепанный! Да рожу-то получше умой. Да если спрашивать тебя чего будут, то отвечай скромно да носом не шмыгай.

В суде они встретили Степкину мать — лавочницу, разряженную в старомодную плюшевую кофту, и Степку, до того зачесанного назад, что казалось, глаза его даже по лбу подались.

Матери расселись молча, не поздоровавшись. Степка же ухитрился показать Яшке язык, на что тот повернул ему в ответ аккуратно сложенную фигу.

Началось разбирательство этого запутаннейшего дела по встречным искам о возмещении убытков.

Первый — о стоимости трех кур, задушенных собакой, носящей кличку «Волк». Второй — о стоимости двух утят и куска вареного мяса, похищенных котом, носящим кличку «Косой». Сначала ничего невозможно было понять. Выходило как будто бы так, что кур никто не душил, а мяса никто не утаскивал. Потом вдруг оказалось, что куры сами были виноваты, ибо забрели на чужую территорию и разрывали грядки с рассадой. А утят сожрал и мясо стащил не «Косой» кот, что Степкин, а «Бесхвостый» Сычихин, который давно уже имел репутацию подозрительной личности, занимающейся темными делами. Однако бойкая Сычиха тотчас же клятвенно присягнула в том, что «Бесхвостый» вовсе не ее кот, а живет он на чердаке ее бани самовольно, сам заботясь о своем пропитании, и никакой ответственности за него она нести не может.

— Свидетель Яков Бабушкин,— спросил судья, Егор Семенович, добрый старик со смеющимися глазами,— ответь-

те мне на вопрос: были ли вы во дворе, когда собака Волк бросилась на соседских кур?

— Был,— отвечает Яшка.

— Что вы делали?

— Мы...— Яшка заминается.

— Отвечайте... не бойтесь,— подбадривает судья.

— Мы с Валькой пуляли из рогуль.

— Из чего-о?

— Из рогуль,— смущаясь, продолжает Яшка.— Палка такая с резиной, в нее камень заложишь, а он как треснет!

— Куда треснет?— удивляется судья.

— А куда нацелиться, туда и треснет,— объясняет Яшка и окончательно сбивается, услышав гул сдержанного хохота.

— Так!.. И что же вы сделали, когда увидели, что собака Волк душит соседских кур?

— Так они, товарищ судья, сами лезли к нам на грядки...

— Я не про то! Вы ответьте, что вы сделали, когда увидали, что собака душит кур?

— Мы... так мы когда подошли, то уже Волк убежал.

— А куры были уже дохлые?

— А кто их знает... может, и не дохлые... может, они просто с перепугу обмерли.

— Садитесь... Свидетель Степан Сурков. Верно ли, что ваши куры забрели на чужой огород?

— Они не сами забрели, их нарочно зерном подманили.

— Почему же вы думаете, что подманили?

— Обязательно подманили. А то чего же они на чужой двор пойдут? Что у них, своего нет, что ли?

— Когда вы подобрали кур, то они были уже дохлые?

— Вовсе дохлые... а у одной даже полноги не хватало. Мать как понесла их на базар продавать, то тех двух ничего, а эту третью насилу...

Тут Степан, почувствовав вдруг тычок в бок со стороны сидевшей рядом матери, внезапно умолкает.

Но уже поздно, и судья спрашивает строго и удивленно:

— Так, значит, вы... дохлых кур продали на базаре?

Степкина мать чувствует, какую оплошность допустил ее сын, и пробует вывернуться:

— Врет он, товарищ судья! Куры только помяты были, а вовсе еще живые; я их, конечно, зарезала и продала.

— Та-ак! — растягивая слова и хитро сощуриваясь, говорит судья. — Значит, вы утверждаете, что зарезали своих живых кур и продали их на базаре... Но позвольте: о чем же тогда может быть иск?

Зал дружно смеется, а Яшка чуть не взвизгивает от удовольствия. Яшка наверняка знает, что Волк задушил кур, но после того как Степка сболтнул, что их продали на базаре, Степкиной матери никак не возможно утверждать, что она продала дохлых кур.

— Ух! — кричит он, через некоторое время выходя из суда. — Наша взяла.

А позади разозленная лавочница говорит тихонько Степке:

— Погоди, вот домой придем, я тебя выдеру, покажу я тебе, как языком брехать! — И, поворачиваясь к Яшкиной матери, она кричит сердито: — А вы скажите своему сорванцу, чтобы он не безобразничал! Утром отворяю кладовку, да так и обмерла — по всему полу ящеры шмыгают. Знаю я, кто это с огорода через окошко напускал.

Но Яшка дергает мать за подол и говорит ей убедительно:

— Не верь, мама! Что я, змеиный укротитель, что ли? Я и сам всех ящеров и змеев хуже смерти боюсь.

X

В предыдущий вечер Дергач, захватив нанизанную на бечевку козлятину, пустился бежать к «Графскому».

В подвале стоял уже полумрак. Дергач зажег свечу и, кинув кусок мяса всегда голодному Волку, улегся на охапку сена и опять вынул фотографию.

— Так вот он кто! — прошептал Дергач. — А я думал, что это только кличка у него... В эполетах... А теперь до чего дошел человек... Так, значит, это его вся усадьба была...

Дергач сунул карточку в карман и, уложив с собою теплого, плотно закусившего Волка, закрыл глаза.

Под сводами каменного подвала стояла мертвая тишина. Слышно было даже, как колотится равномерно сердце Волка да шуршит под окном на пруду тростник.

Дергач уснул. Спал он крепко, но беспокойно. Во сне он видел пальму, а под пальмой Яшку.

«Иди сюда»,— звал Яшка. И вдруг Дергач увидал, что это вовсе не Яшка, а сам грозный налетчик Хрящ стоит и манит его пальцем: «А ну, пойди сюда, пойди сюда... А почему ты захотел быть домушником, а зачем ты бросил стремя?»

Дергач хотел крикнуть, но не мог; хотел бежать, но трава заклеила ноги; он рванулся и... открыл глаза.

Волк стоял рядом. Видно было, как зеленоватыми огоньками горели его глаза. Дергач погладил собаку и почувствовал, что каждый мускул ее напружинен и напряжен.

— Ты чего?—спросил Дергач шепотом и, прислушиваясь, уловил где-то далеко вверху еле слышный шорох.

«Это совы гоняются за летучими мышами,—подумал он.—Кто сюда ночью придет. Ложись, Волк, ложись... Никого нет. Мы одни».

И, крепко обняв собаку, он полежал еще немного с открытыми глазами, потом уснул и больше не просыпался до рассвета.

XI

Дергач ответил Вальке, что никакого света он в верхних комнатах не зажигал. Но при этом он так смутился и нахмурился, что это не ускользнуло от глаз мальчуганов.

— Я думаю податься завтра отсюда,—совершенно неожиданно заявил он.

— Куда податься? Зачем, Дергач? Разве тебе здесь с нами плохо?

Дергач помолчал... Видно было, что он колеблется и хочет что-то сказать ребятам.

— Все туда же,—вздохнув, проговорил он.—Дом свой разыскивать. У меня ведь и отец и мать где-то есть. Как был голод, так я потерялся от них возле Одессы, а теперь и не

знаю, где они. Думаю в Сибирь, в город Барнаул, пробраться, там где-то у меня тетка есть — она уж наверно адрес родителей знает. Да вся беда только в том, что я фамильи ее не знаю, а знаю, что зовут ее Марьей. Да в лицо немного помню.

— Трудно найти без фамильи, Дергач.

— Трудно,— подтвердил Валька.— Во, возьмем хоть у нас три соседских дома, а и то в них четыре Марьи, ежели не считать даже Маньку Куркину, которой один год, да коз, которых Машками зовут. А как твоего отца фамилия, Дергач?

— Елкин Павел, а меня Митькой раньше звали. Это уже когда я в беспризорники поневоле попал, то там мне кличку дали.

— А почему, Дергач, ты так вдруг собрался уходить?

Дергач опять нахмурился.

— А потому...— сказал он после некоторого раздумья,— что очутился я здесь, убегая от Хряща. Мы на главной линии, на ветке с ним нечаянно столкнулись. Он там был с одним еще, а теперь по некоторым приметам думаю я, что не сюда ли они направлялись тоже.

— Ну и тебе-то что? Что тебе Хрящ, начальник, что ли?

— Хрящ-то?— И Дергач насмешливо посмотрел на Яшку, как бы удивляясь нелепости такого вопроса.— Хрящ ежели поймает меня, то обязательно убьет.

— Да за что же убьет? Разве есть такой закон ему, чтобы убивать?

— У них есть закон.

— У кого — у них?

— У настоящих налетчиков. Я со стремя убежал, на которое они меня поставили... А у них уже так заведено, что кто со стремя самовольно уйдет, того обязательно убивать, как за измену.

— Что же это за стремя?

— Как тебе сказать... Ну, караул... или наблюдатель, которого выставляют возле дома для сигнала, пока грабят. Вот меня Хрящ и поставил, а я убежал нарочно... из-за этого двое тогда сгорели...

— Пожар был?

— Да не пожар... Сгорели — это, значит, попались и в тюрьму сели... Да чего вы стоите, рты поразинув?

— Чудно больно, Дергач,— робко ответил Валька.— И рассказ такой страшный, и слова какие-то непонятные...

— С собаками будешь жить — сам насобачишься. И до чего вредный этот Хрящ! Сколько он ребят смутил, сколько из-за него в исправительных колониях сидят! Эх, и надоела мне эта собачья жизнь! Все равно, ежели хоть не найду своего дома, ото всех сил буду стараться куда-нибудь пристроиться — к сапожнику в ученики либо в подшивалки,— уж где-нибудь, а приткнусь. Да чего тут говорить?— кончил Дергач и тряхнул лохматой головой.— Трудно хоть, но если захочешь, то все-таки на хороший путь вывернешься... Кончим про это разговаривать, побежим лучше на речку пиявок ловить; у Козьего заброда есть страшенные; потом купаться будем, а то чего про горе раздумывать...

Дома мать сказала Яшке:

— А тебя тут отец все разыскивал. Фотографию какую-то, говорит, не брал ли ты.

— Какую еще фотографию?

— Да спроси у него самого. Он в амбаре чего-то роется.

«Вот еще новая напасть,— подумал Яшка.— И на что она ему понадобилась?»

Из амбара вышел отец. Он был засыпан пылью и держал в руках кипу каких-то пожелтевших бумаг.

— Яшенька,— сказал он ласково,— не видал ли ты где карточку с пальмой?

— Видал где-то!

— А ты пойди принеси мне ее...

— Хорошо!— сказал Яшка и направился было в комнаты, но, по дороге вспомнив, что карточка осталась у Дергача в кармане, он вернулся.— Да я не помню уже, папаня, где я ее видел. И зачем она тебе вдруг понадобилась?

— Нужно, милый! А ты вспомни обязательно. Ежели вспомнишь и принесешь, я тебе полтинник подарю.

— По-олти-инник?— расцвел даже Яшка.— А не обманешь?

— Обязательно сразу же подарю.

Яшка исчез, теряясь в догадках, с чего это отец решил так расщедриться. Раньше бывало, гривенник в воскре-

сенье не всегда выпросишь, а тут вдруг сразу целый полтинник.

Он выскочил и засвистал Вальку.

— Валька! Ты не знаешь, где Дергач?

— Должно быть, у Волка ночует. А что?

— Побежим, Валька, в «Графское», он мне беда как нужен. Карточку у него взять. Отец обещал, если я принесу, дать полтинник.

— Темно уже, Яшка. Пока добежим, и вовсе ночь настанет.

— Ну что же, что ночь,— а зато полтинник. Мы завтра бы селитры да бертолетовой соли купили — ракету сделаем.

— Ну, побежим,— только чтобы одним духом. У меня мать в баню кстати ушла.

Понеслись. Яшка бежал ровным, размеренным шагом, как настоящий бегун-спортсмен. Валька же не мог и тут обойтись без выкрутас. Он то учащал, то уменьшал шаг, попутно подражал то фырчанью мотора, то пыхтенью локомотива.

Вот и поворот над речкою.

— А ну, поддай пару... Ту-туу!..

И вдруг Валька-паровоз на полном ходу дал тормоз; остановился как вкопанный и Яшка.

Валька изумленно посмотрел на Яшку, Яшка на Вальку, потом оба повернули головы в сторону развалин «Графского». Сомнений не могло быть никаких: в угловой комнате второго этажа горел огонь.

— Ого! — проговорил Яшка, выходя из оцепенения.— Это что же еще такое?

— Я же говорил! Я говорил, что Дергач зажигал огонь. Ты видел, как он смутился, когда я его спросил про огонь?

— Да чего же ему поверху шататься? Что он там затеял? Знаешь что, давай подкрадемся и подглядим, чего еще он там выдумал.

— Боязно что-то подглядать, Яшка.

— Вот еще, чего боязно! Чай, он с нами заодно. Да и карточка-то тоже нужна. Полтинники тоже не каждый день обещают. Сегодня батька пообещал, а назавтра возьмет и раздумает.

И оба мальчугана припустились опять по тропке.

Уж какой странный и причудливый ночью замок! Огромные липы спокойными вершинами чуть-чуть не касаются луны. Серый камень развалин не везде отличишь от ночного тумана. А черный заросший пруд, в котором отражаются звезды, кажется глубокой пропастью с светлячками, рассыпанными по дну.

Как странно все ночью, как будто бы все вещи передвинулись со своих мест. Все приходится разыскивать сначала. И старая липа лежит как будто бы не там, где лежала, и заросшее плющом окно не на месте.

— Залезай, Валька.

— А ты?

— И я сейчас, только ботинки сниму, чтобы не скрипели.

Тихонько ступая босыми ногами по холодной каменной лесенке, Яшка начал пробираться наверх, намереваясь узнать, что именно делает там в такую позднюю пору Дергач. Он почти добрался до верхней ступенькн, как Валька неосторожно ступил на какую-то доску, которая предательски громко скрипнула.

И тотчас же, к несказанному ужасу мальчуганов, глухой бас, никак не могший принадлежать Дергачу, сказал:

— А как будто бы внизу что-то зашумело?

И другой голос, тягучий и резкий, ответил:

— Некому тут шуметь. Кто сюда ночью полезет!

— Надо все-таки загородить окно,— продолжал первый.— Сходи вниз, я там рогожу видел, а то может увидать кто-нибудь свет со стороны речки.

При этих словах мальчуганы еще больше перепугались, так как вниз нужно было спускаться мимо них. Они хотели уже было напролом кинуться к окну, но второй голос ответил:

— Обойдется на сегодня и так. У меня свечки нету запасной вниз идти.

Тогда медленно ребята начали пятиться назад.

Они выбрались к окну и, выскочив на землю, во весь дух бросились бежать, оставив даже неподобранными Яшкины спрятанные ботинки.

XII

Добежав до огородов, ребятишки, не обсуждая всего случившегося, условились встретиться завтра пораньше и разбежались по домам.

Яшка нырнул под одеяло и, укрывшись с головкой, притворился уснувшим.

Вошел отец и спросил у матери:

— Спит уже Яшка-то? Не нашел, видно, фотографию. Эх, и жаль, ежели не найдет!

— Да на что она тебе? — отозвалась из-под одеяла засыпавшая уже мать.

— Вот в том-то и дело, что есть на что. Фотография заваль завалью, ей пятак цена, а мне за нее пятерку посулили. Сижу я, газету читаю в сторожке. Подходит ко мне какой-то неизвестный человек. Я сразу угадал, что приезжий. Поздоровался он и спрашивает: «Вы будете Максим Нефедович Бабушкин?» — «Я», — говорю. «Очень приятно! Хотелось бы мне с вами поговорить. Ежели вы не заняты, то, может быть, зашли бы вы со мной в соседнюю чайную, «Золотое дно», а там за бутылкой пива я изложил бы вам суть дела». А я как раз домой собирался уже. «Что же, говорю, можно и зайти. Погодите, я только каретник на замок запру». Зашли мы в чайную, подали нам пару пива, и приступил он к делу.

Оказывается, приехал он с товарищем из города от какого-то общества по изучению русской старины. То есть изучают они разные старые постройки, усадьбы и церкви. Какой архитектор сработал, в каком году да в каком стиле. И вот заинтересовались они и графским имением. Я объяснил ему, что хотя и много лет служил у графа садовником, но усадьба сама лет за сто еще до меня построена была, так что насчет архитектора сказать ничего не могу. Вот что касается оранжерей и парка, — это все было под моим наблюдением.

Стал он тогда меня расспрашивать, какие растения выращивали да какие цветы. Я отвечаю ему и упомянул к слову про пальму. Он не верит: «Не может в этаком климате на воле пальма произрастать». — «Как, говорю, не может? Я врать не буду — у меня и по сию пору фотография с нее сохранилась». Как заблестели у него глаза... «Продайте нам

эту фотографию,— предлагает он мне,— мы вам за нее рублей пять дадим. Вам она ни для чего, а нам для коллекции». Я так и ахнул — за всякую дрянь да пять рублей! Ну, думаю, верно уж, что не знаешь, где человеку удача выпадает. И пообещался ему принести... Да вот только нигде найти не могу.

— Дураки люди,— сказала, зевая, мать.— Денег им девать, что ли, некуда? В прошлом годе тоже художник какой-то с Сычихи портрет рисовать взялся, да еще по целковому за день ей платил. Ну взял бы хоть председателеву жену срисовал или еще кого поприглядней, а то Сычиху — да на нее и без портрета смотреть оторопь берет!.. А ты поищи все-таки карточку-то, пятерки под забором не валяются. Вон Яшке к осени пальтишко справлять придется, из старого-то он вовсе вырос.

«Ээх, и ду-ураки мы! — подумал Яшка, осторожно высовываясь из-под одеяла.— Эх, и трусы! И чего испугались? Мирные люди усадьбу обследуют. Да еще добрые какие, отцу пять рублей обещались. Нам бы вместо чем бежать, надо бы наверх к ним выбраться. Может быть, пособили бы в чем-нибудь — глядишь, по двугривенному заработали, а мы бежать. И чего только ночью со страха не померещится!»

Яшка натянул покрепче одеяло и услышал, как отец повернул выключатель, выключая свет.

Яшка повернулся на бок и закрыл глаза. Так он пролежал минут десять. Сладкая дрёма начала охватывать его, и его мысли начинали смешиваться, мелькнул уже кусочек какого-то сна, как вдруг он услышал, что что-то тихонько стукнулось об пол, точно обвалился с потолка маленький кусочек штукатурки. Через минуту опять что-то стукнуло.

«Должно быть, Васька-кот в темноте балует»,— подумал Яшка и спустил руку к полу, отыскивая что-либо, чем можно бы отпугнуть кота. И в ту же минуту он почувствовал, что прямо к нему на одеяло упал небольшой, с горошину, камешек.

«Кто-то через окно кидается. Уж не Валька ли... Но зачем же это он так поздно?..»

Яшка высунулся в окно. Возле черного забора он еле разглядел прячущегося в тени Вальку. Яшка махнул ему

рукой, что должно было означать: «Уходи, выйти не могу, отец с матерью только что легли». Однако Валька упрямо замотал головой и продолжал подавать сигнал, вызывая Яшку

«Вот, пес тебя забери! — подумал обеспокоенный Яшка.— Что у него могло этакое случиться, чтобы вызывать в полночь?»

Он осторожно натянул штаны и прислушался. Сестренка Нюрка крепко спала. В соседней комнате похрапывал отец, но мать еще ворочалась с боку на бок.

Яшка бесшумно взобрался на подоконник, нащупал рукою уступ и тихонько спустился на выемку фундамента. По выемке он добрался до угла и только здесь уже спрыгнул в мягкую землю клубничных грядок.

— Ты чего? — напустился он на Вальку.— Разве я велел тебе по ночам будить?

Вместо ответа Валька взволнованно приложил пальцы к губам и потащил Яшку за рукав.

— Так чего же ты? — нетерпеливо переспросил Яшка, останавливаясь возле бани и не понимая возбужденного состояния Вальки. И тотчас же понял все или, вернее, ничего не понял — у стены бани он увидел привязанного, откуда-то взявшегося Волка.

— Я только хотел ложиться спать, вышел оправиться,— рассказывал Валька,— смотрю, бежит во весь мах собака — и прямо ко мне. Я подумал, что бешеная, да со страха прямо на забор скакнул. И вижу вдруг, что это Волк.

— Да зачем же его Дергач выпустил?

— Не знаю.

— Вот еще новая напасть... Гляди-ка, да Волк-то весь мохнатый, он в воде где-то был... Что же с ним делать сейчас?

— Давай привяжем его пока в баню... А утром назад сведем. Он, может быть, вырвался у Дергача.

Привязали собаку в бане... Еще раз условились встретиться пораньше утром и опять расстались.

Яшка тем же путем начал пробираться домой. Уже возле самого окна он обернулся, и ему показалось, что верхушка сиреневого куста, росшего в саду возле бани, как-то неестественно сильно вздрогнула, точно ее качнули снизу.

Необъяснимое беспокойство овладело отчего-то мальчуганом. Он забрался в комнату, сам не зная зачем запер окно на задвижку и долго не мог уснуть, раздумывая о случившемся. Должно быть, потом он заснул очень крепко, потому что проснулся как-то вдруг, рывком, от сильного шума и лая.

— Яшка,— кричала мать,— Яшка, да проснись же ты, дьявол!

Яшка вскочил, ничего не соображая.

Лай все усиливался. Это уже был не простой лай собаки на проходящего путника, а отчаянная тревога, переходящая в остервенелый визг.

Нефедыч, схватив со стены охотничью берданку, поспешно выбежал во двор.

Через полминуты лай сразу оборвался, и почти тотчас же раздался грохот выстрела.

Яшка не помня себя выскочил во двор. Навстречу ему попалось несколько человек соседей. Кто-то говорил:

— В баню пробрался какой-то человек. Должно быть, вор. Он ранил ножом собаку. Нефедыч выстрелил, да мимо.

— А зачем же он пробрался в баню? Зачем он напал на собаку?

— Уж не знаю зачем, это вы у него спросите.

«Ну и ночка!—подумал ошалелый Яшка, бросаясь к бане.— Ну и ночка сегодня, нечего сказать».

XIII

Ударом ножа Волк был неопасно ранен в верхнюю часть шеи. Отец с матерью учинили Яшке строжайший допрос о том, каким образом «отравленная» собака очутилась в бане.

Воспользовавшись благоприятным моментом, Яшка чистосердечно сознался, что Волк был спрятан им до поры до времени, и умолчал о том, где именно скрывался Волк. И так как иск к Волку не был утвержден судьей, а кроме того, собака показала себя настоящим героем, оберегая в прошедшую ночь дом от неизвестного злоумышленника, то Волку была объявлена «амнистия».

Встретившись с Валькой, который был осведомлен уже обо всем случившемся, Яшка потащил его в сад и там, остановившись в укромном местечке, сунул руку в карман.

— Смотри, Валька! Вчера мы ночью не разглядели, а сегодня утром я нашел это, привязанное к ошейнику Волка.

И Валька увидел обрывок картины — нижнюю часть фотографии с пальмой. На оборотной стороне были, очевидно, вычерчены какие-то буквы, но разобрать их было невозможно, потому что кровь, стекавшая с шеи раненого Волка, запачкала всю эту сторону карточки.

— Как она попала на шею Волка?

— Дергач привязал! Он что-то хотел написать нам... Может быть, с ним случилось какое несчастье. Может, камень какой упал со стены и придавил его или ногу он в темноте свихнул себе.

— А почему только половина карточки?

Ничего не решив толком, ребята направились к «Графскому», чтобы на месте расспросить обо всем Дергача.

Возле поросшей плющом стены Яшка оставил Вальку разыскивать оставленные вчера ботинки, а сам полез наверх.

В темной кладовой он зажег спичку, и сразу же ему бросились в глаза окурки. Он поднял один. Это был такой же самый окурок, какой он нашел несколько дней тому назад в верхней комнате.

«Это исследователи-ученые были уже и здесь»,— подумал он.

Спичка потухла. Он зажег вторую и дернул дверь, ведущую в полуподвал,— в подвале никого не было. Тогда Яшка выбрался обратно и засвистел условным сигналом. Гулкое эхо десятками фальшивых пересвистов ответило ему, но Дергач не отвечал.

Стало ясным, что Дергач исчез.

XIV

Прошло два дня. Ребятишки построили Волку крепкую конуру, посадили его на цепь, и Волк официально вступил в должность сторожа Яшкиного дома.

О Дергаче не было ни слуха.

— Подался куда-нибудь дальше,— говорил Валька.— Помнишь, он в последние дни все заговаривал об этом. Они ведь такие: кусок хлеба за пазуху — и пошел куда глаза глядят.

— А почему же он не попрощался с нами?.. И что он писал на обратной стороне фотографии?

Яшка вынул обрывок картины, повертел его и, решив, что здесь ничего все равно не разберешь, выкинул карточку на траву.

— Пойдем купаться, Валька.

Через десять минут после того, как ребятишки убежали, из калитки сада вышел Нефедыч. В руках он держал кривой садовый нож, которым обрезал сухие ветки, и лопату.

Во дворе он остановился как раз возле того места, где недавно разговаривали ребята, и стал завертывать цигарку. Взгляд его упал нечаянно на карточку, валявшуюся на траве.

— Ишь, ребята опять насорили,— проворчал он, поднимая обрывок. Он повертел находку в руках, вынул очки и, присмотревшись к поднятому клочку, развел руками: — Ах ты, дьяволята вы этакие! Я-то ищу, ищу фотографию, по два раза на дню человек за ней наведывается, а они разорвали ее. Пропала теперь моя пятерка... Кому понадобится этакий обрывок? — Он сунул карточку в карман и, тяжело вздохнув, пошел домой.

Когда Яшка и Валька возвращались домой к обеду, то, еще не дойдя до ворот, услыхали лай Волка и крик отца.

— Да замолкни же ты, окаянный, ишь как разъярился!.. Проходите, проходите. Не бойтесь, он на цепи.

Калитка распахнулась, и навстречу ребятам вышел какой-то незнакомый человек. Невысокий, слегка сутулый, с неровным рядом мелких зубов, оскалившихся в довольную улыбку. Правая рука его была перевязана бинтом.

Он искоса посмотрел на мальчуганов и круто повернул на противоположную сторону тротуара.

Во дворе Яшка столкнулся с отцом, державшим в руке новенькую хрустевшую бумажку.

Яшка быстро посмотрел на траву возле забора. Брошенного им обрывка фотографии не было.

После обеда он прошел в сад, лег и задумался. И чем больше он думал, тем назойливее привязывалась к нему мысль, что все события последних дней не случайны, а имеют меж собою крепкую связь, и что связывающим звеном всего случившегося и есть эта самая фотографическая карточка.

XV

Как раз в это время отец Яшки получил отпуск и собрался с матерью погостить на три дня в город, к старшей замужней дочери.

Похозяйствовать в дом на это время пригласили тетку Дарью. Но тетка Дарья была уже стара, к тому же чрезмерно толста и немного глуховата, и поэтому мать еще с утра принялась накачивать Яшку:

— Да смотри, чтобы ложиться рано и двери не позабывать запирать... Да к Нюрке не приставай, а то приеду — взбучку задам. Да ежели я замечу, что ты, как в прошлый раз, шкаф с вареньем гвоздем открывал, то тогда лучше заранее беги из дома.— И так далее. Сначала перечислялись возможные Яшкины преступления, затем шел перечень наказаний, кои воспоследуют за этими преступлениями.

Яшка на все отвечал коротко:

— Да нет, мам. Да что ты привязалась? Ты бы еще загодя по шее мне натрескала. Сказал, что не буду,— значит, и не буду.

Но едва только скрылась повозка, увозившая на станцию родителей, как Яшка ураганом помчался в сад, высвистывая всегда готового появиться Вальку. И вдвоем они начали гоготать и скакать по траве, как молодые жеребята, выпущенные на волю.

— Я теперь хозяин в доме! — гордо заявил Яшка.— У, как весело, когда отец с матерью изредка уезжают! Уж мы с тобою за эти дни выдумаем что-нибудь веселое.

— Давай, Яшка, змея пускать... с трещоткой сделаем.

— А с трещоткой милиционер не велит, потому что лошади пугаются. Да и без трещотки не велит, чтобы телефонные провода не путать.

— А мы в поле побежим, подальше.

Работа закипела вовсю; достали стакан муки, заварили клейстер. Яшка принес отцовскую газету и мочалу, выдернутую из половика, а Валька — дранки.

Когда Яшка налаживал уже «пу́та», то есть три ниточки, сводящиеся у центра, на глаза ему попалось интересное объявление. Там было написано:

> Родители мальчика Дмитрия Елкина убедительно просят написавшего о нем заметку в ростовской газете «Молот» сообщить сыну наш адрес: «Саратовская губ., совхоз «Красный пахарь».

— Мать честная, да ведь это же Дергача разыскивают! — ахнул Яшка.— Помнишь, он говорил нам, что про него кто-то в газете написал.

— А Дергач-то ничего и не знает. Может, никогда и не узнает вовсе — разве же ему попадется газета?

— И куда он провалился? Нет чтобы подождать... Жалко все-таки, Валька, Дергача. Он хоть и беспризорный, а хороший был. Он за нас заступался. Волку козла сварил... Мне рогатку наладил. И вот ушел... А как бы он рад был, Валька!

Окончив змей, ребята дали ему подсохнуть, потом захватили с собой Волка и побежали в поле запускать.

Но несмотря на то, что змей ровно пошел вверх и весело загудел трещоткой, распугивая звенящих жаворонков, настроение у ребят упало. Было жалко Дергача и обидно за то, что так неожиданно и нелепо ушел он от своего счастья. В Сибирь собрался, какую-то тетку разыскивать. А где еще ее без фамилии разыщешь? А тут до Саратовской губернии далеко ли?

Змей, неожиданно козырнув, быстро пошел книзу. Яшка что было мочи пустился бежать, натягивая нитку, но ничего не помогло. Змей еще раз козырнул и камнем упал куда-то на деревья позади «Графского».

Стали стягивать клубок ниток, но нитки вскоре оборвались. «Эх, не задала бы мать! — подумал Яшка.— Клубок-то ведь у нее на время без спросу взял. Придется идти змей разыскивать».

Побежали. Змей сидел высоко в ветвях одного из деревьев рощи, которая начиналась от «Графского» и примыкала к мрачному Кудимовскому лесу. Яшка хотел уже было лезть на дерево, как внимание его было привлечено лаем Волка.

Заинтересованный Яшка побежал на лай и увидал, что Волк прыгает в кустах возле узенькой тропки и, радостно помахивая хвостом, треплет зубами какой-то черный предмет.

Ребята вырвали у Волка его находку и переглянулись. Это было не что иное, как затрепанная и перепачканная в саже фуражка Дергача.

— Валька,— сказал Яшка, немного подумав,— а может быть, Дергач вовсе и не убежал? Может, он просто испугался кого-нибудь и прячется где-нибудь здесь, по соседству? Я знаю, тут недалеко шалаш есть.

— А кого ему пугаться-то?

— Кого! Да хотя бы вот этих, что по усадьбе лазают.

— Так ты же сам говорил мне, что это ученые.

— Знаю, что говорил. Да вот что-то кажется мне теперь, Валька, что они, пожалуй, не совсем чтобы ученые, а какие-нибудь другие.

Между тем Волк, тихонько, радостно повизгивая, бегал по тропке, обнюхивая ее и не переставая помахивать хвостом.

— Смотри, Волк-то как радуется. Честное слово, он Дергача след учуял. Знаешь что, Валька, побежим за Волком, он куда-нибудь нас приведет. Тут несколько даже шалашей есть, в которых на покосе ночуют. А сейчас не поздно. Солнце-то во как еще высоко.

Валька заколебался, но, послушный всегда желаниям своего товарища, согласился.

— А ну, Волк! — И Яшка помахал перед его носом Дергачовой фуражкой.— А ну, ищи!

Волк, высоко подпрыгнув, лизнул Яшку в лицо, как бы показывая, что понимает, чего от него хотят, уткнулся носом в землю, повертелся и, разом натянув бечевку, протянутую от ошейника к Яшкиной руке, потащил мальчугана за собой.

— Ишь, как любит он Дергача.

— Еще бы! Дергач одного мяса ему сколько скормил да спать с собой всегда клал.

Сколько времени продолжалось это быстрое продвижение по тропке, сказать трудно. Но, должно быть, немало, потому что деревья уже начали отбрасывать длинные тени, а ребята порядком вспотели, когда Волк неожиданно остановился, завертелся, обнюхивая землю, и решительно завернул прямо от тропки в лес.

Через полчаса Яшке определенно стало ясным, что в той стороне, куда рвется Волк, нет ни одного места, где бы можно было укрыться Дергачу, кроме только... кроме только «охотничьего домика».

Постройка, известная под названием «охотничьего домика», находилась верстах в семи от «Графского». Выстроенный когда-то по прихоти графа вдали от проезжих дорог, на краю огромного болота, он оставался почти нетронутым и по сию пору. Правда, все, что из него можно было унести, было расхищено за годы войны, но сам домик, сложенный из валявшихся в изобилии глыб серого камня, уцелел.

После революции кто-то из сожженных крестьян хотел было приспособить домик под жилье, но место оказалось совсем неудобное: с одной стороны — камень, с другой — болото. Так и не вселился в домик никто, и зарос он сорной травою да сырым мхом.

Целые тучи мошкары носились меж деревьев. Солнце плохо прогревало сквозь густую листву влажную землю. Не заходили сюда и бабы за грибами, потому что росли здесь одни молочно-белые скрипицы да огненно-красные мухоморы.

И только ранней весной да к осени, когда разрешалась охота, можно было услышать глухое эхо выстрела одинокого охотника, промышляющего за утками. Да и то редко: своих охотников в местечке было мало, а до города отсюда далеко.

К этому-то домику Волк и потащил за собой ребят.

Немного не доходя до места, Яшка остановился и, передавая Вальке бечевку от ошейника собаки, сказал:

— Останься здесь. Сядь вот за этим камнем да смотри, чтобы Волк не лаял. А я пойду вперед и осторожно разведаю. А то кто его знает, на кого еще нарвешься. В случае чего — назад стрекача пустим.

Валька съежился. Видно было, что это приказание ему не по душе, но он знал, что Яшке возражать бесполезно, да кроме того, и домик за поворотом, совсем рядом. Он пристроился между двух больших глыб и притянул к себе нетерпеливо рвущегося Волка.

Завернув за поросший кустарником холм, Яшка увидел крышу «охотничьего домика». Прячась за листву, он пробрался вплотную и прислушался.

Кроме жужжанья комаров, кваканья лягушек да тоскливого писка какой-то болотной пичужки, он не услышал ни одного звука, который мог бы ему подсказать, что домик обитаем.

Тогда Яшка осторожно приблизился к крыльцу, недоумевая, что именно заставило Волка так настойчиво тянуть к этому месту. Он потянул ручку двери и очутился внутри домика. В первой комнате никого не было, но за то, что люди были здесь недавно, говорили очистки от колбасы, бутылка из-под вина и окурки, разбросанные по полу.

Он поднял один окурок и опять без труда узнал все тот же сорт папирос с золотыми буквами, которые он дважды находил в «Графском».

«Ого,— подумал он,— наши-то исследователи и здесь уже, кажется, успели побывать!» В соседней комнате лежала охапка сена. Тогда он заглянул в маленькую боковую комнату. Здесь он сразу наткнулся на ящик с какими-то инструментами и два неизвестных предмета, похожих немного на снаряды.

«Что это все может означать?— подумал Яшка.— Э, да лучше, пожалуй, будет убраться отсюда подальше, а то, чего доброго, подумают еще, что я спереть что-либо прилез».

И он шмыгнул обратно к крыльцу.

XVI

А где же, в самом деле, был в это время Дергач?

Отправившись, как обычно, вечером в подвал «Графского», к Волку, он вскоре заснул. Проснулся он опять от легкого рычанья собаки. На этот раз шум наверху был слышен совершенно отчетливо; он то усиливался, то стихал.

Наконец шаги послышались в соседней с подвалом кладовой. В узенькую щель железной двери просочился свет от зажженной свечи. Кто-то зашаркал ногами по каменному полу, потом зашуршало брошенное на пол сено, и слышно было, как человек улегся на охапку отдохнуть.

«Кого еще это принесло сюда?» — подумал Дергач. И, потрепав Волка, чтобы тот молчал, Дергач, прокравшись к двери, заглянул в щель.

И хотя свеча тускло озаряла каменные своды кладовой, Дергач сразу узнал человека.

— «Граф»,— прошептал он, чувствуя дрожь в коленях.— «Граф» вернулся к себе в свое поместье, но зачем? Чего ему здесь надо? — Страшная мысль обожгла при этом Дергача...

Вот почему он видел графа и Хряща на станции главной линии. Они сами направлялись в местечко, а он, Дергач, не нашел никакого места, куда убежать бы надежнее, как сюда же, в местечко. Ясно, раз граф здесь, то Хрящ где-нибудь неподалеку.

Но что же делать сейчас? Волк еле сдерживается, чтобы не залаять, а граф и не собирается уходить. Может быть, он даже ночевать здесь останется? А на рассвете, если он заметит дверь, ведущую в подвал, и заглянет сюда? Тогда что? Тогда конец.

Планы бегства из этой ловушки один за другим промелькнули в голове Дергача. Нет... ничего не выходит. Тогда он достал фотографию, вытащил огрызок карандаша, завалявшийся среди прочей мелочи в кармане, и в темноте наугад написал:

«Яшка, я заперт... Хрящ здесь, в «Графском», скажи в милицию»...

Дергач привязал фотографию к ошейнику, подтащил Волка к узенькому окну и просунул туда собачью голову.

Волк не заставил себя упрашивать...

Слышно было, как он бухнулся в воду и поплыл, направляясь к противоположному берегу.

Дергач забился в угол, свернулся и закидал себя сеном. «Все-таки без собаки легче,— подумал он,— а то она обязательно выдала бы лаем».

Несколькими минутами позже в соседнюю кладовую быстро вошел еще кто-то, и по голосу Дергач сразу узнал Хряща.

— Граф,— сказал он отрывисто,— что-то неладно... Здесь где-то легавые... Я иду мимо пруда, слышу — бултых что-то от стенки. Гляжу, собака плывет; я к ней... подождал, пока она станет выбираться... осветил ее фонарем — гляжу, у ней к шее какой-то пакет привязан... Я уже выхватил револьвер, чтобы ее ухлопать, но она, как бешеная, рванулась в кусты и исчезла... Постой... собака упала в воду от этой стены... Погоди-ка, а куда ведет эта железная дверь?

При этих словах Дергач еще больше съежился и почти что остановил дыхание.

В соседней комнате о чем-то шепотом совещались.

Потом вдруг дверь разом распахнулась. Сначала Дергач не разглядел никого. Но потом он увидел, что оба налетчика предусмотрительно улеглись на пол, очевидно опасаясь, чтобы тотчас из раскрытой двери не бабахнул по ним выстрел. В руках у них были наганы.

— Нет никого,— сказал граф.

Однако Хрящ двумя прыжками очутился возле вороха сена, лежавшего в углу, и сильно пнул его ногою.

Злорадный крик вырвался у него, когда он увидел перед собою сжавшегося в комочек Дергача:

— А... так ты вот где... так ты следишь за нами... донесение кому-то с собакой послал, в милицию, что ли?.. Чья это была собака?..

И Хрящ со всего размаху ударил Дергача. Тот зашатался и, делая отчаянную попытку если не оправдаться, то выиграть время, ответил:

— Я не в милицию писал, а мальчишкам знакомым. Чтобы они завтра не приходили сюда, потому что здесь есть кто-то чужой. Это их собака, они здесь ее прятали.

— А... я знаю... кто такие...— процедил Хрящ, обращаясь к графу.— Они на днях все время вертелись тут, около усадьбы. Один из них сын того самого сторожа... Ну, знаешь, какого... к которому я все за фотографией хожу...

— Постой,— прервал его граф,— записка-то все-таки может в милицию попасть... Черт знает, что в ней этот змееныш написал. Ее надо вернуть во что бы то ни стало... иначе все дело может рухнуть... Собака, должно быть, до утра по двору бродить будет... Попробуй проберись во двор и убей ее... и сорви написанное на ошейнике... Это ведь не шутка... Мы еще ничего же не сделали...

Хрящ ударил еще раз Дергача и сказал зло:

— Вот еще, путайся теперь с собакой!.. Своего дела мало, что ли... Ну ладно... Останься здесь... Да свяжи руки этому гаденышу... И смотри будь начеку... В случае чего... стукнешь, а сам т у д а подашься... т а м и встретимся.

И он исчез.

Вернулся Хрящ часа через полтора. Он был разозлен, и правая рука его была вся в крови.

— Проклятая собака!— сказал он.— Ее заперли в баню... Я пробрался туда, ударил ее ножом, но она, как остервенелая, впилась мне в руку... Тут содом поднялся, кто-то даже бабахнул мне вдогонку, да счастье мое, что мимо.

— А записка?

— Какая, к черту, записка! Там к ошейнику целая карточка подвешена была. Я рванул — половину сорвал, а половина там осталась. На́, смотри...

Граф посмотрел на поданный ему обрывок и крикнул:

— Слушай, да ты знаешь, что это такое? Это-то и есть половина той самой фотографии, которая нам нужна; но только весь низ ее, который нам больше всего нужен, остался там... Как она попала к тебе?— спросил он, рванув Дергача за плечо.

Дергач ответил.

— Эх, ты!— ядовито сказал граф Хрящу.— Побоялся собачьего укуса. Ну что бы тебе ее всю сорвать! И все дело было бы кончено... А теперь что... весь участок оранжерей перерывать, что ли...

— Эх, ты тоже хорош! — огрызнулся обозленный

Хрящ.— Ваше сиятельство! Хозяин усадьбы — и не можете показать место, где пальма росла.

— Дурак! Да когда нас мужичье из усадьбы выгнало, мне всего-то навсего двенадцать лет было.

— А чья же это рожа на карточке?

— Это старший брат мой. Я на него очень похож был. Да и вся наша семья схожа собой была, это у нас фамильные нос и подбородок... Ну, а что же теперь делать?

Хрящ подумал и сказал:

— Надо пока на всякий случай смотаться отсюда. Там переждем денек, а тогда видно будет.

— А этого? — И граф мотнул головой, указывая на притаившегося в углу Дергача.

— Этого мы тоже с собой возьмем. Я его еще сначала допрошу хорошенько, как и зачем он здесь очутился.

Налетчики быстро выбрались наружу, и, подталкиваемый пинками, Дергач побрел по указываемой ему тропинке в лес.

Одна из веток зацепила его фуражку и бросила ее на землю. Поднять ее Дергач не мог, потому что руки его были крепко связаны.

XVII

По инструментам, разбросанным на полу «охотничьего домика», в который был приведен Дергач, он понял, что налетчики прибыли сюда для какого-то серьезного дела.

Его втолкнули в большую комнату, и он полетел в угол.

Опомнившись немного, Дергач начал осматриваться. Его сразу же изумило то, что окно, выходящее наружу, было распахнуто и не имело решеток. Он просунул туда голову, но ночь, черная, непроглядная, скрыла очертания всех предметов.

И сразу же Дергач задумал бежать. В полусгнившей раме вышибленного окна торчал небольшой осколок стекла.

Прислонившись к подоконнику, он начал перетирать связывавшую его веревку об острый выступ, удивляясь в то же время, отчего это обыкновенно хитрый и предусмотрительный Хрящ сделал на этот раз такую оплошность

и оставил его в помещении, из которого можно без особого труда убежать.

Между тем в соседней комнате шла перебранка.

— И дернул черт твоего папашу,— говорил Хрящ,— связаться с этой пальмой! Подумаешь, примета какая: сегодня была, а назавтра сгнила. Ну, взял бы хоть, как примету, камень какой... ну, хоть если не камень, то солидное дерево — липу либо дуб, а то пальму! И как у него не хватило сообразить, что не станут без него мужики эту пальму, как он, на каждую зиму в стекло обстраивать, и пропадет она в первый же мороз!

— Да кто же знал-то,— возражал граф.— Кто же тогда думал, что все это надолго и всерьез! Да не только отец, а никто из наших так не думал. Все рассчитывали, что продержится революция месяц... два... а там все опять пойдет по-старому. Ведь на белую армию как надеялись.

— Вот и пронадеялись. Не станете же весь сад перекапывать! Тут тебя враз на подозрение возьмут. Это все надо быстро и незаметно — нашел место, выкопал, вскрыл и улепетывай... Я вот думаю, нельзя ли старика садовника в усадьбу вызвать... Пусть прямо покажет место, где росла пальма.

— Опасно... догадаться может.

— Нам бы он только показал, а там...— Тут Хрящ присвистнул.

— Ну, а с этим что делать?

И Дергач понял, что вопрос поставлен о нем.

— С этим?.. А вот давай закусим немного да отдохнем, а там я допрошу его, да и головой в болото... У меня с ним счеты старые. Все равно из него толку не выйдет. Вот тогда со стремя убежал, скотина.

«Дожидайся! — подумал Дергач, стряхивая с рук перерезанные веревки.— Только ты меня и видел!»

Он осторожно взобрался на подоконник, собираясь прыгнуть вниз, как внезапно зашатался и судорожно вцепился руками за косяк рамы.

Небо чуть-чуть посерело, звезды угасли, и при слабых вспышках предрассветной зарницы Дергач разглядел прямо под окном отвесный глубокий обрыв, внизу которого из-за густо разросшихся желтых кувшинок выглядывали

проблески воды, покрывавшей кое-где вязкое, пахнущее гнилью болото.

И только теперь понял Дергач, почему его оставили без присмотра в комнате с распахнутым окном, и только теперь почувствовал весь ужас своего положения.

Но годы, проведенные в постоянной борьбе за существование, ночевки под мостами, опасные путешествия под вагонами и всевозможные препятствия, которые приходилось преодолевать за годы бродяжничества, не прошли для Дергача бесследно. Дергач не хотел еще сдаваться. Стоя на подоконнике, он начал осматриваться. И вот вверху, над окном, выходящим к обрыву, он заметил другое, маленькое окошко, ведущее на чердак. Но до него, даже став во весь рост, Дергач не смог бы дотянуться по крайней мере на полтора аршина.

«Эх, если и так и этак лететь в трясину,— подумал, горько сжав губы, Дергач,— если и так и этак пропадать, то лучше все-таки попытаться».

План его состоял в том, чтобы распахнуть половинку наружной рамы до отказа, взобраться на верхнюю перекладину, ухватиться за выступ слухового окна и, пробравшись на чердак, бежать оттуда через выходную дверь.

В другом месте Дергач проделал бы это без особенного труда — он был цепок, легок и гибок,— но здесь все дело было в том, что рама была очень ветха, слабо держалась на петлях и могла не выдержать тяжести мальчугана.

Все же другого выхода не было.

Дергач распахнул окно до отказа и затолкал какую-то деревяшку между подоконником и нижней петлей, чтобы окно не хлябало. Он заглянул вниз, и ему показалось, что черная пасть хищной трясины широко разинулась, ожидая момента, когда он сорвется. Он отвел глаза и больше не смотрел вниз.

Потом с осторожностью циркового гимнаста, взвешивающего малейшее движение, он ступил ногою на нижнюю перекладину. Сразу же раздался легкий, но зловещий хруст, и рама чуть-чуть осела. Тогда, цепляясь за выступы неровно сложенной стены, стараясь насколько возможно уменьшить этим свою тяжесть, он поднялся на среднюю перекладину. Опять что-то хрустнуло, и несколько винтов

вылетело из петель. Дергач закачался и, впившись пальцами в стену, замер, ожидая, что вот-вот он полетит вместе с рамою вниз.

Теперь оставалось самое трудное: надо было занести ногу на верхнюю перекладину, разом оттолкнуться и ухватиться за выступ слухового окна, которое было уже почти рядом.

Ноги Дергача напружинились, пальцы, готовые мертвой хваткой зацепиться за выступ, широко растопырились. «Ну,— подумал он,— пора!..»

И он рванулся с быстротою змеи, почувствовавшей, что кто-то наступил ей на хвост. Раздался сильный треск, и сорванная толчком рама начала медленно падать, выдергивая своей тяжестью последние, еще не вылетевшие винты.

И Дергач, заползающий уже в слуховое окно, услыхал, как она глухо плюхнулась в зачавкавшее болото.

Выбравшись на чердак, Дергач бросился к выходной двери. Но едва только он толкнул дверь, как понял, что она закрыта снаружи на засов, и он опять взаперти.

Он лег тогда на пыльную земляную настилку... кажется, впервые за все годы беспризорности почувствовал, что слезы отчаяния вот-вот готовы брызнуть из его глаз.

Между тем треск сорвавшейся рамы встревожил налетчиков. Внизу послышались голоса.

— Он выбросился в окно,— говорил граф.

— Он думал, наверно, что выплывет. Ну, оттуда не выплывешь! Чувствуешь, какая поднялась вонь? Это растревоженный болотный газ поднимается...

— А как же теперь?

— Что «как же»? Потонул, туда ему и дорога. Я же и сам после допроса хотел его по этому же пути отправить.

XVIII

Мало-помалу к Дергачу, понявшему, что налетчики его считают погибшим, начала возвращаться совсем было утраченная надежда на спасение.

С рассветом Хрящ и граф исчезли куда-то. Дергач, воспользовавшись их отсутствием, испробовал все способы вырваться из своей темницы, но дверь была крепко заперта

снаружи и не подавалась нисколько. Разобрать же крышу было тоже нечем.

Прошел еще день. Дергач был голоден и измучен. За это время он съел только кусок хлеба, случайно оставшийся в кармане, да выпил две пригоршни воды, просачивавшейся через щель крыши во время ночного дождя.

На третий день налетчики вернулись. Они были чем-то радостно возбуждены.

— Главное,— рассказывал Хрящ,— старик показывает мне обрывок фотографии, а сам говорит: «Мальчишки изорвали, на траве только половину нашел». Я так чуть не подскочил. «Все равно,— говорю,— давайте хоть половину». И когда дал я ему обещанную пятерку, так он чуть не обалдел от радости.

— Значит, сегодня!

— Сегодня. Лошадь я уже достал... Мы его вьюком нагрузим и перевезем сюда, затем ночью вскроем, и кончено.

Вскоре оба ушли.

«Сегодня они привезут что-то, вероятно, стальной ящик, и будут взламывать,— подумал Дергач, вспомнив про виденные им внизу инструменты.— А потом скроются... А я что? Неужели мне останется так пропасть с голоду?» И Дергач, совершенно обессиленный, лег на землю и, прикорнув, как мышонок, к серой пыли, впал в какое-то полузабытье.

Опомнился он уже к вечеру, когда услышал внизу шаги. «Вернулись»,— подумал он.

Но шаги на этот раз были какие-то крадущиеся, неуверенные, точно кто-то посторонний тихонько, на цыпочках пробирается по комнатам.

Дергач подполз к двери и заглянул в щель. У входа никого не было видно. Он подождал. Опять послышались шаги, и кто-то вышел на крыльцо, осторожно озираясь и, по-видимому, собираясь бежать прочь.

— Яшка!— крикнул вдруг Дергач, зашатавшись.— Яшка! Я здесь... здесь, заперт на чердаке...

Через минуту Яшка был уже около двери.

— Дергач,— ответил он взволнованно,— здесь отпереть нельзя... огромный замок висит и весь заржавленный...

Дергач походил на волчонка, только что запертого в клетку. Он дергал дверь, злился и кусал себе губы...

— Скорее надо, они сейчас вернуться должны... Что, не выходит? Ну, достань тогда мне снизу веревку, я по старой дороге спущусь, а ты меня в окно втянешь...

Яшка сбегал за веревкой и просунул ее Дергачу в щель двери... Веревка туго пролезала, и пока Дергач продергивал ее, коротко рассказывал Яшке про все, что случилось.

— Ну, теперь... беги в боковую комнату и жди, как я начну спускаться... Постой!

Ребята вздрогнули... Где-то невдалеке заржала лошадь...

— Беги...— шепнул Дергач,— они возвращаются... Беги в милицию, скажи, что здесь взламывают ящик Хрящ и граф, бандиты... Скажи, что к рассвету будет уже поздно... Выручай, Яшка...

И Яшка, скатившись с лестницы, врезался в кусты, не останавливаясь, махнул рукой притаившемуся Вальке... И, невзирая на ветви деревьев, больно хлещущих лицо, перепуганные ребята побежали к местечку.

XIX

Едва Дергач успел продернуть к себе через щель толстую веревку, как к домику подошли граф и Хрящ, державший узду навьюченной лошади.

Тяжело топая ногами, налетчики внесли небольшой квадратный предмет в комнаты, и по тому, как тяжело стукнулось что-то об пол, Дергач догадался, что это несгораемый ящик.

Затем в продолжение всей ночи внизу была слышна возня, скрип и какое-то шипенье, похожее на шум разожженного примуса.

Очевидно, дело подвигалось медленно, потому что несколько раз снизу доносились отчаянные ругательства.

Наступал рассвет, а помощь все не приходила. И теперь уже Дергача не столько занимала мысль о том, скоро ли ему придется выбраться, сколько,— сумеет ли прибыть вовремя милиция и захватить проклятого Хряща, прежде чем налетчики взломают ящик и скроются отсюда.

Радостные восклицания, раздавшиеся снизу, подсказали Дергачу, что наконец-то ящик вскрыт.

Последовало несколько минут молчания и торопливой возни. Внизу, наверно, рассматривали содержимое ящика.

— Уф, жарко... Я взмок весь,—сказал Хрящ.

— У меня тоже язык чуть не растрескался... Пойди на ключ, принеси воды.

Но Хрящ, очевидно, по соображениям, казавшимся ему достаточно вескими, ответил:

— Вот еще! Чего я один пойду... идем вместе... а потом сразу же, не теряя ни минуты, заберем все и смоемся, а то лошади, наверно, хватились уже.

— Боишься, как бы я не забрал все да убежал?—насмешливо спросил граф.—Ну ладно, пошли вдвоем пить.

В щель Дергач увидел, как они поспешно направились к опушке и исчезли в кустах. «Сейчас вернутся, заберут все, что было в ящике, и исчезнут,—подумал Дергач.—И опять Хрящ будет на свободе, и опять вечно бойся и дрожи, как бы он не попался на твоем пути. Эх! Да чего же не идут наши-то!»

И внезапно дерзкая мысль пришла в голову Дергачу.

— А, Хрящ!—прошептал он.—Ты всегда только и знал, что бить да колотить меня, ты хотел сбросить меня в болото... Погоди же, Хрящ! Мы с тобой сейчас расквитаемся.

Очевидно, какая-то горячка опьянила Дергача, потому что прежде он, трепетавший при одном упоминании имени Хряща, никогда бы не решился на такой рискованный поступок.

Он быстро спустил веревку из слухового окна по отвесной стене... закрепил один конец за столб, поддерживавший крышу, и скользнул по веревке вниз. Очутившись на подоконнике боковой комнатки, он спрыгнул и, выбежав в соседнюю комнату, крепко захлопнул тяжелую дверь и задвинул ее на железный засов.

«Попробуйте-ка, доберитесь сюда теперь!»—злорадно подумал он, оглядывая крепкие решетки выходящих к лесу окон.

Ему видны были налетчики, возвращающиеся обратно.

Он встал за дверью. На крыльце послышались шаги. Дверь вздрогнула. Вздрогнула еще раз.

И тотчас же снаружи раздалось озлобленное и в то же время испуганное восклицание:

— Что за черт! Там кто-то заперся.

Тогда Дергач крикнул из-за двери с нескрываемым озлобленным торжеством:

— Хрящ... ты, собака, хотел бросить меня в болото! Кидайся теперь сам туда от злости! Я не отопру тебе, и ты не получишь ничего из того, что есть в стальном ящике.

Грохот выстрела, раздавшийся в ответ... и пуля, пронизавшая дверь, не смутили Дергача, ибо он предусмотрительно встал за каменный простенок.

— Открывай лучше, собачий сын! — заревели в один голос граф и Хрящ. — Открывай, иначе все равно выломаем дверь!

В ответ на это Дергач захохотал как-то неестественно громко от возбуждения.

Он знал наверняка, что налетчики не могут голыми руками выломать дверь, потому что все их инструменты остались в домике. Ему важно было выиграть время и задержать бандитов, пока не придет помощь.

Вдруг он упал камнем на пол, потому что граф, прокравшись с другой стороны, просунул руку с револьвером в решетчатое окно.

Дергач подполз вплотную к стене. Рука графа корежилась, стараясь изогнуться настолько, чтобы достать пулей Дергача.

Пуля пронизала пол на четверть от него. Граф через силу изогнул руку еще и опять выстрелил. Пуля подвинулась к Дергачу еще вершка на два. Но рука графа была не резиновая, и больше он не мог ее изогнуть. Тогда граф отскочил от окошка и забежал за угол, очевидно, надумав другой план.

Воспользовавшись этим моментом, Дергач шмыгнул в боковую комнатку, окно которой выходило на болото.

Здесь он был в сравнительной безопасности.

— Но почему же наши не идут? — с беспокойством прошептал он. — Ведь очень-то долго я не смогу продержаться. Хрящ уж что-нибудь да выдумает...

В том, что Хрящ уже что-то выдумал, он убедился через несколько минут, почувствовав запах гари.

Он высунулся в соседнюю комнату и увидел, что на полу горят клочки набросанного через решетку сена. Он хотел затоптать, но тотчас же отскочил, потому что пуля ударилась в каменную стену, недалеко от его головы.

«А ведь сожгут!— в страхе подумал Дергач.— Будут бросать сено, пока не загорится пол. Но почему же не идут на помощь милиционеры?»

Очевидно, Хрящ хорошо знал, что делает. Среди аппаратов, привезенных налетчиками для взлома шкафа, находились горючие жидкости. Пламя, добравшись до них, забушевало сразу с удесятеренной силой, расплываясь по полу и распространяя тяжелый, удушливый дым.

«Пропал!— подумал, задыхаясь, Дергач.— Пропал совсем». Дым лез в глаза, в нос, в горло. Голова Дергача закружилась, он зашатался и прислонился к стене.

«Пропал совсем...» — подумал он еще раз, уже совсем теряя сознание.

Колени его подкосились, и он упал, уже не услышав, как загрохотали по лесу выстрелы подоспевших и открывших огонь милиционеров.

XX

Проснулся Дергач в больнице. И первое, на что он обратил внимание,— это на окружающую его белизну. Белые стены, белые подушки, белые кровати. Женщина в белом халате подошла к нему и сказала:

— Ну, вот и очнулся, милый! На-ко, выпей вот этого.

И, слабо приподнимаясь на локте, Дергач спросил:

— А где Хрящ?

— Спи... спи...— отвечала ему белая женщина.— Будь спокоен.

Словно сквозь сон видел Дергач какого-то человека в очках, взявшего его за руку.

Было спокойно, тепло и тихо, а главное — все кругом такое белое, чистое. От черных лохмотьев и перепачканных сажей рук не осталось и следа.

— Спи!— еще раз сказала ему женщина.— Скоро выздоровеешь и уже скоро теперь будешь дома.

И Дергач — маленький бродяга, только огромными усилиями воли выбившийся с пути налетчиков на твердую до-

рогу,— закрыл глаза, повторяя чуть слышным шепотом: «Скоро дома».

Через день Яшка и Валька были на свидании у Дергача. Оба они были одеты в огромные халаты, причесаны и умыты. Дергач улыбнулся им, кивнув худенькой, остриженной головой. Сначала все помолчали, не зная, как начать разговор в такой непривычной обстановке, потом Яшка сказал:

— Дергач! Выздоравливай скорей. Граф арестован, он оказался настоящим графом. Они вырыли под пальмой ящик, спрятанный старым графом перед тем, как бежать к белым. В ящике много всякого добра было, но из-за тебя всё успели захватить наши милиционеры. Ты выходи скорей,' все мальчишки будут табунами за тобой теперь ходить, потому что ты герой!

— А Хрящ где?

— Хрящ убит, когда отстреливался.

— Дергач,— несмело сказал Валька,— а твоих домашних по объявлению разыскали. И тебе хлопочут пионеры билет. А Волк кланяется тебе тоже... Он очень любит тебя, Дергач.

Дергач вздохнул. По его умытому, бледному еще лицу расплылась хорошая детская улыбка, и, закрывая глаза, он сказал радостно:

— И как хорошо становится жить...

(1929)

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ДОРОГОЮ ПОИСКОВ

Ранние приключенческие повести Аркадия Гайдара

Непомерно тяжелый удар обрушился на Аркадия Гайдара, тогда еще командира полка Голикова, когда после боев, ранений и контузий, после трех полугодовых отпусков на излечение Реввоенсовет в 1924 году принял решение об увольнении его в «бессрочный отпуск». Аркадий любил Красную Армию, шел вместе с ней со дня ее рождения. Военным, политическим комиссаром был отец, Петр Исидорович Голиков. На всю жизнь хотел остаться командиром Аркадий. Он окончил в Москве Высшую командную школу «Выстрел», мечтал о военной академии. И вот неожиданный выход в запас по болезни. И все это — на двадцатом году жизни. Подумать только, еще до призыва на службу его ровесников!

Как быть? Что делать? Посоветовался с друзьями арзамасской юности — Александром Плеско и Николаем Кондратьевым, работавшими журналистами в Перми. Знали товарищи, что их однокашник по реальному училищу писал стихи, а в 1925 году в ленинградском альманахе «Ковш» напечатал повесть о своей боевой молодости. Повесть называлась «В дни поражений и побед» и была подписана подлинной фамилией: «Арк. Голиков». Литературной славы автору она не принесла, но для друзей всего этого было достаточно, чтобы пригласить Аркадия в редакцию пермской окружной газеты «Звезда».

Как видно из неопубликованного письма Н. Кондратьева, написанного 14 сентября 1924 года в Перми и отправленного в Арзамас А. Голикову, начинающего писателя уже тогда интересовали жизнь и журналистская работа его то-

варища на Урале. И тот обещал, когда войдет в курс дела, описать все подробнее. Кстати, в этом письме указан новый адрес Кондратьева, который через тринадцать месяцев станет и адресом Гайдара: «Пермь, Луначарского, 42, кв. 1»[1].

Трудная, напряженная работа ждала Аркадия Голикова на избранном пути. Вместе со старым миром ушла старая журналистика, а новая еще только зарождалась. Правдист Михаил Кольцов, отвечая на белоэмигрантское зубоскальство по поводу того, что в России якобы не стало настоящих журналистов, а газетные страницы заполняются мелкими, корявыми заметками рабкоров, писал, что в журналистику идут новые люди, оставившие кавалерийское седло или токарный станок. «Худо ли это? — спрашивал Кольцов и тут же отвечал: — Смотря для кого. Для саботирующих профессионалов — несомненно, худо. Для новой, пролетарской журналистики очень хорошо. Их голос, вначале не выстоявшийся и ломкий, звучит тверже и значительнее. Их слова, вначале корявые и неумелые, постепенно выравниваются в стройные талантливые строки»[2].

Думается, об этом нельзя забывать, когда речь идет о творческом пути Аркадия Гайдара, особенно об уральском периоде, характеризуемом обычно двумя-тремя фразами. Это в корне неверно по сравнению с его реальным значением в художественном развитии молодого писателя, несправедливо по отношению к нему самому. Два неполных года на Урале стали для Гайдара годами, пожалуй, самой напряженной литературной работы. За это время он написал целую дюжину рассказов, четыре приключенческих повести, несколько стихотворений, множество фельетонов, очерков и статей. Здесь он учился строить свои остросюжетные произведения. Напомним, что его первая повесть, «В дни поражений и побед», писалась как хроника. Словом, молодой писатель за два уральских года сделал значительно больше, чем за все предыдущие. Здесь же писатель нашел и свое поистине звонкое литературное имя. Подпись «Гайдар» впервые появилась под рассказом на революционную тему «Угловой дом», опубликованным

---

[1] Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ), ф. 1672, оп. 2, д. 15, л. 1—2. Публикуется впервые.

[2] Журналист, 1979, № 11, с. 61.

в праздничном номере пермской газеты «Звезда» 7 ноября 1925 года.

Вопрос, куда идти, чему посвятить жизнь, был для Гайдара решен не только в общем плане, но и в деталях, причем решен окончательно. Да, он писатель. Литература стала для него новым полем сражений со всей неотвратимостью диалектики любого боя — с поражениями и победами. Чаще — с победами.

* * *

В знаменитой гайдаровской повести «Школа» юный Борис Гориков, упрашивая мать рассказать «про пятый год», говорил: «Тебе тогда уже много лет было, а мне всего один год, и я вовсе даже ничего не запомнил». Этот год в памяти людей так или иначе был связан с вооруженной борьбой. Горикову очень понравился плакат, увиденный в Сормове: «Только с оружием в руках пролетариат завоюет светлое царство социализма».

Героические прошлое и светлое будущее представлялись тогда молодому Гайдару как дело рук человека с ружьем, который в его глазах и стал главным героем эпохи. Таким человеком был его отец, таким стал он сам, в четырнадцать лет уйдя добровольцем на фронты гражданской. Но собственные впечатления арзамасского детства и своей боевой молодости как бы стушевались и временно отошли на задний план, когда Гайдар оказался на Урале. Здесь размах революционного движения был шире, а борьба намного упорнее, продолжительнее.

Не увлечься темой революции Гайдару было просто нельзя. В 1925 году Пермь готовилась торжественно отметить двадцатилетний юбилей Декабрьского вооруженного восстания в Мотовилихе. Газета «Звезда» из номера в номер печатала воспоминания многих, тогда еще здравствующих борцов революции, а незадолго до того созданная окружная комиссия Истпарта организовала сбор материалов по истории революционного движения.

Среди павших борцов называлось имя мотовилихинского рабочего Александра Лбова. Говорили о нем как о человеке беспредельной смелости и честности. В обнаруженной недавно среди бумаг особого отдела Департамента поли-

ции биографии Лбова, записанной с его слов в 1908 году, есть и такие строки: «С юношеских лет я пользовался авторитетом и уважением своих товарищей-сверстников, причем ни одному из них я не позволял безобразничать. А ежели кто позволял себе сделать что-либо неладное, то получал тотчас же хорошую трепку»[1].

Нашла в биографии Лбова отражение и его военная служба в Петербурге: «На службу я поступил в призыв 1898 года и назначен был в лейб-гвардии Гренадерский полк, в роту его императорского величества, где и пробыл один год, уволившись из полка по изменившимся семейным обстоятельствам (в то время был убит мой брат Василий). Несмотря на короткий срок службы, я все свое здоровье потерял на ней. Меня постоянно ставили часовым на башне Петропавловской крепости, не защищенной от морских ветров. Я получил сильнейший ревматизм, который и по сие время чувствуется»[2].

С начала революции рабочий орудийной фабрики Александр Лбов — участник всех важнейших событий. В октябре 1905 года он возглавил мотовилихинцев, которые направлялись к Пермской губернской тюрьме, чтобы освободить томившихся в ней товарищей. Современники вспоминали: «Впереди с красным знаменем шел рабочий Александр Лбов»[3]. Жандармы и казаки, укрывшись за каменными стенами тюрьмы, отказались выполнить требования рабочих и обещания царского манифеста от 17 октября. Тогда Лбов с демонстрантами пошли к губернатору и взяли его в плен. Губернатора с непокрытой головой подвели к воротам тюрьмы и заставили отдать приказ об освобождении политических. Среди них оказались известные уральские революционеры Андрей Юрш, Михаил Туркин и Александр Борчанинов. Последний в 1917 году стал делегатом II съезда Советов от Мотовилихи, а в 1925 году — председателем Пермского окрисполкома.

---

[1] Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР (ЦГАОР), ф. 102, ДП 00, 1907, д. 80, ч. 42, л. 138 об.

[2] Там же. Сведения о болезни дают ответ на недоумения мемуаристов относительно того, что Лбов всегда одевался не по сезону тепло.

[3] Звезда, 1925, 6 дек.

Во время Декабрьского вооруженного восстания 1905 года, вспыхнувшего в Мотовилихе вслед за Москвой и Сормовом, Лбов руководил возведением баррикады на Висиме, командовал десятком рабочих-дружинников. Вот свидетельства революционеров: «Руководство восстанием было в руках Борчанинова и Кузнецова... Много сделал для восстания и Лбов. Он не был идейным руководителем-революционером, он был человеком действия»[1]. После подавления восстания Лбов с горсткой товарищей, не пожелавших сдаться в руки полиции, ушел в лес и создал партизанский отряд. Оставаясь и там «человеком действия», он совершал внезапные дерзкие налеты на казенные учреждения и жандармерию, пытаясь вызвать новое вооруженное выступление против самодержавия, разжечь восстание.

Аркадия Гайдара привлекла фигура Лбова отчаянной храбростью, беззаветной преданностью раз и навсегда избранному пути. Погони, облавы, рискованные операции — что может быть интереснее? Гайдар хорошо знал, как зачитывалась Россия книгами С. Степняка-Кравчинского. Вспомним, что эти произведения нравились и герою повести «Школа» Горикову: «В тех рассказах все было наоборот. Там героями были те, которых ловила полиция... Революционеры шли в тюрьмы и на казни, а оставшиеся в живых продолжали их дело».

Читал, конечно, книги Степняка-Кравчинского и сам Гайдар. А история Лбова, думал молодой писатель, еще значительнее. О нем уже слагались легенды, имя его было давно и широко известно. «Лбов сделался знаменитостью не только на Урале, но и в Петербурге»[2], — отметил уральский журналист Петр Мурашов, встретившийся в 1907 году с Маминым-Сибиряком в Царском Селе. Маститого писателя, оказывается, тоже интересовала личность Лбова.

Александр Лбов погиб, не отказавшись от идеи насильственного свержения царизма. Почему же не может он стать героем приключенческой повести? Любимым оружием Лбова, как узнал Гайдар, был маузер. Но ведь маузер был и его любимым оружием, когда он водил в атаки крас-

[1] Звезда, 1925, 16 дек.

[2] Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. — Свердловск, 1962, с. 44.

ноармейцев. Лбов и его товарищи били полицейских офицеров, жандармов, казаков-карателей. Голиков в гражданскую бил по тем же целям: среди белогвардейцев было немало бывших полицейских чинов.

И Аркадий Гайдар решил написать историко-революционную приключенческую повесть об Александре Лбове. Редакция газеты поддержала это стремление. Ей нужна была повесть, которая читалась бы с интересом, взахлеб. Начиная с нового, 1926 года «Звезда» переходила от коллективной подписки, когда газета выписывалась в складчину по месту работы, к подписке индивидуальной, на дом. Чтобы не потерять читателей, решили оживить газету, сделать ее более разнообразной, интересной. И гайдаровская повесть о Лбове могла оказаться очень кстати.

Но писать о Лбове надо было немедленно! Ведь празднование революционного юбилея уже началось. Гайдар бросился в пермские архивы. В фондах губернатора и жандармского управления было немало сведений о Лбове и его товарищах. Но сведения эти были рассыпаны по многочисленным делам и папкам. Их надо было скрупулезно выбирать, сопоставлять и изучать, отсеивать вымысел, докапываться до сути. Материалы, собранные местной комиссией Истпарта и частично публиковавшиеся в «Звезде», были более доступными. Но и здесь нужна была кропотливая работа по сверке и проверке каждого факта. Что же касается документов о суде над Лбовым, их в Перми вообще не оказалось. Процесс проходил в Вятке, а судил Казанский военно-окружной суд.

Принято считать, что именно поэтому Гайдар лишь бегло ознакомился с тем, что говорили подлинные документы. На самом деле это было совсем не так. Хотя Гайдар и не слыл опытным архивистом, хотя и времени у него оставалось мало, он все-таки сумел изучить довольно обширный материал. Это становится особенно ясным теперь, когда сам знакомишься с историческими документами эпохи первой русской революции. Вся сюжетная канва повести, касающаяся ее главных героев, находит подтверждение в архивах бывших пермских губернских учреждений, просмотренных писателем, а также Департамента полиции и Министерства юстиции в Петербурге, оказавшихся недоступными для молодого Гайдара. И тем не менее они, а ес-

ли говорить точнее, то больше всего именно эти богатейшие документы свидетельствуют об удивительной способности молодого писателя быстро ориентироваться в сложной обстановке отдаленной от него эпохи.

Но верно и другое. Гайдара больше всего увлекали встречи с бывшими лбовцами, людьми, лично знавшими партизанского вожака. Эти встречи и разговоры давали много бытовых деталей, характеристик отдельных лиц и событий, каких нельзя было найти в официальных бумагах. Писатель стремился прежде всего проникнуться духом истории, почувствовать колорит эпохи. Он понимал: все, что отложилось в архивах или попало в газеты, никуда не уйдет. А вот услышать живое слово об Александре Лбове из уст его современников, его сподвижников скоро уже не удастся ни писателям, ни историкам. И он ходил, спрашивал, слушал...

Будущая жена Аркадия Гайдара, семнадцатилетняя пермская комсомолка Лия Соломянская, в ту пору училась в местной совпартшколе. Длинными зимними вечерами они вместе отправлялись в Мотовилиху за рассказами о бесстрашном боевике. Как это было? На мой вопрос ответила сама Лия Лазаревна Соломянская:

— Хотя Гайдар и ходил в архивы, сильнее всего он тянулся к живым участникам тех событий. Отчетливо помню наши путешествия по крутым холмам Мотовилихи. Дома на косогорах стояли как попало, вразброс, словно и не взрослыми людьми построенные, а нарисованные детьми: обязательно все разные, покосившиеся в ту или иную сторону. Седые и еще не совсем седые мотовилихинцы рассказывали «про пятый год». Гайдар пытался выведать все, даже самые мелкие подробности. Кто как выглядел, кто что говорил? Если собеседник что-то забыл, он тут же посылал нас к соседу, который и дополнял рассказ. Иногда Гайдара провожали до следующего дома, как бы передавая эстафету из рук в руки[1].

Была написана едва половина повести, а «Звезда» 10 января 1926 года уже начала ее публикацию. Повесть читали с интересом. На окружном совещании рабоче-крестьянских

[1] Из интервью автору статьи (1982 год).

корреспондентов речь шла и о ней. Газета в отчете сообщала:

«Повесть Гайдара вызвала почти одинаковые отзывы.

— Я пережил эту лбовщину,— говорит один,— и отчасти знаком с ней. Повесть может не удовлетворить тем, что печатается не ежедневно. Если бы ее выпустить отдельной книжкой, она бы разошлась хорошо.

— Повесть интересна. Когда ее нет, газета кажется несколько сухой,— говорит один из рабочих»[1].

Активный участник литературного объединения при «Звезде» Иван Соболев, тогда артиллерийский командир, сохранил в своей памяти выездное занятие всей литгруппы в Мотовилихинском клубе. Там Аркадий Гайдар читал рабочим главы из своей повести об Александре Лбове, выслушивал отзывы, которые его очень интересовали[2].

Аркадий Гайдар документы читал, воспоминания слушал, к отзывам относился с вниманием, а поступал по-своему. Он исследовал историю Лбова как писатель. Чтобы это поняли и читатели, в качестве авторского примечания к повести в «Звезде» было сделано вполне определенное заявление:

«Все главнейшие факты, отмеченные в повести, верны, но, конечно, обработаны в соответствии с требованиями фабулы. Имена главных героев подлинны. Все остальные нарочно вымышлены, ибо многие из участников лбовщины еще живы и я не хотел находиться в зависимости от могущих быть замечаний с их стороны по поводу некоторого расхождения повести с массой мелких исторических фактов».

Чем конкретно было вызвано это заявление? Неужели лишь тем, чтобы еще раз подчеркнуть, что пишется повесть, а не историческое исследование? Это и без того было ясно. Понадобилось такое примечание, причем явно умаляющее значение знакомства Гайдара с архивами, уже в разгар публикации произведения. Это была своего рода реакция писателя на ревнивое отношение к его труду местных историков, а отчасти и участников движения. И, перечиты-

[1] Звезда, 1926, 28 янв.

[2] Из неопубликованного письма И. Соболева в редакцию «Звезды» в 1964 году.

вая теперь повесть, мы отчетливо видим, что в первой ее части гораздо больше конкретных деталей, чем во второй, после публикации заявления.

И все-таки нельзя упрощать суть дела, выходившую за пределы элементарного понимания жанра, избранного Гайдаром. Взгляды историков и революционеров-практиков, наконец, самого писателя и всей массы читателей на лбовщину как явление не совпадали. Да и трудно было выработать какой-то единый взгляд на явление сложное, к тому же мало изученное. А потому каждый оппонент исходил лишь из того, что лично ему было известно. И в этих условиях Гайдар выбирает свою тактику: он пишет не вообще о лбовщине как явлении, а прежде всего о Лбове как личности.

К чему же сводились тогда споры вокруг имени Александра Лбова? К двум крайностям: одни превозносили революционные заслуги Лбова и не видели ошибок в его действиях; другие, наоборот, видели только ошибки и не хотели признавать, что это был честный и смелый человек, отдавший жизнь борьбе с самодержавием. Аркадий Гайдар, поняв вначале первое, сумел, однако, понять и второе. Размышления над судьбой Лбова ставили перед ним множество сложных проблем. Легкой приключенческой повести, которую он сперва задумал, не получалось. И чем дальше работал над ней писатель, тем трагичнее становились страницы. Они неизбежно вели к гибели героя.

После поражения первых революционных выступлений пролетариата капитулянты-меньшевики кричали: «Не надо было браться за оружие!» Иного мнения были большевики: они смотрели вперед, предвидя новый взлет революционной борьбы. Силы пролетариата еще не были разбиты. Рабочие-революционеры лишь отступили — ушли в подполье или, как лбовцы, словно отодвинули свою баррикаду в лес. Презирая опасность, Лбов ночью приходит в Мотовилиху не к кому-нибудь, а к большевикам и говорит, что он по-прежнему «за революцию, которую делают силой».

Что борьба еще не закончена, чувствуют не только рабочие, но, пожалуй, еще в большей степени их победители. Чиновник горного ведомства Трофимов 16 декабря 1905 го-

да в рапорте о восстании в Мотовилихе отметил две существенные детали: «Значительное число отдельных пунктов столкновения войск с вооруженными рабочими и число случаев стрельбы по войскам до и после столкновения показывают, что состав партии, решившейся действовать оружием, довольно многочисленный». Автор рапорта предупреждал правительство: «Арестованных с оружием и отобранного оружия весьма мало (охотничьих берданок с патронами, снаряженными частью крупной дробью, частью пулями, всего три), и, таким образом, вооруженным силам партии нанесен ущерб весьма малый. Поэтому вооруженные ее действия могут вновь быть вызваны весьма легко»[1].

Сразу же после восстания посылали в Ижевск за оружием большевика Александра Борчанинова. Теперь об оружии заботится и Александр Лбов. В неопубликованной его биографии читаем: «Я лично никогда не имел денег, а все, что добывалось нами, употреблялось частию на оружие, частию отсылал в разные революционные комитеты. И очень много тратил на нужды бедняков крестьян: покупал им обувь, одежду, лошадей, коров и даже дома»[2]. В повести Гайдара есть сцены экспроприации казенных денег на эти цели.

Ряд членов нового состава Пермского комитета РСДРП, во главе которого становится Яков Свердлов, держит с «лесными братьями» постоянную связь. Осуществляется она в основном через большевиков Михаила Стольникова, Клавдию Кирсанову, Михаила Шитова.

К беспартийному Лбову часто приходят товарищи с большевистской явкой, чтобы скрыться на время от полиции или поупражняться в меткой стрельбе. В это время лбовцы не предпринимают не согласованных с комитетом самостоятельных выступлений. Весной 1906 года на многолюдных маевках в закамских лесах Лбов и Стольников, стоя рядом, не раз слушали речи «Михалыча» — Свердлова. Одна из них была посвящена урокам Московского вооруженного восстания, подвигу рабочих Пресни. Так что пермские «лесные братья» знали о событиях, происходивших на Урале и в стране.

---

[1] Революция 1905—1907 годов в Прикамье.— Пермь, 1955, с. 183.

[2] ЦГАОР, ф. 102, ДП 00, 1907, д. 80, ч. 42, л. 139.

Партизанские отряды возникали тогда в разных местах, росло число стихийных выступлений. Все это рождало надежду на подъем всенародной борьбы, на новый взлет революции. В одном из сентябрьских номеров газеты «Пролетарий» В. И. Ленин печатает статью «Партизанская война», которая призывает партийные комитеты возглавить это движение, придать ему организованный характер: «Распространение «партизанской» борьбы именно после декабря, связь ее с обострением не только экономического, но и политического кризиса несомненны»[1].

С каждым днем растет отряд Александра Лбова. Но и пермская полиция не дремлет: охранное отделение усиливает свою деятельность, широко прибегает к провокации и шпионажу. Она вербует предателей и среди «лесных братьев», и среди пермских социал-демократов. В один из июньских дней 1906 года по доносу провокатора Вотинова был арестован почти весь Пермский комитет РСДРП во главе с его руководителем Яковом Свердловым...

Не правда ли, отчасти знакомая ситуация? Да, она еще раньше описана в гайдаровском рассказе «Провокатор», опубликованном в «Звезде» 29 ноября 1925 года. Став главою повести, этот рассказ мог бы многое объяснить и в поведении Лбова. Но возвращаться к сказанному, повторяться, тем более в одной и той же газете, не очень хорошо. Постоянный читатель «Звезды» прочел тогда и то, и другое. При настоящей публикации повести малоизвестный рассказ Гайдара впервые включен в нее как отдельная глава, конечно же, с соответствующим комментарием.

Итак, связь с большевиками после ареста Свердлова прерывается. Стольников тяжело заболел, а комитетчики — в башне губернской тюрьмы. Зато полиция и черносотенцы свирепствуют: пытки, истязания, убийства в застенках сочетаются с засадами и обысками в домах мотовилихинцев, ночными обстрелами. От жандармских побоев умер отец Лбова, пыткам подвергается и мать. О жене Елизавете Штенниковой в найденной биографии Лбова сказано: «Сколько она ради меня, решительно ни в чем не повинная, перенесла оскорблений, унижений, побоев, а всего хуже — была стражниками изнасилована»[2].

В ответ на все это усиливаются террористические акты и экспроприации со стороны лбовцев. Удержать их вожака от некоторых выступлений уже невозможно, да и некому.

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 14, с. 5—6.

[2] ЦГАОР, ф. 102, ДП 00, 1907, д. 80, ч. 42, л. 139.

Копившаяся долгие годы до конца не осознанная классовая ненависть выплескивается наружу. Человек смелый и гордый, Лбов, по словам Гайдара, всю свою ненависть к «сторожевым собакам самодержавия» вкладывает в «холодное дуло своего бессменного маузера». Боевики не захотели покориться ярму, не обнажив еще раз меча.

Аркадий Гайдар показывает в повести эту ситуацию на многих красноречивых примерах и сам увлекается «огневыми минутами» в жизни Лбова и его товарищей. Их смелые операции живо напоминают бывшему комполка Голикову действия партизан времен гражданской войны. Стремительные и точные сцены боевых схваток начертаны быстрым и умелым пером. Эти эпизоды удаются молодому писателю лучше всего. Несколько иначе выглядят сцены, изображающие людей по другую сторону баррикады: в них нет той энергии и стремительности в движениях, образе мыслей. Эти люди слабовольные, с раздвоенной душой и чуть-чуть глуповатые.

Конечно, такое изображение людей из лагеря противника отчасти снижало показ всей глубины идейного столкновения героев. Но тут надо понять и психологию самого Гайдара, еще совсем недавно покинувшего залитые кровью поля сражений. В неостывшей душе его огнем пылала та же ненависть к врагу, что и у Лбова. При всем желании Гайдар не мог философски спокойно и одинаково внимательно изучить обе стороны: не мог он ни встать между ними, ни подняться высоко над ними. Время для этого еще не пришло. Потому с первых строк своей повести молодой писатель открыто становится на сторону тех, кто вышел строить висимскую баррикаду. Да и не знал никакой иной жизни Гайдар: с царскими чиновниками, офицерами и их отпрысками не был знаком, а если и сталкивался в гражданскую, то лишь как с врагами, раскрывать свою душу им было ни к чему. Да и разговор с ними был короткий. В отрывке из поэмы «Пулеметная пурга», написанном в Перми, Гайдар передает стиль такого общения:

— Белый, сдавайся, офицер, не спорь...
С плеч прочь погоны, палач![1]

[1] Отрывок из поэмы «Пулеметная пурга» впервые опубликован в газете «Звезда» 23 февраля 1926 года. Была ли написана поэма полностью и где хранится ее оригинал — неизвестно.

Моральный облик Александра Лбова был сильным оружием. Это сознавала полиция, стремившаяся во что бы то ни стало принизить личность партизанского вожака, втоптать его имя в грязь. Все самые мерзкие преступления полиция приписывала ему. Это была гнусная тактика коварного врага, отмечал Гайдар в повести. И всей своей повестью доказывал: «Лбов ничего не жалел для победы, ставил свою собственную жизнь ни во что. Сам он, как совершенно верно гласила народная молва, никогда не пил водки и не курил, беспощадно расправлялся с теми, кто был склонен к грабежу и наживе».

Не вина, а беда Лбова, что в его отряде оказалось потом немало деклассированных элементов, преследующих иные цели, чем их вожак. Отсюда разногласия в тактике, недисциплинированность и распад созданного было отряда на ряд мелких групп, почти целиком погибших в неравных схватках с врагами. И это видел и сознавал Гайдар. Трагичность положения Лбова усугублялась тем, что в конце концов надежды на новый подъем революции не оправдались. Местные социал-демократы, сначала стремившиеся подчинить Лбова своему влиянию, со временем отмежевываются от него. Зато все заметнее растет влияние на Лбова уральских социалистов-революционеров.

Однако общая революционная ситуация меняется не сразу. На протяжении почти двух с лишним лет революции вооруженная борьба пролетариата, а значит, и организованные, и даже стихийные партизанские действия многим тогда еще не казались совершенно безысходными. Речь пермского депутата II Государственной думы большевика Алексея Шпагина во время его проводов в Петербург 14 февраля 1907 года заканчивалась призывом к оружию. Через день Пермский комитет РСДРП посвятил этому событию специальную листовку. В ней также содержался лозунг: «Да здравствует вооруженное восстание всего народа!»[1].

Немного спустя, в начале марта 1907 года, пермские большевики издали листовку, посвященную итогам Уральского областного съезда. В специальном разделе листовки об экспроприациях говорилось, «что в борьбе с правитель-

[1] Листовки пермских большевиков.— Пермь, 1958, с. 342.

ством мы должны стремиться орудия и средства борьбы вырвать из его рук и захватить их в свои руки». Каким же образом? «Одним из лучших средств, дающих правительству возможность бороться с народом, являются денежные средства»[1]. Отрицать экспроприацию казенных денег — следовательно, признавать право распоряжаться ими только за царем. И словно в подтверждение правоты этих слов пермский губернатор запросил у правительства в апреле 1907 года не винтовок и пороху, а три тысячи рублей на усиление «агентурной работы»[2].

Летом 1907 года, после разгона царем II Государственной думы, политическая обстановка внутри страны резко меняется. Белый террор по отношению к революционным элементам общества значительно усиливается, он применяется правительством в невиданных ранее масштабах. Реакционные силы одерживают верх. В этих условиях вооруженная борьба рабочих, любые партизанские действия становятся бессмысленными и приносят только вред. Ни стихийные, ни организованные выступления уже никому не нужны, потому что нет надежды на близкий подъем революции, на новое восстание. Помощь со стороны рабочих — связи, хлеб, боевое снаряжение — делалась все слабее и опаснее из-за полицейской блокады. Лбовцы часто голодали...

В начале августа новый (четвертый с начала революции) состав Пермского комитета РСДРП выносит на рассмотрение вопрос о белом терроре в Мотовилихе и приходит к выводу о необходимости прекращения партизанских действий «лесных братьев», разъясняет вред применяемой ими тактики[3]. В жизни партийных организаций Урала начинался сложный период перестройки рядов, выработки новой тактики руководства массами в черную ночь после бури.

Хотя и не сразу, понимает сложившуюся ситуацию и Александр Лбов. К осени 1907 года заметно снижается активность «лесных братьев», в несколько раз уменьшается их численность. А с наступлением зимы, не желая сдаваться

[1] Пермская Лениниана. Вып. II. — Пермь, 1979, т. 2, с. 37.
[2] ЦГАОР, ф. 102, ДП 00, 1907, д. 80, ч. 42, л. 6—8.
[3] Листовки пермских большевиков, с. 347—349.

в руки ненавистной полиции, Лбов с горсткой товарищей направляется в Вятку, где его не знают. Там он прекращает все операции, и только из-за случайного стечения обстоятельств его арестовывают в феврале 1908 года на одной из улиц Нолинска. Близится неизбежная развязка. Гайдар вкладывает в уста Лбова слова, подчеркивающие весь ужас его положения. На предложение священника о покаянии перед казнью тот отвечает:

— Каяться мне нечего, просить прощения мне не у кого...

Аркадий Гайдар, повторяем, не располагал материалами военного суда над Лбовым, которые целиком подтверждают стойкость его характера. Присутствовавший на судилище вятский журналист, скрывший свое имя под псевдонимом «Кий», восторгался поведением Лбова, его преданностью избранному пути: «Он непоколебимо верил, что работал якобы на пользу трудящихся и шел правильным путем для достижения цели». На фоне позорной русско-японской войны, а потом кровавой расправы над народной революцией такие понятия, как «верность» и «преданность», были высокими не только в личном плане, но прежде всего в общественном. Журналист приводит слова Лбова: «Я ведь не как Стессель! У нас оружие без бою не сдают! У нас такое правило — борись до последней капли крови, а оружие не отдавай! Я был храбрый воин...»[1].

Во многом был прав рабочий-большевик Александр Миков, участник декабрьского восстания в Мотовилихе, когда писал в своих воспоминаниях, что среди лбовцев были и честные, преданные революции люди: «Они могли бы принести больше пользы»[2]. Могли бы, но не принесли. Помешали как объективные, так и субъективные обстоятельства, в том числе сила врага, слабость обескровленного в борьбе большевистского крыла социал-демократической партии. В. И. Ленин писал: «Дезорганизуют движение не партизанские действия, а слабость партии, не умеющей *взять в руки* эти действия»[3].

---

[1] Кий. К делу Лбова (Из заметок и впечатлений на суде). Вятская речь, 1908, 27 апр.

[2] Под красным знаменем. Сб. воспоминаний. — Пермь, 1957, с. 132.

[3] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 14, с. 7.

Судьбу Лбова нельзя оценивать однозначно, как безысходную участь заблудившегося человека, не знающего пути вперед и не желающего возвращаться назад. Это было бы слишком просто, поверхностно и механистично. Гайдар смотрел глубже, он хотел проникнуть в психологию образа, несущего в себе трагедию поражения «человека действия», политически неразвитого, ослепленного ненавистью к врагу. Эту трагедию последних дней жизни Лбова, по мнению современного историка И. С. Капцуговича, «усугубила партия социалистов-революционеров»[1]. Она поддерживала в нем убеждение, что террор и экспроприация — наиболее действенные методы борьбы. Лбов не видел, что в конце концов он и его «союзники» наносят вред подлинно массовой борьбе с самодержавием.

И в то же время судьба Лбова чем-то схожа с судьбой лейтенанта Шмидта, который столь же смелым и решительным поступком навсегда поставил себя вне тогдашнего «общества». Александр Лбов, кроме записанной с его слов собственной биографии, не оставил эпистолярного наследства. Зато найденные спустя шестьдесят лет неизвестные письма Петра Шмидта приоткрывают завесу подобной же трагедии. «Страшно подумать, к какой реакции может привести плохо организованное движение»,— писал командир мятежного крейсера «Очаков» и тут же выражал непоколебимую веру в то, что жертвы не напрасны: «Каждый из нас должен занять достойное место в грядущем»[2]. Мог сказать то же самое Лбов? Да, мог. Но совсем по-другому, по-своему...

Политические взгляды Александра Лбова, исторического лица и литературного героя, были отмечены стихийностью протеста, нечеткостью революционных устремлений. Но и такой характер, несомненно, интересен как отражение определенного типа социального сознания. Характер, не столь уж редкий в истории и в то же время сравнительно слабо освещенный в советской литературе. Жизнь Лбова не может служить примером для подражания. И все же нужно помнить о ней. Почему? Она учит, что одна лишь само-

---

[1] Капцугович И. С. История политической гибели эсеров на Урале.— Пермь, 1975, с. 75.

[2] Вопросы истории, 1966, № 9, с. 189.

отверженность в борьбе, не озаренная ясным революционным сознанием, может перестать приносить пользу, мало того, при определенной ситуации может помешать общенародному делу.

В выборе своей позиции Аркадий Гайдар оказался человеком дальновидным. Время подтвердило это. Имя Александра Лбова (как, например, Камо на Кавказе) осталось в памяти уральцев. В собрании биографий видных деятелей освободительного и революционного движения в Прикамье есть краткий очерк об Александре Лбове[1]. Имена Лбова и его товарищей Михаила Стольникова и Ипполита Фокина носят улицы Мотовилихи.

Как видим, Гайдар стал первооткрывателем образа Александра Лбова в литературе. Очень трудно далась ему эта миссия. И права литературный критик Вера Смирнова: «Как в первые дни в армии пришлось ему все соображать самому и о многом догадываться и в бою приобретать опыт, так и в литературной жизни был брошен он сразу на глубокое место и должен был напрячь все силы, чтобы выплыть»[2]. Одним из таких «глубоких мест» была для двадцатидвухлетнего писателя революционная приключенческая повесть об Александре Лбове.

Живя уже в Архангельске, Аркадий Гайдар в 1929 году предложил повесть местной областной газете «Комсомолец», где она была целиком перепечатана и получила хороший отзыв: «Из-за нее многие и свою газету прочитывают». В другой раз газета писала: «Впервые в «Комсомольце» молодежь увидела повесть Гайдара «Жизнь ни во что», за которой каждый читатель следил с напряжением...»[3]. И здесь успех сопутствовал повести, хотя место действия ее было далеко от устья Северной Двины.

Любимым героем Гайдара Александр Лбов остался на всю жизнь. Лия Лазаревна Соломянская, жена писателя, вспоминала:

— Впоследствии некоторые друзья Аркадия Петровича говорили, будто ему самому повесть о Лбове не нравилась. Думается, это заблуждение. Уже живя в тридцатые годы

[1] Революционеры Прикамья.— Пермь, 1966, с. 325—334.
[2] Жизнь и творчество А. П. Гайдара.— М., 1964, с. 56.
[3] Комсомолец, 1929, 21 авг.

в Москве, он писал уральским товарищам, чтобы они разыскали эту повесть в Перми и прислали ему в столицу. Он хотел ее переделать и переиздать вместе с близкой ей по теме повестью «Лесные братья». Помешала замыслу война[1].

Есть тому и письменное подтверждение самого Гайдара. Первого сентября 1930 года он писал в Пермь редактору «Звезды» Борису Назаровскому: «У меня к тебе огромная просьба исключительной важности. Не можешь ли ты мне помочь в ней. На Урале сейчас сидит писательница... и пишет книгу о Лбове. Но ведь все равно лучше меня не напишет...— и здесь одно очень почтенное издательство должно в срочном порядке издать мою повесть («Лбовщина», переработанная вместе с «Давыдовщиной»). Но вот вся беда — у меня нет ни рукописи, ни одного экземпляра «Лбовщины» («Давыдовщина» есть), и достать ее нигде здесь нельзя. А дело очень спешное. Может быть, ты достанешь в Перми и пришлешь мне эту книжку?»[2].

Борис Назаровский нашел в Перми и выслал Гайдару повесть «Жизнь ни во что». Мы не знаем, что на самом деле думал тогда о своем творении автор, много лет до того поставивший в нем последнюю точку. Но вот о чем говорится в статье Александра Пушкина «Путешествие в Арзрум», где отражена подобная ситуация: «Здесь нашел я измаранный список «Кавказского пленника» и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено очень верно»[3].

Литературных критиков до сих пор восхищает эта поистине благородная и беспристрастная точность авторской оценки поэмы. Очень близкое тому мог бы сказать о своей уральской повести и Гайдар. Но нельзя сетовать на то, что Пушкин не переделал поэму, а Гайдар не переписал повесть. Это обстоятельство, думается, никоим образом не должно влиять на читательскую судьбу таких ранних произведений, на их издание и переиздание. Нам дорого каждое слово Пушкина, каждый черновой набросок или случайный автограф. Что же касается Гайдара, думается, на-

---

[1] Из интервью автору статьи (1982 год).

[2] Гайдар А. П. Собр. соч. в четырех томах, т. 4.— М., 1982, с. 356.

[3] А. С. Пушкин в русской критике.— М., 1953, с. 400.

ступило время издания полного собрания его сочинений: вместе с широко известными произведениями, и ранних, забытых приключенческих повестей.

Кроме повести «Жизнь ни во что (Лбовщина)», самой интересной в этом цикле, Аркадий Гайдар в начале 1927 года, когда совсем ненадолго перешел на работу в Свердловск, написал повесть о братьях Алексее и Иване Давыдовых — «Лесные братья (Давыдовщина)». Она печаталась в том же году подвалами в «Уральском рабочем» и потом почти одновременно в усольской газете «Смычка».

Повесть эта, ни разу не издававшаяся с тех давних пор, тоже приключенческая. По своей теме и стилю она действительно очень близка к повести о Лбове, служит как бы ее продолжением. Вторая уральская повесть о том, как группа рабочих-боевиков, возглавляемая братьями Давыдовыми и связанная на первых порах с Лбовым, действовала в районе Александровского завода и Луньевских угольных копей. Эта повесть также получила восторженные отзывы читателей. «Уральский рабочий» ранее печатал лишь мелкие рассказы на различные бытовые темы.

«В таких условиях,— отмечал Павел Бажов,— было заметным литературным явлением, когда на страницах «Уральского рабочего» стала печататься с продолжением повесть Аркадия Гайдара, который тогда работал в газете... Может быть, в ней было немало литературных недостатков... но помню, какое огромное впечатление произвела эта повесть на читателей. Видимо, люди сразу почувствовали, что пришел новый человек, раскрывший тему революционной романтики увлекательно и просто»[1].

Ровно через шестьдесят лет забвения в сборнике печатаются еще две приключенческие повести молодого Гайдара. Это «Всадники неприступных гор» и «Тайна горы». Хотя жанр последней был определен писателем как фантастический роман, это, конечно же, приключенческая повесть с элементами фантастики. Сам Гайдар печатал эти повести полностью или в отрывках сначала в «Звезде»; потом — про всадников — отдельной книгой в Ленинградском отделении

[1] Бажов П. Сочинения: В 3 томах. Т. 3.— М., 1976, с. 422.

издательства «Молодая гвардия», а вторую — в первом сборнике «На суше и на море» (М.— Л., 1927). Тем не менее он строго, самокритично оценивал их, называя недоделанными, «манерными».

Однако даже столь строгая саморецензия, думается, не исчерпывает сути дела, поскольку она односторонняя. Наряду с явными следами ученичества эти повести несут в себе и нечто большее, непосредственно связанное и с эпохой, в которую Гайдар жил, и с проблемами его времени, которые так или иначе нашли отражение в раннем творчестве. Это были поиски новых тем, проба своих сил в разных жанрах. Прежде всего в тех, которые связывались с интересами и надеждами молодежи двадцатых годов.

Во вступительной статье к первому сборнику путешествий и приключений, где и был напечатан фантастический роман молодого Гайдара, содержался призыв: «На советских окраинах геройски трудятся ясные, твердые люди, а между ними путаются те, кого метлой вымел Октябрь и выплюнула история,— у порога всегда остается немного сора. На советских окраинах захватывающе интересно, и они ждут своего Киплинга»[1]. Но ни Киплингом, ни Майн-Ридом или Стивенсоном Аркадий Голиков не стал. Он стал Гайдаром, стал самим собой.

За явно приключенческой фабулой гайдаровской повести «Тайна горы» кроется весьма актуальная, а во многих случаях и спорная проблема привлечения иностранных концессионеров для развития отсталых окраин страны, разработки ее природных богатств. В. И. Ленин ставил тогда смелую задачу учиться, в частности и «некоммунистическими руками строить коммунизм»[2]. Речь шла об использовании частного капитала под строжайшим контролем социалистического государства.

Одним из таких интереснейших проектов был предложенный русским художником А. Борисовым и норвежским промышленником Э. Ганневиком концессионный проект строительства Великого Северного пути — железной дороги от низовий Оби через Урал, Коми край и Печору в сторону Петрограда. Этот договор не состоялся. Но многие дру-

[1] На суше и на море, 1927, № 1, с. 6.
[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 98.

гие договоры успешно выполнялись. Максимум их — 113 концессий — приходился как раз на 1925—1926 годы[1]. Английские горнопромышленники, например, помогали добывать золото, серебро, медь и свинец в Сибири, на Урале, в Киргизии. Известные американские предприниматели А. Хаммер и Б. Мишель помогали добывать асбест...

А число концессионных предложений все росло и росло. Но далеко не все иностранцы преследовали честные цели, не все бережливо относились к нашим природным ресурсам. Поэтому Ленин оценивал взаимоотношения с концессионерами как своего рода экономическую войну[2]. Это, естественно, требовало величайшей бдительности, что и стало главной темой гайдаровской повести «Тайна горы». Советский журналист Виктор Реммер, его друг Федор Баратов и другие герои повести, узнав, что «помощниками» концессионеров стали бывшие белогвардейцы, идут по их следам и раскрывают фальшивый маневр с разведкой золотых россыпей.

Публикуя повесть подвалами в «Звезде», Гайдар перенес ее действие в будущее, а именно в 1937 год. Отсюда и такие «фантастические» для быта двадцатых годов детали, как саморазогревающиеся котлеты, телефон с автоматическим набором номера, разъезжающие на скоростных мотоциклетках почтальоны и т. д. В полном смысле фантастического романа не получилось. И те, кто читал «Тайну горы» только в газете, например, Б. Назаровский, считали, что Гайдар ошибался, относя действие повести на десять лет вперед. К тому времени были ликвидированы почти все иностранные концессии[3].

Однако при перепечатке повести в сборнике Аркадий Гайдар или сам, или по совету товарищей и редакторов изменил время действия своих героев, отнеся его уже к прошлому — к 1925 году. Но при этом он оставил в повествовании элементы фантастики. Это изменение, конечно же, вносит коррективы в исторически более точное восприятие повести. Конкретные указания на реальности мы встречаем даже в таких деталях, как упоминание Сибирской улицы

---

[1] Морозов Л. Ф. Иностранные капиталовложения в СССР в переходный период.— Вопросы истории, 1986, № 9, с. 26.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 42, с. 75.

[3] Гинц С., Назаровский Б. Аркадий Гайдар на Урале.— Пермь, 1968, с. 182.

Перми, на которой располагалось тогда здание редакции «Звезды», где работал Гайдар[1]. Пароход «Красная звезда» действительно плавал в то время по Каме. И даже образ старого красноармейца Семена Егорова перекликается с его колоритным прототипом — «красным Сусаниным» Сибири знаменитым партизаном Федором Гуляевым, который неделю гостил в Перми как раз в те же дни, когда Гайдар работал над повестью «Тайна горы». Звездинцы проявили тогда к этому гостю большой интерес. Они напечатали в своей газете два портрета 66-летнего партизана Гуляева, рассказали о его биографии[2]. И заключительные сцены повести оказались наполненными высоким гражданственным пафосом, их стиль и свежесть восприятия перекликаются с лучшими рассказами Гайдара на героические революционные темы.

И «Тайна горы», и следующая за ней повесть «Всадники неприступных гор» красноречиво показывают, что, несмотря на стремление Гайдара к сложным, увлекательным сюжетам, лучшими оказываются строки, где он ближе всего соприкасается с тем, что им самим пережито и перечувствовано. Это органическое стилевое различие помимо воли автора особенно наглядно проявилось в повести о всадниках. Получилась не одна, а как бы две повести в одной.

Большая часть повествования посвящена путешествию и приключениям трех друзей по южным окраинам страны: Средней Азии и Кавказу. Но это отнюдь не дневник странствий. За внешними приключениями героев повести наиболее осязаемо и зримо встает сам автор с его страстным публицистическим спором о романтике ложной и настоящей, берущей истоки в буднях горячих дел. В тонких наблюдениях, в конкретных деталях быта двадцатых годов, быта, еще очень пестрого и неустоявшегося, Гайдар скорее исследует, нежели описывает развернутую перед ним картину пробуждения Советского Востока к новой жизни[3].

---

[1] Ныне улица Карла Маркса, дом номер 8. Здесь расположен теперь Пермский областной Дом журналиста имени Аркадия Гайдара.

[2] См.: Звезда, 1926, 26 июня.

[3] Вышедшая отдельной книгой в 1927 году в Ленинградском отделении издательства «Молодая гвардия» повесть А. Гайдара «Всадники неприступных гор» имела тираж всего пять тысяч экземпляров и давно стала библиографической редкостью.

Но этого показалось Гайдару мало. Увлеченный поиском более замысловатого приключенческого сюжета, он вставляет в реалистическую канву повести, казалось бы, и без того вполне логическую и актуальную, еще и «повесть-сон». Это рассказ о том, как, оказавшись один, он попадает в высокогорную страну хевсуров. Хотя и с опозданием, но и туда проникают идеи обновления жизни, и там разворачивается борьба за завтрашний день. Но первая схватка оказалась неравной: бесстрашный Рум и его возлюбленная Нора погибают. Но цельность старого мира уже нарушена, он расколот под натиском грядущих перемен. И поскольку события, о которых пишет Гайдар, происходят как бы во сне, он дает полную свободу своей безудержной фантазии. И этим, пожалуй, не возвеличивает, а скорее упрощает сложную тему. Нередко Гайдар оказывается в плену приключенческой фабулы, поэтому второстепенные детали порой более развиты в ущерб главным.

Но и тут Гайдар оставался самим собой. И в своих приключенческих повестях он стремился показать борьбу против старого мира, в них ощущались наблюдения времен гражданской войны. И потому повести молодого Гайдара по направленности своей противостояли множеству низкопробных приключенческих произведений, заполнявших тогда книжный рынок. Поставщиками их в большей степени были частные или кооперативные книгоиздательства.

Ранние приключенческие повести Аркадия Гайдара, конечно, несут на себе еще следы ученичества. И это особенно верно, когда речь идет о поисках жанра и стиля. И лишь отчасти верно, если говорить о выборе писателем своей гражданственной позиции. В этом отношении взгляды Гайдара были более зрелыми, он вынес их не из чисто писательского, а из богатого жизненного опыта минувшего революционного десятилетия. И в этом — главное. А следы ученичества были в ранних творениях почти всех писателей, не исключая Пушкина и Толстого, Фадеева и Шолохова. Хотя и говорят, что гениями рождаются, но сразу ими не становятся, не сразу и не целиком они раскрываются.

Кроме известной читателям повести «На графских развалинах», включена в этот сборник и повесть «Реввоенсо-

вет» («РВС»). Самая знаменитая и в то же время почти... неизвестная. Как это может быть? Чтобы ответить на этот вопрос, коснемся истории создания произведения, прочно вошедшего в классику советской литературы и ставшего, по существу, хрестоматийным.

«РВС» была второй повестью молодого Гайдара. Мало сказать, что она писалась вслед за первой: в сохранившейся рукописи повести-хроники «В дни поражений и побед» мы уже находим наметки нового произведения. На обороте первой страницы был набросан от руки небольшой отрывок — всего четыре строки, почти без изменений вошедшие потом в новое творение Гайдара.

Наверное, Гайдар задумал «РВС» еще во время службы в армии, а заканчивал уже в Ленинграде, примерно в конце 1924 года. Еще перед тем, как отправиться в Пермь, он отдал ее в ленинградский двухмесячный журнал «Звезда». Рассказ, как определили там жанр произведения, был сокращен и опубликован в 1925 году во втором номере журнала за подписью «Арк. Голиков». Публикация «РВС» в издании, выходившем тогда очень маленьким тиражом, прошла почти не замеченной критикой да и читателями.

Возможно, мы никогда и не узнали бы о полном варианте «РВС», если бы не приезд Гайдара в Пермь и не его успешная работа в местной газете. Видя, с одной стороны, популярность своих первых уральских произведений, особенно повести «Жизнь ни во что», а с другой, наверное, чувствуя неудовлетворенность сокращениями, которым «РВС» подверглась в журнале, Гайдар предлагает напечатать ее подвалами в пермской «Звезде». Решение было не совсем обычным: публикация произведения в газете, как правило, предшествует журнальной.

Но в то же время почему бы и не сделать исключения? Ведь тираж ленинградского журнала мизерный, вряд ли повесть прочли уральцы. А главное, Гайдар предложил не сокращенный вариант, а самый что ни на есть полный авторский текст «РВС». И тут-то пригодился Гайдару оригинал, привезенный с собою в Пермь. Писатель еще раз прошелся по страницам, повесть прочли в редакции и сдали в набор. На этот раз если и были сделаны замечания, внесены поправки, то лишь рукой самого Гайдара. Для публика-

ции повести, с точки зрения автора, были созданы почти идеальные условия. И он ими воспользовался.

Сохранился интересный документ, проливающий свет на эту редкую публикацию Гайдара. Перед нами авторский экземпляр «Договора № 544», который заключил писатель 24 февраля 1926 года с редакционно-издательским отделом «Пермкниги». Первый пункт договора гласил: «Тов. Гайдар-Голиков обязуется представить... к 6 марта 1926 года совершенно в готовом для печати виде труд свой под названием «Реввоенсовет» с правом напечатания его в газете «Звезда» и переиздания отдельной книжкой изданием «Пермкнига» в тираже не более 7000 экземпляров»[1].

Из всего этого следует, что договор был заключен еще во время публикации в «Звезде» повести о Лбове. Не случаен, наверное, и столь короткий, причем очень точный срок представления к публикации другой повести. И здесь страницы «Звезды», сам ход публикации «Лбовщины» дают точный ответ. Поскольку ее последний подвал было намечено напечатать 3 марта, редакция хотела сразу же, через три-четыре дня, начать печатать «РВС» с продолжением. Если исходить из текста договора, то Гайдар на этот раз решил несколько изменить и само название повести, дать его более полно — «Реввоенсовет». Но на это в редакции почему-то не обратили внимание, когда настало время для публикации[2]. В настоящем сборнике ранний полный вариант повести публикуется под названием «Реввоенсовет», под тем названием, которое дал ей Гайдар в пермском договоре 1926 года.

Первый подвал, открывающий для читателей подлинный авторский текст «РВС», появился в пермской газете «Звезда» 11 апреля 1926 года. Начиналась повесть совсем не с тех строк, к которым привыкли нынешние читатели: «Кругом было тихо и пусто. Раньше иногда здесь подымался дымок, когда к празднику мужики варили тайком само-

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 1672, оп. 2, д. 25, л. 1. Публикуется впервые.

[2] Возможно, произошло это потому, что самого Гайдара в то время в Перми не было — он путешествовал по югу страны. А печатавшие повесть в газете сотрудники, видимо, не заглядывали в его договор с «Пермкнигой». Отдельное же издание «Реввоенсовета» в Перми в 1926 году не вышло, ибо в июне того же года «РВС» была издана в Москве.

гонку, но теперь мужики уже перестали прятаться и производство самогонки перенесли прямо в деревню».

Бесспорно, несколько странное начало для повести, адресованной детям. Но в том все и дело, что Гайдар тогда не имел в виду детского читателя. А потому и начало повести, и другие сцены, каких мы не найдем в современных изданиях «РВС», были вполне уместны и понятны для взрослых. Особенно наглядно это видно по сцене встречи Пелагеевой Маньки с бандитами из шайки зеленых:

«Димка смотрел из-за печки с любопытством. И в окошко видно было ему, как сидел верхом на соломенной крыше наблюдатель и смотрел не в поле, а на улицу, покрикивая Пелагеевой Маньке:

— Иди сюда, иди сюда, гарнусенька... А, не идешь, сукина дочь, вот я до тебя слизу...»

Иначе был изложен в повести эпизод, объясняющий поступок нищего старика Авдея, тайком поставившего крест над могилой расстрелянных. Понятным становится и поведение Димки, который видел все это, но никому ничего не сказал. Вскоре после публикации в Перми «РВС» Аркадий Гайдар, словно расшифровывая сцену со стариком Авдеем и Димкой, рассказывал в «Звезде», по всей видимости, о реальных событиях, имевших место в годы гражданской войны на Украине:

«Недалеко от Гуляйполя, в деревушке, раскинувшейся на берегу речонки Гайчур, на маленьком зеленом кладбище я наткнулся на грубо сколоченный деревянный крест и на жестяную дощечку, на которой кривыми буквами было выведено: «Под етим крестом схоронен Ленька Дымчук, который есть смелый человек, потому что при ночном налете не выдал товарищей и тут ему за ето срубили голову махновцы». Выставленный мужичьей рукой покосившийся крест терялся здесь за четкой искренней надписью...»[1].

Значит, приведенная в «РВС» сцена не художественный вымысел писателя? Возможно, что деревушка близ Гуляйполя (ныне Запорожской области), на всю жизнь запомнившаяся Гайдару, и стала своего рода «прообразом» описанной в повести. Во всяком случае, Гайдар очень многое брал из жизни, а к однажды увиденному в молодости возвра-

[1] Звезда, 1926, 20 июня.

щался неоднократно и по разным поводам. Слишком уж созвучно с псевдонимом писателя название реки Гайчур, а само Гуляйполе — с Кривопольем, местом действия ряда ранних произведений.

Еще одна подробность в тексте «РВС» привлекает особое внимание. На первый взгляд речь идет как будто о второстепенной детали — описании характера ранения командира Сергеева: «Пуля в ноге прохватила только мякоть...» Но ведь это точь-в-точь совпадает с описанием ранения самого Гайдара. В конце 1919 года командир взвода Голиков был ранен в ногу навылет. Лечиться его отправили в воронежский госпиталь. Отцу о своем ранении Гайдар писал так: «Рана пустяковая, в левую ногу, кость не тронута, скоро смогу бросить костыли, так что не беспокойся»[1]. В условиях госпитального лечения, конечно, рана не опасная. Но писателю легко было представить, как трудно пришлось бы Сергееву точно с такой же раной одному, в старом кирпичном сарае, да еще в тылу у банды зеленых.

Герой повести и ее автор здесь удивительно похожи друг на друга. Оба они любят детей, умеют расположить их к себе без лишних слов. Да и выражение «аллюр два креста» было любимым выражением Гайдара. Как и в отряде Сергеева, в роте Голикова тоже были два пулемета марки «Льюис». К этому надо добавить, что в своей первой повести, «В дни поражений и побед», Гайдар вывел себя под именем Сергея. В следующей повести, «РВС», надо думать, он предстал под фамилией Сергеева. Нет, недаром все-таки говорят, что настоящий писатель оставляет капли крови в своей чернильнице.

Многие сцены «РВС» как журнального, так и газетного варианта подтверждают и то, что Гайдар, работая над «РВС» и потом дважды публикуя ее, предназначал первоначально повесть для взрослого человека. Очень ценно в этом отношении свидетельство пермских друзей молодого писателя — Савватия Гинца и Бориса Назаровского. «В нашей памяти,— писали они,—...не сохранилось ни одного разговора Гайдара с товарищами по редакции «Звезды», ни даже хотя бы единой обмолвки его о том, что он считал «РВС» повестью или рассказом для детей»[2].

---

[1] См.: Гольдин А. Невыдуманная жизнь.— М., 1979, с. 77.

[2] Гинц С., Назаровский Б. Аркадий Гайдар на Урале.— Пермь, 1968, с. 166.

Кстати, как определила пермская газета, а точнее, сам автор жанр произведения? Первый подвал с «РВС» вышел без какого-либо жанрового обозначения. Напечатанный через день, 13 апреля 1926 года, второй подвал был с крупным рисованным заголовком вместо наборного, но самое главное — появился подзаголовок «Повесть». В таком оформлении «РВС» и печаталась в газете уже до конца. Последний, пятнадцатый подвал был опубликован 28 апреля. И автор, и редакция, думается, верно определили тогда жанр произведения. Несмотря на это, в литературоведческих работах «РВС» до сих пор называется то повестью, то рассказом.

На этом история пермской публикации «РВС» не заканчивается. Наоборот, она приобретает вскоре как бы новое, неожиданное освещение. Тогда же Гайдар предложил свою повесть Госиздату, и она была напечатана в Москве уже в июне 1926 года. Хотя новое издание повести вышло очень быстро, но случилось нечто совершенно непредвиденное. Вопреки желанию Гайдара, мало того, без его ведома повесть была сокращена, пожалуй, еще больше, чем в журнальной редакции. Правда, подзаголовок гласил, что это «Повесть для юношества». Но разве было от этого легче? Разочарование сменилось огорчением, а когда Гайдар стал читать повесть — возмущением. Он не узнавал свое произведение.

Редакторы так «доработали» повесть, что совершенно исказили идейно-художественный замысел. Она была настолько облегчена якобы с учетом возрастных особенностей читателя, что стала походить на дореволюционные нравоучительные книжечки для малюток. Возмущенный Гайдар написал в редакцию «Правды»:

«Уважаемый тов. редактор! Не откажите поместить следующее письмо. Вчера я увидел свою книгу «РВС» — повесть для юношества (Госиздат). Эту книгу теперь я своей назвать не могу и не хочу. Она «дополнена» чьими-то отсебятинами, вставленными нравоучениями, и теперь в ней больше всего той самой «сопливой сусальности», полное отсутствие которой так восхваляли при приеме повести госиздатовские рецензенты. Слащавость, подделывание под пионера и фальшь проглядывают на каждой ее странице. «Обработанная» таким образом книга — насмешка над детской литературой и издевательство над автором.

Арк. Голиков-Гайдар».

Письмо-отречение «Правда» напечатала 16 июля 1926 года. Доводы автора были убедительными. Но у Гайдара навсегда остался в душе горький осадок от первой встречи с ложно понимаемой спецификой детской литературы. Говорит эта история и о другом: путь Гайдара в литературу не был усыпан розами, как представляется еще кое-кому из историков литературы.

Впоследствии Аркадий Гайдар много работал над повестью «РВС» именно как над произведением для детей. Он старался подальше уйти от неудачной редакторской трансформации повести и вернуться как можно ближе к своему изначальному варианту. Многие сцены повести, впервые появившиеся в пермской газете, были включены Гайдаром в последующие издания. Но это не был механический возврат автора к первооснове. Сцены дополнительно осмысливались, совершенствовался стиль, богаче становилась художественная ткань повествования, что и помогло сделать «РВС» такой, какова она есть сейчас.

Но утратилось ли в связи с этим значение пермского полного варианта повести? Нет. Наоборот, поскольку не сохранилось рукописного оригинала «РВС», его заменяет в данном случае газетная публикация. В полном смысле публикация уникальная. Почему? Да потому, что и печаталась-то повесть как раз с рукописного черновика. Мало того, с единственного экземпляра, по которому наверняка и набирался сам текст. В редакции скорее всего даже не перепечатывали повесть на машинке. А раз так, то о рукописи оригинала говорить не приходится: она легла на стол наборщиков. Поэтому, когда гранки вышли из набора и стали верстаться, сверить текст было не с чем. Доказательством тому служит письмо Гайдара из Ашхабада (писатель путешествовал тогда по Средней Азии), в котором есть все разъясняющая строка: «РВС» проверяйте по смыслу и по форме, ибо вы ее печатаете с черновика»[1].

Все это позволяет считать опубликованный в пермской газете текст первоначальным, причем наиболее полным вариантом повести. Именно здесь она, а не сокращенный журнальный и тем более госиздатовский вариант предста-

[1] См.: Гинц С., Назаровский Б. Указ. соч., с. 165.

вляет большую литературную ценность. Прежде всего пермская публикация показывает Гайдара доподлинно таким, каким он был в 1925 году, что очень важно для понимания процесса становления его писательского мастерства. Повесть не была адресована детям, но уже содержала все предпосылки для того, чтобы стать в ряд классических произведений советской детской литературы.

И даже спустя многие годы после смерти писателя редакторы его произведений не могут обойтись без пермского варианта. В новейшее издание «РВС» в четырехтомнике произведений Аркадия Гайдара сделаны две вставки из «Звезды». Одна из них — короткая сцена первой части повести, когда к обиженному Димке приходит мать и заводит с ним ночной разговор. Вторая вставка заключает в себе необходимую для логического перехода авторскую фразу: «При этой мысли у Димки даже дух захватило, потому что к наганам и ко всем носящим наганы он проникался невольным уважением»[1].

Все это еще раз подчеркивает важное значение первоначального варианта «РВС» и его пермской публикации. Прочесть повесть заново и целиком будет интересно и новому поколению читателей, и многочисленной армии исследователей творчества писателя, для которых полный текст повести оставался кладом за семью печатями.

Речь идет, подчеркиваем, о малоизвестном варианте именно повести. Только после далеко не всегда оправданных сокращений и переделок она стала рассказом в глазах многих читателей и литературоведов. Значит, происходит одновременно и как бы возврат от рассказа к повести. Пусть с увлечением, как и прежде, дети читают рассказ «РВС», а забытую за давностью лет первоначальную редакцию повести «Реввоенсовет» прочтут взрослые. Прочтут и проникнутся романтическим духом молодого Гайдара.

* * *

Подводя краткий итог ранним годам творчества Аркадия Гайдара, надо отметить: несмотря на различие в мастерстве написания приключенческих и иных повестей,

[1] Звезда, 1926, 13—14 апр.; Гайдар А. Собр. соч.: В 4 т., Т. I,— М., 1979, с. 42—44.

многообразие сюжетов, их непременно объединяет революционный оптимизм.

По мнению литературоведа Ивана Розанова, писатель в зрелых произведениях «исследует мотивы душевных побуждений своих героев»[1]. Истоки такого подхода явственно видны уже в ранних творениях Гайдара. Ему одинаково по душе и взрослые, и дети. Оптимизм его героев станет еще яснее, если вспомнить, что в очень пестрой литературе двадцатых годов было немало героев никчемных и просто нытиков.

Александр Фадеев одним из первых обратил главное внимание не на «грехи ученичества», а на новаторские черты в творчестве молодого писателя. Это прежде всего «органическая революционность и истинный демократизм»[2]. Его главные герои — революционеры, красноармейцы, партизаны, крестьяне, рабочие и даже... безработные. Из того же социального круга и дети: сын питерского рабочего Димка, беспризорники Жиган и Митька Елкин по прозвищу Дергач.

Среди характерных особенностей творчества Аркадия Гайдара, наглядно проявившихся еще в ранних произведениях,— ирония и мягкий юмор, придающие неповторимую привлекательность манере рассказчика, всему образному строю его письма. Наконец, это лаконизм и простота языка при сюжетной остроте и занимательности. Последнее достижение молодого писателя особенно тесно было связано с его работой в ежедневных уральских, а отчасти в московских и архангельских изданиях.

Все это дает основание сказать, что двадцатые годы — ранний период в творчестве Аркадия Гайдара — были важным этапом на пути к мастерству и зрелости, к овладению новаторскими приемами. И повести приключенческого цикла — неотъемлемая часть богатого гайдаровского наследия.

Александр НИКИТИН

---

[1] Розанов И. Творчество А. П. Гайдара.— Минск, 1979, с. 13.

[2] Фадеев А. Сочинения: В 5 томах. Т. 4.— М., 1960, с. 113—114.

СОДЕРЖАНИЕ

Гайдар А. П.

Г 14 Лесные братья. Ранние приключенческие повести /Сост., послесл., прим. и подг. текста А. Г. Никитина; Ил. А. К. Яцкевича.— М.: Правда, 1987.—432 с., ил.

В книге впервые собраны вместе ранние приключенческие повести Аркадия Гайдара, написанные в двадцатые годы. В их числе произведения, которые не печатались многие десятилетия. Это «Жизнь ни во что (Лбовщина)» и продолжающая ее повесть «Лесные братья (Давыдовщина)», повесть «Всадники неприступных гор» и фантастический роман «Тайна горы». Здесь же печатаются повесть «На графских развалинах» и ранний полный вариант повести «Реввоенсовет», предназначенный для взрослого читателя.

$Г \frac{4702010200-1304}{080(02)-87} 1304-87$ 84 Р 7

Аркадий Петрович ГАЙДАР

ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ

Составитель
Александр Георгиевич Никитин

Редактор
Т. В. Лодяная

Оформление художника
Г. А. Раковского

Художественный редактор
Г. О. Барбашинова

Технический редактор
Т. Б. Слизун

ИБ 1304

Сдано в набор 23.12.86. Подписано к печати 23.07.87.
Формат 84×108[1]/[32]. Бумага книжн.-журн.
Гарнитура «Эдисон». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 23,10. Уч.-изд. л. 24,07.
Тираж 500 000 экз. (1-й завод: 1—125 000 экз.).
Заказ № 1200. Цена 2 р. 10 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства
«Тюменская правда»
Тюменского обкома КПСС.
625002, г. Тюмень, Осипенко, 81.

2 р. 10 к.